# Смерть в душе. Странная дружба

# Жан‑Поль Сартр

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### НЬЮ‑ЙОРК, 9 ЧАСОВ УТРА, СУББОТА, 15 ИЮНЯ 1940 г

Спрут? Он взял нож, открыл глаза, это был сон. Нет. Спрут был здесь, он его всасывал своими щупальцами: жара. Он потел. Он уснул к часу ночи; в два часа жара его разбудила, весь в поту, он бросился в холодную ванну, затем, не вытираясь, снова лег: и сразу же после этого под его кожей опять загудела кузница, его снова бросило в пот. На заре он уснул, ему снился пожар, теперь солнце, конечно, было уже высоко, а Гомес все потел: он без передышки потел уже двое суток. «Боже мой!» — вздохнул он, проводя влажной рукой по мокрой груди. Это была уже не жара; это была болезнь атмосферы: у воздуха была горячка, воздух потел, и ты потел в его поту. Встать. Лучше уж потеть в рубашке. Он встал. «Hombre![[1]](#footnote-1) У меня кончились рубашки!» Он промочил последнюю, голубую, так как вынужден был переодеваться дважды в день. Теперь кончено: он будет напитывать эту влажную вонючую тряпку, пока белье не вернется из прачечной. Он осторожно встал, но не смог избежать водопада, капли катились по бокам, как вши, они его щекотали. Изжеванная рубашка, в сплошных складках, на спинке кресла. Он ее пощупал: ничто никогда не высыхает в этой блядской стране. Сердце его колотилось, горло одеревенело, словно он накануне напился.

Он надел брюки, подошел к окну и раздвинул шторы: на улице свет, белый, как катастрофа; и впереди еще тринадцать часов света. Он с тревогой и гневом посмотрел на мостовую. Та же катастрофа; там, на жирной черной земле, под дымом, кровью и криками; здесь, между красными кирпичными домиками свет, именно свет и обильный пот. Но это была та же самая катастрофа. Смеясь, прошагали два негра, женщина вошла в аптеку. «Боже мой! — вздохнул он. — Господи!» Он видел, как кричали все эти краски: даже если бы у меня было время, даже если бы у меня было настроение, как можно рисовать с этим светом! «Господи! — повторил он. — Господи!»

Позвонили. Гомес пошел открывать. На пороге стоял Ричи.

— Убийственно, — входя, сказал Ричи. Гомес вздрогнул:

— Что?

— Эта жара: убийственно. Как, — с упреком добавил он, — ты еще не одет? Рамон ждет нас к десяти часам.

Гомес пожал плечами:

— Я поздно заснул.

Ричи, улыбаясь, посмотрел на него, и Гомес живо добавил:

— Слишком жарко. Я не мог уснуть.

— Первое время всегда так, — снисходительно сказал Ричи. — Потом привыкнешь. — Он внимательно посмотрел на него. — Ты принимаешь солевые пилюли?

— Естественно, но толку никакого.

Ричи покачал головой, и его доброжелательность оттенилась строгостью: солевые таблетки должны были мешать потеть. Если они не действовали на Гомеса, значит, он был не таким, как все.

— Но позволь! — сказал он, хмуря брови. — Ты ведь должен быть натренирован: в Испании тоже жарко.

Гомес подумал о сухих и трагических утрах Мадрида, об этом благородном свете над Алькалой, в котором была еще надежда; он покачал головой:

— Это не та жара.

— Менее влажная, да? — с некоей гордостью спросил Ричи.

— Да. И более человечная.

Ричи держал газету; Гомес протянул было руку, чтобы взять ее, но не осмелился. Рука опустилась.

— Нынче большой день, — весело сказал Ричи, — праздник Делавэра. Ты знаешь, я ведь из этого штата.

Он открыл газету на тринадцатой странице; Гомес увидел фотографию: мэр Нью‑Йорка Ла Гардиа пожимал руку толстому мужчине, оба самозабвенно улыбались.

— Этот тип слева — губернатор Делавэра, — пояснил Ричи. — Ла Гардиа принял его вчера в World Hall[[2]](#footnote-2). Это было превосходно.

Гомес хотел вырвать у него газету и посмотреть на первую страницу. Но подумал: «Плевать», и прошел в туалет. Он пустил в ванну холодную воду и быстро побрился. Когда он залезал в ванну, Ричи ему крикнул:

— Как ты?

— Исчерпал все средства. У меня больше нет ни одной рубашки, и осталось всего восемнадцать долларов. И потом, в понедельник возвращается Мануэль, я должен вернуть ему квартиру.

Но он думал о газете: Ричи, ожидая его, читал; Гомес слышал, как он шелестит страницами. Он старательно вытерся; все напрасно: вода сильно намочила полотенце. Он с дрожью надел влажную рубашку и вернулся в спальню.

— Матч гигантов.

Гомес непонимающе посмотрел на Ричи.

— Вчерашний бейсбол. «Гиганты» выиграли.

— Ах да, бейсбол…

Гомес наклонился, чтобы зашнуровать туфли. Он снизу пытался прочесть заголовок на первой странице. Наконец он спросил:

— А что Париж?

— Ты не слышал радио?

— У меня нет радио.

— Кончен, пропал, — мирно сказал Ричи. — Они вошли туда сегодня ночью.

Гомес направился к окну, прильнул лбом к раскаленному стеклу, посмотрел на улицу, на это бесполезное солнце, на этот бесполезный день. Отныне будут только бесполезные дни. Он повернулся и тяжело сел на кровать.

— Поторопись, — напомнил Ричи. — Рамон не любит ждать.

Гомес встал. Рубашка уже вымокла насквозь. Он пошел к зеркалу завязать галстук:

— Он согласен?

— В принципе — да. Шестьдесят долларов в неделю за твою хронику выставок. Но он хочет тебя видеть.

— Увидит, — сказал Гомес. — Увидит. Он резко обернулся:

— Мне нужен аванс. Надеюсь, он не откажет?

Ричи пожал плечами. Через некоторое время он ответил:

— Я ему говорил, что ты из Испании, и он опасается, как бы ты не оказался сторонником Франко; но я ему не сказал о… твоих подвигах. Не говори ему, что ты генерал: неизвестно, что у него на душе.

Генерал! Гомес посмотрел на свои потрепанные брюки, на темные пятна, которые пот уже оставил на рубашке. И с горечью проговорил:

— Не бойся, у меня нет желания хвастаться. Я знаю, чего здесь стоит, что ты воевал в Испании: вот уже полгода, как я без работы.

Казалось, Ричи был задет.

— Американцы не любят войну, — сухо пояснил он. Гомес взял под мышку пиджак:

— Пошли.

Ричи медленно сложил газету и встал. На лестнице он спросил:

— Твоя жена и сын в Париже?

— Надеюсь, что нет, — живо ответил Гомес. — Я очень надеюсь, что Сара сообразит бежать в Монпелье.

Он добавил:

— У меня нет о них известий с первого июня.

— Если у тебя будет работа, ты сможешь их вызвать к себе.

— Да, — сказал Гомес. — Да, да. Посмотрим.

Улица, сверкание окон, солнце на длинных плоских казармах из почерневшего кирпича без крыши. У каждой двери ступеньки из белого камня; марево зноя со стороны Ист‑Ривер; город выглядел хиреющим. Ни тени: ни на одной улице мира не чувствуешь себя так ужасно, весь на виду. Раскаленные добела иголки вонзились ему в глаза: он поднял руку, чтобы защититься, и рубашка прилипла к коже. Он вздрогнул:

— Убийственно!

— Вчера, — говорил Ричи, — передо мной рухнул какой‑то бедняга старик: солнечный удар. Брр, — поежился он. — Не люблю видеть мертвых.

«Поезжай в Европу, там насмотришься», — подумал Гомес.

Ричи добавил:

— Это через сорок кварталов. Поедем автобусом.

Они остановились у желтого столба. Молодая женщина ждала автобус. Она посмотрела на них опытным угрюмым взглядом, потом повернулась к ним спиной.

— Какая красотка, — ребячески заметил Ричи.

— У нее вид потаскухи, — с обидой буркнул Гомес.

Он почувствовал себя под этим взглядом грязным и потным. Она не потела. Ричи тоже был розовым и свежим в красивой белой рубашке, его вздернутый нос едва блестел. Красавец Гомес. Красавец генерал Гомес. Генерал склонялся над голубыми, зелеными, черными глазами, затуманенными трепетом ресниц; потаскуха увидела только маленького южанина с полсотней долларов в неделю, потеющего в костюме из магазина готового платья. «Она меня приняла за даго»[[3]](#footnote-3). Тем не менее он посмотрел на красивые длинные ноги и снова покрылся потом. «Четыре месяца, как я не имел женщины». Когда‑то желание пылало сухим солнцем у него в животе. Теперь красавец генерал Гомес упивался постыдными и тайными вожделениями зрителя.

— Сигарету хочешь? — предложил Ричи.

— Нет. У меня горит в горле. Лучше б выпить.

— У нас нет времени.

Он со смущенным видом похлопал его по плечу.

— Попытайся улыбнуться, — сказал он. — Что?

— Попытайся улыбнуться. Если Рамон увидит у тебя такую физиономию, ты нагонишь на него страх. Я не прошу тебя быть подобострастным, — живо добавил он в ответ на недовольный жест Гомеса. — Войдя, ты приклеишь к губам совершенно нейтральную улыбку и там ее и забудешь; в это время ты можешь думать о чем хочешь.

— Хорошо, я буду улыбаться, — согласился Гомес. Ричи участливо посмотрел на него.

— Ты тревожишься из‑за сына?

— Нет.

Ричи сделал тягостное мыслительное усилие.

— Из‑за Парижа?

— Плевать мне на Париж! — запальчиво выкрикнул Гомес.

— Хорошо, что его взяли без боя, правда?

— Французы могли его защитить, — бесстрастно ответил Гомес.

— Ой ли! Город на равнине?

— Они могли его защитить. Мадрид держался два с половиной года…

— Мадрид… — махнув рукой, повторил Ричи. — Но зачем защищать Париж? Это глупо. Они бы разрушили Лувр, Оперу, Собор Парижской Богоматери. Чем меньше будет ущерба, тем лучше. Теперь, — с удовлетворением добавил он, — война закончится скоро.

— А как же! — насмешливо подхватил Гомес. — При таком ходе событий через три месяца воцарится нацистский мир.

— Мир, — сказал Ричи, — не бывает ни демократическим, ни нацистским: мир — это просто мир. Ты прекрасно знаешь, что я не люблю гитлеровцев. Но они такие же люди, как и все остальные. После завоевания Европы у них начнутся трудности, и им придется умерить аппетиты. Если они благоразумны, то позволят каждой стране быть частью европейской федерации. Нечто вроде наших Соединенных Штатов. — Ричи говорил медленно и рассудительно. Он добавил: — Если это помешает вам воевать предстоящие двадцать лет, это уже будет достижением.

Гомес с раздражением посмотрел на него: в серых глазах была огромная добрая воля. Ричи был весел, любил человечество, детей, птиц, абстрактное искусство; он думал, что даже с грошовым разумом все конфликты будут разрешены. Он не особенно почитал эмигрантов латинской расы; он больше ладил с немцами. «Что для него падение Парижа?» Гомес отвернулся и посмотрел на разноцветный лоток продавца газет: Ричи вдруг показался ему безжалостным.

— Вы, европейцы, — продолжал Ричи, — всегда привязываетесь к символам. Уже неделя, как все знают, что Франция разбита. Ладно: ты там жил, ты там оставил воспоминания, я понимаю, что это тебя огорчает. Но падение Парижа? Что это значит, если город остался цел? После войны мы туда вернемся.

Гомес почувствовал, как его приподнимает грозная и гневная радость:

— Что это для меня значит? — спросил он дрожащим голосом. — Это мне доставляет радость! Когда Франко вошел в Барселону, французы качали головами, они говорили, что это прискорбно; но ни один не пошевелил и мизинцем. Что ж, теперь их очередь, пусть и они свое отведают! Это мне доставляет радость! — крикнул он в грохоте автобуса, который остановился у тротуара. — Это мне доставляет радость!

Они вошли в автобус за молодой женщиной. Гомес сделал так, чтобы при посадке увидеть ее подколенки; Ричи и Гомес остались стоять. Толстый мужчина в золотых очках поспешно отодвинулся от них, и Гомес подумал: «От меня, вероятно, пахнет». В последнем ряду сидячих мест один человек развернул газету. Гомес прочел через его плечо: «Тосканини устроили овацию в Рио, где он играет впервые за пятьдесят четыре года». И ниже: «Премьера в Нью‑Йорке: Рей Милланд и Лоретта Янг в «Доктор женится». Там и тут другие газеты расправляли крылья: Ла Гардиа принимает губернатора Делавэра; Лоретта Янг, пожар в Иллинойсе; Рей Милланд; муж полюбил меня с того дня, как я пользуюсь дезодорантом «Пите»; покупайте «Крисаргил», слабительное медовых месяцев; мужчина в пижаме улыбался своей молодой супруге; Ла Гардиа улыбался губернатору Делавэра; «Шахтеры кусок пирога не получат», заявляет Бадци Смит. Они читали; широкие черно‑белые страницы говорили им о них самих, об их заботах, об их удовольствиях; они знали, кто такой Бадди Смит, а Гомес этого не знал; они поворачивали к солнцу, к спине водителя большие буквы: «Взятие Парижа» или же «Монмартр в огне». Они читали, и газеты голосили в их руках, но их никто не слушал. Гомес почувствовал, как он постарел и устал. Париж далеко; среди ста пятидесяти миллионов он был один, кто им интересовался, это была всего лишь небольшая личная проблема, едва ли более значимая, чем жажда, раскаляющая ему горло.

— Дай мне газету! — сказал он Ричи.

Немцы занимают Париж. Наступление на юге. Взятие Гавра. Прорыв линии Мажино.

Буквы кричали, но три нефа, болтавшие позади него, продолжали смеяться, не слыша этого крика.

Французская армия невредима. Испания захватила Танжер.

Мужчина в золотых очках методично рылся в портфеле, он вынул из него большой ключ, который удовлетворенно рассматривал. Гомесу стало стыдно, ему хотелось сложить газету, как будто там бесстыдно разглашались его самые сокровенные тайны. Эти отчаянные вопли, заставляющие дрожать его руки, эти призывы о помощи, эти хрипы были здесь слишком неуместны, как его пот иностранца, как его слишком сильный запах.

Обещания Гитлера подвергаются сомнению; президент Рузвельт не верит, что…; Соединенные Штаты сделают все возможное для союзников. Правительство Его Величества сделает все возможное для чехов, французы сделают все возможное для республиканцев Испании. Перевязочные материалы, медикаменты, консервированное молоко. Позор! Студенческая демонстрация в Мадриде с требованием возвратить Гибралтар испанцам. Он увидел слово «Мадрид» и не смог читать дальше. «Здорово сработано, негодяи! Негодяи! Пусть они поджигают Париж со всех четырех сторон; пусть они превратят его в пепел».

Тур (от нашего собственного корреспондента Аршам‑бо): сражение продолжается, французы заявляют, что вражеский натиск ослабевает; серьезные потери у нацистов.

Естественно, натиск ослабевает, он будет ослабевать до последнего дня и до последней французской газеты; серьезные потери, жалкие слова, последние слова надежды, не имеющие больше оснований; серьезные потери у нацистов под Таррагоном; натиск ослабевает; Барселона будет держаться… а на следующий день — беспорядочное бегство из города.

Берлин (от нашего собственного корреспондента Брукса Питерса): Франция потеряла всю свою промышленность; Монмеди взят; линия Мажино прорвана с ходу; враг обращен в бегство.

Песнь славы, трубная песнь, солнце; они поют в Берлине, в Мадриде, в своей военной форме, в Барселоне, в Мадриде, в своей военной форме; в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Варшаве, Париже; а завтра — в Лондоне. В Туре господа французские чиновники в черных сюртуках бегали по коридорам отелей. Здорово сработано! Это здорово, пусть берут все, Францию, Англию, пусть высаживаются в Нью‑Йорке, здорово сработано!

Господин в золотых очках смотрел на него: Гомесу стало стыдно, словно он закричал. Негры улыбались, молодая женщина улыбалась, кондуктор улыбался, not to grin is a sin[[4]](#footnote-4).

— Выходим, — улыбаясь, сказал Ричи.

С афиш, с обложек журналов улыбалась Америка. Гомес подумал о Рамоне и тоже улыбался.

— Десять часов, — сказал Ричи, — мы опоздали только на пять минут.

Десять часов, значит, во Франции три часа: бледный, лишенный надежды день таился в глубине этого заморского утра.

Три часа во Франции.

— Вот и приехали, — сказал владелец машины.

Он окаменел за рулем; Сара видела, как пот струится по его затылку; за спиной неистовствовали клаксоны.

— Бензин кончился!

Он открыл дверцу, спрыгнул на дорогу и стал перед машиной. Он нежно смотрел на нее.

— Мать твою! — сквозь зубы процедил он. — Мать твою за ногу!

Он нежно гладил рукой горячий капот: Сара видела его через стекло на фоне сверкающего неба, среди всего этого столпотворения; машины, за которыми они ехали с утра, исчезли в облаке пыли. А сзади — гудки, свистки, сирены: клокотание железных птиц, песнь ненависти.

— Почему они сердятся? — спросил Пабло.

— Потому что мы загораживаем им дорогу.

Она хотела выйти из машины, но отчаяние вдавливало ее в сиденье. Водитель поднял голову.

— Выходите же! — раздраженно сказал он. — Вы что, не слышите, как гудят? Помогите мне подтолкнуть машину.

Они вышли.

— Идите назад, — сказал водитель Саре, — и толкайте получше.

— Я тоже хочу толкать! — пискнул Пабло.

Сара уперлась в машину и, закрыв глаза, в кошмаре толкала изо всех сил. Пот пропитал ее блузку; сквозь закрытые веки солнце выкалывало ей глаза. Она их открыла: перед ней водитель толкал левой рукой, упираясь в дверцу, а правой крутил руль; Пабло бросился к заднему буферу и с дикими криками уцепился за него.

— Не растянись, — сказала Сара. Машина вяло катилась по обочине дороги.

— Стоп! Стоп! — сказал водитель. — Хватит, хватит, черт побери!

Гудки умолкли: поток восстановился. Машины шли мимо застрявшего автомобиля, лица приникали к стеклам; Сара почувствовала, что краснеет под взглядами, и спряталась за машиной. Высокий худой человек за рулем «шевроле» крикнул им:

— Выблядки!

Грузовики, грузовички, частные машины, такси с черными занавесками, кабриолеты. Каждый раз, когда мимо них проходила машина, Сара теряла надежду — Жьен еще больше удалялся от них. Потом пошла вереница тележек, и Жьен, скрипя, продолжал удаляться; затем дорогу покрыла черная смола пешеходов. Сара спряталась у края кювета: толпы наводили на нее страх. Люди шли медленно, с трудом, страдание придавало им семейный вид: любой, кто войдет в их ряды, будет на них походить. Я не хочу. Я не хочу стать, как они. Они на нее не смотрели; они обходили машину, не глядя на нее: у них больше не было глаз. Гигант в канотье с чемоданом в каждой руке задел автомобиль, как слепой ударился о крыло, повернулся вокруг своей оси и, шатаясь, пошел снова. Он был бледен. На одном из чемоданов были разноцветные наклейки: Севилья, Каир, Сараево, Стреса.

— Он умирает от усталости, — крикнула Сара. — Он сейчас упадет.

Но он не падал. Сара проследила глазами за канотье с красно‑зеленой лентой, которое легкомысленно раскачивалось над морем шляп.

— Берите чемодан и добирайтесь дальше без меня. Сара, не отвечая, вздрогнула: она затравленно, с отвращением смотрела на толпу.

— Вы слышите, что я вам говорю? Она повернулась к нему:

— Но ведь можно подождать проходящую машину и попросить канистру бензина? После пешеходов будут еще автомобили.

Водитель нехорошо улыбнулся:

— Я вам не советую даже пытаться.

— А почему нет? Почему бы не попытаться?

Он презрительно сплюнул и некоторое время не отвечал.

— Вы же их видели? — наконец сказал он. — Они толкают друг дружку в задницу. Так с чего бы им останавливаться?

— А если я найду бензин?

— Говорю же вам, не найдете. Вы что, думаете, они из‑за вас потеряют свой ряд? — Он, ухмыляясь, смерил ее взглядом. — Будь вы красивой девчонкой и будь вам двадцать лет, но я молчу, молчу.

Сара сделала вид, что не слышит его. Она настаивала:

— Но если я все‑таки достану?

Он с упрямым видом покачал головой:

— Не стоит. Я дальше не поеду. Даже если вы достанете двадцать литров, даже если сто. Баста.

Он скрестил руки.

— Вы отдаете себе отчет? — сурово сказал он. — Тормозить, заноситься на повороте, включать сцепление каждые двадцать метров. Менять скорость сто раз в час: это значит загубить машину!

На стекле были коричневые пятна. Он вынул платок и заботливо их вытер.

— Я не должен был соглашаться.

— Вам нужно было только взять побольше бензина, — сказала Сара.

Тот, не отвечая, покачал головой; ей захотелось дать ему пощечину. Но она сдержалась и спокойно сказала:

— Итак, что вы собираетесь делать?

— Остаться здесь и ждать.

— Ждать чего?

Он не ответил. Она изо всех сил стиснула ему запястье.

— Да знаете ли вы, что с вами случится, если вы здесь останетесь? Немцы депортируют всех годных к военной службе.

— Конечно! А еще они отрубят руки вашему малышу и залезут на вас, если у них хватит смелости. Все это враки: они, конечно, и на четверть не такие, какими их расписывают.

У Сары пересохло в горле, губы ее дрожали. Почти равнодушно она сказала:

— Ладно. Где мы находимся?

— В двадцати четырех километрах от Жьена.

«Двадцать четыре километра! И все‑таки я не буду плакать перед этой скотиной». Она залезла в машину, забрала чемодан, вышла, взяла за руку Пабло.

— Пошли, Пабло.

— Куда?

— В Жьен.

— Это далеко?

— Далековато, но я тебя понесу, как только ты устанешь. И потом, — с вызовом добавила она, — бесспорно, найдутся добрые люди, которые нам помогут.

Водитель стал перед ними и преградил им путь. Он хмурил брови и обеспокоенно чесал в затылке.

— Чего вы хотите? — сухо спросила Сара.

Он и сам толком не знал, чего хотел. Он смотрел то на Сару, то на Пабло; он выглядел растерянным.

— Так что? — неуверенно спросил он. — Так и уходим? Даже не сказав спасибо?

— Спасибо, — очень быстро сказала Сара. — Спасибо. Но его томил гнев, и он дал ему волю. Лицо его побагровело.

— А мои двести франков? Где они?

— Я вам ничего не должна, — сказала Сара.

— Разве вы не обещали мне двести франков? Сегодня утром? В Мелене? В моем гараже?

— Да, если вы отвезете меня в Жьен; но вы бросаете меня с ребенком на полдороге.

— Это не я вас бросаю, это мой драндулет виноват. Он покачал головой, и вены у него на висках вздулись.

Его глаза заблестели. Но Сара его не боялась.

— Отдайте мне двести франков. Она порылась в сумочке.

— Вот сто франков. Вы, конечно, богаче меня, и я вам их не должна. Я вам их отдаю, чтобы вы оставили меня в покое.

Он взял купюру и положил ее в карман, потом снова протянул руку. Он был очень красный, с открытым ртом и блуждающими глазами.

— Вы мне должны еще сто франков.

— Вы больше не получите ни гроша. Пропустите меня. Он не шевелился, обуреваемый противочувствиями.

В действительности они ему не нужны были, эти сто франков; может, он хотел, чтобы малыш поцеловал его перед уходом: он просто перевел это желание на свой язык. Он подошел к ней, и она поняла, что сейчас он возьмет чемодан.

— Не прикасайтесь ко мне.

— Или сто франков, или я беру чемодан.

Они смотрели друг на друга в упор. Ему совсем не хотелось брать чемодан, это было очевидно, а Сара так устала, что охотно отдала бы его ему. Но теперь нужно было доиграть сцену до конца. Они колебались, как будто забыли слова своей роли; потом Сара сказала:

— Попробуйте его отнять! Попробуйте!

Он схватил чемодан за ручку и начал тянуть к себе. Он мог бы его отнять одним рывком, но он ограничился тем, что тянул вполсилы, отвернувшись, Сара тянула к себе; Пабло начал плакать. Стадо пешеходов было уже далеко; теперь снова двинулся поток автомобилей. Сара почувствовала, как она нелепа. Она с силой тянула за ручку; он тянул сильнее со своей стороны и в конце концов вырвал его у нее. С удивлением смотрел он на Сару и на чемодан; возможно, он не собирался его отнимать, но теперь кончено: чемодан был у него в руках.

— Отдайте сейчас же чемодан! — потребовала Сара. Он не отвечал, вид у него был по‑идиотски упорный.

Гнев приподнял Сару и бросил ее к машинам.

— Грабят! — крикнула она.

Длинный черный «бьюик» проезжал рядом с ними.

— Хватит дурить! — сказал шофер.

Он схватил ее за плечо, но она вырвалась; слова и жесты ее были непринужденны и точны. Она прыгнула на подножку «бьюика» и уцепилась за ручку дверцы.

— Грабят! Грабят!

Из машины высунулась рука и оттолкнула ее.

— Сойдите с подножки, вы разобьетесь.

Она почувствовала, что теряет рассудок: так было даже лучше.

— Остановитесь! — закричала она. — Грабят! На помощь!

— Да сойдите же! Как я могу остановиться: в меня врежутся.

Гнев Сары угас. Она спрыгнула на землю и оступилась. Шофер подхватил ее на лету и поставил на ноги. Пабло кричал и плакал. Праздник закончился: Саре хотелось умереть. Она порылась в сумочке и достала оттуда сто франков.

— Вот! И пусть вам будет стыдно!

Субъект, не поднимая глаз, взял купюру и выпустил из рук чемодан.

— Теперь пропустите нас.

Он посторонился; Пабло продолжал плакать.

— Не плачь, Пабло, — твердо сказала она. — Все, все кончено; мы уходим.

Она удалилась. Водитель проворчал им в спину:

— А кто бы мне заплатил за бензин?

Удлиненные черные муравьи заполнили всю дорогу; Сара некоторое время пыталась идти между ними, но рев клаксонов за спиной вытеснил их на обочину.

— Иди за мной.

Она подвернула ногу и остановилась.

— Сядь.

Они сели в траву. Перед ними ползли насекомые, огромные, медлительные, таинственные; водитель повернулся к ним спиной, он еще сжимал в руке бесполезные сто франков; автомобили поскрипывали, как омары, пели, как кузнечики. Люди превратились в насекомых. Ей стало страшно.

— Он злой, — сказал Пабло. — Злой! Злой!

— Никто не злой! — страстно сказала Сара.

— Тогда почему что он взял чемодан?

— Не говорят: почему что. Почему он взял чемодан.

— Почему он взял чемодан?

— Ему страшно, — пояснила она.

— Чего мы ждем? — спросил Пабло.

— Чтобы прошли автомобили и мы двинулись дальше.

Двадцать четыре километра. Малыш самое большее сможет пройти восемь. Вдруг она вскарабкалась на насыпь и замахала рукой. Машины проходили мимо, и она чувствовала, что ее видят спрятанные глаза, странные глаза мух, муравьев.

— Что ты делаешь, мама?

— Ничего, — горько сказала Сара. — Так, глупости. Она спустилась в кювет, взяла за руку Пабло, и они молча посмотрели на дорогу. На дорогу и на скорлупки, которые ползли по ней. Жьен, двадцать четыре километра. После Жьена — Невер, Лимож, Бордо, Андай, консульства, хлопоты, унизительные ожидания в конторах. Им очень повезет, если она найдет поезд на Лиссабон. В Лиссабоне будет чудо, если окажется пароход на Нью‑Йорк. А в Нью‑

Йорке? У Гомеса ни гроша, возможно, он живет с какой‑нибудь женщиной; это будет несчастье, кромешный срам. Он прочтет телеграмму, скажет «Черт побери!». Потом он обернется к толстой блондинке с сигаретой, зажатой в скотских губах, и скажет ей: «Моя жена приезжает, это как снег на голову!» Он на набережной, все машут платками, он не машет своим, он злым взглядом смотрит на сходни. «Давай! Давай! — подумала она. — Будь я одна, ты бы никогда больше не услышал обо мне; но мне нужно жить, чтобы воспитать ребенка, которого ты мне сделал».

Автомобили исчезли, дорога опустела. По обе стороны дороги тянулись желтые поля и холмы. Какой‑то мужчина промчался на велосипеде; бледный и потный, он сильно нажимал на педали. Растерянно посмотрев на Сару, он не останавливаясь крикнул:

— Париж горит! Зажигательные бомбы!

— Как?

Но он уже доехал до последних машин, она увидела, как он сзади подцепился к «рено». Париж в огне. Зачем жить? Зачем спасать эту маленькую жизнь? Чтобы он бродил из страны в страну, горестный и боязливый; чтобы он полвека пережевывал проклятье, которое тяготеет над его расой? Чтобы он погиб в двадцать лет на простреливаемой дороге, держа в руках свои кишки? От отца ты унаследуешь спесь, жестокость и чувственность. От меня — только мое еврейство. Она взяла его за руку:

— Ну, пошли! Пора.

Толпа запрудила дорогу и поля, плотная и упорная, беспощадная: наводнение. Ни звука, кроме шипящего шарканья подошв о землю. На мгновенье Сара почувствовала ужас; ей захотелось бежать в поле, но она взяла себя в руки, схватила Пабло, увлекла его за собой, отдалась течению. Запах. Запах людей, горячий и пресный, болезненный, резкий, с привкусом одеколона; противоестественный запах мыслящих животных. Между двумя красными затылками, втиснутыми в котелки, Сара увидела вдалеке последние убегающие машины, последние надежды. Пабло засмеялся, и Сара вздрогнула.

— Замолчи! — смущенно сказала она. — Не нужно смеяться.

Он продолжал тихо смеяться.

— Почему ты смеешься?

— Как на похоронах, — объяснил он.

Сара угадывала лица и глаза справа и слева от себя, но не смела на них посмотреть. Они шли; они упорно продолжали идти, как она упорно продолжала жить: стены пыли поднимались и обрушивались на них; они продолжали идти. Сара, выпрямившись, с высоко поднятой головой, устремила взгляд очень далеко над затылками и повторяла себе: «Я не стану такой, как они». Но через какое‑то время этот коллективный марш пронзил ее, поднялся от бедер к животу, начал биться в ней, как большое напружиненное сердце. Сердце всех.

— Нацисты нас убьют, если схватят? — вдруг спросил Пабло.

— Тихо! — сказала Сара. — Я не знаю.

— Они убьют всех, кто здесь?

— Да замолчи же, говорю тебе, что не знаю.

— Тогда нужно бежать. Сара стиснула его руку.

— Не беги. Останемся здесь. Они нас не убьют. Слева от нее неровное дыхание. Она его слышала уже минут пять, не остерегаясь. Оно проскользнуло в нее, разместилось у нее в легких, стало ее дыханием. Она повернула голову и увидела старуху с серыми космами, склеенными потом. Это была городская старуха: бледные щеки, мешки под глазами, она тяжело дышала. Должно быть, она прожила шестьдесят лет в одном из дворов Монружа, в одной из комнат за магазином Клиши; теперь ее выгнали на дорогу; она прижимала к бедру продолговатый тюк; каждый ее шаг был падением: она перепадала с ноги на ногу, и одновременно с этим падала ее голова. «Кто ей посоветовал уходить, в ее‑то возрасте? Разве людям мало несчастий, чтобы еще нарочно придумывать новые?» Доброта торкнулась ей в грудь, как молоко: «Я ей помогу, возьму у нее тюк, разделю ее усталость, ее несчастья». Она мягко спросила:

— Вы одна, мадам?

Старуха даже не повернула головы.

— Мадам, — громче сказала Сара, — вы одна? Старуха с замкнутым видом посмотрела на нее.

— Я могу поднести вам тюк, — предложила Сара. Некоторое время она подождала, глядя на тюк. Потом настойчиво добавила:

— Дайте мне его, прошу вас: я его понесу, пока малыш может идти сам.

— Я не отдам свой тюк, — сказала старуха.

— Но вы же выбились из сил; так вы не дойдете до цели.

Старуха бросила на нее ненавидящий взгляд и шагнула в сторону.

— Я никому не отдам свой тюк, — повторила она.

Сара вздохнула и замолчала. Ее невостребованная доброта разрывала ее, как газ. Они не хотят, чтобы их любили. Несколько голов повернулись к ней, и она покраснела. Они не хотят, чтобы их любили, у них нет к этому привычки.

— Еще далеко, мама?

— Почти столько же, — раздраженно ответила Сара.

— Понеси меня, мама.

Сара пожала плечами. «Он ломает комедию, он ревнует, потому что я захотела нести старухин тюк».

— Попытайся еще немного идти сам.

— Я больше не могу, мама. Понеси меня.

Она со злостью вырвала руку: он высосет из меня все силы, и я не смогу никому помочь. Она будет нести малыша, как старуха несет свой тюк, она уподобится им.

— Понеси меня! — топая ногами, капризничал Пабло. — Понеси меня!

— Ты еще не устал, Пабло, — строго прошептала она, — ты только что вышел из машины.

Малыш снова засеменил. Сара шла, высоко подняв голову, стараясь больше не думать о нем. Через какое‑то время она краем глаза на него посмотрела и увидела, что он плачет. Он плакал смирно, бесшумно, для себя самого; время от времени он поднимал кулачки, чтобы стереть слезы со щек. Она устыдилась и подумала: «Я слишком сурова. Добра ко всем из гордости, сурова с ним, потому что он мой». Она отдавала себя всем, она забывала себя, она забывала, что она еврейка и сама преследуема, она убегала в безличное милосердие, и в эти минуты она ненавидела Пабло, потому что он был плотью от ее плоти и напоминал ей о ее расе. Она положила большую руку на голову малыша и подумала: «Ты не виноват, что у тебя лицо отца и раса матери». Свистящий хрип старухи проникал ей в легкие. «Я не имею права быть великодушной». Она перебросила чемодан в левую руку и присела.

— Обними меня руками за шею, — весело сказала Сара. — Сделайся легким. Гоп! Я тебя поднимаю.

Пабло был тяжелым, бессмысленно смеялся, и солнце высушивало его слезы; она стала подобной другим, стадным животным; языки пламени лизали ей легкие при каждом вдохе; острая и обманчивая боль пилила ей плечо; усталость, которая не была ни великодушной, ни желаемой, била как в барабан в ее груди. Усталость матери и еврейки, ее усталость, ее судьба. Надежда иссякла: она никогда не придет в Жьен. Ни она, ни все другие. Надежды не было ни у кого — ни у старухи, ни у двух затылков в котелках, ни у пары, которая толкала велосипед‑тандем со спущенными шинами. Но мы охвачены толпой, толпа идет, и мы идем; мы всего лишь лапки этого нескончаемого насекомого. К чему идти, если надежда умерла? К чему жить?

Когда толпа стала кричать, Сара слегка удивилась; она остановилась в то время, как люди разбегались, прыгали под насыпь, распластывались в кюветах. Она уронила чемодан и осталась посреди дороги, прямая, одинокая и гордая; она слышала, как гудит небо, она смотрела на свою уже довольно длинную тень у ног, она прижимала Пабло к груди, ее уши заполнились грохотом; на какой‑то миг она словно умерла. Но шум утих, она увидела, как на глади неба замелькали головастики, люди выходили из кюветов, нужно было снова жить, снова идти.

— В итоге, — сказал Ричи, — он оказался не такой уж свиньей: он предложил нам пообедать и дал тебе сто долларов аванса.

— Да, это так, — согласился Гомес.

Они были на первом этаже Музея современного искусства, в зале временных выставок. Гомес стоял спиной к Ричи и к картинам: он прижался лбом к оконному стеклу и смотрел наружу, на асфальт и чахлый газон садика. Не оборачиваясь, он сказал:

— Теперь я, возможно, смогу думать не только о собственном пропитании.

— Ты должен быть очень доволен, — благожелательно сказал Ричи.

Это был завуалированный намек: «Ты нашел себе местечко, все к лучшему в этом лучшем из новых миров, и тебе подобает демонстрировать примерный энтузиазм». Гомес бросил через плечо мрачный взгляд на Ричи: «Доволен? Ты‑то как раз доволен, потому что я больше не буду сидеть у тебя на шее».

Он не чувствовал ни малейшей благодарности.

— Доволен? — сказал он. — Надо еще подумать. Лицо Ричи стало слегка жестким.

— Ты недоволен?

— Надо еще подумать, — ухмыляясь, повторил Гомес. Снова упершись лбом в стекло, он посмотрел на траву

со смесью вожделения и отвращения. До сегодняшнего утра, слава Богу, краски его не волновали; он похоронил воспоминания о том времени, когда бродил по улицам Парижа, завороженный, безумный от гордости перед своей судьбой, сто раз на дню повторяя: «Я — художник». Но Рамон дал денег, Гомес выпил чилийского белого вина, он впервые за три года говорил о Пикассо. Рамон сказал: «После Пикассо я не знаю, что еще может сделать художник», а Гомес улыбнулся и сказал: «Я знаю», и сухое пламя воскресло в его сердце. Выходя из ресторана, он чувствовал себя так, будто его избавили от катаракты: все краски разом зажглись и радостно встретили его, как в двадцать девятом году; это был бал, Карнавал, Фантазия; люди и предметы были воспалены; фиолетовый цвет платья окрашивал все в фиолетовый цвет, красная дверь аптеки превращалась в темно‑красную, краски переполняли предметы, как обезумевшие пульсы; это были порывы вибрации, разбухавшие до взрыва; сейчас предметы разорвутся или упадут в апоплексическом ударе, и все это кричало, все диссонировало, все было частью ярмарки. Гомес пожал плечами: ему возвращали краски, когда он перестал верить в свою судьбу; я хорошо знаю, что нужно делать, но это сделает кто‑то другой. Он уцепился за руку Ричи; он ускорил шаг и смотрел прямо перед собой, но краски осаждали его сбоку, они вспыхивали у него в глазах, как пузыри крови и желчи. Ричи привел его в музей, теперь он был там, внутри, и был этот зеленый цвет по ту сторону стекла, этот незаконченный, естественный, двусмысленный зеленый цвет, органическая секреция, подобная меду и сырому молоку; этот зеленый цвет нужно было взять; я его привлеку, я его накалю… Но что мне с ним делать: я больше не могу рисовать. Он вздохнул: «Художественному критику платят не за то, что он занимается дикой травой, он думает над мыслью других. Краски других красовались перед ним на полотнах: отрывки, разновидности, мысли. Им удалось принести результаты; их увеличили, надули, толкнули к крайнему пределу их самих, и они исполнили свою судьбу, оставалось только сохранить их в музеях. Краски других: теперь это его жребий».

— Ладно, — сказал он, — пойду зарабатывать сто долларов.

Он обернулся пятьдесят полотен Мондриана на белых стенах этой клиники: стерилизованная живопись в зале с кондиционированным воздухом; ничего подозрительного; все защищено от микробов и страстей. Он подошел к одной из картин и долго рассматривал ее. Ричи следил за лицом Гомеса и заранее улыбался.

— Мне это ни о чем не говорит, — пробормотал Гомес. Ричи перестал улыбаться, но понимающе посмотрел на него.

— Конечно, — тактично заметил он. — Это не может вернуться сразу, тебе нужно привыкнуть.

— Привыкнуть? — зло переспросил Гомес. — Но не к этому же.

Ричи повернул голову к картине. Черная вертикаль, перечеркнутая двумя горизонтальными полосами, возвышалась на сером фоне; левый конец верхней полосы венчался голубым диском.

— Я думал, тебе нравится Мондриан.

— Я тоже так думал, — сказал Гомес.

Они остановились перед другим полотном; Гомес смотрел на него и пытался вспомнить.

— Действительно необходимо, чтобы ты об этом написал? — обеспокоенно спросил Ричи.

— Необходимо — нет. Но Рамон хочет, чтобы я посвятил ему свою первую статью. Думаю, он считает, что это будет солидно.

— Будь осторожен, — сказал Ричи. — Не начинай с разноса.

— Почему бы и нет? — ощетинился Гомес. Ричи улыбнулся со снисходительной иронией:

— Видно, что ты не знаешь американскую публику. Она очень не любит, когда ее пугают. Начни с того, что сделай себе имя: пиши о простом и естественном, и так, чтобы было приятно читать. А если уж непременно хочешь напасть на кого‑нибудь, в любом случае, не трогай Мондриана: это наш бог.

— Черт возьми, — сказал Гомес, — он совсем не задает вопросов.

Ричи покачал головой и несколько раз цокнул языком в знак неодобрения.

— Он их задает в огромном количестве, — сказал он.

— Да, но не затруднительные вопросы.

— А! — сказал Ричи. — Ты имеешь в виду что‑нибудь о сексуальности, или о смысле жизни, или об обнищании народа? Действительно, ты научился в Германии Grun‑dlichkeit[[5]](#footnote-5), а? — сказал он, хлопая его по плечу. — Тебе не кажется, что это немного устарело?

Гомес не ответил.

— По‑моему, — сказал Ричи, — искусство создано не для того, чтобы задавать затруднительные вопросы. Представь себе, что некто приходит ко мне и спрашивает, не желал ли я свою мать; я его вышвырну вон, если только он не какой‑нибудь ученый‑исследователь. И я не понимаю, почему художникам позволительно спрашивать меня о моих комплексах. Я как все, — примирительным тоном добавил он, — у меня свои проблемы. Только в тот день, когда они меня беспокоят, я иду не в музей: я звоню психоаналитику. У каждого свое ремесло: психоаналитик внушает мне доверие, потому что он начал с собственного психоанализа. Пока художники не будут поступать так, они будут говорить обо всем кстати и некстати, и я не попрошу их поставить меня перед самим собой.

— А чего ты у них попросишь? — рассеянно спросил Гомес.

Он осматривал полотно с мрачным ожесточением. Он думал: «Сколько воды!»

— Я у них попрошу чистоты, — сказал Ричи. — Это полотно…

— Что?

— Это ангельское деяние, — восторженно сказал Ричи. — Мы, американцы, хотим живописи для счастливых людей или тех, кто пытается быть счастливым.

— Я не счастливый, — сказал Гомес, — и я был бы негодяем, если бы попытался им быть, когда все мои товарищи или в тюрьме, или расстреляны.

Ричи снова цокнул языком.

— Старина, — сказал он, — я хорошо понимаю все твои человеческие тревоги. Фашизм, поражение союзников, Испания, твоя жена, твой сын: конечно! Но ведь иногда неплохо подняться над всем этим.

— Ни на одно мгновенье! — сказал Гомес. — Ни на одно мгновенье!

Ричи слегка покраснел.

— Что же ты рисовал? — оскорбленно спросил он. — Стачки? Резню? Капиталистов в цилиндрах? Солдат, стреляющих в народ?

Гомес улыбнулся.

— Знаешь, я всегда не очень‑то верил в революционное искусство, а теперь и вовсе перестал в него верить.

— Так что? — сказал Ричи. — Значит, мы согласны друг с другом.

— Может быть, только теперь я думаю: не перестал ли я вообще верить в искусство?

— И вообще в революцию? — продолжил Ричи. Гомес не ответил. Ричи снова заулыбался.

— Вы, европейские интеллектуалы, меня забавляете: у вас комплекс неполноценности по отношению к любому действию.

Гомес резко отвернулся и схватил Ричи за руку.

— Пошли. Я достаточно насмотрелся. Я знаю Мондриана наизусть и всегда смогу нацарапать статью. Поднимемся.

— Куда?

— На второй этаж. Я хочу увидеть других.

— Каких других?

Они прошли три зала выставки. Гомес, ни на что не глядя, подталкивал Ричи перед собой.

— Каких других? — недовольно повторил Ричи.

— Всех других. Клее, Руо, Пикассо: тех, кто задает затруднительные вопросы.

Они были вывешены у начала лестницы. Гомес остановился. Он в замешательстве посмотрел на Ричи и почти робко признался:

— Это первые картины, которые я вижу с тридцать шестого года.

— С тридцать шестого года! — изумленно повторил Ричи.

— Именно в том году я уехал в Испанию. В то время я делал гравюры на меди. Была одна, которую я не успел закончить, она осталась на моем столе.

— С тридцать шестого года! Но ведь в Мадриде есть полотна Прадо?

— Упакованы, спрятаны, рассеяны. Ричи покачал головой:

— Ты, должно быть, много страдал. Гомес грубо засмеялся:

— Нет.

Удивление Ричи оттенялось осуждением:

— Лично я никогда не прикасался к кисти, но мне нужно ходить на все выставки, это потребность. Как может художник четыре года не видеть живописи?

— Подожди, — сказал Гомес, — подожди немного! Через минуту я буду знать, художник ли я еще.

Они поднялись по лестнице, вошли в зал. На левой стене была картина Руо, красная и голубая. Гомес стал перед картиной.

— Это волхв, — сказал Ричи. Гомес не ответил.

— Мне не так уж нравится Руо, — признался Ричи. — Тебе же он, очевидно, должен нравиться.

— Да замолчи же ты!

Он посмотрел еще мгновение, потом опустил голову:

— Пошли отсюда!

— Если ты любишь картины Руо, там дальше есть одна, которую я считаю гораздо красивее.

— Не стоит, — сказал Гомес. — Я ослеп.

Ричи посмотрел на него, приоткрыл рот и замолчал. Гомес пожал плечами.

— Не надо было стрелять в людей.

Они спустились по лестнице, Ричи очень напряженный, с важным видом. «Он меня считает подозрительным», — подумал Гомес. Ричи, разумеется, был ангелом; в его светлых глазах можно было прочитать упорство ангелов; его прадеды, которые тоже были ангелами, жгли ведьм на площадях Бостона. «Я потею, я беден, у меня подозрительные мысли, европейские мысли; прекрасные ангелы Америки в конце концов меня сожгут». Там концлагеря, здесь костер: выбор невелик.

Они подошли к коммерческому прилавку у входа. Гомес рассеянно листал альбом с репродукциями. Искусство оптимистично.

— Нам удается делать великолепные фотографии, — сказал Ричи. — Посмотри на эти краски: картина как настоящая.

Убитый солдат, кричащая женщина: отражения в умиротворенном сердце. Искусство оптимистично, страдания оправданы, потому что они служат для создания красоты. «Меня не умиротворишь, я не хочу оправдывать страдания, которые я видел. Париж…» Он резко повернулся к Ричи:

— Если искусство не все, то это пустяк.

— Что ты сказал?

Гомес с силой закрыл альбом:

— Нельзя рисовать Зло.

Недоверие заледенило взгляд Ричи; он смотрел на Гомеса с провинциальным недоумением. Вдруг он откровенно рассмеялся и ткнул его пальцем в бок:

— Понимаю, старина! Четыре года войны чего‑то стоят: нужно заново всему учиться.

— Пустяки, — сказал Гомес. — Я в состоянии быть критиком.

Наступило молчание; потом Ричи очень быстро спросил:

— Ты знаешь, что в полуподвале есть кинотеатр?

— Я никогда здесь не был.

— Они показывают классику и документальные фильмы.

— Хочешь туда пойти?

— Мне нужно побыть где‑то здесь, — сказал Ричи. — У меня встреча в семи кварталах отсюда, в пять часов.

Они подошли к панно из лакированного дерева и взглянули на афишу:

— «Караван на запад», я это видел три раза, — сказал Ричи. — Но добыча бриллиантов в Трансваале может быть забавной. Ты идешь? — вяло добавил он.

— Я не люблю бриллианты, — сказал Гомес.

Ричи полегчало, он широко улыбнулся Гомесу, вывернув губы, и хлопнул его по плечу.

— See you again![[6]](#footnote-6) — сказал он по‑английски, словно разом обрел родной язык и свободу.

«Хороший момент поблагодарить его», — подумал Гомес. Но не смог выдавить из себя ни слова. Он молча пожал ему руку.

Снаружи спрут; тысячи щупальцев прикасались к нему, вода выступала каплями из его пор и сразу пропитала рубашку; перед его глазами будто проводили раскаленным добела лезвием. Неважно! Неважно! Он был рад, что ушел из музея; жара была катастрофой, но она была настоящей. Это было настоящее, дикое индейское небо, проколотое остриями небоскребов выше всех небес Европы; Гомес шел между настоящих кирпичных домов, таких безобразных, что никто и не подумает их нарисовать, а вот это далекое высотное здание, похожее на корабли Клода Лоррена, словно созданное легким прикосновением кисти к полотну, было настоящим, а корабли Клода Лоррена настоящими не были: картины — это мечты. Он подумал о той деревне Сьерра‑Мадре, где сражались с утра до вечера: на дороге был настоящий красный цвет. «Я больше никогда не буду рисовать», — решил он с жестоким удовольствием. Он решил это именно здесь, по эту сторону стекла, раздавленный в толще этого пекла, на этом раскаленном тротуаре; Истина сооружала вокруг него эти высокие стены, закупоривая все стены горизонта; в мире не было ничего другого, только эта жара и эти камни, а еще — мечты. Он повернул на Седьмую авеню; толпа накатилась на него, волны несли на гребнях пучки блестящих и мертвых глаз, тротуар дрожал, перегретые краски брызгали на него, толпа дымилась, как влажное сукно на солнце; улыбки и глаза, not to grin is a sin, глаза неопределенные и точные, быстрые и медленные, все мертвые. Он попытался продолжить комедию: настоящие люди; но нет: невозможно! Все лопнуло в его руках, его радость угасла; у них были глаза, как на портретах. Знают ли они, что Париж взят? Думают ли они об этом? Они все шли одной и той же торопливой походкой, белая пена их взглядов обжигала его. «Это ненастоящие, — подумал он, — это двойники. А где настоящие? Где угодно, но не здесь. Все здесь невсамделишные, и я тоже». Двойник Гомеса сел в автобус, прочел газету, улыбнулся Рамону, говорил о Пикассо, смотрел картины Мондриана. Я шагал по Парижу, улица Руаяль пустынна, площадь Согласия пустынна, немецкий флаг реет над Палатой Депутатов, полк СС проходит под Триумфальной аркой, небо усеяно самолетами. Кирпичные стены рухнули, толпа вернулась под землю, Гомес шел один по Парижу. По Парижу, в Правде, в единственной Правде, в крови, в ненависти, в поражении, в смерти. «Негодяи французы! — сжимая кулаки, прошептал он. — Они не смогли справиться, они побежали, как трусливые зайцы, я это знал, я знал, что им каюк». Он повернул направо, пошел по Пятьдесят шестой улице, остановился перед французским бар‑рестораном «У маленькой кокетки». Он посмотрел на красно‑зеленый фасад, какое‑то время колебался, затем толкнул дверь: ему хотелось увидеть, какие у французов физиономии.

Внутри было темно и почти прохладно; шторы были опущены, лампы зажжены.

Гомес был рад искусственному свету. Дальний зал, погруженный в тень и тишину, служил рестораном. В баре сидел высокий крепыш: волосы подстрижены ежиком, неподвижные глаза под пенсне; время от времени его голова падала вперед, но он сразу же с большим достоинством ее выпрямлял. Гомес сел на табурет за стойкой бара. Он немного знал бармена.

— Двойной скотч, — сказал он по‑французски. — Нет ли у вас сегодняшней газеты?

Бармен вынул из ящика «Нью‑Йорк тайме» и дал ему. Это был молодой блондин, грустный и аккуратный; его можно было принять за уроженца Лилля, если бы не его бургундский акцент. Гомес сделал вид, что просмотрел «Тайме» и вдруг поднял голову. Бармен устало смотрел на него.

— Новости не ахти, а? — сказал Гомес. Бармен покачал головой.

— Париж взят, — сказал Гомес.

Бармен издал грустный вздох, наполнил маленький стакан виски и вылил его содержимое в большой стакан; он сделал это еще раз и подтолкнул большой стакан Гомесу. На секунду американец в пенсне обратил на них остекленевшие глаза, потом голова его вяло наклонилась, словно он с ними поздоровался.

— С содовой? — Да.

Гомес, не падая духом, продолжал:

— Думаю, Франция пропала.

Бармен, не отвечая, вздохнул, и Гомес с жестокой радостью подумал, что тот был до того несчастен, что не мог говорить. Но он почти нежно настаивал:

— Вы так не думаете?

Бармен наливал газированную воду в стакан Гомеса. Гомес не спускал глаз с этого лунообразного и плаксивого лица. Самое время сказать изменившимся голосом: «А что вы сделали для Испании? Что ж, теперь ваша очередь лезть в пекло!» Бармен поднял глаза и палец; он вдруг заговорил грубым, медленным и спокойным голосом, немного в нос, с сильным бургундским акцентом:

— За все приходится платить. Гомес ухмыльнулся:

— Да, за все приходится платить.

Бармен провел пальцем в воздухе над головой Гомеса: комета, объявляющая о конце света. Но вид у него был вовсе не несчастный.

— Франция, — изрек он, — узнает, чего стоит бросать в беде своих естественных союзников.

«Что это?» — удивленно подумал Гомес. То заносчивое и злое торжество, которое он рассчитывал изобразить на своем лице, он прочел в глазах бармена.

Чтобы его прощупать, он осторожно начал:

— Когда Чехословакия…

Бармен пожал плечами и перебил его.

— Чехословакия! — с презрением сказал он.

— Так что? — продолжал Гомес. — Вы же ее бросили! Бармен улыбался.

— Месье, — сказал он, — в царствование Людовика XV Франция уже совершила все свои ошибки.

— А! — сообразил Гомес. — Вы канадец?

— Я из Монреаля, — ответил бармен.

— Так надо было и сказать.

Гомес положил газету на стойку. Через некоторое время он спросил:

— К вам никогда не заходят французы?

Бармен показал пальцем куда‑то за спину Гомеса. Гомес обернулся: за столом, накрытым белой скатертью, перед газетой о чем‑то задумался какой‑то старик. Настоящий француз: осевшее, изборожденное, изрытое лицо, блестящие и жесткие глаза и седые усы. Рядом с красивыми американскими щеками мужчины в пенсне его щеки казались скроенными из более жалкого материала. Настоящий француз, с настоящим отчаянием в сердце.

— Смотри‑ка! — удивился Гомес. — Я его не заметил.

— Этот месье из Роанна, — сказал бармен. — Это наш клиент.

Гомес залпом выпил виски и спрыгнул на пол. «Что вы сделали для Испании?» Старик безо всякого удивления смотрел на подходящего Гомеса. Гомес остановился у стола и с жадностью рассматривал это старое лицо.

— Вы француз?

— Да, — ответил старик.

— Я вас угощаю, — сказал Гомес.

— Спасибо. Не тот день.

Жестокость заставила забиться сердце Гомеса.

— Из‑за этого? — спросил он, кладя палец на заголовок в газете.

— Из‑за этого.

— Именно из‑за этого я вас и угощаю, — сказал Гомес. — Я прожил десять лет во Франции, моя жена и сын еще там. Виски?

— Тогда без содовой.

— Один скотч без содовой и один с содовой, — заказал Гомес.

Они замолчали. Американец в пенсне повернулся на табурете и молча смотрел на них. Вдруг старик спросил:

— Надеюсь, вы не итальянец? Гомес улыбнулся:

— Нет, я не итальянец.

— Все итальянцы сволочи, — сказал старик.

«А французы?» — подумал Гомес. Он продолжал вкрадчивым голосом:

— У вас там кто‑нибудь есть?

— В Париже — нет. У меня племянники в Мулене. Он внимательно посмотрел на Гомеса:

— Я вижу, вы здесь недавно.

— А вы?

— Я здесь поселился в девяносто седьмом году. Уже давно.

Он добавил:

— Я их не люблю.

— Почему же вы здесь?

Старик пожал плечами:

— Я делаю деньги.

— Вы коммерсант?

— Парикмахер. Мое заведение в двух кварталах отсюда. Раз в три года я проводил два месяца во Франции. В этом году должен был туда поехать, а теперь — вот тебе на.

— Вот тебе на, — повторил Гомес.

— Сегодня с утра, — продолжал старик, — в мою парикмахерскую пришло сорок человек. Бывают такие дни. И им нужно все: бритье, стрижка, шампунь, электрический массаж. И вы, может быть, думаете, что они со мной говорили о моей стране? Дудки! Читали газеты, не говоря ни слова, а я видел заголовки, пока брил. Среди них были клиенты, которые двадцать лет ко мне ходят, но даже они ничего не сказали. Если я их не порезал, значит, им повезло: у меня руки дрожали. В конце концов я оставил работу и пришел сюда.

— Им плевать, — сказал Гомес.

— Не то чтобы им плевать, но они не способны найти человеческие слова. Вообще‑то они о Париже слыхали. А помалкивают именно потому, что это их затронуло. Они такие.

Гомес вспомнил толпу на Седьмой авеню.

— Вы считаете, — спросил он, — что все эти люди на улице думают о Париже?

— В каком‑то смысле да. Но знаете ли, они думают иначе, чем мы. Для американца думать о чем‑нибудь, что его раздражает, значит напрочь изгнать такие мысли.

Бармен принес стаканы. Старик поднял свой.

— Что ж, — сказал он, — за ваше здоровье.

— За ваше здоровье, — ответил Гомес. Старик грустно улыбнулся:

— Не очень‑то знаешь, чего себе пожелать, да? После короткого размышления он продолжил:

— Да, я пью за Францию. Все‑таки за Францию. Гомес не хотел пить за Францию.

— За вступление в войну Соединенных Штатов. Старик коротко усмехнулся:

— Вы дождетесь этого после дождичка в четверг. Гомес выпил и повернулся к бармену:

— То же самое.

Ему нужно было пить. Только что он считал себя единственным, кого волновала Франция, падение Парижа было его делом: одновременно несчастье для Испании и справедливое наказание для французов. Теперь же он чувствовал, что эта новость бродила по бару, что она вращалась кругами неопределенной абстрактной формы в душах шести миллионов. Это было почти невыносимо: его личная связь с Парижем оборвана, он был всего лишь недавно прибывшим эмигрантом, пронзенным, как множество других, одним общим кошмаром.

— Не знаю, — сказал старик, — поймете ли вы меня, но я живу здесь уже более сорока лет, и только с сегодняшнего утра я чувствую себя действительно иностранцем. Я не строю иллюзий, поверьте. Но я все же думал, что найдется хоть один человек, который протянет мне руку или скажет нужное слово.

Его губы задрожали, он повторил:

— Клиенты, которые двадцать лет ко мне ходят.

«Это француз, — подумал Гомес. — Один из тех, кто называл нас Frente crapulan» [[7]](#footnote-7). Но радость не появлялась. «Он слишком стар», — решил Гомес. Старик смотрел в пустоту, он сказал, сам не веря себе до конца:

— Но, может, это из деликатности…

— Гм! — хмыкнул Гомес.

— Может быть. У них все может быть. Тем же тоном он продолжил:

— В Роанне у меня был дом. Я рассчитывал туда вернуться. Теперь, наверное, придется подыхать здесь: на все по‑другому смотришь.

«Естественно, — подумал Гомес, — естественно, ты подохнешь здесь». Он отвернулся, ему захотелось уйти. Но он овладел собой, внезапно покраснел и свистящим голосом спросил:

— Вы были за интервенцию в Испанию?

— Какую интервенцию? — ошеломленно спросил старик. Он с любопытством посмотрел на Гомеса.

— Так вы испанец? — Да.

— Вы тоже хлебнули лиха.

— Французы нам не очень‑то помогли, — нейтральным голосом сказал Гомес.

— Верно, вот увидите, американцы нам тоже не помогут. Люди и страны похожи — каждый за себя.

— Да, — согласился Гомес, — каждый за себя.

Он и пальцем не пошевелил, чтобы защитить Барселону; теперь Барселона пала; Париж пал, и мы оба в изгнании, оба одинаковы. Официант поставил на стол два стакана; они их одновременно взяли, не отводя друг от друга взгляда.

— Я пью за Испанию, — сказал старик.

Гомес поколебался, потом сквозь зубы процедил:

— Я пью за освобождение Франции.

Они замолчали. Жалкое зрелище: две старые сломанные марионетки в глубине нью‑йоркского бара. И такие пьют за Францию, за Испанию! Позор! Старик старательно свернул газету и встал.

— Мне нужно возвращаться в парикмахерскую. Я плачу за последнюю выпивку.

— Нет, — возразил Гомес. — Нет, нет. Бармен, все они за мной.

— Тогда спасибо.

Старик дошел до двери, Гомес заметил, что он хромает. «Бедный старик», — подумал он.

— То же самое, — сказал он бармену. Американец в пенсне слез с табурета и, качаясь, направился к нему.

— Я пьян, — сказал он.

— Что? — не понял Гомес.

— Вы не заметили?

— Представьте себе, нет.

— А знаете, почему я пьян?

— Мне на это плевать, — ответил Гомес. Американец звучно отрыгнул и рухнул на стул, на котором только что сидел старик.

— Потому что гунны взяли Париж. Его лицо помрачнело, и он добавил:

— Это самое плохое известие с 1927 года.

— А что было в 1927 году? Он приложил палец ко рту:

— Тсс! Личное.

Он положил голову на стол и, казалось, уснул. Бармен вышел из‑за стойки и подошел к Гомесу.

— Постерегите его две минуты, — попросил он. — Ему пора, пойду вызвать ему такси.

— Что это за тип? — спросил Гомес.

— Он работает на Уолл‑стрит.

— Это правда, что он напился, потому что взят Париж?

— Раз говорит, должно быть, правда. Только на прошлой неделе он набрался из‑за событий в Аргентине, на позапрошлой — из‑за катастрофы в Солт‑Лейк‑Сити. Он напивается каждую субботу, и всегда есть причина.

— Он слишком чувствителен, — сказал Гомес. Бармен быстро вышел. Гомес обнял голову руками и посмотрел на стену; он четко представил себе гравюру, которую оставил тогда на столе. Нужна была бы темная масса слева, чтобы уравновесить композицию — возможно, куст. Он вспомнил гравюру, стол, большое окно и заплакал.

#### ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

— Там! Там! Как раз над деревьями.

Матье спал, и война была проиграна. Вплоть до глубины его сна она была проиграна. Голос резко разбудил его: он лежал на спине, закрыв глаза и вытянув руки вдоль тела, и ой проиграл войну.

— Справа! — живо сказал Шарло. — Я же тебе говорю, как раз над деревьями. У тебя что, глаз нет?

Матье услышал медленный голос Ниппера.

— Ага! Ишь ты! — сказал Ниппер. — Ишь ты!

Где мы? В траве. Восемь горожан в полях, восемь гражданских в военной форме, завернутые по двое в армейские одеяла и лежащие посреди огорода. Мы проиграли войну; нам ее доверили, а мы ее проиграли. Она у них проскользнула сквозь пальцы, и теперь с грохотом ушла проигрываться куда‑то на север.

— Ишь ты! Ишь ты!

Матье открыл глаза и увидел небо; оно было жемчужно‑серым, без облаков, без дна, одна лишь пустота. На нем медленно рождалось утро, капля света, которая скоро упадет на землю и затопит ее золотом. Немцы в Париже, и мы проиграли войну. Начало, утро. Первое утро на свете, как и все остальные: все нужно было сделать, все будущее было в небе. Он вынул руку из‑под одеяла и почесал ухо: это будущее других. В Париже немцы поднимали глаза к небу, читали на нем свою победу и свои завтрашние дни. У меня же нет больше будущего. Шелк утра ласкал его лицо; но у своего правого бедра он чувствовал тепло Ниппера; у левой ляжки тепло Шарло. Еще годы жить: годы убивать. Этот зарождающийся победоносный день, светлый утренний ветер в тополях, полуденное солнце на колосьях пшеницы, аромат разогретой вечерней земли, нужно будет этот день убивать постепенно, минута за минутой; ночью немцы нас возьмут в плен. Гудение усилилось, и в лучах восходящего солнца он увидел самолет.

— Это макаронник, — сказал Шарло.

Заспанные голоса стали клясть самолет. Они привыкли к небрежному эскорту немецких самолетов, к циничной, безвредной, болтливой войне: это была их война. Итальянцы в эту игру не играли, они бросали бомбы.

— Макаронник? Так я и поверил! — возразил Люберон. — Ты что, не слышишь, как четко работает мотор? Это «мессершмит», модель 37.

Под одеялами наступила разрядка; запрокинутые лица заулыбались немецкому самолету. Матье услышал несколько глухих взрывов, и в небе образовались четыре маленьких круглых облачка.

— Бляди! — выругался Шарло. — Теперь они стреляют в немцев.

— За это нас всех перебьют, — раздраженно сказал Лонжен.

А Шварц с презрением добавил:

— Эти придурки еще ничего не поняли.

Раздалось еще два взрыва, и над тополями появились два темных ватных облака.

— Бляди! — повторил Шарло. — Бляди!

Пинетт приподнялся на локте. Его красивое парижское личико было розовым и свежим. Он высокомерно посмотрел на своих товарищей.

— Они делают свое дело, — сухо сказал он. Шварц пожал плечами:

— А зачем это сейчас?

Противовоздушная оборона умолкла; облака рассосались; слышно было только гордое и четкое гудение.

— Я его больше не вижу, — сказал Ниппер.

— Нет, нет, он там, на конце моего пальца.

Белый овощ вышел из‑под земли и указывал ввысь, на самолет: Шарло спал голым под одеялом.

— Лежи спокойно, — встревожился сержант Пьерне, — ты нас обнаружишь.

— Еще чего! В такой час он нас принимает за цветную капусту.

Он все‑таки спрятал руку, когда самолет пролетал над его головой, мужчины, улыбаясь, следили глазами за этим сверкающим кусочком солнца: это было утреннее развлечение, первое событие дня.

— Он совершает маленькую прогулку, нагуливает аппетит, — сказал Люберон.

Их было восемь, проигравших войну, — пять секретарей, два наблюдателя и один метеоролог, они лежали бок о бок среди лука и морковки. Они профукали войну, как профукивают время: не замечая этого. Восемь: Шварц — слесарь, Ниппер — служащий банка, Лонжен — фининспектор, Люберон — коммивояжер, Шарло Вроцлав — зонтичных дел мастер, Пинетт — транспортный контролер и два преподавателя: Матье и Пьерне. Они скучали девять месяцев, то среди пихт, то в виноградниках; в один прекрасный день голос из Бордо объявил им об их поражении, и они поняли, что были неправы. Неуклюжая рука коснулась щеки Матье. Он повернулся к Шарло:

— Чего ты хочешь, дурачок?

Шарло лежал на боку, Матье видел его добрые красные щеки и широко растянутые губы.

— Я хотел бы знать, — тихим голосом сказал Шарло. — Мы сегодня отправимся?

На его улыбчивом лице беспрестанно мелькала смутная тревога.

— Сегодня? Не знаю.

Они покинули Морброн двенадцатого, все началось как беспорядочное бегство, а потом вдруг эта остановка.

— Что мы здесь делаем? Ты мне можешь сказать?

— Вроде бы ждем пехоту.

— Если пехотинцы не могут выбраться, то почему мы должны влипнуть на пару с ними?

Он скромно добавил:

— Понимаешь, я еврей. У меня польская фамилия.

— Знаю, — грустно ответил Матье.

— Замолчите, — одернул их Шварц. — Слушайте! Послышался приглушенный продолжительный грохот.

Вчера и позавчера он длился с утра до ночи. Никто не знал, кто стреляет и в кого.

— Сейчас должно быть около шести, — сказал Пинетт. — Вчера они начали в пять сорок пять.

Матье поднял запястье к глазам и повернул его, чтобы посмотреть на часы:

— Сейчас пять минут седьмого.

— Пять минут седьмого, — повторил Шварц. — Я удивлюсь, если мы уйдем сегодня. — Он зевнул. — Что ж! Еще один день в этой дыре.

Сержант Пьерне тоже зевнул.

— Ладно, — сказал он. — Нужно вставать.

— Да, — согласился Шварц. — Да, да. Нужно вставать.

Никто не пошевелился. Рядом с ними зигзагами промчалась кошка. Внезапно она притаилась, будто собираясь прыгнуть; затем, забыв о своем намерении, небрежно удалилась. Матье приподнялся на локте и проследил за ней взглядом. Вдруг он увидел пару кривых ног в обмотках цвета хаки и поднял голову: перед ними стоял лейтенант Юлльманн; скрестив руки и подняв брови, он смотрел на них. Матье отметил, что он небрит.

— Что вы здесь делаете? Ну что вы здесь делаете? Вы что, совсем рехнулись? Скажете вы мне, что вы здесь делаете?

Матье несколько мгновений подождал, и поскольку никто не отвечал, не вставая, ответил:

— Мы решили спать на свежем воздухе, господин лейтенант.

— Смотрите‑ка! При вражеских‑то облетах! Ваши капризы могут нам дорого обойтись: из‑за вас могут разбомбить дивизию.

— Немцы хорошо знают, что мы здесь, потому что мы совершали все перемещения среди белого дня, — терпеливо возразил Матье.

Лейтенант, казалось, не слышал.

— Я вам это запретил, — сказал он. — Я вам запретил покидать крытую ригу. И что это за манера лежать в присутствии старшего по званию?

На уровне земли произошла вялая возня, и восемь человек сели на одеялах, моргая полусонными глазами. Голый Шарло прикрыл половой член носовым платком. Было прохладно. Матье вздрогнул и поискал вокруг себя куртку, чтобы набросить ее на плечи.

— И вы тоже здесь, Пьерне! Вам не стыдно, вы же сержант! Вы должны бы подавать пример.

Пьерне, не отвечая, поджал губы.

— Невероятно! — воскликнул лейтенант. — Вы, наконец, объясните мне, почему вы покинули ригу?

Он говорил без убеждения, голосом свирепым и усталым; под глазами у него были круги, и свежий цвет его лица поблек.

— Нам было слишком жарко, господин лейтенант. Мы не могли уснуть.

— Слишком жарко? А что вам нужно? Спальню с кондиционером? Сегодня ночью я пошлю вас спать в школу. С остальными. Вы что, забыли, что мы на войне?

Лонжен махнул рукой.

— Война закончилась, господин лейтенант, — сказал он, странно улыбаясь.

— Она не закончилась. Постыдились бы говорить, что она закончилась, когда в тридцати километрах отсюда парни гибнут, прикрывая нас.

— Бедняги, — не унимался Лонжен. — Их гонят на гибель, в то время как на носу перемирие.

Лейтенант сильно покраснел.

— Во всяком случае, вы пока еще солдаты. Пока вас не отошлют по домам, вы остаетесь солдатами и будете повиноваться своим командирам.

— Даже в лагерях для военнопленных? — спросил Шварц.

Лейтенант не ответил: он с презрительной робостью смотрел на солдат; люди отвечали на его взгляд без нетерпения и смущения: им нравилось новое удовольствие — вызывать робость. Помешкав, лейтенант пожал плечами и круто повернулся.

— Будьте любезны быстро встать, — сказал он через плечо.

Он удалился, очень прямой, танцующим шагом. «Его последний танец, — подумал Матье, — через несколько часов немецкие пастухи погонят нас всех на восток толпой без различия в чинах». Шварц зевнул и заплакал; Лонжен закурил сигарету; Шарло вырывал вокруг себя пучками траву: все они боялись встать.

— Видели? — спросил Люберон. — Он сказал: «Я вас отошлю спать в школу». Значит, мы не уходим.

— Он сказал просто так, — возразил Шарло. — Он знает не больше нашего.

Сержант Пьерне внезапно взорвался:

— Тогда кто знает?! Кто знает?!

Никто не ответил. Через какое‑то время Пинетт вскочил на ноги.

— Ну что, умываться? — предложил он.

— Хорошо бы, — зевая, сказал Шарло.

Он встал. Матье и сержант Пьерне тоже встали.

— Ой, какой у нас младенец! — крикнул Лонжен.

Розовый, голый, без растительности, с розовыми щеками и маленьким толстеньким животиком, обласканный светлым утренним солнцем, Шарло был похож на самого красивого младенца Франции. Шварц, крадучись, подошел к нему сзади, как каждое утро.

— Ты дрожишь от страха, — приговаривал он, щекоча его. — Ты дрожишь от страха, младенец.

Шарло смеялся и, извиваясь, вскрикивал, но не так резво, как обычно. Пинетт обернулся к Лонжену, тот с упрямым видом курил.

— Ты не идешь?

— Куда?

— Умываться!

— К чертям! — сказал Лонжен. — Умываться! Для кого? Для фрицев? Они меня и таким возьмут.

— Никто тебя не возьмет.

— Да ладно уж! — прикрикнул Лонжен.

— Можно еще выкарабкаться, черт возьми! — сказал Пинетт.

— Ты что, веришь в сказки?

— Даже если тебя возьмут, это еще не значит, что надо оставаться грязным.

— Я не хочу умываться для них.

— Какую ерунду ты несешь! — возмутился Пинетт. — Глупее не бывает!

Лонжен, не отвечая, ухмыльнулся: он с видом превосходства лежал на одеяле. Люберон тоже не пошевелился: он притворился спящим. Матье взял свой рюкзак и подошел к желобу. Вода текла по двум чугунным трубам в каменное корыто; она была холодная и голая, как кожа; всю ночь Матье слышал ее полный надежды шепот, ее детский вопрос. Он погрузил голову в корыто, легкое пение стихии стало немой и свежей прохладой в его ушах, в его ноздрях, букетом влажных роз, цветами воды в его сердце: купание в Луаре, тростник, зеленый островок, детство. Когда он выпрямился, Пинетт яростно мылил шею. Матье ему улыбнулся: ему нравился Пинетт.

— Он осел, этот Лонжен. Если фрицы притащатся, нужно быть чистым.

Он засунул палец в ухо и яростно завращал им.

— Если уж ты такой чистюля, — со своего места крикнул ему Лонжен, — вымой заодно и ноги.

Пинетт бросил на него сострадательный взгляд.

— Их же не видно.

Матье начал бриться. Лезвие было старым и жгло кожу. «В плену отпущу бороду». Солнце вставало. Его длинные косые лучи скашивали траву; под деревьями трава была нежной и свежей, ложбина сна на боках утра. Земля и небо были полны знамений, знамений надежды. В тополиной листве, повинуясь невидимому сигналу, в полный голос защебетало множество птиц, это был маленький металлический шквал чрезвычайной силы, потом они все вместе таинственно замолчали. Тревога вращалась кругами посреди зелени и толстощеких овощей, как на лице Шарло; ей не удавалось нигде остановиться. Матье старательно вытер бритву и положил ее в рюкзак. Сердце его было в сговоре с зарей, росой, тенью; в глубине души он ждал праздника. Он рано встал и побрился, как для праздника. Праздник в саду, первое причастие или свадьба с крутящимися красивыми платьями в грабовой аллее, стол на лужайке, влажное жужжание ос, опьяненных сахаром. Люберон встал и пошел помочиться к изгороди; Лонжен вошел в ригу, держа одеяла под мышкой; затем он появился, апатично подошел к желобу и намочил в воде палец с насмешливым и праздным видом. Матье не было необходимости долго смотреть на это бледное лицо, чтобы почувствовать, что праздника больше не будет, ни сейчас, ни когда‑либо после.

Старый фермер вышел из дома. Куря трубку, он смотрел на них.

— Привет, папаша! — сказал Шарло.

— Привет, — ответил фермер, качая головой. — Э! Да уж. Привет!

Он сделал несколько шагов и стал перед ними.

— Ну что? Вы не ушли?

— Как видите, — сухо сказал Пинетт. Старик ухмыльнулся, вид у него был недобрый.

— Я же вам говорил. Вы не уйдете.

— Может, и так.

Он сплюнул под ноги и вытер усы.

— А боши? Они сегодня придут? Все засмеялись.

— Может, да, а может, нет, — ответил Люберон. — Мы, как и вы, ждем их: приводим себя в порядок, чтобы встретить их достойно.

Старик со странным видом посмотрел на них.

— Вы другое дело, — сказал он. — Вы выживете. Он затянулся и добавил:

— Я эльзасец.

— Знаем, папаша, — вмешался Шварц, — смените пластинку.

Старик покачал головой:

— Странная война. Теперь гибнут гражданские, а солдаты выкарабкиваются.

— Да ладно! Вы же знаете, никто вас не убьет.

— Я же тебе говорю, что я эльзасец.

— Я тоже эльзасец, — сказал Шварц.

— Может, и так, — ответил старик, — только когда я уезжал из Эльзаса, он принадлежал им.

— Они вам не причинят зла, — уговаривал его Шварц. — Они такие же люди, как и мы.

— Как и мы! — внезапно возмутился старик. — Сучий потрох! Ты тоже смог бы отрезать руки у ребенка?

Шварц разразился смехом.

— Он нам рассказывает сказки о прошлой войне, — подмигивая Матье, сказал он.

Шварц взял полотенце, вытер большие мускулистые руки и, повернувшись к старику, объяснил:

— Они же не психи. Они вам дадут сигареты, да! И шоколад, это называется пропагандой, а вам останется только принять их, это ни к чему не обязывает.

Потом, все еще смеясь, добавил:

— Я вам говорю, папаша, сегодня лучше быть уроженцем Страсбурга, чем Парижа.

— Я на старости лет не хочу становиться немцем, — сказал фермер. — Сучий потрох! Пусть лучше меня расстреляют.

Шварц хлопнул себя по ляжке.

— Вы слышите? Сучий потрох! — передразнил он старика. — Лично я предпочитаю быть живым немцем, а не мертвым французом.

Матье быстро поднял голову и посмотрел на него; Пинетт и Шарло тоже на него смотрели. Шварц перестал смеяться, покраснел и пожал плечами. Матье отвел глаза, он не имел склонности к судейству, к тому же, он любил этого большого крепкого парня, спокойного и стойкого в трудностях; ему вовсе не хотелось увеличивать его неловкость. Никто не проронил ни слова; старик покачал головой и зло посмотрел на них.

— Эх, — сказал он, — не нужно было проигрывать эту войну. Не нужно было ее проигрывать.

Они молчали; Пинетт кашлянул, подошел к желобу и с идиотским видом начал щупать кран. Старик вытряхнул трубку на дорожку, потоптал каблуком землю, чтобы зарыть пепел, потом повернулся к ним спиной и медленно вернулся в дом. Наступило долгое молчание. Шварц держался очень напряженно, расставив руки. Через некоторое время он, казалось, очнулся и с усилием засмеялся:

— Я нарочно сказал, чтобы над ним подшутить. Ответа не последовало: все смотрели на него. И потом внезапно, хотя по видимости ничего не изменилось, что‑то дрогнуло, наступила разрядка, нечто вроде неподвижного рассеивания; маленькое разгневанное общество, которое образовалось вокруг него, разбрелось, Лонжен снова принялся ковырять в зубах ножом, Люберон прочистил горло, а Шарло с невинным взором начал напевать; им никогда не удавалось упорствовать в возмущении, если речь не шла об увольнительных или еде. Матье вдруг вдохнул робкий аромат полыни и мяты: после птиц пробуждались травы и цветы; они испускали запахи, как птицы до этого испускали крики. «Действительно, — подумал Матье, — есть еще и запахи». Запахи зеленые и веселые, и мелкие, и кислые: они будут все более и более сладкими, все более и более пышными и женственными по мере того, как заголубеет небо и приблизятся немецкие танкетки. Шварц шумно потянул носом и посмотрел на скамейку, которую они накануне подтащили к стене дома.

— Ладно, — сказал он, — ладно, ладно.

Он сел на скамейку, опустил руки между коленями и ссутулился, но голову держал высоко и сурово смотрел прямо перед собой. Матье поколебался, потом подошел к нему и сел рядом. Немного погодя Шарло отделился от группы и стал перед ними. Шварц поднял голову и серьезно посмотрел на Шарло.

— Мне нужно постирать белье, — сообщил он. Наступило молчание. Шварц все еще смотрел на Шарло.

— Не я проиграл эту войну…

Шарло как будто смутился; он засмеялся. Но Шварц продолжал свою мысль:

— Если бы все поступили как я, ее можно было и выиграть. Мне не в чем себя упрекнуть.

Он с удивленным видом почесал щеку.

— Это забавно! — сказал он.

Это забавно, подумал Матье. Да, это забавно. Он смотрит в пустоту, он думает: «Я француз» и впервые в жизни считает это забавным. Это забавно. Франция — мы ее никогда не видели, мы были внутри, это было давление воздуха, притяжение земли, пространство, видимость, спокойная уверенность, что мир создан для человека; так естественно было быть французом; это было самое простое, самое экономичное средство чувствовать себя всемирным. Ничего не нужно объяснять; это другим — немцам, англичанам, бельгийцам — нужно объяснять, из‑за какой незадачи или ошибки они были не совсем людьми. Теперь Франция легла навзничь, и мы ее видим, мы видим большой поврежденный механизм и думаем: вот и случилось. Плохой участок почвы, плохой поворот истории. Мы пока еще французы, но это больше не естественно. Достаточно было плохого поворота, чтобы дать нам понять, что мы случайны. Шварц думает, что он случаен, он больше сам себя не понимает, он обременен самим собой; он думает: как можно быть французом? Он думает: «Если бы мне чуть‑чуть повезло, я мог бы родиться немцем». Теперь он принимает суровый вид и напрягает слух, пытаясь услышать, как катится к нему его сменная родина; он ждет сверкающие армии, которые устроят ему праздник; он ждет того момента, когда сможет обменять наше поражение на их победу, когда ему покажется естественным быть победителем и немцем. Шварц, зевая, встал.

— Что ж, — сказал он, — пойду стирать белье.

Шарло развернулся и присоединился к Лонжену, который разговаривал с Пинеттом. Матье остался один на скамейке.

В свою очередь шумно зевнул Люберон.

— Как здесь осточертело! — в сердцах произнес он.

Шарло и Лонжен зевнули. Люберон посмотрел, как они зевают, и снова зевнул.

— Эх, хорошо бы, — сказал он, — сейчас потрахаться.

— Ты что, можешь трахаться в шесть часов утра? — возмущенно спросил Шарло.

— Я? В любое время.

— А я нет. У меня трахаться не больше желания, чем получать пинки в зад.

Люберон ухмыльнулся.

— Был бы ты женат, ты б научился делать это и без желания, дурак! Что хорошо в траханье, так это то, что по ходу ни о чем не думаешь.

Они замолчали. Тополя дрожали, вечное солнце дрожало среди листвы; издалека слышался добродушный грохот канонады, такой повседневный, такой успокаивающий, что его можно было принять за шум природы. Что‑то оборвалось в воздухе, и оса совершила среди них долгое изящное пике.

— Послушайте! — сказал Люберон.

— Что это?

Вокруг них было что‑то вроде пустоты, странное спокойствие. Птицы пели, на заднем дворе кричал петух; вдалеке кто‑то равномерно бил по куску железа; однако это была тишина: канонада прекратилась.

— Э! — удивленно протянул Шарло. — Э! Скажи‑ка!

— Ага.

Они прислушались, не переставая смотреть друг на друга.

— Так все и начинается, — равнодушным тоном проговорил Пьерне. — В определенный момент по всему фронту наступает тишина.

— По какому фронту? Фронта нет.

— Ну, повсюду.

Шварц робко шагнул к ним.

— Знаете, — сказал он, — я думаю, сначала должен быть сигнал горна.

— Придумал! — возразил Ниппер. — Связи больше нет; даже если бы они заключили мир сутки тому назад, мы бы его все еще ждали.

— Может быть, война кончилась уже с полуночи, — сказал Шарло, смеясь от надежды. — Прекращение огня всегда происходит в полночь.

— Пли в полдень.

— Да нет же, глупый, в ноль часов, понимаешь?

— Да замолчите же! — прикрикнул Пьерне.

Они замолчали. Пьерне прислушивался с нервным тиком на лице; у Шарло был полуоткрыт рот; сквозь оглушающую тишину они вслушивались в Мир. Мир без славы и без колокольного звона, без барабанов и труб, Мир, похожий на смерть.

— Мать твою! — выругался Люберон.

Гул возобновился, он казался менее глухим, более близким и угрожающим. Лонжен скрестил длинные руки и хрустнул пальцами. Он с досадой сказал:

— Черт побери, чего они ждут? Они думают, что мы еще недостаточно разгромлены? Что мы потеряли недостаточно людей? Неужели нужно, чтобы Франция полностью пропала, а иначе они не остановят бойню?

Все были вялы, издерганы, уязвлены, с землистыми лицами людей, страдающих несварением. Достаточно было удара барабана на горизонте — и большая волна войны снова обрушилась на них. Пинетт резко повернулся к Лонжену. Его глаза смотрели остервенело, пальцы стиснули край желоба.

— Какая бойня? А? Какая бойня? Где они, убитые и раненые? Если ты их видел, значит, тебе повезло. Я же видел только трусов вроде тебя, которые бегали по дорогам с дрейфометром на шее.

— Что с тобой, дурачок? — с ядовитым участием спросил Лонжен. — Ты себя плохо чувствуешь?

Он бросил на остальных многозначительный взгляд:

— Он был хороший паренек, наш Пинетт, его очень любили, потому что он сачковал, как и мы, уж он не вышел бы вперед, если бы потребовался доброволец. Жалко, что он хочет повоевать теперь, когда война уже закончена. Глаза Пинетта сверкнули:

— Ничего я не хочу, мудило!

— Хочешь! Ты хочешь в солдатики поиграть.

— И то лучше, чем обделываться, как ты.

— Слыхали: я обделываюсь, потому что сказал, что французская армия получила взбучку.

— А ты уверен, что французская армия получила взбучку? — заикаясь от гнева, спросил Пинетт. — Ты что, посвящен в тайны главнокомандующего, генерала Вейгана?

Лонжен заносчиво и устало улыбнулся:

— Кому нужны тайны главнокомандующего: половина войск беспорядочно отступает, а другая окружена; тебе этого мало?

Пинетт рубанул воздух рукой:

— Мы перегруппируемся на Луаре, а в Сомюре соединимся с Северной армией.

— Ты в это веришь, умник?

— Так мне сказал капитан. Спроси у Фонтена.

— Северной армии придется повертеться, потому что у них на хвосте боши. А что до нас, то мы вряд ли с ними встретимся.

Пинетт исподлобья посмотрел на Лонжена, тяжело дыша и топая ногой. Он сердито тряхнул плечами, как бы намереваясь сбросить ношу. Наконец он зло и затравленно проговорил:

— Даже если мы отступим до Марселя, даже если пересечем всю Францию, останется Северная Африка.

Лонжен скрестил руки и презрительно улыбнулся:

— А почему не Сен‑Пьер и Микелон[[8]](#footnote-8), болван?

— Ты себя считаешь умником? Скажи, ты себя считаешь умником? — спросил Пинетт, наступая на него.

Шарло бросился между ними.

— Ну! Ну! — сказал он. — Вы что, собираетесь ссориться? Все согласны, что война ничего не решает и что вообще больше не нужно воевать. Бог нам в помощь! — воскликнул он пылко. — Вообще никогда!

Он напряженно смотрел на всех, он дрожал от страсти. Страсти всех примирить: Пинетта и Лонжена, немцев и французов.

— Наконец, — почти умоляющим голосом сказал он, — нужно суметь с ними поладить, они ведь не собираются всех нас уничтожить.

Пинетт обратил свое бешенство на него:

— Если война проиграна, то лишь из‑за таких, как ты. Лонжен ухмылялся:

— Еще один никак не поймет.

Наступило молчание; потом все медленно повернулись к Матье. Он этого ждал: в конце каждого спора его делали арбитром, так как он был самый образованный.

— Что ты об этом думаешь? — спросил Пинетт. Матье опустил голову и не ответил.

— Ты что, глухой? Тебя спрашивают, что бы об этом думаешь?

— Ничего, — ответил Матье.

Лонжен пересек тропинку и стал перед ним:

— Как — ничего? Преподаватель все время думает.

— Что ж, как видишь, не все время.

— Ты все‑таки не дурак: ты хорошо знаешь, что сопротивление невозможно.

— Откуда мне это знать?

В свою очередь, подошел и Пинетт. Они стояли по обе стороны Матье, словно его добрый и злой ангелы.

— Ведь ты не пал духом, — сказал Пинетт. — Неужто ты считаешь, что французы не должны сражаться до конца?

Матье пожал плечами:

— Если бы сражался я, я мог бы иметь свое мнение. Но погибают другие, сражаться будут на Луаре, и я не могу решать за них.

— Вот видишь, — сказал Лонжен, насмешливо глядя на Пинетта, — бойню за других не решают.

Матье встревоженно посмотрел на него:

— Я этого не сказал.

— Как не сказал? Ты только что это сказал.

— Если бы оставался шанс, — промолвил Матье, — совсем крохотный шанс…

— И что?

Матье покачал головой:

— Как знать?..

— И что же это означает? — спросил Пинетт.

— Это означает, — объяснил Шарло, — что осталось только ждать, стараясь при этом не портить себе кровь.

— Нет! — крикнул Матье. — Нет! Он резко встал, сжимая кулаки.

— Я жду с самого детства!

Они недоуменно смотрели на него, он понемногу успокоился.

— Что означает наше решение? — сказал он. — Кто спрашивает наше мнение? Вы отдаете себе отчет в нашем положении?

Они испуганно попятились.

— Ладно, — сказал Пинетт, — ладно, мы его знаем.

— Ты прав, — сказал Лонжен, — солдат не имеет права на собственное мнение.

Его холодная и слюнявая улыбка ужаснула Матье.

— Пленный еще меньше, — сухо ответил он.

Всё спрашивает у нас нашего мнения. Всё. Большой вопрос окружает нас: это фарс. Нам задают вопрос, как людям; нас хотят заставить думать, что мы еще люди. Но нет. Нет. Нет. Какой фарс — эта тень вопроса, который задают одни тени войны другим.

— А что за польза иметь собственное мнение? Решать‑то не тебе.

Матье замолчал. Он вдруг подумал: «Нужно будет жить». Жить, срывать день за днем заплесневелые плоды поражения, платить за этот тотальный выбор, от которого он сегодня отказывался. «Но, Боже мой! Я не хотел ни этой войны, ни этого поражения: что за фокус — обязывать меня нести за них ответственность?» Он почувствовал, как в нем поднимается гнев — ярость попавшего в ловушку зверя, и, подняв голову, он увидел, как такой же гнев блестит в глазах его товарищей. Крикнуть в небо всем вместе: «Мы не имеем ничего общего с этой бойней! Мы не имеем ничего общего с этой бойней! Мы невиновны!» Его порыв угас: безусловная невиновность сияла в утреннем солнце, ее можно было ощутить на листьях травы. Но она так мала: истиной была эта неуловимая общая вина, наша вина. Призрак войны, призрак поражения, призрачная виновность. Он по очереди посмотрел на Пинетта и Лонжена и развел руками: он не знал, хотел ли он им помочь или попросить у них помощи. Они тоже посмотрели на него, потом отвернулись и удалились. Пинетт смотрел себе под ноги. Лонжен улыбался самому себе напряженной и смущенной улыбкой; Шварц стоял в стороне с Ниппером, они говорили друг с другом по‑эльзасски, они уже были похожи на двух сообщников; Пьерне судорожно сжимал и разжимал правый кулак. Матье подумал: «Вот чем мы стали».

#### МАРСЕЛЬ, 14 ЧАСОВ

Разумеется, он сурово осуждал грусть, но когда в нее впадаешь, чертовски трудно от нее избавиться. «Должно быть, у меня несчастный характер», — подумал он. У него было много поводов радоваться, в частности, он мог бы себя поздравить с тем, что избежал перитонита, выздоровел. Но вместо этого он думал: «Я пережил самого себя» и сокрушался. В грусти именно причины радоваться становятся грустными, и радуешься грустно. «Однако, — подумал он, — я умер». Насколько это зависело от него, он умер в Седане в мае сорокового года: скукой были все те годы, которые ему оставалось жить. Он снова вздохнул, проследил взглядом за большой зеленой мухой, ползающей по потолку, и решил: «Я — посредственность». Эта мысль была ему глубоко неприятна. До сих пор Борис выдерживал правило никогда не задумываться о себе и чувствовал себя превосходно; с другой стороны, пока речь шла только о том, чтобы погибнуть, его посредственность не имела такого уж значения: наоборот, меньше оснований для сожалений. Но теперь все изменилось: ему выпала участь жить, и он вынужден был признать, что не имел для этого ни призвания, ни таланта, ни денег. Короче, ни одного потребного качества, кроме здоровья. «Как я буду скучать!» — подумал он. И почувствовал себя обманутым. Муха, жужжа, улетела. Борис провел рукой под рубашкой и погладил шрам, который прочертил его живот на уровне паха; он любил трогать этот маленький рубец плоти. Он смотрел на потолок, он гладил шрам, и на сердце у него было тяжело. В палату вошел Франсийон, направился к Борису, неторопливо шагая между пустыми койками, и вдруг остановился, разыгрывая удивление.

— Я тебя искал во дворе.

Борис не ответил. Франсийон негодующе скрестил руки.

— Два часа дня — а ты еще в постели!

— Я сам себе надоел, — сказал Борис.

— У тебя хандра?

— Никакая не хандра, просто я сам себе надоел.

— Не переживай. В конце концов это закончится.

Он сел у изголовья Бориса и начал скручивать папиросу. У Франсийона были большие глаза навыкате и нос, как орлиный клюв; вид у него был свирепый. Борис его очень любил: иногда, едва взглянув на него, он разражался безумным хохотом.

— Ждать недолго! — сказал Франсийон.

— А сколько?

— Четыре дня.

Борис посчитал по пальцам:

— Получается восемнадцатого.

Франсийон в знак согласия что‑то пробормотал, лизнул клейкую бумагу, закурил папиросу и доверительно наклонился к Борису.

— Здесь никого нет?

Все койки были пусты: люди были во дворе или в городе.

— Как видишь, — сказал Борис. — Разве что шпионы под койками.

Франсийон нагнулся ниже.

— В ночь на восемнадцатое дежурит Блен, — объяснил он. — Самолет будет на площадке, готовый к отлету. Он нас пропустит в полночь, в два часа взлетаем, в Лондоне будем в семь. Что скажешь?

Борис ничего не ответил. Он щупал шрам и думал: «Они везучие», и ему становилось все грустнее и грустнее. Сейчас он меня спросит, что я решил.

— А? Ну? Так что ты об этом думаешь?

— Я думаю, что вы везучие, — сказал Борис.

— Как везучие? Тебе остается только пойти с нами. Ты же не скажешь, что это для тебя неожиданность? Мы ведь тебя предупредили.

— Да, — признал Борис. — Это так.

— Так что же ты решил?

— Я решил: черта с два, — с раздражением ответил Борис.

— Однако же ты не собираешься оставаться во Франции?

— Не знаю.

— Война не закончена, — упрямо сказал Франсийон. — Те, кто говорит, что она закончена, трусы и лжецы. Ты должен быть там, где сражаются; ты не имеешь права оставаться во Франции.

— И ты меня в этом уверяешь? — горько спросил Борис.

— Тогда решай.

— Подожди. Я жду приятельницу, я тебе об этом говорил. Решу, когда ее увижу.

— Тут не до приятельниц: это мужское дело.

— Сделаю, как сказал, — сухо промолвил Борис. Франсийон смутился и замолчал. «А вдруг он решит,

что я их выдам?» Борис заглядывал ему в глаза, пока не увидел на лице Франсийона доверчивой улыбки, которая его успокоила.

— Вы прилетите в семь? — спросил Борис.

— В семь.

— Берега Англии по утрам должны быть восхитительны. Со стороны Дувра там большие белые утесы.

— Да, — подтвердил Франсийон.

— Я никогда не летал самолетом, — сказал Борис. Он вынул руку из‑под рубашки.

— Тебе случается чесать шрам? — Нет.

— Я свой все время чешу: это меня раздражает.

— Если вспомнить, где расположен мой, — сказал Франсийон, — мне было бы сложно чесать его на людях.

Наступило молчание, потом Франсийон продолжил:

— Когда придет твоя приятельница?

— Не знаю. Она должна приехать из Парижа — попробуй доберись оттуда!

— Ей лучше поторопиться, — заметил Франсийон, — потому что времени у нас в обрез.

Борис вздохнул и повернулся на живот. Франсийон равнодушно продолжал:

— Свою я оставляю в неведении, хотя я ее вижу каждый день. В вечер отъезда я ей пошлю письмо: когда она его получит, мы будем уже в Лондоне.

Борис, не отвечая, покачал головой.

— Ты меня удивляешь, — сказал Франсийон. — Сергин, ты меня удивляешь!

— Кое‑что тебе не понять, — ответил Борис. Франсийон замолчал, протянул руку и взял книгу. Они

пролетят над утесами Дувра ранним утром. Но что толку об этом думать: Борис не верил в чудеса, он знал, что Лола скажет нет.

— «Война и мир», — прочел Франсийон. — Что это?

— Это роман о войне.

— О войне четырнадцатого года?

— Нет. О другой. Но там всегда одно и то же.

— Да, — смеясь, согласился Франсийон, — там всегда одно и то же.

Он наугад открыл книгу и погрузился в чтение, хмуря брови с видом горестного интереса.

Борис снова прилег на койку. Он думал: «Я не могу причинить ей боль, я не могу уйти второй раз, не поговорив с ней. Если я останусь ради нее, это будет доказательством любви. Да уж, странное получается доказательство». Но есть ли у солдата право оставаться ради женщины? Франсийон и Гибель, разумеется, скажут, что нет. Но они слишком молоды, они не знают, что такое любовь. «Что такое любовь, я уже знаю, туг меня просвещать не надо, и я знаю ее цену. Следует ли остаться, чтобы сделать женщину счастливой? При таком раскладе, скорее всего, что нет. Но можно ли уехать, сделав при этом кого‑то несчастным?» Он вспомнил высказывание Матье: «У меня всегда хватит храбрости, чтобы при необходимости доставить кому‑то страдание». Все так, но Матье всегда поступал обратно своим словам, и храбрости доставить кому‑то горе ему явно не хватало. У Бориса сжалось горло: «А что, если это просто безрассудная выходка? Что, если это чистейший эгоизм: отказ от тягот цивильной жизни? А может, я прирожденный искатель приключений? А может, вообще погибнуть легче, чем жить? А может, я остаюсь из‑за любви к комфорту, из‑за страха, из‑за желания иметь под рукой женщину?» Он обернулся. Франсийон склонился над книгой прилежно и в то же время с каким‑то недоверием, как будто он пытался уличить автора в неправде. «Если я смогу ему сказать: я еду, если это слово сможет сорваться с моих губ, то так тому и быть». Он прочистил горло, приоткрыл рот и ждал. Но слово не шло на язык. «Я не могу причинить ей такое горе». Борис понял, что без совета Лолы он ничего не решит. «Она, безусловно, скажет нет, и все будет улажено. А если она не придет вовремя? — испуганно подумал он. — Если ее не будет к восемнадцатому? Нужно будет решать одному? Предположим, я остался, она приезжает двадцатого и говорит: я бы позволила тебе уехать. То‑то физиономия у меня будет. Другое предположение: я уезжаю, она приезжает девятнадцатого и кончает с собой. Ох! Дьявол!» Все перемешалось у него в голове, он закрыл глаза и погрузился в сон.

— Сергин! — крикнул от двери Берже. — Тебя во дворе ждет девушка.

Борис вздрогнул, Франсийон поднял голову.

— Это твоя приятельница.

Борис опустил ноги и почесал стриженую голову.

— Держи карман шире, — зевая, сказал он. — Нет, сегодня меня навещает сестра.

— Да? Сегодня тебя навещает сестра? — ошалело повторил Франсийон. — Это та девушка, которая была с тобой прошлый раз?

— Да.

— Она недурна, — вяло заметил Франсийон.

Борис замотал обмотки и надел куртку; он двумя пальцами отдал честь Франсийону, пересек палату и, посвистывая, спустился по лестнице. На середине лестницы он остановился и рассмеялся. «Забавно! — подумал он. — Забавно, что я печален». Ему вовсе не хотелось видеть Ивиш. «Когда мне грустно, она не помогает, — подумал он, — наоборот, удручает».

Ивиш ждала его во дворе госпиталя: вокруг кружили солдаты, поглядывая на нее, но она не обращала на них внимания. Она издалека улыбнулась ему:

— Здравствуй, братик!

Увидев Бориса, солдаты засмеялись и закричали; они его очень любили. Борис приветственно махнул им рукой, но без удовольствия отметил, что никто ему не говорит: «Счастливчик» или «Лучше бы мне ее иметь в своей постели, чем винтовку». Действительно, после выкидыша Ивиш сильно постарела и подурнела. Естественно, Борис по‑прежнему гордился ею, но уже как‑то иначе.

— Здравствуй, страхолюдина, — сказал он, касаясь шеи Ивиш кончиками пальцев.

От нее теперь всегда веяло одеколоном и лихорадкой. Он беспристрастно оглядел ее.

— Ты паршиво выглядишь, — сказал он.

— Знаю. Я безобразна.

— Ты больше не красишь губы?

— Нет, — жестко сказала она.

Они замолчали. На ней была ярко‑красная блузка с закрытым воротом, очень русская, которая делала ее еще бледней. Ей бы очень пошло открыть немного плечи и грудь: у нее были очень красивые круглые плечи. Но она предпочитала закрытые блузки и слишком длинные юбки: можно подумать, что она стыдилась своего тела.

— Останемся здесь? — спросила она.

— У меня есть право выходить в город.

— Автомобиль ждет нас, — сказала Ивиш.

— Он не здесь? — испуганно спросил Борис. — Кто?

— Свекор.

— Еще чего!

Они пересекли двор и прошли через ворота. Увидев огромный зеленый «бьюик» господина Стюреля, Борис почувствовал, до чего он раздосадован:

— В следующий раз скажи, чтобы он ждал на углу улицы. Они сели в автомобиль; он был до смешного просторным, в нем можно было затеряться.

— Здесь можно играть в жмурки, — процедил сквозь зубы Борис.

Шофер обернулся и улыбнулся Борису; это был кряжистый и подобострастный мужчина с седыми усами.

— Куда отвезти мадам?

— Что скажешь? — спросил Борис. Ивиш подумала:

— Я хочу видеть людей.

— Тогда на ла Канебьер?

— Ла Канебьер? Нет! Да, да, если хочешь.

— На набережные на углу ла Канебьер, — сказал Борис.

— Хорошо, месье Сергин.

«Бездельник!» — подумал Борис. Машина тронулась, и Борис стал смотреть в окно, ему не хотелось разговаривать, потому что шофер мог их слышать.

— Ну что Лола? — спросила Ивиш.

Он повернулся к ней: у нее был совершенно непринужденный вид; он приложил палец к губам, но она повторила звучно и громко, как будто шофер был просто деревянной чуркой:

— Как Лола? У тебя есть от нее известия? Он, не отвечая, пожал плечами.

— Эй!

— Известий нет, — сказал он.

Когда Борис лечился в Туре, Лола приехала и поселилась рядом с ним. В начале июня его эвакуировали в Марсель, а она заехала в Париж, чтобы взять деньги в банке перед тем, как присоединиться к нему. С тех пор произошли «события», и он больше ничего не знал. Толчок бросил его на Ивиш; они занимали так мало места в «бьюике», что он вспомнил время, когда они только что приехали в Париж: они развлекались, считая себя двумя сиротами, заблудившимися в Париже, и часто вот так прижимались друг к другу на скамье в «Доме» или в «Куполе». Он поднял голову, собираясь напомнить ей об этом, но увидел, какая она угрюмая, и только сказал:

— Париж взят, ты знаешь?

— Знаю, — безразлично сказала Ивиш.

— А что твой муж?

— Никаких известий.

Она наклонилась к нему и тихо сказала:

— Пусть он подохнет.

Борис бросил взгляд на шофера и увидел, что тот смотрит на них в зеркало. Он толкнул локтем Ивиш, и она замолчала: но на ее губах сохранялась злобная и мрачная улыбка. Машина остановилась в нижней части ла Канебьер. Ивиш спрыгнула на тротуар и повелительно‑непринужденно сказала шоферу:

— Заедете за мной в кафе «Риш» в пять часов.

— До свиданья, месье Сергин, — любезно попрощался шофер.

— Пока, — раздраженно сказал Борис.

Он подумал: «Я вернусь на трамвае». Он взял Ивиш за руку, и они пошли вверх по ла Канебьер. Мимо прошли офицеры; Борис их не поприветствовал, и их это, похоже, нисколько не задело. Борис был раздосадован, потому что женщины на него оборачивались.

— Ты не отдаешь честь офицерам? — спросила Ивиш.

— Зачем?

— На тебя смотрят женщины, — заметила Ивиш. Борис не ответил; одна брюнетка улыбнулась ему, Ивиш

живо обернулась.

— Да, да, он красив, — сказала она в спину брюнетке.

— Ивиш! — взмолился Борис. — Не привлекай к нам внимания.

Это была новая надоевшая песенка. Однажды утром кто‑то сказал ему, что он красив, и с тех пор все ему это повторяли, Франсийон и Табель прозвали его «Рожица Амура». Естественно, Борис не поддавался на лесть, но это раздражало, потому что красота — не мужское качество. Было бы предпочтительнее, чтобы все эти бабы занимались своими ягодицами, а мужчины, проходя, немного обращали внимание на Ивиш, не слишком, но как раз достаточно, чтобы она чувствовала себя привлекательной.

На террасе кафе «Риш» почти все столики были заняты; они сели среди смазливых темноволосых девок, офицеров, элегантных солдат, пожилых мужчин с жирными руками; безобидная доброжелательная публика, их можно убить, но не причиняя им боли. Ивиш принялась дергать себя за локоны. Борис спросил ее:

— Что‑то не так?

Она пожала плечами. Борис вытянул нот и ощутил скуку.

— Что будешь пить? — спросил он.

— У них хороший кофе?

— Так себе.

— Я до смерти хочу выпить кофе. Там они варят отвратительный.

— Два кофе, — сказал Борис официанту. Он повернулся к Ивиш и спросил: — Как у тебя дела со свекром и свекровью?

Страсть угасла на лице Ивиш.

— Нормально. Постепенно становлюсь похожей на них. — Она, усмехнувшись, добавила: — Свекровь говорит, что я на нее похожа.

— Что ты делаешь целый день?

— К примеру, вчера я встала в десять часов, как можно медленнее привела себя в порядок. Так прошло полтора часа, затем читала газеты…

— Ты не умеешь читать газеты, — сурово сказал Борис.

— Да, не умею. За обедом говорили о войне, и мамаша Стюрель пустила слезу, вспомнив о своем дорогом сыночке; когда она плачет, ее губы приподнимаются, и мне всегда кажется, что сейчас она начнет смеяться. Потом мы вязали, и она мне, как женщина женщине, призналась: Жорж был слабого здоровья, когда был маленьким, представляешь, у него был энтерит в восемь лет, если бы ей пришлось выбирать между сыном и мужем, это было бы ужасно, но она предпочла бы, чтобы умер муж, потому что она больше мать, чем жена. Затем она мне говорила о своих болезнях: матка, кишечник и мочевой пузырь, кажется, с ними не все в порядке.

У Бориса на языке вертелась великолепная шутка: она пришла так быстро, что он засомневался, не вычитал ли он ее где‑то? Однако нет. «Женщины между собой говорят о своем домашнем или физиологическом хозяйстве». Но фраза получалась немного педантичной, похоже на высказывание Ларошфуко. «Женщине нужно говорить о своем домашнем или физиологическом хозяйстве», или «когда женщина не говорит о своем домашнем хозяйстве, она говорит о своем физиологическом хозяйстве». Так, да, может быть… Он подумал, не рассказать ли эту шутку Ивиш? Но Ивиш все меньше и меньше понимала шутки. Он просто сказал:

— Ясно. А потом?

— Потом поднялась к себе в комнату и не выходила до ужина.

— И что ты там делала?

— Ничего. После ужина слушали новости по радио, потом комментировали их. Кажется, ничего непоправимого не произошло, нужно сохранять хладнокровие, Франция видывала времена и похуже. Потом я поднялась в свою комнату и заварила себе чай на электрической плитке. Я ее прячу, потому что она выбивает пробки один раз из трех. Потом я села в кресло и подождала, пока они уснут.

— И что тогда?

— Я вздохнула полной грудью.

— Тебе надо бы записаться в библиотеку, — сказал Борис.

— Когда я читаю, буквы прыгают у меня перед глазами. Я все время думаю о Жорже. Я помимо воли надеюсь, что мы вот‑вот получим известие о его смерти.

Борис не любил своего зятя и никогда не понимал, что толкнуло Ивиш в сентябре тридцать восьмого года бежать из дому и броситься на шею этому длинному вялому типу. Но он охотно признавал, что тот не был подлецом; когда Жорж узнал, что Ивиш забеременела, он повел себя в высшей степени порядочно и настоял на их браке. Но было слишком поздно: Ивиш его ненавидела, потому что он сделал ей ребенка. Она говорила, что сама себе внушает ужас, она спряталась в деревне и не хотела видеть даже брата. Она безусловно покончила бы с собой, если бы так не боялась смерти.

— Какая гадость! Борис вздрогнул.

— Что?

— Вот! — сказала она, показывая на свою чашку кофе. Борис попробовал кофе и мирно сказал:

— Прямо скажем, не высший сорт! — Помедлив, он заметил: — Думаю, он будет становиться все хуже и хуже.

— Страна побежденных! — сказала Ивиш.

Борис осторожно посмотрел вокруг. Но никто не обращал на них внимания: люди благопристойно и сосредоточенно говорили о войне. Можно подумать, что они вернулись с похорон. Неся пустой поднос, прошел официант. Ивиш обратила на него взгляд чернильных глаз.

— Он отвратителен! — выкрикнула она. Официант удивленно посмотрел на нее: у него были седые усы, Ивиш годилась ему в дочери.

— Этот кофе отвратителен, — сказала Ивиш. — Можете его унести.

Официант с любопытством смерил ее взглядом: она была слишком молода и не вызвала в нем робость. Когда он понял, с кем имеет дело, он грубо ухмыльнулся:

— Вы хотели бы мокко? Вы, может быть, не в курсе, что идет война?

— Я, может быть, и не в курсе, — живо ответила она, — но мой брат, который был недавно ранен, безусловно, знает это лучше вас.

Борис, пунцовый от смущения, отвел глаза. Она стала дерзкой и в карман за словом не лезла, но он сожалел о той поре, когда она злилась молча, опустив на лицо волосы: тогда было меньше неприятностей.

— В день, когда боши вошли в Париж, я не стал бы жаловаться на плохой кофе, — раздосадованно пробурчал официант.

Он ушел; Ивиш топнула ногой.

— У них только война на языке; они сами себя гонят воевать, и можно подумать, что этим гордятся. Пусть они проиграют эту войну, пусть проиграют хотя бы раз, только бы о ней больше не говорили.

Борис подавил зевок: вспышки Ивиш его больше не забавляли. Когда она была девушкой, одно удовольствие было смотреть, как она теребит волосы, топает ногами и косится, это могло развеселить на целый день. Теперь ее глаза оставались угрюмыми, казалось, в этом была некая нарочитость, в такие минуты Ивиш была похожа на их мать. «Она замужняя женщина, — с ужасом подумал Борис. — Замужняя женщина, со свекром и свекровью, с мужем на фронте и семейным автомобилем». Он недоуменно посмотрел на нее и отвел глаза, потому что почувствовал, что сейчас она вызовет у него отвращение. «Я уеду!» Он резко выпрямился: решение принято. «Я уеду, уеду с ними, я не могу больше оставаться во Франции». Ивиш что‑то говорила.

— Что? — спросил он.

— Родители.

— Так что?

— Я говорю, что им не надо было уезжать из России; ты меня не слушаешь.

— Если бы они остались, их бы засадили в тюрьму.

— Во всяком случае, они не должны были заставлять нас принимать гражданство. Мы могли бы уехать к себе домой.

— У себя дома — это во Франции, — сказал Борис.

— Нет, в России.

— Во Франции, потому что они нам дали французское гражданство.

— Вот именно, — сказала Ивиш. — Они не должны были этого делать.

— Да, но ведь сделали.

— Мне это все равно. Раз они не должны были этого делать, значит, этого как бы нет.

— Будь ты сейчас в России, — сказал Борис, — ты бы там на стенку лезла.

— Мне это было бы все равно, потому что Россия — большая страна, и я бы испытывала гордость. А здесь я живу в стыде.

Она на мгновение замолчала, вид у нее был нерешительный. Борис блаженно посмотрел на нее; у него не было ни малейшего желания ей противоречить. «Она будет вынуждена остановиться, — с надеждой подумал он. — Ей уже просто нечего добавить». Но у Ивиш было воображение: она подняла руку и сделала странный маленький бросок вперед, словно прыгала в воду.

— Ненавижу французов, — сказала она.

Господин, читавший рядом с ними газету, поднял голову и поглядел на них с рассеянным видом. Борис посмотрел ему прямо в глаза. Но почти сразу же господин встал: к нему подходила молодая женщина; он поклонился ей, она села, и они, улыбаясь, взяли друг друга за руки. Успокоенный, Борис повернулся к Ивиш. Это была большая коррида — Ивиш бормотала сквозь зубы:

— Я их ненавижу, ненавижу!

— Ты их ненавидишь, потому что они варят плохой кофе?

— Я их ненавижу за все.

Борис надеялся, что буря утихнет сама собой; но теперь стало ясно, что он ошибался и что нужно сопротивляться до последнего.

— А я их очень люблю, — сказал он. — Теперь, когда они проиграли войну, все на них будут нападать; но я их видел в деле, и уверяю тебя, что они сделали, что смогли.

— Вот видишь! — воскликнула Ивиш. — Вот видишь!

— Что я вижу?

— Почему ты говоришь: они сделали, что смогли? Если бы ты чувствовал себя французом, ты сказал бы мы.

Борис не сказал «мы» из скромности. Он покачал головой и нахмурил брови.

— Я не чувствую себя ни французом, ни русским, — ответил он. — Но я был там с другими солдатами, и мне с ними нравилось.

— Это кролики, — сказала она. Борис притворился, будто не понимает.

— Да, замечательные кролики[[9]](#footnote-9).

— Нет, нет: кролики, которые удирают. Вот так! — показала она, пробегая пальцами по столу.

— Ты как все женщины, замечаешь только воинский героизм.

— Не в этом дело. Раз они собрались воевать, нужно было воевать до конца.

Борис устало поднял руки: «Раз они собрались воевать, нужно было воевать до конца». Безусловно. Именно об этом он еще вчера говорил с Табелем и Франсийоном. Но… его

рука вяло опустилась: когда человек думает не так, как вы, трудно и утомительно доказывать ему, что он неправ. Но когда он придерживается вашего мнения, а ему нужно объяснить, что он ошибается, тут поневоле теряешься.

— Перестань, — попросил он.

— Кролики! — повторила Ивиш, улыбаясь от бешенства.

— Солдаты, которые были со мной, не были кроликами, — сказал Борис. — Там были даже отчаянные ребята.

— Ты мне говорил, что они боялись умереть?

— А ты? Ты не боишься умереть?

— Я женщина.

— Что ж, они боялись умереть, и это были мужчины. Это и называется храбростью. Они знали, чем рисковали.

Ивиш подозрительно посмотрела на него:

— Уж не хочешь ли ты сказать, что и ты боялся?

— Я не боялся умереть, потому что считал, что я за смертью туда и отправился.

Он посмотрел на свои ногти и равнодушно добавил:

— Но забавно то, что я все‑таки боялся. Ивиш резко дернулась назад.

— Но из‑за чего?

— Не знаю. Может быть, из‑за грохота.

Фактически это длилось не более десяти, от силы двадцати минут, как раз в начале атаки. Но он не разозлился, что Ивиш приняла его за труса: это будет ему уроком. Она с нерешительным видом смотрела на него, пораженная тем, что можно бояться, будучи русским, Сергиным, ее братом. В конце концов он устыдился и поспешил уточнить:

— Ну, я не все время боялся…

Она с облегчением ему улыбнулась, и он грустно подумал: «Мы больше ни в чем не согласны». Наступило молчание; Борис отпил глоток кофе и чуть не выплюнул: ему как будто влили в рот всю его грусть. Но он подумал, что скоро уедет, и ему полегчало.

— Что ты теперь собираешься делать? — спросила Ивиш.

— Думаю, меня демобилизуют, — сказал Борис. — Действительно, мы почти все вылечились, но нас держат здесь, потому что не знают, что с нами делать.

— А потом?

— Я… попрошу должность преподавателя.

— Разве у тебя есть диплом?

— Нет. Но я имею право быть преподавателем коллежа.

— Тебе будет интересно вести уроки?

— Какое там! — вырвалось у него. Он покраснел и смиренно добавил: — Я не создан для этого.

— А для чего ты создан, братик?

— Сам не знаю. Глаза Ивиш блеснули.

— Хочешь, я тебе скажу, для чего мы созданы? Чтобы быть богатыми.

— Это не то, — раздраженно сказал Борис.

Он искоса посмотрел на нее и повторил, сжимая в пальцах чашку:

— Это не то!

— Что же тогда то?

— Со мной было все решено, — сказал он, — но потом у меня украли мою смерть. Я ничего не умею, ни к чему не способен, у меня ни к чему нет вкуса.

Он вздохнул и замолчал, стыдясь говорить о себе самом: я не могу решиться жить посредственно. По существу, что‑то подобное она только что сказала.

Ивиш продолжала свою мысль.

— Значит, у Лолы нет денег? — спросила она.

Борис подпрыгнул и ударил по столу: у нее был дар читать его мысли и переводить их в неприемлемые выражения.

— Мне не нужны деньги Лолы!

— Почему? До войны она их тебе давала.

— Что ж, больше не будет давать.

— Тогда давай вместе наложим на себя руки! — пылко сказала она.

Он вздохнул. «Ну вот, теперь она начнет снова, — тоскливо подумал он. — А ведь она уже вышла из этого возраста». Ивиш с улыбкой посмотрела на него.

— Снимем комнату у Старого порта и откроем газ. Борис просто помахал указательным пальцем правой руки в знак отказа. Ивиш не настаивала; она опустила голову и принялась теребить локоны: Борис понял, что она хочет о чем‑то его спросить. Через некоторое время она, не глядя на него, сказала:

— Я подумала…

— Что?

— Я подумала, что ты возьмешь меня с собой, и мы будем жить втроем на деньги Лолы.

Борис, чуть не подавившись, проглотил слюну.

— А, — сказал он, — вот что ты подумала.

— Борис, — с внезапным жаром заговорила Ивиш, — я не могу жить с этими людьми.

— Они худо с тобой обращаются?

— Наоборот, они меня окружают чрезмерными заботами: ведь я — жена их сына, понимаешь… Но я их ненавижу, я ненавижу Жоржа, я ненавижу их слуг…

— Ты и Лолу ненавидишь, — заметил Борис.

— Лола — это другое.

— Другое потому, что она далеко, и ты ее не видела два года.

— Лола поет, и потом, она пьет, и потом, она красива… Борис! — крикнула она. — Они безобразны\*. Если ты оставишь меня в их руках, я покончу с собой, нет, я не покончу с собой, будет еще хуже. Если б ты знал, какой я иногда сама себе кажусь старой и злой!

«Вот те раз!» — подумал Борис. Он выпил немного кофе, чтобы слюна проскользнула в горло; он подумал: «Нельзя причинять страдание сразу двум людям». Ивиш перестала теребить волосы. Ее широкое бледное лицо порозовело, она твердо и тревожно смотрела на него, немного походя на прежнюю Ивиш. «Может быть, она снова помолодеет? Может быть, снова станет красивой?» Он сказал:

— При условии, что ты нам будешь готовить, страхолюдина.

Она схватила его за руку и изо всех сил сжала:

— Ты согласен?! Борис! Ты согласен?!

Я буду преподавателем в Гере. Нет, не в Гере: это лицей. В Кастельнодари. Я женюсь на Лоле: преподаватель коллежа не может жить с любовницей; с завтрашнего дня я начну готовить свои лекции. Он медленно провел рукой по волосам и осторожно потянул за чуб, чтобы проверить его прочность. «Я буду лысым, — решил он, — теперь это ясно: я полысею до того, как я умру».

— Естественно, я согласен.

Он видел, как ранним утром кружится самолет, и повторял про себя: «Утесы, красивые белые утесы, утесы Дувра».

#### ТРИ ЧАСА В ПАДУ

Матье сидел в траве; он наблюдал за черными клоками дыма над стеной. Время от времени в дыму поднималось огненное сердце и окрашивало его своей кровью: тогда искры прыгали в небо, как блохи.

— Так ведь они и пожар могут устроить, — сказал Шарло.

Бабочки сажи летали вокруг них; Пинетт поймал одну и задумчиво растер пальцами.

— Все, что осталось от картины с масштабом в десять тысячных, — сказал он, показывая свой почерневший большой палец.

Лонжен толкнул калитку и вошел в сад; он плакал.

— Лонжен плачет! — удивился Шарло. Лонжен вытер глаза.

— Сволочи! Я уж думал, что они меня прикончат.

Он рухнул на траву; в руке у него была книга с разорванной обложкой.

— Мне было нужно раздувать огонь кузнечным мехом, а они бросали в огонь свои бумаги. Весь дым шел мне в морду.

— Закончили?

— Нет. Нас прогнали, потому что будут жечь секретные документы. Тоже мне секрет: приказы, которые я сам и печатал.

— Это плохо пахнет, — сказал Шарло.

— Пахнет жареным.

— Нет, я говорю: раз жгут архивы, это плохо пахнет.

— Ну да: плохо пахнет, пахнет жареным. Я о том и говорю.

Они засмеялись. Матье показал на книгу и спросил:

— Где ты ее нашел?

— Там, — неопределенно сказал Лонжен.

— Где там? В школе? — Да.

Он с подозрительным видом прижал к себе книгу.

— А другие там есть? — спросил Матье.

— Были и другие, но типы из интендантской службы взяли их себе.

— А это что?

— Книжка по истории.

— Какая?

— Я не знаю названия.

Он бросил взгляд на обложку, потом неохотно добавил:

— История двух Реставраций.

— А кто автор? — спросил Шарло.

— Во‑ла‑белль, — прочел Лонжен.

— Волабелль, кто это?

— Откуда мне знать?

— Ты мне ее одолжишь? — спросил Матье.

— Когда прочту.

Шарло забрался в траву и взял у него книгу из рук.

— Так это же третий том! Лонжен вырвал ее.

— Ну и что? Зато можно хоть как‑то мысли переключить.

Он наугад открыл книгу и сделал вид, будто читает, чтобы утвердиться в правах владельца. Исполнив эту формальность, он поднял голову.

— Капитан сжег письма своей жены, — сказал он.

Он смотрел на них, подняв брови, с простодушным видом, заранее изображая глазами и губами удивление, которое рассчитывал вызвать. Пинетт очнулся от угрюмой задумчивости и с любопытством повернулся к нему:

— Кроме шуток?

— Да. И ее фотографии он тоже сжег, я их видел в огне. Она премиленькая.

— Неужели?

— Ну я врать не буду.

— Что он говорил?

— Ничего. Он смотрел, как они горят.

— А все остальные?

— Они тоже молчали. Улльрих вынул из бумажника письма и бросил их в огонь.

— Странная затея, — пробормотал Матье. Пинетт повернулся к нему:

— Ты не будешь жечь фотографии своей милой?

— У меня нет милой.

— А! Вот оно что.

— А ты сжег фотографии жены? — спросил Матье.

— Я жду, когда фрицы будут в поле зрения.

Они замолчали; Лонжен действительно углубился в чтение. Матье бросил на него завистливый взгляд и встал. Шарло положил руку на плечо Пинетта.

— Реванш?

— Если хочешь, давай.

— Во что играете? — спросил Матье.

— В крестики‑нолики.

— А втроем можно играть?

— Нет.

Пинетт и Шарло сели верхом на скамейку; сержант Пьерне, который писал что‑то на коленях, немного отодвинулся, чтобы освободить им место.

— Ты пишешь мемуары?

— Нет, — сказал Пьерне, — я занимаюсь физикой.

Они начали играть. Ниппер спал, лежа на спине и скрестив руки, с бульканьем слива воздух врывался в открытый рот. Шварц сидел в сторонке и мечтал. Никто не разговаривал, Франция была мертва. Матье зевнул, он посмотрел, как секретные документы дымом исчезают в небе, и его голова опустела: он был мертв; этот белый и тусклый послеполуденный час был могилой.

В сад вошел Люберон. Он жевал, его ресницы трепетали под большими глазами альбиноса, уши двигались одновременно с челюстями.

— Что ты ешь? — спросил Шарло.

— Хлеб.

— Где ты его взял?

Люберон вместо ответа показал куда‑то в сторону и продолжал жевать. Шарло внезапно замолчал и с каким‑то ужасом посмотрел на него; сержант Пьерне, подняв карандаш и запрокинув голову, тоже смотрел на него. Люберон продолжал не спеша жевать: Матье обратил внимание на его важный вид и понял, что тот принес новости; как и все, Матье испугался и отступил на шаг назад. Люберон мирно закончил есть и вытер руки о штаны. «Это был не хлеб», — подумал Матье. Подошел Шварц, и все молча ждали.

— Ну все, свершилось! — объявил Люберон.

— Что ты мелешь? — грубо спросил Пьерне. — Что свершилось?

— То самое.

— Значит… — Да.

Стальная молния, потом тишина; вялое сизое мясо этого дня получило знак вечности, это было как удар серпа. Ни звука, ни дуновения ветра, время застыло, война отступила: только что они были в ней, под ее защитой, они могли еще верить в чудеса, в бессмертную Францию, в американскую помощь, в гибкую защиту, во вступление России в войну; теперь война была позади них, закрытая, завершенная, проигранная. Последние надежды Матье превратились в воспоминания о надеждах.

Лонжен опомнился первым. Он вытянул длинные руки, чтобы осторожно как бы пощупать новость. Он робко спросил:

— Значит… оно подписано?

— С сегодняшнего утра.

Девять месяцев Пьерне желал мира. Мира любой ценой. Теперь Пьерне стоял бледный и потный; его удивление перешло в ярость.

— Откуда ты знаешь? — крикнул он.

— Мне только что сказал Гвиччоли.

— А он откуда знает?

— По радио слышал. Только что передавали.

Он говорил голосом диктора, терпеливым и нейтральным; ему нравилось изображать из себя всеведущего.

— А как же артиллерия?

— Прекращение огня назначено на полночь. Шарло тоже покраснел, но глаза его сверкали:

— Вот это да!

Пьерне встал. Он спросил:

— Есть подробности?

— Нет, — сказал Люберон. Шарло кашлянул:

— А мы?

— Что мы?

— Когда мы вернемся по домам?

— Говорю же тебе, что подробностей нет.

Они помолчали. Пинетт пнул булыжник, и тот покатился в морковку.

— Перемирие! — сказал он злобно. — Перемирие! Пьерне покачал головой; на его пепельном лице левое

веко стало дергаться, как ставень в ветреный день.

— Условия будут жесткими, — сказал он, удовлетворенно ухмыляясь.

Начали ухмыляться и все остальные.

— Еще бы! — сказал Лонжен. — Еще бы!

Шварц тоже ухмыльнулся; Шарло повернулся и удивленно посмотрел на него. Шварц перестал смеяться и сильно покраснел. Шарло продолжал смотреть на него так, как будто видел его в первый раз.

— Ты теперь фриц… — тихо сказал он.

Шварц энергично и неопределенно махнул рукой, повернулся и вышел из сада; Матье почувствовал себя совсем разбитым от усталости. Он рухнул на скамейку.

— Ну и жара, — сказал он.

На нас смотрят. Все более и более плотная толпа смотрела, как они глотают эту историческую пилюлю, толпа на глазах старела и пятилась назад, шепча: «Побежденные сорокового года, солдаты‑пораженцы, из‑за них мы оказались в цепях». Они оставались здесь, неизменные под этими изменчивыми взглядами, судимые, точно измеренные, объясненные, обвиненные, прощенные, приговоренные, заточенные в этом неизгладимом полудне, погребенные в жужжании мух и пушек, в запахе нагретой зелени, в воздухе, дрожащем над морковью, бесконечно виновные в глазах своих сыновей, внуков и правнуков, побежденные сорокового года навсегда. Он зевнул, и миллионы людей увидели, как он зевает: «Он зевает, ну и дела! Побежденный сорокового года имеет наглость зевать!» Матье резко погасил этот неудержимый зевок, он подумал: «Мы не одни».

Он посмотрел на своих товарищей, его взгляд столкнулся с вечным и цепенящим взглядом истории: в первый раз величие спустилось им на головы: они были знаменитыми солдатами проигранной войны. Живые истуканы! «Боже мой, я читал, зевал, размахивал погремушкой своих проблем, не решался выбрать, а на самом деле я уже выбрал, выбрал эту войну, это поражение, и в сердце ждал этого дня. Все нужно начинать заново, делать больше нечего»: две мысли вошли одна в другую и взаимоуничтожились; осталась лишь спокойная поверхность Небытия.

Шарло тряхнул плечами и головой; он засмеялся, и время снова потекло. Шарло смеялся, он смеялся вопреки Истории, он защищался смехом от окаменения; он лукаво смотрел на них и говорил:

— Хорошо же мы выглядим, ребята. Что‑что, а выглядим мы хорошо.

Они озадаченно повернулись к нему, и потом Люберон решил засмеяться. Он морщил нос, еле сдерживаясь, и смех выходил у него через ноздри:

— Что да, то да! Как они с нами разделались!

— Вздули что надо! — в каком‑то опьянении воскликнул Шарло. — Всыпали по первое число!

В свою очередь, засмеялся Лонжен:

— Солдаты сорокового, или короли спринта!

— Победители!

— Олимпийские чемпионы по ходьбе!

— Не волнуйтесь, — сказал Люберон, — нас хорошо примут, когда вернемся, организуют нам торжественную встречу!

Лонжен издал счастливый хрип:

— Нас придут встречать на вокзал! С хоровой капеллой и гимнастическими группами.

— А каково мне, еврею! — смеясь до слез, сказал Шарло. — Представляете себе антисемитов из моего квартала!

Матье заразился этим неприятным смехом, ему показалось, что его, дрожащего от лихорадки, бросили на ледяные простыни; потом его вечное и прочное естество разбилось, разлетелось на осколки смеха. Смеясь, они отказывались от перспективы величия, отказывались во имя озорства; не следует слишком волноваться, раз есть здоровье, питье и еда, а раз так, можно пренебречь одной половиной мира и насрать на другую, из суровой ясности они отказывались от утешений величия, они отказывали себе в праве играть трагические, нет, исторические, нет: всего лишь комические роли, мы не стоим и слезинки; все предопределено: даже этого нет, в мире все случайно. Они смеялись, натыкаясь на стены Абсурда и Судьбы, которые их отшвыривали; они смеялись, чтобы наказать себя, очиститься, отомстить за себя, бесчеловечные, слишком человечные, по ту и другую сторону отчаяния: просто люди. Еще на мгновенье они невольно бросили упрек лазури за свои неудачи: Ниппер по‑прежнему храпел с открытым ртом, и храп его тоже был жалобой. Но вскоре их смех отяжелел, загустел, остановился после нескольких финальных взрывов: церемония закончена, перемирие признано; их после санкционировано. Время текло медленно, отвар, остуженный солнцем: нужно было снова начинать жить.

— Вот так! — сказал Шарло.

— М‑да, — хмыкнул Матье.

Люберон украдкой вытащил руку из кармана, приложил ее к губам и зажевал; его челюсти прыгали под кроличьими глазами.

— Вот так, — сказал он. — Вот так. Пьерне принял победный и хвастливый вид:

— Что я вам говорил?

— А что ты нам говорил?

— Не стройте из себя идиотов. Деларю, ты помнишь, что я тебе говорил после нападения на Финляндию? И после Нарвика, помнишь? Ты считал, что я каркаю, а так как ты половчее меня, то меня всегда сбивал с толку.

Он порозовел, за стеклами очков его глаза сверкали от обиды и гордости.

— Не нужно было ввязываться в эту войну. Я всегда говорил, что не нужно в нее ввязываться: тогда бы мы не докатились до такого.

— Было бы еще хуже, — сказал Пинетт.

— Хуже быть не могло: нет ничего хуже войны.

Он вкрадчиво потирал руки, лицо его излучало невинность; он потирал руки, он умывал руки, отрекаясь от этой войны, он в ней не участвовал, он даже ее не прожил; он дулся десять месяцев, отказываясь видеть, говорить, чувствовать, протестуя против приказов тем, что выполнял их с маниакальным рвением, рассеянный, нервный, напыщенный, бездушный. Теперь он был сполна вознагражден за все. У него были чистые руки, и его предсказания сбылись: побежденными были другие, Пинетты, Любероны, Деларю и прочие. Но не он. Губы Пинетта дрожали.

— Так что? — прерывающимся голосом сказал он. — Все хорошо? Ты доволен?

— Кто, я?

— Ну что, получил свое поражение?

— Мое поражение? Скажешь тоже, оно такое же твое, как и мое.

— Ты надеялся на него: оно твое. Мы же на него не надеялись и не хотим тебя его лишать.

Пьерне улыбнулся улыбкой непонятого человека.

— Кто тебе сказал, что я на него надеялся? — терпеливо спросил он.

— Ты сам и сказал — только что.

— Я сказал, что я его предвидел. Предвидеть и надеяться — две разные вещи, разве не так?

Пинетт, не отвечая, смотрел на него, все его лицо осело, губы вытянулись трубочкой; он вращал большими красивыми зачарованными глазами. Пьерне продолжал защищаться:

— А зачем мне на него надеяться? Докажи! Может, я из пятой колонны?

— Ты пацифист, — выдавил из себя Пинетт.

— Ну и что?

— Это одно и то же.

Пьерне пожал плечами и изнеможенно развел руками. Шарло подбежал к Пинетту и обнял его за шею.

— Не ссорьтесь, — благодушно сказал он. — К чему спорить? Мы проиграли, это не наша вина, никто не должен ни в чем себя упрекать. Это общее несчастье, вот и все.

У Лонжена появилась улыбка дипломата:

— Разве это несчастье?

— Да! — примирительно сказал Шарло. — Нужно быть справедливым: это несчастье. Большое несчастье. Но как ни верти, я говорю себе: каждому свой черед. Последний раз выиграли мы, на сей раз они, в следующий раз снова будем мы.

— Следующего раза не будет, — сказал Лонжен.

Он поднял палец и с саркастическим видом добавил:

— Мы воевали последнюю из последних войн, вот истина. Победителям или побежденным, ребяткам сорокового года удалось то, что не удалось их папашам. Покончено с нациями. Покончено с войнами. Сегодня на коленях мы; завтра будут англичане, немцы захватят все, везде установят свой порядок — и вперед к Соединенным Штатам Европы.

— Соединенные Штаты Моей Задницы, — сказал Пинетт. — Все станут холуями Гитлера.

— Гитлера? А что такое Гитлер? — высокомерно спросил Лонжен. — Естественно, он был нужен. Как придут к согласию страны, если их оставить свободными? Они ведь как люди — каждый тянет в свою сторону. Но кто будет говорить о твоем Гитлере через сто лет? К тому времени он сдохнет, а с ним и нацизм.

— Мать твою! — крикнул Пинетт. — А кто их проживет, эти сто лет?!

Лонжен был явно возмущен:

— Нельзя так думать, дуралей — нужно смотреть немного дальше кончика своего носа: следует думать и о послезавтрашней Европе.

— А эта послезавтрашняя Европа даст мне пожрать? Лонжен умиротворяюще поднял руку и помахал ею на солнце.

— Хватит! — сказал он. — Хватит! Ловкачи выпутаются всегда.

Пастырская рука опустилась и погладила вьющиеся волосы Шарло:

— Ты думаешь иначе?

— Я, — сказал Шарло, — думаю, что раз уж пришли к перемирию, надо подписать его побыстрее: меньше убитых, да и фрицы не успеют остервенеть.

Матье смотрел на него с недоумением. Все! Все мгновенно переменились: Шварц стал другим, Ниппер уцепился за дрему, Пинетт спасался яростью, Пьерне — невинностью, Люберон под сурдинку жрал, затыкал все свои дырки жратвой; Лонжен ушел в иные времена. Каждый из них поспешно выработал себе позицию, которая позволяла ему жить. Матье резко встал и громко сказал:

— Вы мне отвратительны!

Они посмотрели на него без удивления, жалко улыбаясь: он был удивлен больше, чем они; фраза еще звучала в воздухе, а он дивился, как он мог ее произнести. Мгновенье он колебался между смущением и гневом, затем выбрал гнев: он повернулся к ним спиной, толкнул калитку и перешел через дорогу. Она была ослепительной и пустой; Матье прыгнул в ежевику, которая вцепилась ему в обмотки, и спустился по склону перелеска до ручья. «Дерьмо!» — сказал он громко. Он посмотрел на ручей и повторил: «Дерьмо! Дерьмо!», сам не зная почему. В ста метрах от него, в полосках солнца, голый по пояс, солдат стирал свое белье, он там, он посвистывает, он месит эту влажную муку, он проиграл войну, и он этого не знает. Матье сел; ему было стыдно: «Кто дал мне право быть таким суровым? Они только что узнали, что разбиты, они выпутываются, как могут, потому что для них это внове. У меня же есть навык, но от этого я не стою больше. И помимо всего, я тоже выбрал бегство. И злость». Он услышал легкий хруст — Пинетт сел у края воды. Он улыбнулся Матье, Матье улыбнулся ему, и они долго молчали.

— Посмотри на того парня, — сказал Пинетт. — Он еще ничего не знает.

Солдат, согнувшись над водой, с прилежным упорством стирал белье; реликтовый самолет урчал над ними. Солдат поднял голову и сквозь листву посмотрел на небо с рассмешившей их боязнью: эта маленькая сцена имела живописность исторического свидетельства.

— Скажем ему?

— Нет, — сказал Матье, — пусть не знает и дальше.

Они замолчали. Матье погрузил руку в воду и пошевелил пальцами. Его рука была бледной и серебристой, с голубым ореолом неба вокруг. На поверхность поднялись пузырьки. Травинка, принесенная соседним водоворотом, кружась, приклеилась к его запястью, подпрыгнула, снова приникла. Матье вынул руку.

— Жарко, — сказал он.

— Да, — согласился Пинетт. — Все время тянет спать.

— Ты хочешь спать?

— Нет, но постараюсь.

Он лег на спину, заложил руки за голову и закрыл глаза. Матье погрузил сухую ветку в ручей и пошевелил ею. Через некоторое время Пинетт открыл глаза.

— Черт!

Он встал и обеими руками начал ерошить волосы.

— Не могу уснуть.

— Почему?

— Я злюсь.

— В этом нет ничего дурного, — успокоил его Матье. — Это естественно.

— Когда я злюсь, — сказал Пинетт, — мне нужно подраться, иначе я задыхаюсь.

Он с любопытством посмотрел на Матье:

— А ты не злишься?

— Конечно, злюсь.

Пинетт склонился над башмаками и стал их расшнуровывать.

— Я даже ни разу не выстрелил из винтовки, — с горечью произнес он.

Он снял носки, у него были по‑детски маленькие нежные ступни, пересеченные полосками грязи.

— Приму‑ка я ножную ванну.

Он смочил правую ступню, взял ее в руку и начал тереть. Грязь сходила шариками. Вдруг он снизу посмотрел на Матье.

— Они нас найдут, да? Матье кивнул.

— И уведут к себе?

— Скорее всего.

Пинетт яростно растирал ногу.

— Без этого перемирия меня так легко не одолели бы.

— Что бы ты сделал?

— Я бы им показал!

— Какой бычок! — усмехнулся Матье.

Они улыбнулись друг другу, но Пинетт вдруг помрачнел, и в его глазах мелькнуло недоверие.

— Ты сказал, что мы тебе отвратительны.

— Я не имел в виду тебя.

— Ты имел в виду всех. Матье все еще улыбался.

— Ты со мной собираешься драться? Пинетт, не отвечая, наклонил голову.

— Бей, — предложил Матье. — Я тоже ударю. Может, это нас успокоит.

— Я не хочу причинять тебе боль, — раздраженно возразил Пинетт.

— Как хочешь.

Левая ступня Пинетга блестела от воды и солнца. Они оба на нее посмотрели, и Пинетт зашевелил пальцами ноги.

— У тебя забавные ступни, — сказал Матье.

— Совсем маленькие, да? Я могу взять коробок спичек и открыть его.

— Пальцами ног? — Да.

Он улыбался; но приступ бешенства вдруг сотряс его, и он грубо вцепился в лодыжку.

— Я так и не убью ни одного фрица! Скоро они припрутся, и им останется только меня задержать!

— Что ж, это так, — сказал Матье.

— Но это несправедливо!

— Это ни несправедливо, ни справедливо — это просто факт.

— Это несправедливо: мы расплачиваемся за других, за парней из армии Кора и за Гамелена.

— Будь мы в армии Кора, мы поступили бы так же, как‑они.

— Говори за себя!

Он расставил руки, шумно вдохнул, сжал кулаки, и надувая грудь, высокомерно посмотрел на Матье:

— Разве у меня такая рожа, чтобы удирать от врага? Матье ему улыбнулся:

— Нет.

Пинетт напряг продолговатые бицепсы светлых рук и некоторое время наслаждался своей молодостью, силой, храбростью. Он улыбался, но глаза его оставались беспокойными, а брови нахмуренными.

— Я бы погиб в бою.

— Так всегда говорят.

Пинетт улыбнулся и умер: пуля пронзила ему сердце. Мертвый и торжествующий, он повернулся к Матье. Статуя Пинетта, погибшего за родину, повторила:

— Я бы погиб в бою.

Вскоре энергия и гнев снова разогрели это окаменевшее тело.

— Я не виноват! Я сделал все, что мне предписали. Не моя вина, что меня не смогли толком использовать.

Матье смотрел на него с какой‑то нежностью; Пинетт был прозрачным на солнце, жизнь поднималась, опускалась, вращалась так быстро в голубом дереве его вен, он, должно быть, чувствовал себя таким худым, таким здоровым, таким легким: как он мог подумать о безболезненной болезни, которая уже начала его глодать, которая согнет его свежее молодое тело над силезскими картофельными полями или на автодорогах Померании, которая заполнит его усталостью, грустью и тяжестью. Поражению учатся.

— Я ничего ни у кого не просил, — продолжал Пинетт. — Я спокойно делал свою работу; я не был против фрицев, я их в глаза не видывал; нацизм, фашизм — я даже не знал, что это такое; а когда я в первый раз увидел на карте этот самый Данциг, я был уже мобилизован. Ладно, наверху есть Даладье, который объявляет войну, и Гамелен, который ее проигрывает. А что там делаю я? В чем моя вина? Может, ты думаешь, они со мной посоветовались?

Матье пожал плечами:

— Уже пятнадцать лет все видели, что война приближается. Нужно было вовремя умело взяться, чтобы избежать ее или выиграть.

— Я не депутат.

— Но ты голосовал.

— Конечно, — неуверенно ответил Пинетт.

— За кого? Пинетт промолчал.

— Вот видишь, — сказал Матье.

— Мне нужно было пройти военную службу, — раздраженно оправдывался Пинетт. — А потом я заболел: я мог проголосовать только один раз.

— А в тот раз ты это сделал? Пинетт не ответил. Матье улыбнулся.

— Я тоже не голосовал, — тихо сказал он.

Выше по течению солдат выжимал рубашки. Он их завернул в красное полотенце и, посвистывая, поднялся на дорогу.

— Узнаешь, какую песенку он насвистывает?

— Нет, — ответил Матье.

— «Мы будем сушить белье на линии Зигфрида». Оба засмеялись. Пинетт, казалось, немного успокоился.

— Я добросовестно работал, — сказал он. — И не всегда досыта ел. Потом я нашел это место на транспорте и женился: жену‑то мне нужно кормить, а? Знаешь, она из хорошей семьи. Хотя поначалу между нами не все ладилось… Потом, — живо добавил он, — все утряслось; я вот к чему клоню: нельзя же заниматься всем одновременно.

— Конечно, нет! — согласился Матье.

— Как я мог поступить иначе?

— Никак.

— У меня не было времени заниматься политикой. Я возвращался домой усталый как собака, потом шли ссоры; к тому же, если ты женат, надо ублажать жену каждый вечер, разве нет?

— Наверное, да.

— Так что ж?

— А ничего. Вот так и проигрывают войну. Пинеттом овладел новый приступ злобы.

— Не смеши меня! Даже если бы я занимался политикой, даже если бы я только это и делал, что бы изменилось?

— По крайней мере, ты бы сделал все возможное.

— А ты сделал? — Нет.

— А если бы и сделал, ты сказал бы, что это не ты проиграл войну?

— Нет.

— Так как же?

Матье не ответил, он услышал дрожащее пение комара и помахал рукой на уровне лба. Пение прекратилось. «В самом начале я тоже думал, что эта война — болезнь. Какая глупость! Это я, это Пинетт, это Лонжен. Для каждого из нас это он сам; она сделана по нашему образу и подобию, и у нас та война, которую мы заслужили». Пинетт длинно шмыгнул носом, не спуская взгляда с Матье; Матье подумал, что у него глупый вид, но разъярился против себя. «Довольно! Довольно! Мне надоело слыть человеком, который ясно все понимает!» Комар танцевал вокруг его лба — смехотворный венец славы. «Если бы я воевал, если бы я нажал на гашетку, где‑то упал бы человек…» Он дернул рукой и залепил себе хороший шлепок по виску; он опустил руку и увидел на указательном пальце крошечное кровавое кружевце, человек, у которого кровью истекает жизнь на булыжники, шлепок по виску, указательный палец нажимает на курок, разноцветные стекла калейдоскопа резко останавливаются, кровь испещряет траву на тропинке, мне надоело! Мне надоело! Углубиться в неизвестное действие, как в лес. Действие. Действие, которое возлагает ответственность и которое никогда полностью не понимаешь. Он страстно проговорил:

— Если бы что‑то нужно было сделать…. Пинетт с интересом посмотрел на него:

— Что?

Матье пожал плечами.

— Нет, ничего, — ответил он. — В данный момент — ничего.

Пинетт надевал носки; его белесые брови хмурились. Он вдруг спросил:

— Я тебе показывал свою жену?

— Нет, — сказал Матье.

Пинетт встал, порылся в кармане кителя и вынул из бумажника фото. Матье увидел довольно красивую женщину с суровым выражением лица и намечающимися усиками. Поперек фотографии она написала: «Дениза — своей куколке, 12 января 1939 года».

Пинетт покраснел:

— Она меня так называет. Не могу ее от этого отучить.

— Но хоть как‑то она должна тебя называть.

— Это потому, что она старше меня на пять лет, — с достоинством пояснил Пинетт.

Матье вернул ему фотографию.

— Она хороша.

— В постели она потрясающая, — сказал Пинетт. — Ты даже не можешь себе представить.

Он еще больше покраснел. Потом смущенно добавил:

— Она из хорошей семьи.

— Ты мне это уже говорил.

— Да? — удивился Пинетт. — Я тебе это уже говорил? Я тебе говорил, что ее отец был преподавателем рисования?

— Да.

Пинетт старательно положил фото в бумажник.

— Меня это огорчает.

— Что тебя огорчает?

— Ей будет неприятно такое мое возвращение. Он скрестил руки на коленях.

— Хватит тебе! — сказал Матье.

— Ее отец — герой войны четырнадцатого года, — продолжал Пинетт. — Три благодарности в приказе, награжден крестом. Он об этом все время говорит.

— Ну и что?

— А то, что ей будет неприятно такое мое возвращение.

— Бедный дурачок, — сказал Матье. — Ты вернешься еще не скоро.

Гнев Пинетта выветрился. Он грустно покачал головой.

— Лучше уж так. Я не хочу возвращаться.

— Бедный дурачок, — повторил Матье.

— Она меня любит, — говорил Пинетт, — но у нее трудный характер: она много о себе воображает. Да еще ее мамаша королеву из себя корчит. Жена должна тебя уважать, верно? Иначе она устроит из дома ад.

Он вдруг встал:

— Мне надоело здесь. Ты идешь?

— Куда это?

— Не знаю. К остальным.

— Пойдем, если хочешь, — неохотно согласился Матье. Он, в свою очередь, встал, они поднялись к дороге.

— Смотри‑ка, — сказал Пинетт, — вот Гвиччоли. Гвиччоли, расставив ноги, приставив руку козырьком

ко лбу и смеясь, смотрел на них.

— Вот это шутка! — сказал он. — Что?

— Вот это шутка! Попались, как дураки.

— Ты о чем это?

— О перемирии, — все еще смеясь, сказал Гвиччоли. Пинетт засветился:

— Это была шутка?

— Маленькая такая! — сказал Гвиччоли. — Люберон притащился к нам надоедать; он хотел новостей, ну мы ему их и дали.

— Значит, — оживился Пинетт, — никакого перемирия нет?

— Перемирия нет и в помине.

Матье краем глаза посмотрел на Пинетта:

— Что это меняет?

— Это меняет все, — сказал Пинетт. — Вот увидишь! Вот увидишь — это меняет все.

#### ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Никого на бульваре Сен‑Жермен; никого на улице Дантона. Железные шторы даже не опущены, витрины сверкают: просто хозяева, уходя, сняли щеколду с дверей. Было воскресенье. Уже три дня было воскресенье: на всю неделю в Париже был только один день. Совершенное воскресенье, какое‑то немного более напряженное, чем обычно, немного более искусственное, слишком молчаливое, уже полное тайного застоя. Даниель подходил к большому магазину шерстяных изделий и тканей; разноцветные клубки, расположенные пирамидой, начали желтеть, они пахли чем‑то старым; в соседней лавке выцветали пеленки и блузки; мучнистая пыль скапливалась на полках. Длинные белые дорожки бороздили стекла. Даниель подумал: «Стекла плачут». За стеклами царил праздник: жужжали мириады мух. Воскресенье. Когда парижане вернутся, они найдут гнилое, упавшее на их мертвый город воскресенье. Если только они вернутся! Даниель дал волю страстному желанию хохотать, желанию, с которым он с утра прогуливался по улицам. Если только они вернутся!

Маленькая площадь Сент‑Андре‑дез‑Ар лениво предавалась солнцу: среди ясного света была темная ночь. Солнце — это искусственность, вспышка магния, которая прячет ночь, оно должно погаснуть через двадцатую долю секунды, но почему‑то не гаснет. Даниель прижал лоб к большой витрине Эльзасской пивной, я здесь завтракал с Матье: это было в феврале, во время его отпуска, здесь все кишело героями и ангелами. Он в конце концов различил в полумраке колеблющиеся пятна: это были бумажные скатерти на подвальных столиках‑грибах. Где герои? Где ангелы? Два железных стула остались на террасе; Даниель взял один за спинку, отнес на край тротуара и сел, как рантье, под военным небом, в этой белой жаре, которая была пронизана воспоминаниями детства. Он чувствовал, как в спину магнетически давит тишина, он смотрел на пустынный мост, на запертые на висячий замок ящики набережных, на башенные часы без стрелки. «Они должны были бы ударить по всему этому, — подумал он. — Всего несколько бомб, чтобы нагнать на нас страху». Чей‑то силуэт проскользнул вдоль префектуры полиции по другую сторону Сены, словно несомый движущимся тротуаром. Строго говоря, Париж не был пуст: он был населен маленькими минутами‑поражениями, которые брызгами разлетались во всех направлениях и тотчас же поглощались под этим светом вечности. «Город полый», — подумал Даниель. Он чувствовал под ногами галереи метро, за собой, перед собой, над собой — дырявые скалы: между небом и землей тысячи гостиных в стиле Луи‑Филипп, столовые в стиле ампир, угловые диваны скрипели в запустении, можно было помереть со смеху. Он резко обернулся: кто‑то стукнул по витрине. Даниель долго смотрел на большую витрину, но увидел только свое отражение. Он встал со сжавшимся от странной тревоги горлом, но не слишком недовольный: забавно испытывать ночные страхи среди бела дня. Он подошел к фонтану Сен‑Мишель и посмотрел на позеленевшего дракона. Он подумал: «Все дозволено». Он мог спустить брюки под стеклянным взглядом всех этих черных окон, вырвать камень из мостовой и бросить его в витрину пивной, он мог крикнуть: «Да здравствует Германия!», и ничего не произойдет. Самое большее на седьмом этаже какого‑нибудь здания к окну прильнет испуганное лицо, но это останется без последствий, у них не осталось сил возмущаться: приличный человек наверху повернется к жене и равнодушно скажет: «На площади какой‑то тип снял штаны», а она из глубины комнаты ему ответит: «Не стой у окна, мало ли что может произойти». Даниель зевнул. Может, разбить витрину? Лучше будет видно, когда начнется грабеж. «Надеюсь, — подумал он, — они все предадут огню и зальют кровью». Даниель еще раз зевнул: он чувствовал в себе беспредельную и тщетную свободу. Мгновениями радость обжигала ему сердце.

Когда он удалялся, с улицы де ла Юшетт вывернула целая процессия. «Теперь они перемещаются обозами». С утра это уже десятый. Даниель насчитал девять человек: две старухи несли плетеные корзинки, две девочки, трое усачей, суровых и жилистых; за ними шли две молодые женщины, одна красивая и бледная, другая восхитительно беременная, с полуулыбкой на губах. Они шли медленно, никто не разговаривал. Даниель кашлянул, и они обернулись к нему все разом: в их глазах не было ни симпатии, ни осуждения, одно лишь недоверчивое удивление. Одна из девочек наклонилась к другой, не переставая смотреть на Даниеля, она прошептала несколько слов, и обе восхищенно засмеялись; Даниель чувствовал себя кем‑то необычным, серной, остановившей на альпинистах медленный девственный взгляд. Они же, отжившие, призраками прошли и сгинули в пустоте. Даниель пересек мостовую и облокотился на каменный парапет у входа на мост Сен‑Мишель. Сена сверкала; очень далеко на северо‑западе над домами поднимался дым. Внезапно зрелище показалось ему невыносимым, он развернулся, двинулся назад и стал подниматься по бульвару.

Процессия исчезла. Молчание и пустота насколько хватает глаз: горизонтальная бездна. Даниель устал, улицы шли в никуда; без людей все они были похожи друг на друга. Бульвар Сен‑Мишель, вчера еще длинная золотая лава, казался дохлым китом брюхом кверху. Даниель чеканил шаги по этому толстому, полому и вздутому животу; он принудил себя вздрогнуть от наслаждения и громко сказал: «Я всегда ненавидел Париж». Напрасно: вокруг ничего живого, кроме зелени, кроме больших зеленых лап каштанов; у него было пресное и слащавое ощущение, что он идет по подлеску. Его уже коснулось гнусное крыло скуки, когда он, к счастью, увидел бело‑красный плакат, приклеенный к забору. Он подошел и прочел: «Мы победим, потому что мы сильнее всех!», развел руками и улыбнулся с наслаждением и облегчением: они бегут, они бегут, они продолжают бежать. Он поднял голову и обратил улыбку к небу, он дышал полной грудью: процесс, длившийся уже двадцать лет, шпионы, затаившиеся всюду, чуть ли не под его кроватью; каждый прохожий был свидетелем обвинения, судьей или тем и другим одновременно; все, что он говорил, могло быть обращено против него. И вдруг — это беспорядочное бегство. Они бегут, свидетели, судьи, так называемые порядочные люди, они бегут под солнцем, и лазурь грозит им самолетами. Стены Парижа еще кричали о гордости и заслугах: мы самые сильные, самые добродетельные, столпы демократии, защитники Польши, человеческого достоинства и гетеросексуальности, железный путь будет прегражден[[10]](#footnote-10), мы будем сушить белье на линии Зигфрида. На стенах Парижа плакаты еще трезвонили о выдохшейся славе. Но они, они бегут, обезумев от страха, они распластываются в траншеях. Они будут молить о пощаде, о прощении. Но при этом они будут уверены, что честь останется при них, еще бы, все потеряно, кроме чести, вот мой зад, можете дать мне пинка, но честь неприкосновенна, хотя ради сохранения собственной жизни я буду лизать вам сапоги. Они бегут, они уползают. А я, воплощение порока, царю над их городом.

Он шел, опустив глаза, он ликовал, он слышал, как совсем рядом с ним по мостовой скользили машины, он думал: «Марсель сейчас подтирает своего ребенка в Даксе, Матье, должно быть, в плену. Брюне, вероятно, погиб, все мои свидетели мертвы или рассеяны; я торжествую…» Вдруг у него мелькнуло: «Откуда машины?» Он резко поднял голову, сердце его гулко забилось, и он увидел их. Они стояли, чистые и важные, по пятнадцать или по двадцать солдат на длинных грузовиках с маскировкой, которые медленно катились к Сене, они проезжали, прямые, стоя, они скользнули по нему невыразительным взглядом, а за ними ехали другие, другие ангелы, совсем одинаковые и одинаково на него смотревшие. Даниель услышал издалека военную музыку, ему показалось, что все небо заполняется военными флагами, и он вынужден был опереться на ствол каштана. Один на этом длинном проспекте, один француз, один гражданский, а на него взирает вся вражеская армия. Он не боялся, он доверчиво отдавался этим тысячам глаз, он думал: «Наши победители!», и его обуяло наслаждение. Он стойко ответил на их взгляд, он навек усладился этими светлыми волосами, этими загорелыми лицами с глазами, подобными ледниковым озерам, этими узкими талиями, этими невероятно длинными и мускулистыми бедрами. Он прошептал: «Как они красивы!» Он уже не касался земли, они подхватили и подняли его, они прижимали его к груди и к плоским животам. С высоты что‑то покатилось кубарем: это был древний закон. Рухнуло общество судей, стерт приговор; беспорядочно бегут жалкие солдаты в хаки, защитники прав человека и гражданина. «Какая свобода!» — подумал он, и его глаза увлажнились. Он был единственным уцелевшим после краха. Единственный человек перед этими ангелами ненависти и гнева, этими смертоносными ангелами, взгляд которых возвращал ему детство. «Вот новые судьи, — подумал он, — вот новый закон!» Какими ничтожными казались над их головой чудеса мягкого неба, невинность маленьких кучевых облаков: это была победа презрения, насилия, злонамеренности, это была победа Земли. Прошел танк, величественный и медленный, покрытый листвой, он едва урчал. Сзади на нем сидел совсем молодой парень; набросив китель на плечи, закатав до локтя рукава гимнастерки, он скрестил на груди красивые голые руки. Даниель ему улыбнулся, парень с суровым видом долго смотрел на него, потом вдруг, когда танк уже удалялся, тоже начал улыбаться. Он быстро порылся в кармане брюк и бросил какой‑то маленький предмет, который Даниель поймал на лету: это была пачка английских сигарет. Даниель так сильно стиснул пачку, что почувствовал, как сигареты крошатся под его пальцами. Он все улыбался. Невыносимое и сладостное волнение поднялось от бедер и застучало в висках; взгляд его затуманился, он, немного задыхаясь, повторял: «Как нож в масло, они входят в Париж, как нож в масло». Перед его затуманенным взглядом прошли другие, новые лица, потом еще и еще, все такие же красивые; они нам причинят Зло, начинается царство Зла, царство наслаждения! Ему хотелось быть женщиной, чтобы бросать им цветы!

Крикливый взлет чаек, мать твою, дёру, дёру, улица опустела, шум кастрюль заполнил ее до краев, стальная молния избороздила небо, они проходят между домами, Шарло, прильнув к Матье, крикнул ему в темноте риги: они летят на бреющем полете. Жадные и апатичные чайки слегка покружили над деревней, ища добычу, потом улетели, волоча за собой свою кастрюлю, которая прыгала с крыши на крышу, затем осторожно выглянули лица, люди выходили из риги, из домов, иные прыгали в окна, все кишело, точно на ярмарке. Тишина. Они все были здесь в тишине, почти сто человек, инженерные части, радисты, разведчики, телефонисты, секретари, наблюдатели, все, кроме шоферов, которые со вчерашнего дня ждали за баранками своих машин; они сели — для какого спектакля? — посреди дороги, поджав ноги, так как дорога была мертва и машины больше не проходили по ней, одни сели на обочине, на подоконники, а другие стояли, прислонившись к стенам домов. Матье сидел на скамеечке у бакалейного магазина; Шарло и Пьерне присоединились к нему. Все молчали, они собрались, чтобы быть вместе и смотреть друг на друга; они видели друг друга такими, какими были: большая ярмарка, слишком спокойная толпа с сотней побледневших лиц; улица обугливалась от солнца, корчилась под развороченным небом, жгла пятки и ягодицы; люди отдались на волю солнца; генерал остановился у врача: третье окно второго этажа было его глазом, но они плевали на генерала, они смотрели друг на друга и внушали друг другу страх. Они страдали от сдерживаемого порыва куда‑то двигаться, никто об этом не говорил, но ожидание гулкими ударами стучало им в грудь, его ощущали в руках, в бедрах, оно было болезненным, как ломота, это был волчок, который крутился в сердцах. Кто‑то из них вздохнул, точно собака, которой снится сон; он сказал во сне: «В интендантстве есть мясные консервы». Матье подумал: «Да, но их приказано охранять жандармам», а Гвиччоли ответил вслух: «Эх ты, дурень, там поставили жандармов охранять дверь». Другой мечтательно и сонно проговорил: «Вон булочная, там есть хлеб, я видел буханки, но хозяин забаррикадировал свою лавку». Матье продолжил сон, но молча: он представил себе турнедо, и его рот наполнился слюной; Гримо немного приподнялся, показал на ряды закрытых ставней и сказал: «Что у них случилось в этом захолустье? Вчера они с нами разговаривали, теперь прячутся». Накануне дома зевали, как устрицы, теперь они захлопнулись; внутри мужчины и женщины притворялись мертвыми, потели в темноте и ненавидели их; Ниппер сказал: «Если нас победили, это не значит, что мы чумные». В желудке у Шарло заурчало, Матье сказал: «У тебя желудок урчит». И Шарло ответил: «Он не урчит, он вопит». Резиновый мячик влетел в их круг, Латекс поймал его на лету, затем появилась маленькая девочка лет пяти‑шести и робко посмотрела на него. «Это твой мячик? — спросил Латекс. — На, возьми его». Все смотрели на нее, Матье захотелось посадить ее на колени; Латекс постарался смягчить свой голос: «Ну, иди сюда! Иди ко мне на колени». Отовсюду послышался шепот: «Иди! Иди! Иди!» Малышка не шевелилась. «Иди, мой цыпленок, иди, иди, моя курочка, иди!» «Ну и ну! — сказал Латекс. — Мы уже детей пугаем». Мужчины засмеялись и сказали ему: «Это ты ее пугаешь своей рожей!» Матье смеялся, Латекс повторил нараспев: «Иди, моя конфетка!» Вдруг, охваченный бешенством, он крикнул: «Если не подойдешь, я мячик не отдам!» Он поднял мяч над головой, показывая ей, и сделал вид, что кладет его в карман, девочка заголосила, все встали, все начали кричать: «Отдай его! Подлец, ты заставляешь ребенка плакать, нет, нет, положи в карман, забрось его на крышу!» Матье, стоя, размахивал руками, Гвиччоли с глазами, блестящими от бешенства, отстранил его и стал перед Латексом: «Отдай ей его, сукин сын, мы не дикари!» Матье в ярости топнул ногой; Латекс успокоился первым, он опустил глаза и сказал: «Не сердитесь! Я отдам его». Он неловко бросил мяч, тот ударился о стену, отскочил, девочка схватила его и убежала. Спокойствие. Все снова сели, Матье уселся, грустный и успокоенный; он думал: «Мы не чумные». Ничего другого в голове: ничего другого, кроме чужих мыслей. Временами он был только тоскливой пустотой, а в другие минуты становился всеми, его тревога утихала, чужие мысли текли тяжелыми каплями в его голове, катились изо рта, мы не чумные, Латекс вытянул руки и грустно смотрел на них: «У меня шестеро, понимаете, старшему семь лет, и я в жизни не поднял на них руку».

Они снова сели, чумные, голодные, потускневшие под обжитым небом против этих больших слепых домов, которые источали ненависть. Они молчали: им только и оставалось молчать, отвратительным насекомым, пачкающим этот прекрасный июньский день. Терпение! Придет избавитель. Он очистит все улицы средством от насекомых. Лонжен показал на ставни и промолвил: «Они ждут, когда фрицы придут избавить их от нас». Ниппер откликнулся: «Держу пари, что с фрицами они будут любезнее». И Гвиччоли: «Еще бы! Если уж и быть оккупированными, так лучше, если это будут победители. Так веселее, и потом, торговля пойдет на лад. От нас же только несчастья». «Шесть детей, — сказал Латекс, — старшему семь лет. Я никогда их не наказывал». Гримо сказал: «Нас тут ненавидят».

Шум шагов заставил всех поднять головы, но они сразу же опустились, и майор Пра пересек улицу среди опущенных голов. Никто ему не отдал честь; он остановился у дома врача, и взгляды замерли на его подкладных плечах, когда он поднял железный молоток на двери и три раза постучал. Дверь приоткрылась, и он проскользнул в дом через узкую щель; от пяти часов сорока пяти минут до пяти часов пятидесяти шести минут все офицеры штаба по одному, напряженные и смущенные, проходили между солдатами, при их приближении все опускали головы и сейчас же приподнимали. Пэйен сказал: «У генерала праздник». Шарло повернулся к Матье и сказал: «Что они там затевают?» Матье ответил: «Заткнись!» Шарло посмотрел на него и замолчал. После прохода офицеров солдаты еще больше потускнели и поникли; Пьерне с беспокойным удивлением смотрел на Матье: он обнаруживает на моих щеках свою собственную бледность.

Послышалось пение, Матье вздрогнул, пение приблизилось.

Пока дерьмо лежит в горшке,

В комнате вонь будет всюду.

Тридцать молодцов показались из‑за угла улицы, пьяные, без винтовок, без кителей и пилоток; они широким шагом спускались по улице, они пели, вид у них был злой и радостный; лица красные от солнца и вина. Когда они заметили этих серых личинок, тихо копошащихся у самой земли и поднимавших к ним многочисленные головы, они резко остановились и перестали петь. Здоровый бородач сделал шаг вперед; он был до пояса гол и черен, с шарами мускулов, на шее блестела золотая цепочка. Он спросил:

— Вы что, попередохли?

Никто не ответил; он отвернулся и сплюнул, он шатался, ему было трудно сохранять равновесие.

Шарло, близоруко щурясь, посмотрел на них и спросил:

— Вы из наших?

— А вот это из наших? — спросил бородач, хлопая себя по ширинке. — Мать твою так! Нет, мы не из ваших, не то нам было бы паршиво.

— Откуда вы идете?

Тот неопределенно махнул рукой:

— Оттуда.

— Там были потери?

— Сто чертей! Нет, потерь не было, кроме капитана, который удрал, когда запахло жареным, а мы сделали то же, только в другую сторону, чтобы его не встретить.

Парни позади бородача хохотали, а два молодца нахально запели:

Волочи яйца по земле,

А член в кулаке сожми.

Мы уходим на войну

На охоту за блядьми.

Все головы повернулись к окну генерала; Шарло испуганно замахал рукой:

— Замолчите!

Парни замолчали, так и не закрыв ртов, они покачивались, лица у них мгновенно стали изнуренными.

— Там офицеры, — пояснил Шарло, показывая на дом.

— Срал я на ваших офицеров! — громко сказал бородач. Его золотая цепочка блестела на солнце; он опустил взгляд на солдат, сидевших на дороге, и добавил:

— Если они вас достали, ребята, пошли с нами, а то они вас доконают.

— С нами! — повторили его товарищи. — С нами! С нами! С нами!

Наступило молчание. Взгляд бородача остановился на Матье. Матье отвел глаза.

— Так что? Кто идет? Раз, два, три!

Никто не пошевелился. Бородач с презрением заключил:

— Вы не мужики, а мудаки. Пошли, парни, я не хочу здесь покрываться плесенью: меня от них блевать тянет.

Они двинулись дальше: все расступились, чтобы пропустить их. Матье снова положил ноги на скамейку.

«Волочи яйца по земле…»

Все смотрели на окно генерала: несколько лиц приникло к оконному стеклу, но офицеры не показались.

«Мы уходим на войну…»

Они исчезли: никто не проронил ни слова; песня в конце концов затихла. Только тогда Матье вздохнул.

— Прежде всего, — не глядя на товарищей, сказал Ниппер, — это не говорит о том, что мы не уходим. Вот так‑то!

— Нет, — возразил Лонжен, — говорит.

— О чем?

— Что мы не уходим.

— Почему?

— Нет бензина.

— Для офицеров он всегда есть, — заметил Гвиччоли. — Баки полные.

— А наши грузовики без бензина. Гвиччоли резко засмеялся:

— Естественно.

— Я вам говорю, что нас предали! — крикнул Лонжен, напрягая слабый голос. — Предали, выдали немцам, предали!

— Хватит, — устало сказал Менар.

— Хватит! — повторил Матье. — Хватит!

— И потом, черт бы вас побрал! — подхватил телефонист. — Перестаньте все время болтать об отступлении. Еще посмотрим. Все может быть.

Матье представлял себе, как все они идут по дороге и поют, может, срывают цветы. Ему было стыдно, но это был общий большой стыд. Он не казался ему таким уж неприятным.

— Мудаки, — сказал Латекс, — он назвал нас мудаками, этот малый. Нас, отцов семейства! А ты видел цепочку у него на шее? Да он гомик! Можешь не сомневаться.

— Слушайте! — перебил его Шарло. — Слушайте!

До них донеслось гудение самолета, усталый голос прошептал:

— Прячьтесь, ребята. Они начинают по новой.

— Это уже второй раз с утра, — заметил Ниппер.

— Ты считал? Я уже и не считаю.

Они неспешно встали, прислонились к двери, вошли в коридоры. Самолет на бреющем полете пролетел над крышами, шум уменьшился, они вышли, вглядываясь в небо, и снова сели.

— Истребитель, — сказал Матье.

— Берегись! Берегись! — крикнул Люберон. Издалека послышался сухой треск пулемета.

— Противовоздушная оборона?

— Противовоздушная оборона, как же! Это из самолета стреляют.

Они переглянулись.

— Не очень‑то разумно разгуливать по дорогам в такой день, как сегодня, — сказал Гримо.

Никто не ответил, но глаза у всех блестели и кривая ухмылочка гуляла по губам. Минутой позже Лонжен добавил:

— Они далеко не ушли.

Гвиччоли встал, сунул руки в карманы и, разминаясь, три раза согнул колени; он поднял к небу пустое лицо со злой складкой вокруг губ.

— Куда ты идешь?

— Прогуляться.

— Куда?

— Туда. Посмотрю, что с ними случилось.

— Остерегайся макаронников!

— Не бойся.

Он лениво удалился. Всем хотелось пойти с ним, но Матье не осмелился подняться. Наступило долгое молчание; лица вновь порозовели; солдата оживленно поворачивались друг к другу.

— Ишь размечтались: прогуливаться по дорогам, как в мирные времена.

— На что они рассчитывали, а? Что дойдут пешком до Парижа? Есть же ухари, которым море по колено.

— Будь это возможно, мы бы и без них так поступили. Они замолчали, нервные и напряженные; они ждали; худой высокий парень прислонился к железной шторе бакалейной лавки, руки его дрожали. Вскоре тем же небрежным шагом вернулся Гвиччоли.

— Ну что? — крикнул Матье.

Гвиччоли пожал плечами: люди поднялись на руках и обратили на него сверкающие глаза.

— Убиты, — сказал он.

— Все?

— Откуда мне знать? Я не считал.

Он был бледен, его одолевала отрыжка.

— Где они? На дороге?

— Мать вашу! Пойдите сами посмотрите, если вы такие любопытные.

Он сел; на его шее блестела золотая цепочка; он поднес к ней руку и покрутил между пальцами, потом резко выпустил. Он как бы с сожалением сказал:

— Иначе это сделали бы санитары…

Бедняги! Цепочка блестела, завораживала. Кто‑нибудь скажет: «Бедняги!»? Это было у всех на устах; у кого‑нибудь хватит духа сказать: «Бедняги!»? Пусть даже не от чистого сердца? Золотая цепочка сверкала на загорелой шее; злоба, ужас, жалость, обида вращались по кругу, это было жестоко и удобно; мы — идеал паразита: наши мысли отупляются, становятся все менее человеческими; волосатые и мохноногие мысли шныряют повсюду, прыгают из одной головы в другую: сейчас паразит проснется.

— Деларю, черт бы тебя побрал! Ты что, глухой? Деларю — это я. Он резко повернулся; Пинетт издалека ему улыбнулся: *он видит Деларю* .

— А!

— Иди сюда!

Он вздрогнул, внезапно одинокий и обнаженный человек. Я. Он сделал движение, чтобы прогнать Пинетта, но против него уже образовалась группа; глаза паразита изгоняли его, они смотрели на него удивленно и свирепо, как будто никогда его не видели, как будто видели его сквозь толщу тины. «Я стою не больше, чем они, я не имею права предавать их».

— Иди же.

Деларю встал. Непередаваемый Деларю, совестливый Деларю, преподаватель Деларю шагом направился к Пинетту. За ним болото, зверь с двумястами лапами. За ним двести глаз: он спиной чувствовал страх. И снова тревога. Она началась осторожно, как ласка, а потом скромно и привычно расположилась в полости желудка. Это было ничто: пустота. Пустота в нем и вокруг него. Он разгуливал в разреженном газе. Бравый солдат Деларю поднял свою пилотку, бравый Деларю провел рукой по волосам, бравый солдат Деларю обратил к Пинетту изнуренную улыбку:

— Что случилось, балда?

— Тебе весело с ними?

— Нет.

— Почему же ты с ними?

— Все одинаковые, — сказал Матье.

— Кто одинаковый?

— Они и мы.

— И что же?

— Тогда лучше держаться вместе. Глаза Пинетта сверкнули.

— Я не такой, как они! — сказал он, вздернув подбородок.

Матье промолчал. Пинетт сказал:

— Пошли.

— Куда?

— На почту.

— На почту? А что, тут есть почта?

— Есть. На том краю деревни есть почтовый пункт.

— А что ты хочешь делать на почте?

— Не волнуйся, увидишь.

— Она наверняка закрыта.

— Для меня будет открыта, — сказал Пинетт. Он просунул руку под руку Матье и увлек его.

— Я нашел одну малышку, — добавил он.

Его глаза блестели лихорадочным блеском, он изысканно улыбался.

— Я хочу вас познакомить.

— Зачем?

Пинетт строго посмотрел на него:

— Ты ведь мой приятель, разве нет?

— Конечно, — сказал Матье. Он спросил:

— Твоя малышка работает на почте?

— Да, она барышня с почты.

— Мне казалось, что ты не хочешь затевать с женщинами?

Пинетт натянуто засмеялся:

— Раз уж не воюем, нужно же как‑то проводить время. Матье повернулся к нему: Пинетт выглядел фатоватым.

— Ты сам на себя не похож, старина. Не из‑за любви ли ты так изменился?

— Что ты! Мне еще повезло. Ты бы видел, какие у нее груди: класс. И образованная: по географии и по математике она тебе сто очков вперед даст.

— А как же твоя жена? — спросил Матье. Пинетт изменился в лице.

— В задницу! — грубо сказал он.

Они подошли к двухэтажному домику, ставни были закрыты, щеколда с двери снята. Пинетт постучал три раза.

— Это я! — крикнул он.

Он, улыбаясь, повернулся к Матье:

— Она боится, что ее изнасилуют. Матье услышал, как повернули ключ.

— Заходите быстро, — произнес женский голос.

Они окунулись в запах чернил, клея и бумаги. Длинная перегородка с проволочной сеткой наверху делила комнату на две части. В глубине Матье различил открытую дверь. Девушка отступила и закрыла ее за собой; слышно было, как щелкнул замок. Некоторое время они оставались в узком коридоре, предназначенном для посетителей, потом девица снова показалась под прикрытием, в своем окошке. Пинетт нагнулся и прижал лоб к решетке.

— Вы нас наказываете? Это не слишком любезно.

— Да! — ответила она. — Нужно проявлять благоразумие.

У нее был красивый голос, теплый и густой. Матье увидел, как блестят ее черные глаза.

— Значит, — заключил Пинетт, — нас боятся? Она засмеялась.

— Не боюсь, но и не доверяю.

— Это из‑за моего друга? Но он как раз такой, как и вы, он служащий: вы среди своих, это должно вас успокоить.

Он говорил галантерейным тоном и тонко улыбался.

— Ну же, — попросил он, — просуньте хотя бы пальчик через решетку. Только палец.

Она просунула через решетку длинный худой палец, и Пинетт поцеловал ноготь.

— Прекратите, — сказала она, — или я его уберу.

— Это будет невежливо, — ответил он. — Мой друг просто должен пожать вам палец.

Он повернулся к Матье.

— Позволь представить тебе мадемуазель‑которая‑не‑хочет‑назвать‑своего‑имени. Это храбрая маленькая француженка: она могла бы эвакуироваться, но не захотела бросить свой пост — вдруг она понадобится.

Он поводил плечами и улыбался: он все время улыбался. Его голос был мягким и певучим, с легким английским акцентом.

— Здравствуйте, мадемуазель, — сказал Матье.

Она сквозь решетку пошевелила пальцем, и он пожал его.

— Вы служащий? — спросила она.

— Я преподаватель.

— А я почтовая работница.

— Вижу.

Ему было жарко, и он скучал; он думал о серых и медлительных лицах, которые он оставил там, позади.

— Эта мадемуазель, — сказал Пинетт, — несет ответственность за все любовные письма в деревне.

— Ой, да какие уж тут любовные письма, — скромно возразила она.

— Что ж, — продолжал Пинетт, — живи я в вашей дыре, я бы посылал любовные письма всем здешним девушкам, чтобы послания проходили через ваши руки. Вы были бы почтальоном любви.

Он неуверенно рассмеялся:

— Почтальон любви! Почтальон любви!

— Ну уж нет! — протестовала она. — Это удвоило бы мою работу.

Наступило долгое молчание. Пинетт сохранял небрежную улыбку, но вид у него был напряженный, взгляд шарил по комнате. С решетки свешивалась на шпагате перьевая ручка, Пинетт взял ее, обмакнул в чернила и написал несколько слов на бланке почтового перевода.

— Вот, — сказал он, протягивая ей бланк.

— Что это? — спросила она, не пошевелившись.

— Ну возьмите же! Вы почтовая служащая: выполняйте свою работу.

В конце концов она взяла бланк и прочла:

— «Оплатите тысячу поцелуев мадемуазель Имярек…» Фу ты! — воскликнула она, обуреваемая гневом и безудержным смехом. — Испортил мне бланк!

Матье все это до смерти надоело.

— Что ж, — не выдержал он. — Я вас покидаю. Пинетт смутился.

— Как, ты уходишь?

— Мне нужно вернуться.

— Я пойду с тобой, — поспешно сказал Пинетт. — Да! Да! Я пойду с тобой.

Он повернулся к девушке.

— Я вернусь через пять минут: вы мне откроете дверь?

— Боже, какой невыносимый! — простонала она. — Все время то туда, то сюда. Решайтесь, наконец!

— Ладно, ладно! Я остаюсь. Но запомните: это вы попросили меня остаться.

— Я вас ни о чем не просила.

— Просили!

— Нет!

— До чего осточертело! — сквозь зубы процедил Матье. Он повернулся к девушке:

— До свиданья, мадемуазель.

— До свиданья, — довольно холодно ответила она.

Матье вышел с пустой головой. Наступала ночь; солдаты сидели в прежних позах. Он прошел среди них, и снизу раздались голоса:

— Какие новости?

— Никаких, — ответил Матье.

Он дошел до своей скамейки и сел между Шарло и Пьерне. Он спросил:

— Офицеры все еще у генерала?

— Все еще там.

Матье зевнул; он с грустью посмотрел на людей, погруженных в тень; он прошептал: «Мы». Но это больше не действовало: он был один. Он откинул голову и посмотрел на первые звезды. Небо было нежным, как женщина, словно вся любовь земли поднялась к небу; Матье сощурился:

— Ребята, звезда падает. Загадывайте желание. Люберон выпустил газы.

— Вот оно, мое желание, — отозвался он. Матье снова зевнул.

— Ладно, — сказал он, — я пошел спать. Ты идешь, Шарло?

— Даже не знаю: вдруг мы этой ночью уходим, я предпочитаю быть готовым.

Матье грубо засмеялся:

— Балбес!

— Ладно, ладно, — поспешно согласился Шарло. — Иду. Матье вернулся в ригу и одетым бросился в сено. Ему до смерти хотелось спать: когда он был несчастлив, его всегда тянуло в сон. Красный шар начал вращаться, женские лица наклонились с балкона и тоже завращались. Матье снилось, будто он — небо; он свешивался с балкона и смотрел на землю. Земля была зеленой с белым животом, она делала блошиные прыжки. Матье подумал: «Только бы она меня не трогала». Но она подняла огромную пятерню и схватила Матье за плечо.

— Вставай! Быстро!

— Который час? — спросил Матье. Он чувствовал на своем лице горячее дыхание.

— Десять двадцать, — сказал голос Гвиччоли. — Тихо вставай, иди к двери и смотри, чтоб тебя не увидели.

Матье сел и зевнул.

— Что такое?

— Офицерские машины ждут на дороге в ста метрах отсюда.

— Ну и что?

— Делай, что говорю, сам увидишь.

Гвиччоли исчез. Матье протер глаза, он тихо позвал:

— Шарло! Шарло! Лонжен! Лонжен!

Ответа не было. Он встал, пошатываясь со сна, и пошел к двери. Она была широко распахнута. В тени прятался какой‑то человек.

— Кто здесь?

— Это я, — сказал Пинетт.

— Я думал, ты сейчас трахаешься.

— Она ломается; до завтрашнего дня я ее не одолею. Боже мой, — вздохнул он, — я уже весь рот разодрал от улыбок.

— Где Пьерне?

Пинетт показал на темное крыльцо на другой стороне улицы.

— Там, с Лонженом и Шарло.

— Что они там делают?

— Не знаю.

Они молча ждали. Ночь была холодной, луна стояла ясная. Напротив них под крыльцом смутно шевелились какие‑то тени. Матье повернул голову к дому врача: окно генерала было закрыто, но бледный свет проникал из‑под двери. *Я, я здесь.* Время обрушивалось со своим пугающим будущим. Осталась только мигающая местная протяженность. Не было больше ни Мира, ни Войны, ни Франции, ни Германии: только бледный свет под дверью, которая, может быть, сейчас откроется. Откроется ли? Все другое не считалось, у Матье не осталось ничего, кроме этого крохотного будущего. Откроется ли она? Нечто вроде радости проникло в его иссушенную душу. Откроется ли она? Это было важно: ему казалось, что дверь, открывшись, даст наконец ответ на все вопросы, которые он задавал себе всю жизнь. Матье почувствовал, что дрожь радости вот‑вот зародится во впадине его ягодиц; ему стало стыдно, он смиренно сказал себе: «Мы проиграли войну». И тут же Время было ему возвращено, маленькая жемчужина будущего растворилась в огромном и зловещем настоящем. Прошлое, Будущее, покуда хватает глаз, от фараонов до Соединенных Штатов Европы. Его радость угасла, угас свет под дверью, дверь заскрипела, медленно повернулась, открылась в темноту; тень затрепетала под козырьком крыльца, эхо хрустнуло, на улице, как в лесу, затем улица снова погрузилась в тишину. Слишком поздно: приключения не произошло.

Через некоторое время на крыльце появились какие‑то фигуры; один за другим офицеры спускались по ступенькам; первые остановились посреди дороги, поджидая остальных, и улица преобразилась: 1912 год, гарнизонная улица в снегу, поздно, ночной праздник у генерала закончился; красивые, как картинки, лейтенанты Сотен и Кадин держались под руку; майор Пра положил руку на плечо капитана Морона, они приосанивались, улыбались, любезно позировали под лунным магнием, еще раз, последний раз, я снимаю всю группу, вот и все. Майор Пра резко повернулся на каблуках, посмотрел на небо, поднял вверх два пальца, словно благословляя деревню. Потом вышел генерал, полковник тихо закрыл за ним дверь: дивизионный штаб был в полном составе — двадцать офицеров, это был снежный вечер с чистым небом, танцевали до полуночи, самое прекрасное воспоминание гарнизонной жизни. Маленькое войско, крадучись, зашагало. На втором этаже бесшумно открылось окно; кто‑то в белом высунулся наружу, гладя, как они уходят.

— Ну и дела! — прошептал Пинетт.

Они шли спокойно, с тихой торжественностью; на их лицах статуй, сверкавших от луны, было столько одиночества и столько молчания, что смотреть на них было святотатством; Матье почувствовал себя виноватым и очистившимся.

— Ну и дела! Ну и дела!

Капитан Морон замешкался. Услышал ли он что‑то? Его большое грациозное сутулое тело немного покачалось и повернулось к риге; Матье видел, как блестели его глаза. Пинетт что‑то пробормотал и хотел было броситься наружу. Но Матье схватил его за запястье и сильно сжал. Еще мгновенье капитан прощупывал взглядом сумерки, потом отвернулся и равнодушно зевнул, похлопывая по губам кончиками пальцев в перчатках. Прошел генерал, Матье никогда не видел его так близко. Это был высокий импозантный мужчина со сланцеватым лицом, тяжело опиравшийся на руку полковника. Затем вышли ординарцы, неся сундучки; шепчущаяся и смеющаяся группа младших лейтенантов завершала шествие.

— Офицеры! — почти громко сказал Пинетт.

«Скорее боги», — подумал Матье. Боги, которые возвращаются на Олимп после короткого пребывания на земле. Олимпийский кортеж углубился в ночь; электрический фонарик образовал танцующий круг на дороге и погас. Пинетт повернулся к Матье; луна освещала его красивое лицо, искаженное отчаянием.

— Офицеры!

— Да, вот так.

Губы Пинетта задрожали; Матье боялся, что тот разрыдается.

— Ну! Ну! — сказал Матье. — Ну, дуралей, приди в себя.

— Пока сам не увидишь такое — не поверишь, — прошептал Пинетт. — Мир перевернулся.

Он схватил руку Матье и сжал ее, как будто цеплялся за последнюю надежду.

— Может быть, шоферы откажутся уезжать?

Матье пожал плечами: моторы уже загудели, это было похоже на приятное пение цикад, очень далеко, в глубине ночи. Через некоторое время машины тронулись, и шум моторов понемногу затих. Пинетт скрестил руки:

— Офицеры! Теперь я начинаю верить, что с Францией все кончено.

Матье отвернулся; тени гроздьями отделялись от стены, солдаты молча выходили из переулков, ворот, риг. Настоящие солдаты, служившие второй год, плохо одетые, плохо сложенные, скользившие по темной белизне фасадов; за минуту вся улица заполнилась. У всех были такие печальные лица, что сердце Матье сжалось.

— Идем, — сказал он Пинетту.

— Куда?

— Наружу, к ребятам.

— К черту все! — огрызнулся Пинетт. — Я пойду спать, у меня нет настроения трепаться.

Матье заколебался: ему хотелось спать и сильная дергающая боль терзала ему голову: он предпочел бы спать и ни о чем не думать. Но у солдат был такой понурый вид, он видел, как их спины барашками волновались в лунном свете, и он снова почувствовал, что он один из них.

— А я хочу трепаться, — сказал он. — Спокойной ночи! Он пересек улицу и затесался в толпу. Меловой свет

луны освещал ошеломленные лица, никто не разговаривал. Вдруг отчетливо послышался шум моторов.

— Они возвращаются! — воскликнул Шарло. — Они возвращаются!

— Да нет, дурак! Они поехали по департаментской дороге.

Солдаты все‑таки прислушивались со смутной надеждой. Шум уменьшился и исчез. Латекс вздохнул:

— Все кончено.

— Наконец‑то мы одни! — пошутил Гримо.

Никто не засмеялся. Кто‑то тихо и тревожно спросил:

— Что с нами будет?

Никакого ответа; людям было наплевать, что с ними будет; у них была другая забота, смутная тоска, которую они не умели выразить. Люберон зевнул; после долгого молчания он сказал:

— Что толку тут стоять? Пошли бай‑бай, ребята, бай‑бай!

Обескураженный Шарло широко развел руки.

— Ладно! — согласился он. — Я иду спать, но это с отчаяния.

Мужчины беспокойно смотрели друг на друга: у них не было никакого желания разлучаться и никакого повода оставаться вместе. Вдруг кто‑то горько сказал:

— Они никогда нас не любили.

Человек сказал это за всех, и все разом заговорили:

— Да! Да! Да! Ты правильно говоришь, ты попал в точку. Они нас никогда не любили, никогда, никогда, никогда! Враги для них — не фрицы, а мы; мы прошли всю войну вместе, а они нас бросили!

Теперь и Матье повторял с остальными:

— Они никогда нас не любили! Никогда!

— Когда я смотрел, как они уходят, — говорил Шарло, — мне стало так тошно, что я чуть не упал замертво.

Легкий беспокойный шум покрыл его голос: это было не совсем то, что нужно было сказать. Теперь нужно было вскрыть нарыв, не следовало больше останавливаться, нужно было сказать: «Нас никто не любит. Никто нас не любит: гражданские нас упрекают в том, что мы не сумели их защитить, наши женщины не гордятся нами, наши офицеры нас бросили, деревенские жители нас ненавидят, а фрицы приближаются во мраке». Нужно было сказать: «Мы козлы отпущения, побежденные, трусы, паразиты, подонки общества, мы безобразны, мы виноваты, и никто, никто в мире нас не любит». Матье не осмелился, зато Латекс сзади него спокойно произнес:

— Мы изгои.

Отовсюду раздались голоса; они повторяли жестоко, без жалости:

— Изгои!

Голоса умолкли. Матье смотрел на Лонжена без особой причины, просто так, потому что тот стоял напротив него, а Лонжен смотрел на него. Шарло и Латекс смотрели друг на друга, все смотрели друг на друга, все как будто ждали чего‑то, как будто еще оставалось что‑то сказать. Но говорить было уже нечего, и вдруг Лонжен улыбнулся Матье, а Матье ответил на его улыбку; улыбнулся Шарло, улыбнулся Латекс; у всех на губах луна заставила расцвести бледные цветы.

#### ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

— Пошли, — сказал Пинетт. — Ну, пошли.

— Нет.

— Ну! Ну! Пошли же.

Он умоляюще и призывно смотрел на Матье.

— Не приставай к человеку, — ответил Матье.

Они были вдвоем под деревьями посреди площади, напротив них церковь, справа мэрия. У мэрии, сидя на первой ступеньке крыльца, мечтал Шарло. На коленях у него была книга. Медленным шагом прогуливались солдаты, по одному или маленькими группками: они не знали, куда себя деть. У Матье была тяжелая голова, как с похмелья.

— У тебя такой вид, будто ты не в духе, — заметил Пинетт.

— Так оно и есть, — подтвердил Матье.

Возникло изнуряющее опьянение дружбы: люди пламенели под луной, ради этого стоило жить. А потом факелы погасли; они пошли спать, потому что им не оставалось ничего другого и потому, что у них еще не было привычки любить друг друга. Теперь наступил следующий после праздника день, впору было покончить с собой.

— Который час? — спросил Пинетт.

— Десять минут шестого.

— Черт! Я уже опаздываю.

— Что ж, пошевеливайся, иди.

— Я не хочу идти один.

— Боишься, что она тебя побьет?

— Не в том дело, — сказал Пинетт, — не в том дело… Не видя их, прошел сосредоточенный Ниппер, глядя куда‑то внутрь себя.

— Возьми Ниппера, — предложил Матье.

— Ниппера? Ты что, с ума сошел?

Они проследили глазами за Ниппером, изумленные его незрячим видом и танцующей походкой.

— Спорим, что он сейчас зайдет в церковь? — спросил Пинетт.

С минуту он подождал, затем хлопнул себя по ляжке.

— Заходит, заходит! Я выиграл!

Ниппер исчез; Пинетт с озадаченным видом повернулся к Матье.

— С утра, кажется, их там собралось больше пятидесяти. Время от времени кто‑нибудь выходит помочиться и тут же возвращается. Как ты думаешь, что они там выделывают?

Матье не ответил. Пинетт почесал голову.

— Хочется посмотреть хоть краем глаза.

— Ты уже опаздываешь на свою тайную встречу, — съязвил Матье.

— Ну ее к ляду, эту встречу, — мгновенно отозвался Пинетт.

Он небрежно удалился; Матье подошел к каштану. Большой тюк, брошенный на дороге, — вот и все, что осталось от дивизионного штаба; и такое в каждой деревне, фрицы, проходя, подберут их. «Чего они ждут, черт побери! Пусть бы уж побыстрее!» Поражение стало обыденным: оно было в солнце, в деревьях, в воздухе и еще в скрытом желании умереть; но у Матье со вчерашнего дня еще оставался во рту слегка ослабевший вкус братства. Приближался начальник почтовой службы подразделения с двумя поварами по бокам; Матье посмотрел на них; тогда, в темноте, под луной они улыбнулись ему. Но теперь этого не было; их жесткие лица, казалось, говорили: не стоит обольщаться луной и ночными красотами, каждый за себя, а Бог за всех, мы на земле не для развлеченья. Это тоже были типичные жертвы послепраздничного похмелья. Матье вынул из кармана перочинный ножик и начал обрезать кору каштана. Ему хотелось где‑нибудь в этом мире оставить свое имя.

— Ты вырезаешь свое имя?

— Да.

— Ха! Ха!

Солдаты засмеялись и прошли. За ними шли другие, которых Матье никогда не видел. Странные, плохо выбритые, с поблескивающими глазами; один из них хромал. Они пересекли площадь и сели на тротуар перед закрытой булочной. Затем подошли новые и новые, которых Матье тоже не знал, без винтовок, без обмоток, с серыми лицами и засохшей грязью на башмаках. Их хотелось полюбить. Пинетт, подойдя к Матье, бросил на них недоброжелательный взгляд.

— Ну что? — спросил Матье.

— Церковь переполнена. — Он с разочарованным видом добавил: — Они поют.

Матье сложил ножик; Пинетт спросил:

— Хочешь вырезать свое имя?

— Хотел, — сказал Матье, кладя ножик в карман. — Но на это уходит слишком много времени.

Высокий молодец остановился рядом с ними, у него было усталое расплывчатое лицо: туманность над расстегнутым воротничком.

— Привет, ребята, — мрачно сказал он. Пинетт молча уставился на него.

— Привет, — отозвался Матье.

— Здесь есть офицеры?

Пинетт засмеялся.

— Ты слышишь? — спросил он у Матье. Он повернулся к подошедшему и добавил: — Нет, старина, нет. Нет офицеров, у нас туг своя республика.

— Вижу, — сказал солдат.

— Из какого ты дивизиона?

— Из сорок второго.

— Сорок второго? — удивился Пинетт. — Никогда про такой не слышал. Bы где?

— В Эпинале.

— Тогда почему вы здесь?

Солдат пожал плечами, Пинетт вдруг обеспокоенно спросил:

— Ваш дивизион придет сюда? С офицерьем и всем этим борделем?

Солдат засмеялся и показал на четырех солдат, сидевших на тротуаре.

— Вот он, наш дивизион, — сказал он. Глаза Пинетта сверкнули.

— В Эпинале бои?

— Были, сейчас там, должно быть, тихо.

Он повернулся и присоединился к своим товарищам. Пинетт проводил его взглядом.

— Сорок второй, ты о нем что‑нибудь знаешь? Я о таком ничего не слышал.

— Это еще не значит, что можно смотреть на него свысока, — сказал Матье.

Пинетт пожал плечами.

— Откуда‑то вылазят какие‑то субъекты, которых ты даже не знаешь, — с презрением сказал он. — У нас не позиции, а проходной двор.

Матье не ответил: он смотрел на царапины на стволе каштана.

— Ну! — сказал Пинетт. — Пойдем же! Мы пойдем втроем в поле, там никого нет: там будет хорошо.

— Что мне там делать, между тобой и твоей милахой? Для ваших утех я не нужен.

— Мы же не сразу этим займемся, — жалобно возразил Пинетт. — Сначала нужно поговорить.

Он резко прервал себя:

— Посмотри‑ка! Ну посмотри же! Еще один чужак.

К ним шел низкорослый приземистый солдат, он держался очень прямо. Испачканная кровью повязка скрывала его правый глаз.

— Может быть, мы в центре большого сражения? — сказал Пинетт, и голос его дрожал от надежды. — Может быть, наконец, начнутся бои?

Матье не ответил. Пинетт окликнул типа с повязкой:

— Эй!

Солдат остановился и посмотрел на него единственным оком.

— Там была драчка?

Солдат смотрел на него, не отвечая. Пинетт повернулся к Матье.

— Из них ничего невозможно вытянуть.

Солдат пошел дальше. Через несколько метров он остановился, прислонился спиной к каштану и соскользнул на землю. Теперь он сидел, уткнувшись подбородком в колени.

— Плохо дело, — сказал Пинетт.

— Подойдем, — предложил Матье. Они подошли.

— Плохо, старина? — спросил Пинетт. Солдат не ответил.

— Эй! Тебе плохо?

— Мы тебе поможем, — сказал Матье.

Пинетт наклонился, чтобы взять его под мышки, и тут же выпрямился.

— Все, нет смысла.

Солдат продолжал сидеть с широко открытым глазом и приоткрытым ртом. Он будто бы тихо улыбался.

— Нет смысла?

— Конечно. Посмотри сам.

Матье наклонился и приложил ухо к груди солдата.

— Ты прав, — согласился он.

— Что ж, — сказал Пинетт, — нужно закрыть ему глаза.

Он сделал это кончиками пальцев, прилежно, вжав голову в плечи и выпятив нижнюю губу. Матье глядел на него и не смотрел на мертвого: мертвый больше не шел в счет.

— Можно подумать, что ты это делал всю жизнь, — сказал он.

— Уж чего‑чего, а мертвых я навидался! — ответил Пинетт. — Но это первый с тех пор, как идет война.

Мертвец с закрытым глазом улыбался своим мыслям. Умереть, казалось, легко. Легко и почти весело. «Но тогда зачем жить?» Вокруг все заколебалось: живые, мертвые, церковь, деревья. Матье вздрогнул. Чья‑то рука коснулась его плеча. Это был все тот же высокий крепыш с мутным лицом, вылинявшими глазами он смотрел на мертвеца.

— Что с ним?

— Он умер.

— Это Жерен, — объяснил тот. Он повернулся на восток.

— Эй, ребята! Идите скорее! Четверо солдат подбежали к нему.

— Здесь мертвый Жерен! — крикнул он им.

— Проклятье!

Они окружили мертвого и недоверчиво смотрели на него.

— Как это он не упал?

— Иногда это случается. Иногда умирают даже стоя.

— Ты уверен, что он мертв?

— Они так сказали.

Все одновременно склонились над мертвым. Один щупал его пульс, другой слушал сердце, третий вынул из кармана зеркало и приложил его ко рту, как в детективах. Убедившись, что солдат умер, они выпрямились.

— Мать твою так! — выругался, качая головой, высокий.

Все они покачали головами и хором повторили:

— Мать твою так!

Низенький толстяк повернулся к Матье.

— Он протопал двадцать километров. Будь он ленивым, он бы еще жил.

— Он не хотел, чтобы его схватили фрицы, — сказал, как бы извиняясь, Матье.

— А что фрицы? У фрицев тоже есть полевые госпитали. Я с ним разговаривал по дороге. Из него кровь хлестала, как из резаной свиньи, но он ничего не слушал. Он доверял только себе. Собирался вернуться домой.

— Куда это домой? — спросил Пинетт.

— В Каор. Он там был булочником. Пинетт пожал плечами.

— Во всяком случае, это не та дорога.

— Да уж точно.

Они замолчали и пристально, в замешательстве, смотрели на мертвого.

— Что будем делать? Похороним его?

— А что ж еще?

Они взяли его под мышки и под колени. Он все еще им улыбался, коченея на глазах.

— Мы вам поможем.

— Не стоит.

— Да! Да! — живо сказал Пинетт. — Нам все равно нечего делать, это нас отвлечет.

Высокий солдат твердо посмотрел на него.

— Нет, — возразил он. — Это наше дело. Он из наших, значит именно мы должны его похоронить.

— Где вы его закопаете?

Низенький толстяк мотнул головой, показывая на север:

— Там.

Они пустились в путь, неся труп: они тоже казались мертвецами.

— Кстати, — сказал Пинетт, — может, он был верующим?

Они недоуменно посмотрели на него. Пинетт показал на церковь.

— Там полно кюре.

Высокий солдат с достойным и суровым видом поднял руку:

— Нет. Нет. Никого не вмешивать. Это наше дело. Он сделал полоборота и пошел за остальными. Они пересекли площадь и исчезли.

— Что было с парнем? — крикнул Шарло.

Матье обернулся: Шарло поднял голову и положил книгу рядом с собой на ступеньку.

— Он умер.

— Глупо, — сказал Шарло, — а я и не подумал посмотреть; я только увидел, когда его уносили. По крайней мере, он не из наших?

— Нет.

— А, ну ладно.

Матье и Пинетт подошли к нему. Из окна мэрии раздавалось пение и неслись нечеловеческие вопли.

— Что там происходит? — спросил Матье. Шарло улыбнулся.

— Обычный бардак, — сказал он,

— И ты можешь читать?

— Я только просматриваю. — скромно признался Шарло.

— А что это за книга?

— Это Волабелль.

— Я думал, ее читает Лонжен.

— Лонжен! — фыркнул Шарло. — Лонжену не до чтения.

Большим пальцем он через плечо показал на мэрию,

— Он там, пьяный в стельку.

— Лонжен? Он же не пьет.

— Что ж, пойди посмотри сам.

— Который час? — спросил Пинетт,

— Тридцать пять шестого, Пинетт повернулся к Матье.

— Ты не идешь? Ручаюсь, что нет.

— И правильно ручаешься. Я не иду.

— Тогда проваливай!

Он обратил на Шарло красивые близорукие глаза.

— Как это мне осточертело.

— Что тебе осточертело, дуралей?

— Он нашел себе бабу, — пояснил Матье.

— Если она тебе осточертела, можешь сбагрить ее мне.

— Не могу, — сказал Пинетт. — Она в меня втюрилась.

— Тогда выпутывайся сам.

Пинетт яростно передернулся, повернулся к ним спиной и ушел. Шарло, улыбаясь, проводил его взглядом:

— Он нравится женщинам.

— Да уж, — хмыкнул Матье.

— Я ему не завидую, — сказал Шарло. — Я сейчас при одной мысли вскочить на бабу…

Он с любопытством посмотрел на Матье:

— Говорят, от страха член напрягается.

— И что?

— Со мной по‑другому: у меня съеживается.

— Ты боишься?

— Нет. Но что‑то давит мне на желудок.

— Ясно.

Шарло вдруг схватил Матье за рукав; он понизил голос:

— Мне нужно тебе что‑то сказать. Сядь. Матье сел.

— Знаешь, некоторые несут несусветную чушь, — тихо сказал Шарло.

— Какую чушь?

— Знаешь, — смущенно продолжал Шарло, — это действительно чушь.

— Но что именно?

— Так вот, капрал Кабель говорит, что фрицы нас кастрируют.

Он засмеялся, не сводя с Матье глаз.

— Что ж, — согласился Матье. — Это и в самом деле чушь.

Шарло продолжал смеяться:

— Знаешь, я этому не верю. Слишком много работы им будет.

Они замолчали. Матье взял томик Волабелля и пролистал его; он втайне надеялся, что Шарло даст ему почитать книгу. Шарло небрежно спросил:

— А своих евреев они кастрируют?

— Нет.

— А я слышал, что да, — тем же тоном сказал Шарло. Вдруг он схватил Матье за плечи. Матье не смог вынести этого перекошенного от ужаса лица и опустил взгляд.

— Что они со мной сделают?

— То же, что с остальными. Наступило молчанье. Матье добавил:

— Разорви свой военный билет и выкинь бляху.

— Это уж давно сделано.

— Тогда что еще?

— Посмотри на меня, — сказал Шарло. Матье не решался поднять голову.

— Я тебя прошу посмотреть на меня!

— Я смотрю, — сказал Матье. — И что?

— У меня сильно еврейский вид?

— Нет, — ответил Матье, — у тебя не еврейский вид.

Шарло вздохнул; из мэрии, шатаясь, вышел солдат, спустился по трем ступенькам, пропустил четвертую и, промчавшись между Шарло и Матье, упал посреди мостовой.

— Да он пьян! — сказал Матье.

Солдат приподнялся на локтях, и его вырвало, затем голова его упала, и он больше не шевелился.

— Они свистнули вино в интендантстве, — объяснил Шарло. — Ты бы видел их, когда они шли тут с графинами, не знаю уж где они их взяли, и с большим тазом, полным вина! Смотреть было противно.

В одном из окон первого этажа появился Лонжен, он рыгнул. У него были красные глаза и одна щека совсем черная.

— Ты посмотри, на кого ты похож! — строго крикнул ему Шарло.

Лонжен уставился на них, щурясь; когда он их узнал, он трагически воздел руку:

— Деларю! — Что?

— Я осрамился.

— Тогда уйди оттуда.

— Я не могу, помоги мне.

— Иду, — сказал Матье.

Он встал, прижимая к себе томик Волабелля.

— У тебя доброты больше, чем нужно.

— Нужно же убить время.

Он поднялся на две ступеньки, и Шарло крикнул ему в спину:

— Эй! Отдай моего Волабелля.

— Ладно, не кричи так громко, — раздосадованно отозвался Матье.

Он бросил ему книгу, открыл дверь, вошел в белостенный коридор и остановился, пораженный: кто‑то крикливым и сонным голосом пел «Артиллериста из Меца». Это ему напомнило психиатрическую больницу в Руане в двадцать четвертом году, когда он навещал свою тетку‑вдову, сошедшую с ума от горя: и там сумасшедшие пели в палатах. На левой стене под решеткой висел плакат, он подошел и прочел: «Всеобщая мобилизация» и подумал: «Еще недавно я был гражданским». Голос то засыпал, оседал, булькал, пресекался, то просыпался в крике. «Я был гражданским, это было давно». Матье смотрел на плакат, на два маленьких перекрещенных флага, и представил себя в пиджаке из альпага и с крахмальным воротничком. Он никогда не носил ни того, ни другого, но сейчас представлял себе гражданских именно такими. «Мне было бы противно вновь стать гражданским, — подумал он. — Впрочем, это вымирающая раса». Он услышал, как Лонжен крикнул: «Деларю!», увидел открытую дверь слева и вошел. Солнце было уже низко; его длинные пыльные лучи делили комнату на две части, не освещая ее. От резкого запаха вина у Матье перехватило горло, он сощурился и сначала различил только полевую карту, пятном темневшую на белой стене; потом он увидел Менара — тот сидел, свесив ноги, на невысоком шкафу, и размахивал солдатскими башмаками в багровом свете заката. Это именно он пел; его обезумевшие от веселья глаза вращались над открытой пастью; голос выходил из него сам, он высасывал из Менара, как огромный паразит, внутренности и кровь; вялый, с обвисшими руками, Менар ошалело смотрел на этого паразита, который неудержимо исторгался из его рта. В комнате не было никакой мебели: должно быть, со столами и стульями уже расправились. Все приветственно заорали:

— Деларю! Здорово, Деларю!

Матье опустил глаза и увидел людей. Один сидел в собственной блевотине, другой храпел, вытянувшись во весь рост; третий прислонился к стене, у него, как и у Менара, был открыт рот, но он не пел; седоватая борода росла от уха до уха, на носу пенсне, глаза закрыты.

— Здорово, Деларю! Деларю, здорово!

Справа от него другие солдаты были в не менее аховом положении. Гвиччоли расселся на полу, котелок, наполненный вином, стоял меж его раздвинутых ног; Латекс и Гримо сидели по‑турецки; Гримо держал свою кружку за ручку и бил ею по полу в такт пению Менара; Латекс до запястья запустил руку в ширинку. Гвиччоли что‑то сказал, но все заглушил голос певца.

— Что ты говоришь? — спросил Матье, приставив рупором руку к уху.

Гвиччоли бросил яростный взгляд на Менара:

— Помолчи хоть минуту, идиот! У меня уже барабанные перепонки лопаются.

Менар перестал петь. Он жалобно сказал:

— Я не могу остановиться.

И тут же затянул «Девушки из Камаре».

— Хороши мы! — сказал Гвиччоли.

Он был не слишком смущен; на Матье он смотрел скорее с гордостью.

— А у нас тут весело! — сказал он. — Здесь все веселые; мы хулиганы, горячие головы, банда скандалистов!

Гримо одобрил его кивком и засмеялся. Он старательно, как на иностранном языке, выговорил:

— С нами не соскучишься.

— Вижу, — сказал Матье.

— Хочешь опрокинуть стаканчик? — предложил Гвиччоли.

Посередине комнаты стоял медный таз, заполненный красным вином из интендантства. В тазу что‑то плавало.

— Это таз для варенья, — сказал Матье. — Где вы его взяли?

— Не твое дело, — огрызнулся Гвиччоли. — Так ты пьешь или нет?

Он изъяснялся с трудом, и у него глаза закрывались сами собой, но агрессивный вид он сохранял.

— Нет, — сказал Матье. — Я пришел увести Лонжена.

— Куда увести?

— Подышать свежим воздухом.

Гвиччоли взял свой котелок двумя руками и опустошил его.

— Уводи, я мешать не буду, — сказал Гвиччоли. — Он все время что‑то мелет о своем брате и всем надоел. Помни, у нас банда весельчаков, а унылых пьянчуг нам не нужно.

Матье взял Лонжена за руку.

— Ну, пошли!

Лонжен с раздражением высвободился.

— Минутку! Дай мне привыкнуть.

— Ну, привыкай, — сказал Матье.

Он повернулся и бросил взгляд на шкаф. За стеклами он увидел толстые тома, покрытые холстиной. Есть что почитать. Он бы стал читать все что угодно: даже Гражданский кодекс. Шкаф был заперт на ключ: Матье тщетно попытался его открыть.

— Разбей стекло, — посоветовал Гвиччоли.

— Нет! — зло отказался Матье.

— Чего ты, бей! Скоро увидишь, будут ли фрицы так церемониться.

Гвиччоли повернулся к остальным.

— Фрицы все спалят, а Деларю боится шкаф разбить. Солдаты загоготали.

— Буржуа! — с презрением процедил Гримо. Латекс потянул Матье за китель.

— Эй, Деларю! Иди посмотри. Матье обернулся:

— Что посмотреть?

Латекс вынул член из ширинки.

— Смотри! — сказал он. — И сними перед ним шляпу: у него шесть достижений.

— Каких достижений?

— Шесть толстячков. И каких красавчиков: каждый весил чуть ли не восемь кило; а теперь я не знаю, кто их будет кормить? Но вы нам сделаете других, — сказал он, нежно склонившись над членом. — Вы нам сделаете еще дюжину, шалунишка вы наш!

Матье отвел взгляд.

— Сними шляпу, слабак! — гневно крикнул Латекс.

— У меня нет шляпы, — ответил Матье. Латекс обвел взглядом комнату.

— Шестерых за восемь лет. Кто больше? Матье вернулся к Лонжену.

— Ну как? Готов?

Лонжен мрачно посмотрел на него:

— Я не люблю, когда меня торопят.

— Я тебя не торопил, ты сам меня позвал. Лонжен ткнул ему пальцем под нос.

— Я тебя не слишком люблю, Деларю. Я тебя никогда особенно не любил.

— Взаимно, — парировал Матье.

— Хорошо! — удовлетворенно сказал Лонжен. — Так мы, может, столкуемся. Прежде всего, почему бы мне не пить? — спросил он, глядя на Матье с подозрением. — Какой мне интерес не пить?

— На тебя вино тоску нагоняет, — сказал Гвиччоли.

— Если я не буду пить, будет хуже. Менар горланил:

«Коль умру, схороните меня

В погребке с хорошим вином…»

Матье посмотрел на Лонжена.

— Ты можешь пить, сколько хочешь, — сказал он ему.

— Чего? — разочарованно пробурчал Лонжен.

— Я говорю, — крикнул Матье, — пей, сколько хочешь: мне на это начхать!

Матье подумал: «Мне остается только уйти». Но он не мог на это решиться. Он наклонялся над ними, вдыхая сильный сладковатый запах их опьянения и несчастья; он подумал: «Куда я пойду?», и у него закружилась голова. Они не внушали ему отвращения, эти побежденные, которые пили до дна горечь своего поражения. Если кто‑то и внушал ему отвращение, так это он сам. Лонжен нагнулся, чтобы поднять свою кружку, и упал на колени.

— Гадство!

Он дополз до таза, окунул руку в вино по локоть, вытащил из вина мокрую кружку и, склонившись над тазом, стал пить. Подбородок его дрожал, и вино стекало в таз из углов рта.

— Ой, как мне плохо… — сказал он.

— Тебе надо сблевать, — посоветовал Гвиччоли.

— Как ты это делаешь? — спросил Лонжен; он был бледен и еле ворочал языком.

Гвиччоли засунул два пальца в рот, склонился на бок, захрипел, и его вырвало слизью.

— Вот так, — сказал он, вытирая рот тыльной стороной ладони.

Лонжен, все еще стоя на коленях, переложил кружку в левую руку, а правую засунул в горло.

— Эй! — крикнул Латекс. — Тебя сейчас вырвет в вино!

— Деларю! — крикнул Гвиччоли. — Толкни его! Толкни его побыстрей!

Матье толкнул Лонжена, и тот упал, не вынимая пальцев изо рта. Все ободряюще смотрели на него. Лонжен вынул пальцы и рыгнул.

— Не меняй руку, — посоветовал Гвиччоли. — Потерпи, уже подходит.

Лонжен закашлялся и побагровел.

— Ничего не подходит, — возразил он, заходясь от кашля.

— Ты нам осточертел! — в бешенстве крикнул Гвиччоли. — Не умеешь блевать, не надо пить!

Лонжен порылся в кармане, стал на колени, потом присел на корточки у таза.

— Что ты делаешь?! — закричал Гримо.

— Охлаждающий компресс, — пояснил Лонжен, вытаскивая из чана носовой платок со стекающими каплями вина. Он приложил его ко лбу и детским голосом попросил:

— Деларю, пожалуйста, завяжи мне его сзади.

Матье взял платок за два уголка и завязал его на затылке Лонжена.

— Ага, — сказал Лонжен, — так лучше.

Платок скрывал его левый глаз, струйка красного вина катилась вдоль щек и по шее.

— Ты похож на Иисуса, — смеясь, сказал Гвиччоли.

— Это уж точно, — отозвался Лонжен. — Я тип вроде Иисуса Христа.

Он протянул свою кружку Матье, чтобы тот ее наполнил.

— Нет уж, — возразил Матье, — ты уже и так нахлестался.

— Делай, что говорю! — крикнул Лонжен. — Делай, что говорю, прошу тебя! — Он добавил ноющим голосом: — Видишь, у меня хандра!

— Сто чертей! — крикнул Гвиччоли. — Дай ему скорее выпить, иначе он опять начнет к нам приставать со своим братцем.

Лонжен надменно взглянул на него:

— А почему бы мне не говорить о моем брате, если я хочу? Не ты ли мне запретишь?

— Ох, отстань! — взмолился Гвиччоли. Лонжен повернулся к Матье.

— Мой брат в Оссегоре, — объяснил он.

— Значит, он не солдат?

— Еще чего — он белобилетник. Сейчас прогуливается в сосновом бору со своей женушкой; они говорят друг другу: «Бедному Полю не повезло», и они милуются, думая обо мне. Что ж, я им покажу бедного Поля!

Он на минуту сосредоточился и заключил:

— Я не люблю своего брата. Гримо расхохотался до слез.

— Чему ты смеешься? — раздраженно спросил Лонжен.

— Ты, может быть, запретишь ему смеяться? — возмутился Гвиччоли. — Продолжай, дружок, — по‑отечески сказал он Гримо, — веселись, смейся, мы здесь собрались повеселиться.

— Я смеюсь из‑за своей жены, — пояснил Гримо.

— Плевал я на твою жену, — сказал Лонжен.

— Ты говоришь о своем брате, а я хочу поговорить о своей жене.

— А что с твоей женой? Гримо приложил палец к губам:

— Тсс!

Он наклонился к Гвиччоли и доверительно сказал:

— У меня жена страшна, как черт. Гвиччоли хотел было что‑то сказать.

— Ни слова! — повелительно сказал Гримо. — Страшна, как черт, и нечего тут спорить. Подожди, — добавил он, приподнимаясь и пропуская левую руку под ягодицы, чтобы добраться до заднего кармана брюк. — Я сейчас тебе ее покажу, будешь блевать от омерзения.

После нескольких бесплодных попыток он опять сел.

— Повторяю, она страшна, как черт, поверь мне на слово. Я же не буду тебе врать, какой мне в этом интерес?

Лонжену стало любопытно.

— Она действительно такая страшная? — спросил он.

— Говорю тебе: как черт.

— А что в ней безобразного?

— Все. Сиськи до колен, а зад до пяток достает. А если б ты видел ее кривые ноги, кошмар! Она может мочиться, не раздвигая ног.

— Тогда, — сказал Лонжен, — ты мне ее перепульни, такая баба как раз для меня, я всегда вожжался только со страхолюдинами, красотки — для моего брата.

Гримо лукаво прищурился.

— Нет уж, я тебе ее не перепульну, мой дружочек. Потому что если я тебе ее отдам, не факт, что я найду другую, поскольку я тоже не красавец. Такова жизнь, — заключил он, вздохнув. — Нужно довольствоваться тем, что имеешь.

— «Такова, — запел Минар, — такова жизнь, которую ведут добрые монахи».

— Такова жизнь! — повторил Лонжен. — Такова жизнь! Мы мертвецы, вспоминающие свою жизнь и, сучья мать, жизнь у нас была не шибко красивая.

Гвиччоли бросил свой котелок ему в лицо. Котелок слегка коснулся щеки Лонжена и упал в таз.

— Смени пластинку! — злобно рявкнул Гвиччоли. — Мне тоже тошно, но я никому в душу с этим не лезу. Мы сейчас веселимся, усек?

Лонжен повернул к Матье отчаянные глаза.

— Уведи меня отсюда, — тихо сказал он. — Уведи меня отсюда!

Матье нагнулся, чтобы схватить его под мышки, но Лонжен извивался, как уж, и вывернулся. Матье потерял терпение.

— Мне это осточертело! — разозлился он. — Так ты идешь или нет?

Лонжен лег на спину и лукаво посмотрел на него:

— Тебе очень хочется, чтобы я ушел, а? Очень хочется?

— Мне наплевать. Я хочу только, чтобы ты решил наконец что‑то одно.

— Что ж, — сказал Лонжен. — Выпей стаканчик. Пока я размышляю, у тебя есть время выпить.

Матье не ответил. Гримо протянул ему свою кружку. — Спасибо, — ответил Матье, отказавшись жестом.

— Почему ты не пьешь? — изумился Гвиччоли. — Здесь хватит на всех: тебе нечего стесняться.

— Просто не хочу. Гвиччоли засмеялся:

— Он говорит, что не хочет! Ты разве не знаешь, дурень, что мы банда пей‑через‑не‑хочу?

— Нет, пить я не буду. Гвиччоли удивленно поднял брови:

— Почему они хотят, а ты нет? Почему? Он сурово посмотрел на Матье:

— Я тебя считал посмышленей. Деларю, ты меня разочаровываешь!

Лонжен приподнялся на локте.

— Разве вы не видите, что он нас презирает?

Наступило молчание. Гвиччоли поднял на Матье вопрошающий взгляд, затем вдруг всем телом осел, веки его опустились. Он нехорошо улыбнулся и, не открывая глаз, сказал:

— Кто нас презирает, может убираться вон. Мы никого не задерживаем, мы здесь среди своих.

— Я никого не презираю, — возразил Матье.

Он остановился: «Они пьяные., а я не пил». Это, вопреки его воле, внушало ему чувство превосходства, и Матье ощутил стыд. Он стыдился своего терпеливого голоса, которым принуждал себя говорить с ними. «Они напились, потому что им невмоготу!» Но кто мог разделить их несчастье? Разве что такой же пьяный, как они. «Не надо было приходить сюда», — подумал он.

— Он нас презирает! — с наигранным гневом повторил Лонжен. — Он здесь, как в кино, он смеется над пьяными дураками, которые несут околесицу…

— Говори за себя! — оборвал его Латекс. — Я не несу околесицу.

— Да брось ты, — устало сказал Гвиччоли. Гримо задумчиво посмотрел на Матье:

— Если он нас презирает, я ему сейчас отолью на кум‑пол.

Гвиччоли засмеялся.

— Тебе отольют на кумпол, — повторил он. — Тебе отольют на кумпол.

Менар перестал петь; он соскользнул со шкафа, с загнанным видом огляделся, потом, казалось, успокоился, испустил облегченный вздох и, отключившись, рухнул на пол. Никто не обратил на него внимания: все смотрели прямо перед собой и время от времени бросали на Матье злобные взгляды. Матье просто не знал, как поступить: он пришел сюда без задних мыслей, стараясь помочь Лонжену. Но он должен был бы предвидеть, что вместе с ним сюда проникает срам и скандал. Эти типы увидели себя его глазами; он уже не говорил на их языке, но однако, сам того не желая, стал их судьей и свидетелем. Ему внушал отвращение этот таз, полный вина и мусора, хоть он и упрекал себя за это отвращение: «Кто я такой, чтобы отказываться пить, когда мои товарищи пьяны?»

Латекс задумчиво погладил себя по нижней части живота. Вдруг он повернулся к Матье с вызовом в глазах; затем поставил котелок в развилке ног и начал болтать членом в вине.

— Я его вымачиваю — это его укрепит.

Гвиччоли фыркнул. Матье отвернулся и встретил насмешливый взгляд Гримо.

— Что, никак не поймешь, куда попал? — спросил Гримо. — Ты нас не знаешь, приятель: от нас можно всего ожидать.

Он наклонился вперед и, заговорщицки подмигнув, крикнул:

— Эй, Латекс, спорим, что ты теперь не выпьешь этого вина!

Латекс подмигнул в ответ.

— Еще чего!

Он поднял котелок и шумно выпил, наблюдая за Матье. Лонжен ухмылялся, все улыбались. Они выпендриваются передо мной. Латекс поставил котелок и причмокнул языком:

— Еще вкуснее!

— Ну как? — спросил Гвиччоли. — Что ты на это скажешь? Разве мы не весельчаки? Разве мы не лихие ребята?

— И это еще не все, — сказал Гримо. — Ты еще не все видел.

Дрожащими руками он пытался расстегнуть ширинку; Матье нагнулся к Гвиччоли.

— Дай мне твой котелок, — тихо сказал он. — Я буду веселиться с вами.

— Он упал в таз, — раздраженно сказал Гвиччоли. — Тебе нужно его выловить.

Матье погрузил руку в таз, пошевелил пальцами в вине, пошарил на дне и вытащил полный котелок. Руки Гримо замерли; он посмотрел на них, потом сунул их в карманы и посмотрел на Матье.

— То‑то! — смягчившись, сказал Латекс. — Я так и знал, что ты не удержишься.

Матье выпил. В вине были какие‑то мелкие и бесцветные шарики. Он их выплюнул и снова наполнил котелок. Гримо добродушно смеялся.

— Кто на нас посмотрит, — сказал он, — нипочем не удержится — обязательно выпьет. Его завидки возьмут.

— Лучше пусть завидуют, чем жалеют, — сказал весельчак Гвиччоли.

Матье помедлил, спасая муху, увязшую в вине, потом выпил. Латекс смотрел на него с видом знатока.

— Это не пьянка, — заметил он, — это самоубийство. Котелок был пуст.

— Мне очень трудно опьянеть, — сказал Матье.

Он наполнил котелок в третий раз. Вино было густым, со странным сладковатым привкусом.

— Вы случайно туда не напрудили? — охваченный подозрением, спросил Матье.

— Ты что, спятил? — возмутился Гвиччоли. — Ты думаешь, мы можем испортить вино, а?

— Да нет, — ответил Матье. — А в общем, мне плевать. Он выпил залпом и отдышался.

— Ну как? — с интересом спросил Гвиччоли. — Теперь стало лучше?

Матье покачал головой:

— Пока нет.

Он взял котелок и, сжав зубы, наклонился над тазом и тут услышал за спиной насмешливый голос Лонжена:

— Хочет нам показать, что он повыносливей нас. Матье обернулся:

— Неправда! Я пью, чтобы развеселиться.

Лонжен сидел весь одеревеневший; повязка сползла на нос. Над повязкой Матье видел неподвижные округлые глаза старой курицы.

— Я тебя не слишком люблю, Деларю! — сказал Лонжен.

— Ты это уже говорил.

— Ребята тоже тебя не слишком любят, — добавил Лонжен. — Они при тебе робеют, потому что ты образованный, но не думай, что они тебя любят.

— За что им меня любить? — сквозь зубы процедил Матье.

— Ты все делаешь не как все, — продолжал Лонжен. — Даже напиваешься — и то по‑другому.

Матье недоуменно посмотрел на него, затем повернулся и бросил котелок в стекло шкафа.

— Я не умею пьянеть! — громко сказал он. — Не умею — и баста. Вы же видите, что не умею.

Никто не проронил ни слова; Гвиччоли положил на пол осколок стекла, который упал ему на колени. Матье подошел к Лонжену, твердо взял его за руку и поставил на ноги.

— Что такое? Какое тебе дело? — крикнул Лонжен. — Занимайся своей задницей, эй ты, аристократ!

— Я пришел увести тебя, — настаивал Матье, — и я уйду с тобой.

Лонжен яростно отбивался.

— Оставь меня в покое! Говорю тебе, отпусти меня! Отпусти, сучий потрох, или я разозлюсь.

Матье стал тащить его из комнаты, Лонжен поднял руку и попытался ткнуть ему пальцем в глаза.

— Мерзавец, — разозлился Матье.

Он отпустил Лонжена и залепил ему два не слишком сильных подскульника; Лонжен обмяк и повернулся вокруг своей оси; Матье схватил его на лету и водрузил его на плечи, как мешок.

— Видите, — сказал он. — Я тоже, если захочу, могу корчить из себя весельчака.

Он их ненавидел. Он вышел и спустился по ступенькам крыльца со своей ношей. Шарло, увидев его, расхохотался.

— Что с братишкой?

Матье перешел через дорогу и положил Лонжена у каштана.

— Сейчас лучше? — спросил Матье. Лонжена снова вырвало.

— Вот… так легче… — сказал он между двумя позывами.

— Я тебя оставлю, — сообщил Матье. — Когда кончишь блевать, постарайся хорошенько выспаться.

Он запыхался, когда подошел к почтовой конторе. Он постучал. Пинетт открыл ему с восхищенным видом.

— Ага! — обрадовался он. — Решился наконец.

— В конечном счете, да, — ответил Матье.

В тени за Пинетгом появилась почтовая служащая.

— Мадемуазель сегодня уже не боится, — сказал Пинетт. — Мы слегка прогуляемся по полям.

Девушка бросила на него мрачноватый взгляд. Матье ей улыбнулся. Он подумал: «Я ей не слишком симпатичен», но ему это было в высшей степени безразлично.

— От тебя пахнет вином, — заметил Пинетт.

Матье, не отвечая, засмеялся. Девушка надела черные перчатки, заперла на два оборота дверь, и они пустились в путь. Она положила ладонь на руку Пинетта, а Пинетт дал руку Матье. Солдаты, проходя, приветствовали их.

— У нас воскресная прогулка! — крикнул им Пинетт.

— Ага! — ответили они. — Без офицеров — каждый день воскресенье.

Молчание луны под солнцем; грубые гипсовые изображения, расположенные по кругу в пустыне, напомнят будущим породам, чем был род человеческий. Продолговатые белые руины будут плакать бороздками своих жировых черных выпотов. На северо‑западе триумфальная арка, на севере романский храм, на юге мост, ведущий к другому храму; вода в бассейне загнивает, торчит каменный нож, устремленный в небо. Из камня; из камня, засахаренного в сиропе истории; Рим, Египет, каменный век — вот что останется от достославного места. Он повторил: «Вот что останется», но удовольствие его притупилось. Нет ничего монотоннее катастрофы; Даниель начинал к ней привыкать. Он прислонился к решетке, еще счастливый, но усталый, с лихорадочным привкусом лета на языке: Даниель гулял весь день; теперь ногам трудно было его нести, и все‑таки надо было идти. В мертвом городе следует ходить. «Я заслужил эту маленькую удачу», — сказал он себе. Неважно что, но что‑нибудь да расцветет для него одного на углу улицы. Но, увы, ничего не было. В пустыне всюду посверкивали дворцы: кое‑где подпрыгивали голуби, незапамятные птицы, ставшие камнями, потому что кормились статуями. Единственной оживляющей нотой в этом каменном пейзаже был нацистский флаг над отелем «Крийон».

*О! Штандарт цвета кровоточащего мяса на шелке морей и арктических цветов.*Посередине кровавого лоскута белый круг, точно круг от волшебного фонаря на простыне моего детства; посередине круга клубок черных змей, Аббревиатура Зла, моя Аббревиатура. Каждую секунду в складках стяга образуется красная капля, она отделяется, падает на покрытие из щебенки: добродетель кровоточит. Он прошептал: «Добродетель кровоточит!» Но его это уже не так забавляло, как накануне. Три дня он не заговаривал ни с кем, и его радость отвердела; на мгновенье усталость затуманила ему взгляд, и он подумал, не вернуться ли? Нет. Он не мог вернуться: «Мое присутствие требуется повсюду». Надо идти. Он с облегчением воспринял звучный разрыв неба: самолет блестел на солнце, это была смена, у мертвого города был и другой свидетель, он поднимал к небесам тысячи мертвых голов. Даниель улыбался: это его самолет искал среди могил. «Это только для меня одного он здесь». Ему хотелось броситься на середину площади и замахать платком. Хорошо бы они начали бомбить! Это было бы воскрешение, город огласился бы шумом работающей кузницы, изысканные цветы зацепились бы за фасады. Самолет пролетел; и вокруг Даниеля вновь образовалась планетарная тишина. Идти! Идти без остановки по поверхности этой остывшей планеты.

Он пошел дальше, волоча ноги; пыль отбеливала его туфли. Он вздрогнул: прижав лоб к какому‑нибудь стеклу какой‑то праздный генерал‑победитель, сложив руки за спиной, может быть, наблюдал за этим туземцем, заблудившимся в музее парижских реликвий. Все окна стали немецкими глазами; он выпрямился и пошел упругим шагом, для смеху немного виляя бедрами: «Я хранитель Некрополя». Тюильри, набережная Тюильри; перед тем, как перейти улицу, он по привычке повернул голову налево и направо, но ничего не увидел, кроме тоннеля из листвы. Он собирался ступить на мост Сольферино, когда остановился, и сердце его забилось: удача! Дрожь пробежала от подколенной впадины до затылка, руки и ноги похолодели, он застыл и затаил дыхание, вся его жизнь сосредоточилась в зрении: он пожирал глазами стройного юношу, который невинно стоял к нему спиной, склоняясь над водой. «Дивная встреча!» Даниель был бы меньше взволнован, если бы вечерний ветер обрел голос и окликнул его по имени, или если бы облака начертали его имя на сиреневом небе, настолько было очевидно, что это дитя оказалось здесь для него, что его длинные широкие руки, выглядывавшие из шелковых манжет, были словами его тайного языка: «Он дан мне». Малыш был длинный и кроткий, светлые взъерошенные волосы и круглые, почти женские, плечи, узкие бедра, твердый, крупный зад, очаровательные маленькие ушки; ему могло быть лет девятнадцать‑двадцать. Даниель смотрел на его уши и думал: «Дивная встреча», он испытывал некий страх. Все его тело притворялось мертвым, как насекомые, которым грозит опасность; самая большая опасность для меня — красота. Его руки все больше и больше холодели, железный обруч опоясал шею. Красота, самая скрытная из ловушек, предлагала себя с улыбкой соучастия и легкости, подавала ему знак, принимая ожидающий вид. Какая ложь: этот нежный беззащитный затылок никого не ждал; он только ласкался о воротник куртки и наслаждался самим собой, они наслаждались самими собой, своим теплом, эти стройные горячие светлые бедра, которые угадывались под серой фланелью. Он смотрит на реку, он думает, необъяснимый и одинокий, как пальма; он мой, хоть он меня не знает. Даниеля затошнило от тревоги, и на какой‑то миг все закачалось: крохотный и далекий ребенок звал его со дна пропасти; его звала красота; Красота, моя Судьба. Он подумал: «Все начнется сначала. Все: надежда, несчастье, стыд, безумства». И тут он вспомнил, что Франция обречена: «Все дозволено!» Тепло потекло от живота к кончикам пальцев, усталость исчезла, кровь застучала в висках. «Единственные видимые представители человеческого рода, единственные выжившие представители исчезнувшей нации, мы неизбежно заговорим друг с другом: что может быть естественнее?» Он сделал шаг вперед к тому, кого уже окрестил Чудом, он помолодел и стал добрым, он отяжелел от возбуждающего откровения, которое нес ему малыш. И почти сразу же Даниель остановился: он заметил, что Чудо дрожало всеми членами, конвульсивное движение то отбрасывало его тело назад, то прижимало живот к балюстраде, наклоняя затылок над водой. «Маленький дурачок!» — раздраженно подумал Даниель. Мальчик не был достоин этой чрезвычайной минуты, он не совсем в ней присутствовал, ребяческие заботы отвлекали эту душу, которая должна быть открыта прекрасной новости. «Маленький дурачок!» Вдруг Чудо странным вымученным движением подняло правую ногу, словно собираясь перешагнуть через парапет. Даниель изготовился прыгнуть, когда малыш беспокойно обернулся и застыл с поднятой ногой. Он заметил Даниеля, а Даниель увидел его несчастные глаза на белом, как мел, лице; малыш с секунду колебался, его нога опустилась, царапнув камень, и он небрежно пустился в путь, волоча руку по выступу парапета. «Ты хочешь покончить с собой!»

Восхищение Даниеля заморозилось в одночасье. Всего‑то: мерзкий обезумевший мальчишка, неспособный вынести последствий своих глупостей. Приступ желания напряг Даниелю член: он пошел за мальчиком с ледяной радостью охотника. Он холодно ликовал; он словно освободился и очистился и стал насколько возможно коварным. В принципе он предпочитал это, но он развлекался, храня обиду на малыша: «Ты хочешь покончить с собой, маленький идиот? Ты думаешь, это легко! Большим ловкачам, чем ты, это не удалось». Мальчик осознал его присутствие за своей спиной; теперь он делал большие лошадиные шаги, он шагал очень широко и очень напряженно. Посреди моста он вдруг заметил, что его правая ладонь касается балюстрады: ладонь поднялась, напряженная и вещая, он ее насильно опустил и засунул в карман и пошел дальше, втянув голову в плечи. «У него подозрительный вид, — подумал Даниель, — именно такими я их и люблю». Молодой человек ускорил шаг; Даниель поступил так же. Жестокий смех рвался наружу: «Он страдает, он спешит с этим покончить, но не может, потому что за ним иду я. Иди, иди, я тебя не оставлю». В конце моста малыш поколебался, потом пошел по набережной Орсэ; он приблизился к верху лестницы, доходящей до берега, остановился, с нетерпением повернулся к Даниелю и стал ждать. Молниеносно Даниель увидел очаровательное лицо, аккуратный нос, маленькие вялые губы, гордые глаза. Даниель потупился с видом святоши, медленно приблизился, прошел мимо мальчика, не глядя на него, затем через несколько шагов бросил взгляд через плечо: мальчик исчез. Даниель неспешно перегнулся через парапет и увидел его на берегу: опустив голову, тот созерцал кольцо для швартовки, по которому задумчиво постукивал ногой; нужно как можно быстрее спуститься, не дав себя заметить. К счастью, в двадцати метрах была другая лестница, узкий железный трап, скрытый выступом стены. Даниель медленно и бесшумно спустился; все это его безумно развлекало. Внизу лестницы он прижался к стене: мальчик, стоя у кромки берега, смотрел на воду. Сена, зеленоватая с серыми отблесками, катила странные предметы, мягкие и темные; было не так‑то соблазнительно нырнуть в эту больную реку. Мальчик нагнулся, поднял голыш и бросил его в воду, затем продолжил свое маниакальное созерцание. «Ладно, ладно, это будет не сегодня; через пять минут он сдрейфит. Дать ли ему на это время? Спрятавшись, ждать, когда он проникнется своей низостью, а когда удалится, разразиться взрывом смеха? Нет, это рискованно: он может возненавидеть меня навсегда. Если я сейчас же брошусь на него, чтобы помешать ему утопиться, он будет благодарен, что я счел его способным на самоубийство, даже если он для проформы поворчит; но главное, надо помешать ему оставаться наедине с самим собой». Даниель провел языком по губам, глубоко вдохнул и выскочил из укрытия. Молодой человек в ужасе обернулся; он бы упал, если бы Даниель не схватил его за руку; мальчик пробормотал:

— Я вас…

Но, увидев Даниеля, он, казалось, успокоился; в его глазах ужас уступил место бешенству: он боялся увидеть другого.

— В чем дело? — высокомерно спросил он. Даниель не смог ему сразу ответить: желание перехватило ему дыхание.

— Юный Нарцисс! — с трудом проговорил он. — Юный Нарцисс!

Немного погодя он добавил:

— Нарцисс слишком сильно наклонился, еще немного — и он упал бы в воду.

— Я не Нарцисс, — возразил мальчик. — Вестибулярный аппарат у меня в норме, и я могу обойтись без ваших услуг.

«Он студент», — подумал Даниель. Он грубо спросил:

— Ты хотел покончить с собой?

— Вы что, с ума сошли?

Даниель начал смеяться, и мальчик покраснел.

— Оставьте меня в покое! — мрачно проговорил он.

— Когда захочу, тогда и оставлю! — сказал Даниель, решив не отступаться.

Мальчик опустил красивые глаза, и Даниель едва успел отскочить назад, чтобы избежать удара каблуком. «Он лягается! — подумал Даниель, обретя равновесие. — Он лягается наугад, даже не глядя на меня». Он был в восторге. Они молчали, тяжело дыша; мальчик стоял, опустив голову, и Даниель мог любоваться его удивительно тонкими волосами.

— Вот как? Мы подло лягаемся, точно женщина?

Мальчик покачал головой справа налево, будто бы тщетно пытался ее поднять. Через некоторое время он подчеркнуто грубо сказал:

— Идите к чертовой матери.

В его голосе было больше упрямства, чем уверенности, но в конце концов он поднял голову и посмотрел Даниелю прямо в глаза со смелостью, которая сама себя пугала. Тут же взгляд его скользнул в сторону, и Даниель мог вдоволь созерцать это красивое, хмурое, но как бы покорившееся лицо. «Гордость и слабость, — подумал он. — И злонамеренность. Буржуазное личико, потрясенное отвлеченным заблуждением; очаровательные черты, но лишенные благородства». В этот самый момент он получил удар ногой по икре и не смог удержаться от гримасы боли:

— Ах ты, гаденыш! Надрать бы тебе задницу хорошенько! Глаза мальчика блеснули:

— Только попробуйте! Даниель начал его трясти:

— И попробую! Если мне захочется прямо сейчас снять с тебя штаны, уж не ты ли мне помешаешь?

Мальчик сильно покраснел и засмеялся:

— Я вас не боюсь.

— Черт возьми! — воскликнул Даниель.

Он схватил юношу за затылок и попытался нагнуть его вперед.

— Нет! Нет! — крикнул мальчик отчаянно. — Нет, не надо!

— А ты будешь еще пинать меня?

— Нет, только оставьте меня.

Даниель позволил ему выпрямиться. Малыш держался смирно, вид у него был затравленный. «Ты уже познал удила, мой жеребеночек; кто‑то оказал мне услугу, начав дрессировку до меня. Отец? Дядя? Любовник? Нет, не любовник: позже мы будем это обожать, но пока что мы еще девственник».

— Итак, — сказал Даниель, не отпуская его, — ты хотел покончить с собой. Почему?

Мальчик хранил упорное молчание.

— Дуйся сколько угодно, — продолжал Даниель. — Что мне до этого? Во всяком случае, ты уже упустил эту возможность

Мальчик улыбался своим мыслям бледной многозначительной улыбкой.

«Мы топчемся на месте, — раздосадованно подумал Даниель. — нужно выйти из тупика». Он снова начал его трясти

— Почему ты улыбаешься? Говори! Юноша посмотрел ему в глаза.

— Отпустите меня, пожалуйста.

— Охотно, — сказал Даниель. — Я готов отпустить тебя сию минуту.

Он ослабил хватку и сунул руки в карманы.

— Ну? — спросил он.

Мальчик не шевелился, по‑прежнему улыбаясь. «Он дурачит меня».

— Послушай, я прекрасно плаваю, я уже спас двоих, причем одного во время шторма на море.

Мальчик издал девчоночий смешок, странный и неестественный.

— Да у вас мания всех спасать!

— Может, и так, — согласился Даниель. — Может, и мания Ныряй! — добавил он, раздвигая руки. — Ныряй же, раз тебе приспичило. Я позволю тебе немного нахлебаться, и ты увидишь, как это приятно. Потом я не спеша разденусь, прыгну в воду, оглушу тебя кулаком и полумертвого вытащу. Он засмеялся.

— Ты должен знать, что неудавшиеся самоубийцы редко предпринимают еще одну попытку. Когда я приведу тебя в чувство, ты об этом и помышлять не будешь.

Мальчик шагнул к нему, словно намереваясь его ударить.

— Кто вам дал право говорить со мной таким тоном? Кто вам дал на это право?

Даниель продолжал смеяться.

— Ха! Ха! Кто мне дал на это право? Подумай! Подумай хорошенько!

Он вдруг сжал ему запястье.

— Пока я здесь, ты не сможешь покончить с собой, даже если будешь сгорать от такого желания. Я — хозяин твоей жизни и смерти. 4

— Вы не всегда будете рядом, — со странным видом сказал мальчик.

— А вот тут ты ошибаешься, — возразил Даниель. — Я буду рядом всегда.

Он вздрогнул от удовольствия: он уловил в красивых ореховых глазах проблеск любопытства.

— Даже если я и вправду хочу покончить с собой, что вам до этого? Вы меня не знаете.

— Ты же сам сказал: у меня мания, — весело ответил Даниель. — У меня мания мешать людям делать то, что они хотят.

Он с доброй улыбкой посмотрел на юношу:

— Значит, это так серьезно?

Мальчик не ответил. Он изо всех сил старался не заплакать. Даниель был так растроган, что едва не заплакал сам. К счастью, мальчик был слишком погружен в себя и не замечал этого. Несколько секунд Даниелю удалось сдерживать желание погладить его по волосам; затем его правая рука сама собой покинула карман и щупающим жестом слепого легла на светлую голову. Даниель отдернул руку, как будто обжегся. «Слишком рано! Это оплошность…» Мальчик сильно затряс головой и сделал несколько шагов вдоль берега. Даниель ждал, затаив дыхание: «Слишком рано, дурак, явно слишком рано». Он озлился и решил наказать себя: «Если он захочет, я дам ему уйти, не сделав ни движения». Но как только он услышал первые рыдания, он подбежал к юноше и обвил его руками. Мальчик прижался к его груди.

— Бедный малыш! — промолвил потрясенный Даниель. — Бедный малыш!

Он отдал бы правую руку, чтобы утешить его или заплакать вместе с ним. Через некоторое время мальчик поднял голову, он больше не плакал, но две слезы катились по его чудесным щекам; Даниель хотел бы собрать их двумя движениями языка и выпить их, чтобы почувствовать соленый вкус этого горя. Молодой человек недоверчиво посмотрел на него:

— Как вышло, что вы здесь очутились?

— Я проходил мимо, — ответил Даниель.

— Значит, вы не солдат? Даниель нахмурился.

— Их война меня не интересует. Он быстро продолжил:

— Я тебе кое‑что предложу. Ты все еще готов покончить с собой?

Мальчик не ответил, но выглядел мрачно и решительно.

— Очень хорошо, — сказал Даниель. — Тогда слушай. Я забавлялся, пугая тебя, но я ничего не имею против самоубийства, если оно продумано, и мне нет дела до твоей смерти, поскольку я тебя не знаю. Я не стал бы тебе мешать, если б у тебя были на то веские причины.

Он с радостью увидел, как молодой человек побледнел. «Ты решил, что уже отделался от меня?» — подумал он.

— Смотри, — продолжал он, показывая на большую оправу своего перстня. — У меня там яд. Я всегда ношу этот перстень, даже ночью, и если я попаду в ситуацию, когда мои честь и достоинство…

Он остановился и отвинтил оправу. Мальчик смотрел на две коричневые таблетки с недоверием, полным гадливости.

— Расскажешь мне свою ситуацию. Если я сочту твои мотивы основательными, одна из этих таблеток — твоя: это все‑таки приятнее, чем ледяная ванна. Хочешь ее сейчас? — спросил он так, словно резко изменил мнение.

Мальчик, не отвечая, провел языком по губам.

— Хочешь? Я тебе ее дам; ты ее проглотишь на моих глазах, и я тебя не покину до самого конца. — Он взял его за руку и сказал:

— Я буду держать тебя за руку и закрою тебе глаза. Мальчик покачал головой:

— А кто мне докажет, что это яд? Даниель рассмеялся молодым легким смехом:

— Боишься, что это слабительное? Глотай, сразу убедишься.

Мальчик не ответил: щеки его были по‑прежнему бледными, а зрачки расширенными, но он кокетливо и неискренне улыбнулся, посмотрев искоса на Даниеля.

— Так ты не хочешь?

— Не сразу.

Даниель завинтил перстень.

— Дам, когда захочешь, — холодно проговорил он. — Как тебя зовут?

— Вы хотите, чтобы я назвал свою фамилию?

— Только имя.

— Что ж, если это необходимо… Филипп.

— Так вот, Филипп, — сказал Даниель, просовывая свою руку под руку молодого человека, — раз тебе нужно объясниться, пойдем ко мне.

Он подтолкнул его к лестнице и легко заставил подняться по ступенькам; затем они под руку прошли по набережным. Филипп упрямо смотрел вниз; он снова задрожал, но жался к Даниелю, касаясь его бедром при каждом шаге. Красивые туфли из пекари, почти новые, но которым по крайней мере год, хорошо скроенный фланелевый костюм, белый галстук, голубая шелковая рубашка. Это была мода тридцать восьмого года на Монпарнасе, прическа нарочито небрежная: во всем этом не так уж мало нарциссизма. Почему он не в армии? Безусловно, слишком молод; но, возможно, он старше, чем выглядит: у угнетенных детей детство затягивается. Во всяком случае, к самоубийству его толкает явно не нищета. Когда они проходили мимо моста Генриха IV, он быстро спросил:

— Ты хотел утопиться из‑за немцев?

Филипп, казалось, удивился и покачал головой. Он был красив, как ангел. «Я тебе помогу, — страстно подумал Даниель. — Я тебе помогу». Он хотел спасти Филиппа, сделать из него мужчину. «Я дам тебе все, что имею, ты узнаешь все, что знаю я». Центральный рынок был пуст и черен, он больше ничем не пах. Но город в чем‑то изменился. Часом раньше был конец света, и Даниель чувствовал, что он участник Истории. Теперь улицы приходили в себя, в этот переломный час, когда в агонии недели и солнца возвещается прекрасный, совсем новенький понедельник, Даниель прогуливался, словно в довоенное воскресенье. Что‑то начнется: новая неделя, новая любовь. Он поднял голову и улыбнулся: стекло в огне дарило ему закат, это был знак; чудесный запах раздавленной клубники вдруг наполнил ему ноздри, это был другой знак; чья‑то тень бегом пересекла улицу Монмартр, еще один знак. Каждый раз, когда фортуна ставила на его пути лучезарную красоту ребенка — Бога, небо и земля лукаво подмигивали ему. Он изнемогал от желания, дыхание его пресекалось на каждом шагу, но он так привык молча идти рядом с ничего не подозревающими молодыми людьми, что в конце концов полюбил свое долготерпение предвкушающего мужелюба. «Я подстерегаю тебя, ты наг в ложбине моего взгляда, я владею тобой на расстоянии, ничего не отрывая от себя, я овладеваю тобой своим обонянием и зрением; я уже знаю твою узкую талию, я ее ласкаю неподвижными руками, я погружаюсь в тебя, а ты об этом даже не подозреваешь». Он нагнулся, чтобы вдохнуть аромат этого склоненного затылка, и вдруг был поражен сильным запахом нафталина. Он сейчас же выпрямился, охлажденный, но заинтригованный: он обожал сочетания волнения и сухости, обожал нервозность. «Посмотрим, хороший ли я следователь, — весело подумал он. — Вот молодой поэт, который хочет броситься в воду в тот день, когда немцы вступают в Париж: почему? Единственный, но основательный признак: его костюм пахнет нафталином, значит, он его давно не носил. Но зачем переодеваться в день своего самоубийства? Потому что он не хотел надевать то, что носил еще вчера. Стало быть, это была военная форма, из‑за которой его могли бы схватить. Он — солдат. Но что он здесь делает? Мобилизованный из отеля «Континенталь» или из службы министерства авиации, он уже давно сбежал бы в Туре вместе с остальными. Но тогда все ясно. Совершенно ясно». Он остановился, показывая на ворота:

— Вот и пришли.

— Не хочу, — резко сказал Филипп. — Что?

— Не хочу идти к вам.

— Ты предпочитаешь, чтобы тебя задержали немцы?

— Не хочу, — повторил Филипп, глядя себе под ноги. — Мне нечего вам сказать, и я вас не знаю.

— Ах, вот оно что, — протянул Даниель. — Вот оно что! Он двумя руками взял его за голову и насильно приподнял ее.

— Ты меня не знаешь, зато я тебя знаю, — сказал он ему, — я сам могу рассказать тебе, что с тобой произошло.

Он продолжал, погрузив свой взгляд в глаза Филиппа:

— Ты был в северной армии, началась паника, и ты удрал. Потом, вероятно, не было возможности снова найти свой полк. Ты вернулся домой, твоя семья смылась, и ты переоделся в гражданское и прямиком пошел утопиться в Сене. Не потому, что ты сверхпатриот, но тебе невыносима мысль, что ты трус. Разве я ошибся?

Мальчик не двигался, но глаза его еще больше расширились, и у Даниеля пересохло во рту, он чувствовал, что тревога поднимается в нем, как прилив; он повторил скорее громко, чем уверенно:

— Разве я ошибся?

Филипп что‑то промычал в ответ, но тело его расслабилось; тревога отступила, от радости у Даниеля перехватило дыхание, его сердце заметалось и заполошно заколотилось в груди.

— Пойдем ко мне, — прошептал он, — я знаю лекарство.

— Лекарство от чего?

— От всего. Я могу научить тебя многому.

У Филиппа был усталый и успокоенный вид; Даниель подтолкнул его к воротам. Красивых ребят, за которыми он охотился на Монмартре или Монпарнасе, он никогда еще не решался приводить к себе домой. Но сегодня консьержка и большая часть жильцов улепетывала по дорогам между Монтаржи и Жьеном, сегодня был праздник. Они молча поднялись. Даниель вставил ключ в скважину, не выпуская руки Филиппа. Он открыл дверь и посторонился:

— Входи.

Филипп нерешительно вошел.

— Дверь напротив — это гостиная.

Он повернулся к нему спиной, запер дверь на ключ и положил его в карман. Когда он присоединился к Филиппу, тот стоял перед этажеркой и заинтересованно разглядывал статуэтки.

— Потрясающе!

— Неплохие, — согласился Даниель, — Они действительно неплохие. Но, главное, они настоящие. Я их сам купил у индейцев.

— А это? — спросил Филипп.

— Это портрет умершего ребенка. В Мексике, когда кто‑нибудь умирает, зовут специального художника для мертвых. Он рисует труп с чертами живого человека. Вот что из этого получается.

— Вы были в Мексике? — спросил Филипп с оттенком уважения.

— Я прожил там два года.

Филипп с восторгом смотрел на портрет красивого, бледного и гордого ребенка, который из лона смерти возвращал ему свой взгляд с уверенностью и серьезностью посвященного. «Они похожи друг на друга, — подумал Даниель. — Оба светловолосые, оба дерзкие и бледные, один на картине, другой против нее, ребенок, который хотел умереть, и ребенок, который действительно умер, смотрят друг на друга; смерть была тем, что их разделяло: ничто, плоская поверхность полотна».

— Потрясающе! — повторил Филипп.

Невероятная усталость вдруг сразила Даниеля. Он вздохнул и опустился в кресло. Мальвина прыгнула ему на колени.

— Вот! Вот! — сказал он, гладя ее. — Умница моя, Мальвина, красивая моя.

Он повернулся к Филиппу и слабым голосом сказал:

— В баре есть виски. Нет, справа, маленький китайский шкафчик; там. Там же и стаканы. Обслужи нас; побудь горничной.

Филипп наполнил два стакана, один протянул Даниелю и остался стоять перед ним. Даниель залпом выпил виски и почувствовал себя лучше.

— Будь вы поэтом, — сказал он ему, внезапно переходя на «вы», — вы бы почувствовали, что в нашей встрече есть некая предопределенность.

Мальчик кокетливо засмеялся:

— Кто вам сказал, что я не поэт?

Он смотрел Даниелю прямо в глаза: с того момента, как он вошел в комнату, вид и манеры его изменились. «На него наводят робость отцы семейства, — раздосадованно подумал Даниель, — он больше меня не боится, потому что догадался, что я таковым не являюсь». Он сделал вид, будто колеблется.

— Я вот что думаю, — задумчиво проговорил он, — заинтересуешь ли ты меня?

— Вы лучше бы подумали об этом немного раньше, — ответил Филипп. Даниель улыбнулся:

— Время еще есть. Если ты мне наскучишь, я выставлю тебя вон.

— Не стоит труда, — сказал Филипп. Он направился к двери.

— Останься, — окликнул Даниель. — Я хорошо знаю, что я тебе нужен.

Филипп спокойно улыбнулся, вернулся и сел на стул. Поппея прошла мимо него, он поймал ее и посадил себе на колени, причем она не сопротивлялась. Он ласково, с наслаждением погладил ее.

— Большой плюс для тебя, — удивленно сказал Даниель. — В первый раз она позволяет такое.

По физиономии Филиппа скользнула извилистая фатоватая ухмылка.

— Сколько у вас кошек? — спросил он, потупив взор.

— Три.

— Большой плюс для вас.

Он чесал голову Поппеи, и та начала мурлыкать. «Этот шпаненок выглядит более непринужденно, чем я, — подумал Даниель, — он знает, что нравится мне». Он резко спросил, чтобы привести его в замешательство:

— Итак? Как это произошло?

Филипп выпустил Поппею, раздвинув колени; кошка спрыгнула и убежала.

— Что ж, — ответил Филипп, — вы все угадали. Добавить больше нечего.

— Где ты был?

— На севере. Место, которое называется Парни. — Ну и?

— Там мы держались два дня, а потом появились танки и самолеты.

— Одновременно? — Да.

— И ты испугался?

— Да нет. Возможно, страх это что‑то другое.

Его лицо посуровело и постарело. Опустошенными глазами он смотрел в пустоту.

— Все бежали, и я побежал с ними.

— А потом?

— Я шел пешком, потом меня подобрал грузовик, потом я снова шел; в Париже я третий день.

— О чем ты думал, когда шел?

— Ни о чем.

— Почему ты ждал до сегодняшнего дня, чтобы покончить с собой?

— Я хотел еще раз увидеть мать.

— Ее нет в городе?

— Да, ее нет в городе.

Он поднял голову и дерзко оглядел Даниеля.

— Вы ошиблись, приняв меня за труса, — резко отчеканил он.

— Правда? Тогда почему ты убежал?

— Потому, что бежали все остальные.

— Однако ты собирался наложить на себя руки.

— Да, собирался.

— Почему?

— Слишком долго объяснять.

— Кто тебя торопит? Налей себе еще виски. Филипп выпил еще. Щеки его порозовели. Он усмехнулся.

— Если бы речь шла только обо мне, мне было бы безразлично, трус я или нет. Я пацифист. Что такое военная доблесть? Отсутствие воображения. Солдаты — мужественные люди, но это настоящие скоты. Сущее несчастье — родиться в семье героя.

— Понимаю, — сказал Даниель. — Твой отец — кадровый офицер.

— Офицер запаса, — поправил его Филипп. — Но он умер в двадцать седьмом году от ран, полученных на войне: он был отравлен газами за месяц до перемирия. Эта славная смерть ввела мою мать в искушение: в 1933 году она снова вышла замуж — за генерала.

— Она рискует разочароваться, — заметил Даниель. — Генералы умирают в собственной постели.

— Только не этот. — с ненавистью сказал Филипп, — этот — второй Байар[[11]](#footnote-11): он совокупляется, убивает, молится и ни о чем не думает.

— Он на фронте?

— А где ж еще? Он должен сам стрелять из пулемета или ползти наперерез врагу во главе своих соединений. Он не успокоится, пока не перебьет всех людей до последнего.

— Он, наверное, брюнет, волосатый, с усами.

— Абсолютно точно, — сказал Филипп. — Женщины обожают его, потому что от него несет козлом.

Они, глядя друг на друга, рассмеялись.

— У меня такое впечатление, что ты не очень‑то его любишь, — сказал Даниель.

— Я его ненавижу, — отчеканил Филипп.

Он покраснел и пристально посмотрел на Даниеля.

— У меня Эдипов комплекс, — добавил он. — Типичный случай.

— Ты влюблен в свою мать? — недоверчиво спросил Даниель.

Филипп не ответил: у него был значительный и роковой вид. Даниель наклонился вперед.

— А, может, в отчима? — мягко спросил он. Филипп подскочил и побагровел; потом разразился смехом, глядя Даниелю в глаза:

— Ну и шуточки у вас!

— Не сердись, — посмеиваясь, сказал Даниель. — Так что из‑за него ты хотел покончить с собой?

Филипп снова засмеялся.

— Вовсе нет! Совершенно нет!

— Тогда из‑за кого? Ты бежишь к Сене, потому что тебе не хватило храбрости, и тем не менее, заявляешь, что ненавидишь храбрых. Ты боишься его презрения.

— Я боюсь презрения моей матери, — сознался Филипп.

— Твоей матери? Я уверен, что она к тебе снисходительна.

Филипп, не отвечая, закусил губу.

— Когда я положил руку тебе на плечо, ты сильно испугался, — сказал Даниель. — Ты решил, что это он, не так ли?

Филипп встал, глаза его сверкали.

— Он… он поднял на меня руку.

— Когда?

— Еще не прошло и двух лет. С тех пор я все время чувствую его за собой.

— Ты никогда не видел себя во сне голым в его объятьях?

— Вы с ума сошли! — искренне возмутился Филипп.

— Во всяком случае, он явно держит тебя в руках. Ты на четвереньках, генерал сидит на тебе верхом и заставляет тебя гарцевать, как кобылу. Ты никогда не бываешь самим собой: то ты думаешь, как он, а то наоборот Пацифизм. Да тебе плевать на него. Ты бы о нем и не подумал, не будь твой отчим военным.

Он встал и взял Филиппа за плечи.

— Хочешь, я тебя освобожу?

Филипп отстранился, он снова выглядел настороженным.

— Как вы это сделаете?

— Я тебе уже сказал, что многому могу научить тебя.

— Вы психоаналитик?

— Что‑то вроде этого. Филипп покачал головой.

— Предположим, что это правда, но с какой стати вы мной заинтересовались? — спросил он.

— Видишь ли, я любитель человеческих душ, — улыбаясь, ответил Даниель. И с волнением добавил: — Твоя душа должна быть очаровательна, надо только освободить ее от всего, что ей мешает.

Филипп не ответил, казалось, он был польщен; Даниель сделал несколько шагов, потирая руки.

— Пожалуй, — с веселым возмущением сказал он, — начнем с ликвидации всех ценностей. Ты студент?

— Был им, — ответил Филипп.

— Юриспруденция?

— Литература.

— Очень хорошо. Тогда ты понимаешь, что я хочу сказать: методическое сомнение, да? Систематическая безнравственность — как у Рембо. Мы разрушаем все. Но не на словах: действиями. Все, что ты заимствовал, рассеется как дым. Что останется, то и будешь ты. Согласен?

Филипп с любопытством посмотрел на него.

— Ты в таком положении, что ничем не рискуешь, не так ли?

Филипп пожал плечами.

— Ничем.

— Превосходно, — сказал Даниель. — Я тебя принимаю. Мы сейчас же начнем спускаться в ад. Но не советую, — добавил он, бросая на него пронзительный взгляд, — полностью делать ставку на меня.

— Не так уж я глуп, — парировал Филипп, отвечая на его взгляд.

— Ты излечишься, когда отбросишь меня, как ошметки, — сказал Даниель, не спуская с него глаз.

— Разумеется, — откликнулся Филипп.

— Как старые ошметки! — смеясь, повторил Даниель. Оба они засмеялись; Даниель наполнил стакан Филиппа.

— Сядем здесь, — вдруг предложила девушка.

— Почему здесь?

— Здесь мягче.

— Вот оно что, — сказал Пинетт. — Они любят, когда мягко, эти барышни с почты.

Он снял китель и бросил его на землю.

— Вот, садись на китель — так помягче.

Они опустились на траву на краю пшеничного поля. Пинетт сжал в кулак левую руку, уголком глаза наблюдая за девушкой, сунул большой палец в рот и сделал вид, будто дует: его бицепс вздулся, будто его накачали насосом, и девушка немного посмеялась.

— Можешь потрогать.

Она робко положила палец на руку Пинетта: мышца тут же осела, и Пинетт зашипел, словно шар, выпускающий воздух.

— Ой! — произнесла девушка. Пинетт повернулся к Матье:

— Представляешь себе, что бы выкинул Морон, если бы увидел, как я без кителя сижу на обочине!

— Морону не до тебя, — ответил Матье, — он все еще улепетывает.

— Если он улепетывает быстро, значит я ему порядком осточертел!

Наклонившись к барышне, он пояснил:

— Морон — это наш капитан. Он сейчас тоже на природе.

— На природе? — удивилась она.

— Да, он считает, что так лучше для здоровья. — Пинетт ухмыльнулся. — Мы сами себе хозяева: некому больше нами командовать, теперь делай, что хочешь — если угодно, можно пойти в школу и сделать бай‑бай на постели капитана; вся деревня наша.

— Но ненадолго, — уточнил Матье.

— Тем более надо этим воспользоваться.

— Я предпочитаю остаться здесь, — сказала девушка.

— Но почему? Говорю тебе, никому до этого нет дела.

— В деревне пока еще есть люди. Пинетт высокомерно смерил ее взглядом:

— Ах, да! Ты ведь служащая. Ты должна дрейфить перед начальством. Нам же, — сказал он, улыбаясь Матье с продувным видом, — не с кем церемониться, у нас ни кола, ни двора. Ни стыда, ни совести. Мы уходим: вы же остаетесь, мы уходим, совсем уходим, мы перелетные птицы, цыгане. Верно? Мы волки, хищные звери, мы злые серые волки, ха!

Он сорвал травинку и пощекотал ею подбородок девушки; потом запел, глубоко заглядывая ей в глаза и не переставая улыбаться:

— А кто боится большого серого волка? Девушка покраснела, улыбнулась и запела:

— Только не мы! Только не мы!

— Ха! — обрадованно сказал Пинетт. — Ха, куколка! Ха, — продолжал он с отсутствующим видом, — маленькая куколка, маленькая куколка, мадемуазель Куколка!

Внезапно он замолчал. Небо было красным: на земле было прохладно и сине. Под руками, под ягодицами Матье чувствовал запутанную жизнь травы, насекомых и земли, большие шершавые влажные волосы, полные вшей: под его ладонями была голая тревога. Загнаны в угол! Миллионы людей загнаны в угол между Вогезами и Рейном, они лишены возможности быть людьми; этот заурядный лес переживет их, поскольку выжить в этом мире могли только пейзаж, луг или какая‑нибудь безличная сущность. Под руками трава манила к себе, как самоубийство; трава и ночь, которую она придавит к земле, и плененные мысли, которые бегут во весь опор в этой ночи, и этот паук‑сенокосец, качающийся рядом с его башмаком, расколовшийся всеми своими огромным лапами и вдруг исчезнувший. Девушка вздохнула.

— Что с тобой, малышка? — спросил Пинетт.

Она не ответила. У нее было благопристойное взволнованное личико, длинный нос и маленький рот с немного оттопыренной нижней губой.

— Что случилось? Ну, что случилось? Скажи мне, что? Она молчала. В ста метрах от них, между солнцем и

полем шли четыре солдата, темные в золотой дымке. Один из них остановился и повернулся на восток, стертый светом, не черный, а скорее сиреневый на фоне багрового заката; он был с непокрытой головой. Шедший следом наткнулся на него, подтолкнул вперед, и их торсы поплыли над колосьями, как корабли; третий шел за ними, подняв руки, отставший четвертый хлестал колосья тросточкой.

— И тут они! — сказал Пинетт.

Он взял девушку за подбородок и посмотрел на нее: глаза ее были полны слез.

— Да ты никак разнюнилась?

Он старался говорить с ней по‑военному грубо, но ему не хватало уверенности: с его детских губ слова слетали, пропитанные пошлостью.

— Они сами из глаз льются, — сказала она. Он привлек ее к себе.

— Ну, не надо плакать. Разве мы плачем? — смеясь, добавил он.

Она положила голову на плечо Пинетта, и он гладил ее по волосам, вид у него был горделивый.

— Немцы вас уведут, — сказала она.

— Еще чего!

— Они вас уведут… — плача, повторила она. Лицо Пинетта посуровело:

— Мне ничья жалость не нужна.

— Я не хочу, чтоб вас увели.

— Кто тебе сказал, что нас уведут? Ты просто увидишь, как дерутся французы: ты будешь в первых рядах зрителей.

Она подняла на него большие расширенные глаза; ей стало до того страшно, что она перестала плакать.

— Вам не нужно драться.

— Неужели?

— Вам не нужно драться, война закончилась. Он насмешливо посмотрел на нее:

— Да что ты говоришь!

Матье отвернулся, ему хотелось уйти.

— Мы только вчера познакомились… — продолжала девушка.

Ее нижняя губа дрожала, она склоняла вытянутое лицо, у нее был благородный, испуганный и печальный вид, как у лошади.

— …а завтра… — сказала она.

— Ну, до завтра еще… — возразил Пинетт.

— До завтра только одна ночь.

— Вот именно: ночь, — сказал он, подмигивая. — Есть время поразвлечься.

— Мне не хочется развлекаться.

— Тебе не хочется развлекаться? Это правда, что тебе не хочется развлекаться?

Она смотрела на него, не отвечая. Он спросил:

— Ты страдаешь?

Она продолжала смотреть на него, приоткрыв рот.

— Из‑за меня? — спросил он.

Он наклонился к ней с немного суровой нежностью, но почти сразу же выпрямился, скривив губы, у него был злой вид.

— Ну‑ну! — сказал он. — Не надо печалиться, куколка: придут другие. Одного потеряешь, десятерых найдешь.

— Другие мне не нужны.

— Ты передумаешь, когда их увидишь. Знаешь, они мировые парни. И хорошо сложенные! Плечи широченные, бедра узкие!

— О ком вы говорите?

— О фрицах, конечно!

— Это не люди.

— А кто они такие, по‑твоему?

— Для меня они животные. Пинетт улыбнулся.

— Ты не права, — проговорил он степенно, сохраняя объективность. — Это красивые парни и хорошие солдаты. Французов они не стоят, но солдаты они что надо.

— Для меня они животные, — повторила она.

— Что ты заладила: «животные, животные», — сказал он ей, — тебе же потом неловко будет, когда изменишь мнение. Пойми, это победители. Выигрывает более сильный, с ним нельзя бороться, нужно к нему приспособиться, и ты сама этого захочешь. Пойди‑ка спроси у парижанок! Поверь мне, они сейчас славно развлекаются! Они воюют, задрав ноги кверху. Девушка резко высвободилась.

— Вы мне противны!

— Какая муха тебя укусила, малышка? — спросил Пинетт.

— Я француженка! — гордо отчеканила девушка.

— Парижанки тоже француженки, но это им не мешает развлекаться.

— Оставьте меня! — сказала она. — Я хочу уйти. Пинетт побледнел и начал ухмыляться.

— Не сердитесь, — заговорил Матье. — Он просто хотел подтрунить над вами.

— Он все врет, — возмутилась она. — За кого он меня принимает?

— Не очень‑то приятно быть побежденным, — мягко сказал Матье. — Нужно время, чтобы привыкнуть. Знаете, обычно он так мил, этот ягненок.

— Ха! — отозвался Пинетт. — Ха! Ха!

— Он ревнует, — объяснил Матье

— К ним? — смягчившись, спросила девушка.

— Конечно, он думает обо всех этих хлыщах, которые попытаются ухаживать за вами, пока он будет бить щебень.

— Или лежать в земле, — осклабился Пинетт.

— Я вам запрещаю погибать! — воскликнула она. Он улыбнулся.

— Ты говоришь, как женщина, — сказал он. — Как маленькая девочка, как совсем крошка, — добавил он, щекоча ее

— Злой, — вскрикивала она, извиваясь от шекотки — Злой! Злой!

— Не волнуйтесь из‑за него, — раздраженно продолжал Матье. — Все произойдет очень просто, к тому же у нас нет боеприпасов.

Они одновременно повернулись к нему и бросили на него одинаковый ненавидящий и протрезвевший взгляд, словно он помешал им совокупляться. Матье сурово посмотрел на Пинетта; через некоторое время Пинетт опустил голову и недовольно вырвал пучок травы между своих коленей. По дороге фланировали солдаты, один нес ружье, он, балагуря, держал его, как свечку

— Что, слабо? — крикнул маленький брюнет, коренастый и кривоногий.

Солдат взял обеими руками ружье за ствол, покачал с минуту, точно клюшкой для гольфа, и сильно ударил прикладом по булыжнику, который отскочил шагов на двадцать. Пинетт смотрел на их забавы, нахмурив брови.

— Некоторые совсем распоясались, — заметил он. Матье не ответил. Девушка положила руку Пинетта себе на колени и потрогала ее.

— У вас обручальное кольцо, — сказала она.

— Ты что, раньше его не видела? — спросил он, немного сжимая руку.

— Видела. Вы женаты?

— Раз уж у меня обручальное кольцо.

— Понятно, — грустно сказала она.

— Смотри, что я сделаю со своим обручальным кольцом.

Он, гримасничая, потянул себя за палец, сорвал кольцо и зашвырнул его в пшеницу.

— Ой! — потрясенно охнула девушка.

Он взял со стола нож, у Ивиш шла кровь, он нанес себе сильный удар в ладонь, жесты, жесты, маленькие потравы, вот к чему шло дело, а я‑то помышлял о свободе, он зевнул.

— Оно было золотое? — Да.

Она приподнялась и легко поцеловала его в губы. Матье выпрямился и сел.

— Я удаляюсь! — сказал он.

Пинетт беспокойно посмотрел на него.

— Останься еще немного.

— Я туг лишний.

— Останься же! — настаивал Пинетт. — Тебе ведь все равно нечего…

Матье улыбнулся и показал на девушку:

— Она не очень‑то хочет, чтоб я остался.

— Она? Ну, конечно, хочет, ты ей очень нравишься. Он наклонился к ней и сказал ей настойчиво:

— Это друг. Он тебе нравится, правда?

— Да. — подтвердила девушка.

«Она меня ненавидит», — подумал Матье: и все же остался. Время больше лаже не текло, оно вздрагивало, опустившись на эту рыжую долину. Слишком резкое движение — и к Матье, как приступ застарелого ревматизма, снова вернутся его проблемы. Он лег на спину. Небо, небо розовое и никакое; если бы можно было упасть в небо! Делать нечего, мы созданья низа, все зло идет оттуда.

Четыре солдата, которые шли вдоль хлебов, повернули вокруг поля, чтобы выбраться на дорогу, и вышли гуськом на луг. Они были из технической службы. Матье их не знал; капрал, шедший во главе, был похож на Пинетта, он был тоже без кителя и расстегнул гимнастерку на волосатой груди; следующий, загорелый брюнет, набросил китель на плечи, в левой руке он держал колосок, правой выбирал из него зерна; он перевернул ладонь, высунул язык и движением головы подобрал эти маленькие золотые веретенышки. Третий, более высокий и постарше остальных, расчесывал пальцами светлые волосы. Солдаты шли медленно, мечтательно, с цивильной гибкостью; блондин опустил руки, он перестал теребить волосы и ласково провел руками по плечам pi шее, как бы наслаждаясь линиями своего тела, наконец выпрыгнувшего под солнце из бесформенной военной упаковки. Они остановились почти одновременно, один за другим, и посмотрели на Матье. Матье почувствовал, как под взглядами этих юнцов он превращается в траву, он был лугом, на который глазели животные. Брюнет сказал:

— Я потерял свою портупею.

Его голос не потревожил этот тихий нечеловеческий мир: это было не слово, а всего лишь один из тех шелестов, из которых состоит тишина. С губ блондина слетел такой же шелест:

— Не волнуйся, фрицы ее подберут.

Четвертый подошел бесшумно; он остановился, поднял лицо, и оно отразило пустоту неба.

— Эх! — произнес он.

Он сел на корточки, сорвал мак и прикусил стебель. Вставая, он увидел Пинетта, прижимавшего к себе девушку, и засмеялся:

— Лихая охота!

— Довольно лихая, — признал Пинетт.

— Делается прохладно, а?

— Это точно.

— Ну и пусть.

Четыре лица изобразили чисто французское понимание, потом это выражение сменила полная праздность, и четверка, покачивая головами, удалилась. «В первый раз за всю жизнь они отдыхают», — подумал Матье.

Они отдыхали от форсированных маршей, от осмотров обмундирования, от муштры, отпусков, от ожиданий, от надежд, они отдыхают от войны и от прежней усталости: от мира. Среди хлебов, на опушке леса, на окраине деревни отдыхают другие группки солдат: по полю проходили вереницы выздоравливающих.

— Эй! Пирар!

Матье обернулся. Пирар, ординарец капитана Морона, остановившись, мочился у обочины; он был бретонский крестьянин, скаредный и грубый. Матье с удивлением посмотрел на него: закат обагрил его землистое лицо, глаза были расширены, он утратил свое недоверчивое и хитрое выражение; может быть, в первый раз он смотрел на знаки, прочерченные в небе, и на таинственный шифр солнца. Светлая струя лилась из его, казалось, забывшихся вокруг ширинки рук.

— Эй! Пирар! Пирар вздрогнул.

— Что ты делаешь? — крикнул капрал.

— Дышу свежим воздухом.

— Ты мочишься, свинья! А здесь барышни.

Пирар опустил глаза на свои руки, изобразил удивление и поспешно застегнулся.

— Я не нарочно, — оправдывался он.

— Я не в претензии, — сказала девушка.

Она свернулась клубочком на груди Пинетта и улыбнулась капралу. Ее платье задралось, но она и не думала его одернуть; сплошная невинность. Они смотрели на ее бедра, но по‑доброму, с грустным восхищением: это были ангелы, у них были отрешенные взгляды.

— Ладно, — сказал брюнет. — Что ж, привет. Мы пойдем гулять дальше.

— Аппетит нагуливаем, — смеясь, добавил высокий блондин.

— Приятного аппетита! — пожелал Матье.

Они засмеялись: все знали, что в деревне больше нечего было есть — все резервы интендантства были разграблены в первые утренние часы.

— Аппетита у нас хватает.

Они не двигались; они перестали смеяться, и в глазах капрала мелькнула некая тревога: казалось, они боялись уходить. Матье чуть не предложил им сесть.

— Пошли! — преувеличенно спокойным голосом сказал капрал.

Они пустились в путь, направляясь к дороге; они уходили быстро, словно ящерица, в прохладе вечера: через этот разрыв вытекло немного времени, немцы существенно продвинулись, железная пятерня сомкнулась на сердце Матье. Затем течение остановилось, время вновь свернулось, остался только парк, в котором прогуливались ангелы. «Как здесь пусто!» — подумал Матье. Кто‑то огромный вдруг убежал, оставив Природу под охраной солдат второго года службы. Голос звучит под древним солнцем: умер великий Пан, они ощущали такую же пустоту. Кто умер на этот раз? Франция? Христианство? Надежда? Земля и поля тихо возвращались к своей изначальной бесполезности; эти люди казались лишними среди полей, которые они не могли ни обрабатывать, ни защищать. Все выглядело новым, и однако же вечер был окаймлен черной кромкой следующей ночи. Но в сердце этой ночи, быть может, уже нацелилась на землю комета. Будут ли их бомбить? Кто может ждать от фрицев особых церемоний! Первый ли это день замирения или последний? Хлеба, маки, чернеющие до окоема, все, казалось, рождалось и умирало одновременно. Матье пробежал взглядом эту безмятежную неопределенность и подумал: «Это рай отчаяния».

— У тебя губы холодные, — сказал Пинетт. Склонившись над девушкой, он целовал ее.

— Тебе зябко? — спросил он.

— Нет.

— Тебе нравится, когда я тебя целую?

— Да. Очень.

— Но тогда почему у тебя губы холодные?

— Правда, что фрицы насилуют женщин? — спросила она.

— Ты с ума сошла.

— Поцелуй меня! — страстно сказала она. — Не хочу больше ни о чем думать…

Она обхватила руками голову Пинетта и, запрокидываясь, увлекла его за собой.

— Куколка! — бормотал он. — Куколка!

Он сразу же навалился на нее, Матье не видел ничего, кроме их волос в траве. Но почти сейчас же показалось лицо Пинетта, злая и торжествующая маска; глаза бессмысленно и слепо смотрели на Матье, они были переполнены одиночеством.

— Мой дорогой, иди ко мне, иди… — простонала девушка.

Но лицо Пинетта не опускалось, напряженное, белое, незрячее. «Он делает мужскую работу», — подумал Матье, глядя в эти потемневшие глаза. Пинетт всем телом навалился на женщину, он вдавливал ее в землю, он сливал ее с землей, с колышущейся травой; он покрыл луг, распластавшийся под его животом, она окликала его, а он молча врастал в нее, она была водой, женщиной, зеркалом, отражающим на всей своей поверхности целомудренного героя будущих сражений, самца, славного непобедимого воина; Природа, тяжело дышащая, опрокинутая навзничь, прощала ему все его поражения, она шептала: «Мой дорогой, иди же ко мне, иди». Но Пинетт намеревался играть в мужчину до конца, он упирался ладонями о землю, и его укороченные руки казались плавниками, он приподнимал голову над этой говорливой покорностью, он хотел внушать восхищение, быть отражаемым, он алкал, чтобы его желали снизу, в полутьме, безотчетно, он не хотел понять, что земля питает его тело своим животным теплом, он готов был тревожно вплыть в пустоту и подумать: «А что теперь?» Девушка обвила его шею руками и надавила на затылок. Голова нырнула в блаженство, луг замкнулся. Матье бесшумно встал и ушел; он пересек луг, он стал одним из ангелов, которые прогуливались по еще светлой дороге между пятнами тополей. Пара исчезла в черной траве; прошли солдаты с букетами; один из солдат на ходу поднял букет к лицу, погрузил нос в цветы, вдохнул свой досуг, свое горе, свою никчемность, бесполезность. Ночь обгладывала листву, лица: все были похожи друг на друга; Матье подумал: «И я на них похож». Он прошелся еще немного, увидел, как зажглась звезда, и задел незнакомого посвистывающего солдата. Тот обернулся, Матье увидел его глаза, и они улыбнулись друг другу, это была вчерашняя улыбка, улыбка братства.

— Прохладно, — сказал тот.

— Да, — отозвался Матье, — холодает.

Им не о чем было говорить, и солдат двинулся дальше. Матье проводил его взглядом; неужели необходимо, чтобы люди все потеряли, даже надежду, чтобы прочесть в их глазах, что человеку что‑то еще предстоит? Пинетт совокуплялся; Гвиччоли и Латекс, мертвецки пьяные, валялись на полу в мэрии; одинокие ангелы прогуливали по дорогам свою тоску: «Никому я не нужен». Он опустился на землю на обочине дороги, потому что больше не знал, куда идти. Ночь вошла ему в голову через рот, через глаза, через ноздри, через уши: он был теперь никем и ничем. Больше чем ничем — только несчастьем и ночью. Он подумал: «Шарло!» и вскочил на ноги; он оставил Шарло наедине с его страхом, и ему стало стыдно; я корчу из себя фаталиста перед этими пьяными свиньями, а в это время Шарло там совсем один, он втихомолку трепещет, а ведь я мог бы его приободрить.

Шарло сидел на том же самом месте: он склонился над книгой. Матье подошел к нему и провел рукой по его волосам.

— Ты портишь себе глаза.

— Я не читаю, — сказал Шарло. — Я думаю.

Он поднял голову, и его толстые губы едва заметно раздвинулись в улыбке.

— О чем ты думаешь?

— О своем магазине. Интересно, его разграбили?

— Маловероятно, — успокоил его Матье. Он показал рукой на темные окна мэрии.

— Что они там делают?

— Не знаю, — ответил Шарло. — Там давно уже тихо. Матье сел на ступеньку.

— Не очень‑то хороши наши дела, а? Шарло грустно улыбнулся.

— Ты вернулся из‑за меня? — спросил он.

— Мне тошно. Я подумал, что тебе, возможно, нужна компания. Это бы меня устроило.

Шарло, не отвечая, покачал головой.

— Хочешь, чтобы я ушел? — спросил Матье.

— Нет, — сказал Шарло, — ты мне не мешаешь, но и помочь не можешь. Что ты можешь сказать? Что немцы не дикари? Что нужно сохранять мужество? Все это я и сам знаю.

Он вздохнул и осторожно положил книгу рядом с собой.

— Только если б ты был евреем, ты смог бы меня понять.

Он положил руку на колено Матье и извиняющимся тоном пояснил:

— Это не я боюсь, это страшится внутри меня моя национальность. С этим ничего не поделаешь.

Матье замолчал; они сидели бок о бок, молчаливые, один растерянный, другой никому не нужный, они ждали, когда их поглотит темнота.

Был тот час, когда предметы теряют свои очертания и тают в зыбком тумане вечера; окна скользили в полутьме долгим, едва приметным движением, комната была легкой шлюпкой, она блуждала; бутылка виски казалась ацтекским божком, Филипп — длинным бесцветным растением, чуждым опасений; любовь была гораздо больше, чем любовь, и дружба была не совсем дружбой. Невидимый в тени Даниель говорил о дружбе, он весь обратился в теплый и спокойный голос. На минуту он остановился, переводя дыхание, и Филипп воспользовался этим, чтобы сказать:

— Как темно! Вам не кажется, что можно бы зажечь свет?

— Если только не отключено электричество, — сухо сказал Даниель.

Он неохотно встал: наступил момент подвергнуться испытанию светом. Он открыл окно, склонился над пустотой и вдохнул фиалок тишины: «Столько раз на этом самом месте я хотел бежать от себя и слышал, как нарастают шаги, они шагали по моим мыслям». Ночь была мягкой и дикой, плоть, столько раз растравляемая ночью, понемногу зарубцевалась. Ночь полная и девственная, прекрасная ночь без людей, превосходный красный апельсин без зернышек. Он с сожалением закрыл шторы, повернул выключатель, и комната возникла из мрака, предметы обрели свой облик. Лицо Филиппа натолкнулось на глаза Даниеля, зрачки Даниеля отразили эту шевелящуюся огромную голову, свежеподстриженную, перевернутую, полные недоумения глаза были зачарованы Даниелем, словно видели его впервые. «Нужно действовать осторожно», — подумал Даниель. Он смущенно поднял руку, чтобы положить конец всей этой фантасмагории, запахнул борта пиджака пальцами и улыбнулся: он боялся быть изобличенным раньше времени.

— Что ты на меня так смотришь? Как по‑твоему, я красивый?

— Да. Очень, — спокойно ответил Филипп. Даниель обернулся и удовлетворенно увидел в зеркале

свое мрачноватое породистое лицо. Филипп потупился, он прыснул, прикрыв рот ладошкой.

— Ты смеешься, как школьница.

Филипп осекся. Даниель недовольно спросил: — Почему ты засмеялся?

— Просто так.

Он захмелел от вина, неуверенности, усталости. Даниель подумал: «Он созрел. Если все делать как бы в шутку, похожую на мальчишескую возню, малыш позволит опрокинуть себя на диван, позволит ласкать, целовать за ухом: он будет защищаться только безумным смехом». Даниель резко повернулся к нему спиной и прошелся по комнате: «Нет, слишком рано, очевидно рано, без глупостей! Завтра он снова попробует покончить с собой или попытается убить меня». Перед тем как вернуться к Филиппу, он застегнул пиджак и натянул его на бедра, чтобы скрыть очевидность своего волнения.

— Ну вот! — сказал он.

— Вот, — отозвался Филипп.

— Посмотри на меня.

Он погрузил свой взгляд в его глаза, удовлетворенно покачал головой и медлительно произнес:

— Ты не трус, я в этом убежден.

Он выпрямил указательный палец и ткнул им Филиппа в грудь.

— Как ты мог впасть в панику? Нет! Это на тебя не похоже. Ты просто ушел; ты предоставил события самим себе. Почему ты должен погибать за Францию? А? Почему? Тебе ведь наплевать на Францию, а? Разве не так, маленький озорник?

Филипп неопределенно покачал головой. Даниель снова стал ходить по комнате.

— Теперь с этим покончено, — с веселым возбуждением продолжал он. — Конечно. Баста. Тебе выпал шанс, которого у меня в твоем возрасте не было. Нет, нет, — сказал он, живо взмахнув рукой, — нет, нет, я не имею в виду нашу встречу. Твой шанс — это историческое совпадение: ты хочешь подорвать буржуазную мораль? Что ж, немцы пришли, чтобы помочь тебе. Ха! Ты увидишь, как здесь пройдутся железной метлой; ты увидишь, как ползают на брюхе отцы семейства, ты увидишь, как они лижут сапоги и подставляют жирные зады под пинки победителей; ты увидишь своего распластавшегося отчима: он — великий побежденный этой войны, теперь ты сможешь его по‑настоящему презирать.

Он хохотал до слез, повторяя: «Как здесь пройдутся железной метлой!» — затем резко повернулся к Филиппу.

— Мы обязаны их любить.

— Кого? — испуганно спросил Филипп.

— Немцев. Они наши союзники.

— Любить немцев, — повторил Филипп. — Но я… я их не знаю.

— Терпение, скоро мы их узнаем: мы будем обедать у гауляйтеров, у фельдмаршалов; они будут возить нас в больших черных «мерседесах», а парижане будут топать пешком.

Филипп подавил зевок; Даниель затряс его за плечи.

— Нужно любить немцев, — твердил он ему с напряженным лицом. — Это будет твое первое духовное упражнение.

У мальчика был не слишком взволнованный вид; Даниель отпустил его, раскинул руки и сказал лукаво и торжественно:

— Пришло время убийц!

Филипп снова зевнул, и Даниель увидел его заостренный язык.

— Я хочу спать, — с извиняющимся видом сказал Филипп. — Уже две ночи я не смыкаю глаз.

Даниель подумал было рассердиться, но он тоже устал, как уставал после каждой новой встречи. Он так долго желал Филиппа, что теперь чувствовал тяжесть в паху. И он заспешил остаться один.

— Очень хорошо, — сказал он, — я тебя оставляю. Пижама лежит в ящике комода.

— Не стоит труда, — вяло сказал мальчик, — мне нужно возвращаться.

Даниель, улыбаясь, посмотрел на него:

— Поступай, как хочешь; но ты рискуешь наскочить на патруль, и кто знает, что они с тобой сделают: ты красив и привлекателен, а немцы все любят мальчиков. И потом, даже если предположить, что ты попадешь домой, ты там найдешь то, от чего хочешь бежать. На стенах фотографии твоего отчима, а комната твоей матери пропитана ее духами.

Филипп, казалось, не слышал его. Он попытался встать, но снова упал на диван.

— А‑а‑а‑х! — протяжно зевнул он.

Он посмотрел на Даниеля и с растерянным видом ему улыбнулся:

— Наверное, мне лучше остаться.

— Тогда доброй ночи.

— Доброй ночи, — зевая, сказал Филипп.

Даниель пересек комнату, проходя мимо камина, он нажал на лепное украшение, и полка книжного шкафа повернулась вокруг своей оси, открыв ряд книг в желтых переплетах.

— Это — ад, — сказал он. — Позже ты все прочтешь: там говорится о тебе.

— Обо мне? — не понимая, переспросил Филипп.

— Да. О тебе и твоей истории.

Он толкнул полку и открыл дверь. Ключ остался снаружи. Даниель взял его и бросил Филиппу.

— Если боишься воров или привидений, можешь запереться, — насмешливо сказал он.

Он закрыл за собой дверь, дошел в темноте до своей спальни, зажег лампу у изголовья и сел на кровать. Наконец‑то один! Шесть часов ходьбы и еще четыре часа эта изматывающая роль злого принца: «Я смертельно устал». Он вздохнул от удовольствия побыть одному; радуясь, что его никто не слышит, он уютно застонал: «Как же ломит яйца!» Пользуясь тем, что его наконец не видят, он сделал плаксивую гримасу. Потом улыбнулся и откинулся назад, как в хорошей ванной: он привык к этим долгим отвлеченным желаниям, к этим бесплодным и скрытым эрекциям; он по опыту знал, что будет меньше страдать, если ляжет. Лампа образовала круг света на потолке, подушки были прохладными. Даниель, расслабленный, полумертвый, улыбающийся, отдыхал. «Спокойно, спокойно: я закрыл входную дверь на ключ, и он у меня в кармане; впрочем, он рухнет от усталости, он будет спать до полудня.

Пацифист: подумать только! В целом, все прошло не слишком блестяще. Определенно существовали ниточки, за которые следовало потянуть, но я не смог их найти». Натаниели, Рембо — тут Даниель был мастак; но новое поколение приводило его в замешательство: «Какая странная смесь: нарциссизм и социальные идеи, это же бессмысленно». Тем не менее, в общих чертах все обернулось не так уж плохо: мальчик был здесь, под замком. Если он будет сомневаться, основательно разыграем карту последовательного распутства. Это всегда немного захватывало, это льстило: «Ты будешь моим, — подумал Даниель, — я уничтожу твои принципы, мой ангелочек. Социальные идеи! Посмотрим, во что они превратятся!» Эта остывшая горячность давила ему на желудок, и чтобы избавиться от нее, он прибег к цинизму. «Будет превосходно, если я смогу сохранить его надолго; я должен освободиться от узды, мне нужен кто‑то под рукой постоянно. Поиск юношей на ярмарках, в заведениях и кафе типа «Графф и Тото», «Голубой дружок», «Мариус», «Особое чувство»: с этим покончено. Покончено с выжиданиями на подходах к Восточному вокзалу, с тошнотворной вульгарностью солдат‑отпускников с грязными ногами: я остепеняюсь». (Кончен Ужас!) Он сел на кровати и стал раздеваться. «Это будет серьезная связь», — решил он. Ему хотелось спать, он был спокоен, он встал, чтобы взять постельное белье, и убедился, что спокоен, он подумал: «Любопытно, что я не испытываю тревоги». В этот миг кто‑то стал за его спиной, он обернулся, никого не увидел, и ужас парализовал его. «Еще раз! Еще один раз!» Все начиналось сызнова, он знал все наперечет, он мог все предвидеть, мог по минутам рассказать обо всех несчастьях, которые его постигнут, о долгих, долгих обыденных годинах, скучных и безнадежных, которые его ждут, о позорном и мучительном конце: все это он знал. Он посмотрел на закрытую дверь, он терзался, он думал: «На сей раз я от этого околею», и во рту у него была желчь предстоящих страданий.

— Хорошо горит! — сказал старик.

Все были на дороге — солдаты, старики, девушки. Учитель тыкал тростью в сторону горизонта; на конце трости вращалось рукотворное солнце, огненный шар, скрывающий бледную зарю. Это горел Робервилль.

— Хорошо горит!

— Да! Да!

Старики топтались на месте, заложив руки за спину, и говорили: «Да! Да!» низкими, спокойными голосами. Шарло выпустил руку Матье и сказал:

— Какая беда! Один старик ответил:

— Такая уж доля крестьянина. Когда нет войны, жди беды, от града или мороза; для крестьян нет мира на земле.

Солдаты щупали в темноте девушек, понуждая их смеяться; за спиной Матье слышал крики мальчишек, которые играли на опустевших улицах деревни. Подошла женщина, на руках у нее был ребенок.

— Это французы подожгли? — спросила она.

— Вы что, мамаша, тронутая? — сказал Люберон. — Это немцы.

Какой‑то старик недоверчиво покачал головой:

— Немцы?

— Да да, немцы, фрицы!

Старик, казалось, не слишком этому верил.

— В ту войну немцы уже приходили. И ничего особенного не натворили: это были неплохие парни.

— С чего бы нам поджигать? — возмущенно спросил Люберон. — Мы же не дикари.

— А зачем им поджигать? Где им тогда на постой становиться?

Бородатый солдат поднял руку:

— Это, наверное, нашим идиотам вздумалось пострелять. Если у фрицев есть хоть один убитый, они сжигают всю деревню.

Женщина обеспокоенно повернулась к нему.

— А вы? — спросила она.

— Что мы?

— Вы‑то не собираетесь наделать глупостей? Солдаты расхохотались.

— Мы — другое дело! — убежденно сказал один из них. — С нами можете считать себя в полной безопасности. Мы знаем, что к чему.

Они заговорщицки переглянулись:

— Мы знаем, что к чему, мы знаем песню.

— Вы думаете, мы станем искать ссоры с фрицами накануне мира?

Женщина гладила головку ребенка: она неуверенно спросила:

— Значит, наступил мир?

— Да, мир, — убежденно сказал учитель. — Наступил мир. Вот во что нужно верить.

По толпе пробежала дрожь; Матье услышал за спиной робкое дуновение почти радостных голосов:

— Это мир, мир!..

Они смотрели, как горел Робервилль, и повторяли друг другу: война окончена, это мир; Матье посмотрел на дорогу: она вырывалась из ночи на двести метров, текла в неясной белизне до его ног и уходила омывать за его спиной дома с закрытыми ставнями. Красивая дорога, полная случайностей и смертельная, красивая дорога, во всяком случае, в одном направлении. Она вновь обрела первозданную дикость античных рек: завтра она принесет в деревню корабли, загруженные убийцами. Шарло вздохнул, и Матье, ничего не сказав, сжал ему руку.

— Вот они! — сказал чей‑то голос.

— Кто?

— Фрицы, говорю тебе: вот они!

Тень зашевелилась, солдаты‑стрелки с ружьями в руках по одному выходили из черной воды ночи. Они продвигались медленно, осторожно, готовые стрелять.

— Вот они! Вот они!

Матье толкнули, сдвинули с места: широкое и беспорядочное колебание началось в толпе вокруг него.

— Бежим, ребята! — крикнул Люберон.

— Ты что, спятил? Они нас увидели, остается только их ждать.

— Ждать их? А они в нас будут стрелять, да?

Толпа единодушно удрученно вздохнула; пронзительный голос учителя прорезал ночь:

— Женщины — назад! Мужчины, бросьте винтовки, если они у вас есть! И поднимите руки вверх.

— Вы, кретины! — закричал возмущенный Матье. — Вы что, не видите, что это французы?

— Французы…

Все мгновенно остановились, затоптались на месте, потом кто‑то вслух усомнился:

— Французы? Откуда они взялись?

Это были французы, человек пятнадцать под командованием лейтенанта. У них были почерневшие и суровые лица. Деревенские жители выстроились по обочинам дороги и недружелюбно смотрели, как проходит этот отряд. Французы, да, но они идут из чужих и опасных мест. С ружьями. Ночью. Французы, которые выходят из тени войны и приводят войну в это уже умиротворенное селенье. Французы. Может быть, парижане или бордосцы; вовсе не немцы. Они прошли между двумя изгородями из вялой враждебности, ни на кого не глядя; вид у них был гордый. Лейтенант отдал приказ, и они остановились.

— Какая здесь дивизия? — спросил он.

Он ни к кому лично не обращался. Все промолчали, и он повторил вопрос.

— Шестьдесят первая, — неприязненно ответил кто‑то.

— Где ваши командиры?

— Удрали.

— Что?

— Удрали, — повторил солдат с явной издевкой. Лейтенант скривился и не стал настаивать.

— Где мэрия?

Шарло, как всегда предупредительный, приблизился:

— Слева, в конце улицы. Метров сто пройдете — там будет мэрия.

Офицер резко обернулся к нему и смерил его взглядом:

— Что это за манера говорить со старшим по званию? Где ваша выправка? Вы что, подавитесь, если скажете «господин лейтенант»?

Несколько секунд царило молчание. Офицер смотрел Шарло в глаза; вокруг Матье люди глазели на офицера. Шарло стал по стойке смирно.

— Слушаюсь, господин лейтенант.

— Вот так.

Офицер обвел круг презрительным взглядом, подал знак, и маленький отряд тронулся дальше. Люди молча смотрели, как он углубляется в ночь.

— Значит, с офицерами еще не покончено? — огорченно спросил Люберон.

— С офицерами? — повторил чей‑то нервный и горький голос. — Ты их не знаешь, они еще долго будут пудрить нам мозги.

Одна из женщин вдруг закричала:

— Неужто они собираются здесь сражаться?!

В толпе раздался смех, и Шарло добродушно сказал:

— О чем вы говорите, мамаша: они же не сумасшедшие.

Снова наступила тишина, все лица повернулись к северу. Робервилль, одинокий, недосягаемый, уже почти мифический, незадачливо горел в чужой стране, по другую сторону границы. Потасовка, бойня, пожар — все это годится для Робсрвилля, но с нами такого случиться не может. Медленно, небрежно люди отделялись от толпы и направлялись к деревне. Они возвращались, сейчас они вздремнут, чтобы быть бодрыми, когда ранним утром притащатся фрицы. «Какая гадость!» — подумал Матье.

— Ладно, — сказал Шарло, — я пойду.

— Ты идешь спать?

— Да, пожалуй.

— Хочешь, я пойду с тобой?

— Не стоит, — зевая, ответил Шарло.

Он удалился; Матье остался один. «Мы рабы, — подумал он, — рабы». Но он не сердило! та своих товарищей, они не виноваты: десять месяцев отбыли они на каторжных работах, теперь менялась власть, и они переходили в руки немецких офицеров, они будут отдавать честь господину фельдфебелю и господину оберлейтенанту; и тут не было большой разницы: каста офицеров интернациональна; каторжные работы продолжаются, только и всего. «Я на себя сержусь», — подумал Матье. Но он упрекал себя потому, что так можно было поставить себя выше других. Снисходительный ко всем, суровый к себе: еще одна уловка гордыни. Невиновный и виноватый, слишком суровый и слишком снисходительный, бессильный и ответственный, солидарный со всеми и отвергнутый каждым, совершенно здравомыслящий и полностью одураченный, раб и господин. Кто‑то схватил его за руку. Это была девушка с почты. Ее глаза горели.

— Помешайте ему, если вы его друг!

— А?

— Он хочет сражаться; помешайте ему?

Пинетт появился за ней, бледный, с потухшими глазами и злой ухмылкой.

— Что ты хочешь делать, дуралей? — спросил Матье.

— Я же вам говорю, он хочет сражаться, я сама это слышала: он подошел к капитану и сказал, что хочет сражаться.

— Какому капитану?

— Который только что прошел со своим отрядом. Пинетт ухмылялся, заложив руки за спину:

— Это был не капитан, а лейтенант.

— Ты и вправду собираешься сражаться? — спросил у него Матье.

— Вы все мне осточертели! — ответил Пинетт.

— Вот видите! — воскликнула девушка. — Видите! Он сказал, что хочет сражаться. Я сама слышала.

— Но откуда вы знаете, что тот отряд собирается сражаться?

— Значит, вы их не видели? Это ясно по их глазам. А он, — сказала она, показывая пальцем на Пинетта, — он меня пугает, он просто чудовище!

Матье пожал плечами.

— Что я должен сделать?

— Разве вы ему не друг?

— Разумеется, друг.

— Если вы его друг, вы должны ему сказать, что теперь у него нет права погибать!

Она уцепилась за плечи Матье.

— Теперь у него нет на это права!

— Почему это?

— Вы прекрасно знаете. Пинетт жестоко и вяло улыбнулся:

— Я солдат и обязан сражаться: солдаты для того и существуют.

— Тогда не нужно было меня соблазнять!

Она схватила его за руку и добавила дрожащим голосом:

— Ты мой!

Пинетт высвободился:

— Я ничейный!

— Нет, — настаивала она? — ты мой. — Она повернулась к Матье и лихорадочно заговорила: — Ну втолкуйте же ему это! Объясните ему, что теперь у него нет права погибать. Вы обязаны ему это сказать!

Матье молчал; она наступала на него, лило ее пылало; в первый раз она показалась Матье привлекательной.

— Вы строите из себя его друга, но вам все равно, что с ним произойдет!

— Нет, мне не все равно.

— По‑вашему, правильно, если он побежит палить, как мальчишка, по целой армии? И если бы это ему хоть что‑то дало! Вам ведь известно, что никто уже не сражается.

— Да, я знаю, — сказал Матье.

— Так чего же вы ждете? Скажите ему!

— Пусть он спросит мое мнение.

— Анри! Я тебя умоляю, попроси у него совета, он старше тебя, он должен знать!

Пинетт поднял руку, собираясь отказаться, но тут его осенило, он опустил руку и с притворным видом сощурился, таким Матье его еще не видел.

— Ты хочешь, чтобы я обсудил этот вопрос с ним?

— Да, потому что меня ты не слишком любишь и не слушаешь.

— Ладно. Согласен. Но тогда уйди.

— Почему?

— Я не хочу ничего обсуждать при тебе.

— Но почему?

— Потому! Это не женское дело.

— Это мое дело, потому что речь идет о тебе.

— Черт! — крикнул Пинетт, выведенный из себя. — Ты мне надоела!

Он ткнул Матье локтем в бок. Матье быстро сказал:

— Вы можете никуда не уходить, мы с ним пройдемся по дороге, а вы подождите нас здесь.

— Да, а потом вы не вернетесь.

— Ты рехнулась! — сказал Пинетт. — Куда мы можем уйти? Мы будем в двадцати метрах от тебя, ты сможешь нас все время видеть.

— А если твой друг посоветует тебе не сражаться, ты его послушаешь?

— Конечно, — ответил Пинетт. — Я всегда делаю так, как он скажет.

Она повисла на шее у Пинетта.

— Поклянись, что вернешься! Даже если решишь сражаться? Даже если твой друг тебе это посоветует? Что угодно, только бы увидеть тебя! Клянешься?

— Да, да, да.

— Скажи, что клянешься! Скажи: я клянусь.

— Клянусь, — сказал Пинетт.

— А вы, — обратилась она к Матье, — вы клянетесь мне его привести?

— Естественно.

— Постарайтесь побыстрее, — просила она, — и не уходите далеко.

Они сделали несколько шагов по дороге в направлении Робервилля; кустарники и деревья выступали из темноты. Через некоторое время Матье оглянулся: прямая, напряженная, почти скрытая ночью, девушка старалась различить их в сумерках. Еще шаг — и она полностью стерлась. В этот момент она крикнула:

— Не уходите слишком далеко, я вас больше не вижу! Пинетт начал смеяться; он рупором приложил ладони ко рту и затрубил:

— Ого! Ого‑го! Ого‑го‑го!

Они пошли дальше. Пинетт все еще смеялся:

— Она хотела убедить меня, будто она девственница; потому и весь шум.

— Понятно.

— Но это она так говорит. Я что‑то этого не заметит.

— Бывают такие девушки: думаешь, что они врут, а потом оказывается, что они и на самом деле девственницы.

— Рассказывай! — ухмыляясь, усомнился Пинетт.

— Такое случается.

— Скажешь тоже! Но даже если и так, то навряд ли такое странное совпадение произошло именно со мной.

Матье улыбнулся, не отвечая; Пинетт боднул головой пустоту.

— И потом, пойми: я ведь ее не изнасиловал. Когда девушка серьезная, ты можешь сколько угодно кобелиться. Взять, к примеру, мою жену, мы оба умирали от желания, но до самой брачной ночи все было чисто.

Он рубанул воздух рукой:

— Ну, хватит об этом — у девчонки в одном месте свербило, и я считаю, что оказал ей услугу.

— А если ты сделал ей ребенка?

— Я? — изумился Пинетт. — Скажешь тоже! Ты меня не знаешь! Я мужик правильный. Моя жена не хотела детей, потому что мы бедны, и я научился владеть собой. Нет, — сказал он, — нет. Она получила свое удовольствие, я — свое: мы квиты.

— Если у нее это действительно в первый раз, — сказал Матье, — едва ли она получила такое уж удовольствие.

— Что ж, тем хуже для нее! — сухо сказал Пинетт. — Тогда она сама виновата.

Оба замолчали. Через некоторое время Матье поднял голову, пытаясь в темноте поймать взгляд Пинетта.

— Это правда, что они будут сражаться?

— Правда.

— В деревне?

— А где ж еще?

Сердце Матье сжалось. Он вдруг подумал о Лонжене, который блюет под деревом, о Гвиччоли, который валяется на полу, о Любероне, который, глядя, как горит Робервилль, кричал: «Наступил мир!» Матье зло засмеялся.

— Почему ты смеешься?

— Да ребята еще не знают, — сказал Матье. — То‑то для них будет сюрприз.

— Еще бы!

— Лейтенант согласен тебя взять?

— Да. Если у меня будет с собой винтовка. Он мне так и сказал: «Приходи, если у тебя есть винтовка».

— Ты твердо решил? Пинетт свирепо засмеялся.

— Но послушай… — начал было Матье. Пинетт резко повернулся к нему:

— Я совершеннолетний. И не нуждаюсь в советах.

— Ладно, — сдался Матье. — Что ж, вернемся.

— Нет, — отрезал Пинетт, — иди вперед!

Они сделали еще несколько шагов. Вдруг Пинетт сказал:

— Прыгай в кювет! — Что?

— Давай! Прыгай!

Они прыгнули, вскарабкались на насыпь и очутились среди хлебного поля.

— Слева есть тропинка, она ведет в деревню, — объяснил Пинетт.

Матье споткнулся и упал на колено.

— Мать твою так! — выругался он. — В какую глупость ты хочешь меня втравить?

— Не могу больше видеть ее рожу, — ответил Пинетт. С дороги до них донесся женский голос:

— Анри! Анри!

— Вот пристала! — чертыхнулся Пинетт.

— Анри! Не бросай меня!

Пинетт потянул Матье за руку, и они распластались меж колосьев; было слышно, как девушка бежит по дороге; колос царапнул шеку Матье, какая‑то мелкая зверушка юркнула между его рук.

— Анри! Не бросай меня, делай, что хочешь, только не бросай меня, вернись! Анри, я буду молчать, обешаю тебе, только вернись, не бросай меня так! Анри‑и‑и‑и! Не бросай меня, не поцеловав на прощанье!

Девушка, задыхаясь, прошла совсем рядом с ними.

— К счастью, еще нет луны, — прошептал Пинетт. Матье вдыхал сильный запах земли; под его руками земля была влажной и мягкой, он слышал хриплое дыхание Пинетта и думал: «Они будут сражаться в деревне». Девушка крикнула хриплым от волнения голосом еще два раза и вдруг повернулась и побежала в противоположном направлении.

— Она тебя любит, — сказал Матье.

— Ну и хрен с ней! — ответил Пинетт.

Они встали, на северо‑востоке, над колосьями, Матье увидел мигающий огненный шар. «Если у фрицев есть хоть один убитый, они все сожгут».

— Ну что? — с вызовом спросил Пинетт. — Не хочешь пойти ее утешить?

— Она меня раздражает, — ответил Матье. — И потом, в любом случае трахальные истории меня сегодня не увлекают. Но ты напрасно трахнул ее, если тут же ее бросаешь.

— К черту! — взвился Пинетт. — Тебя послушать, так я всегда неправ.

— Вот тропинка, — сказал Матье.

Какое‑то время они шли молча, затем Пинетт заговорил:

— Луна!

Матье поднял голову и увидел другой огонь на горизонте — это был серебристый пожар.

— Из нас хорошая мишень получается! — сказал Пинетт.

— Во всяком случае, — проговорил Матье, — не думаю, что они появятся раньше, чем утром.

Через некоторое время, не глядя на Пинетта, он добавил:

— Вас ухлопают всех до единого.

— Что ж, война идет, — хрипло ответил Пинетт.

— Как раз нет, — сказал Матье, — как раз война больше не идет.

— Перемирие пока не подписано.

Матье взял Пинетта за руку и легко пожал ее пальцами; рука была ледяной.

— Ты уверен, что хочешь вот так погибнуть?

— Я не хочу погибать, я хочу убить хоть одного фрица.

— Это почти одно и то же.

Пинетт, не отвечая, высвободил руку. Матье хотел заговорить, у него мелькнуло: «Он погибнет ни за что», и сердце сжалось. Но вдруг ему стало холодно, и он промолчал: «А по какому праву я должен ему мешать? Что я могу ему предложить?» Он повернулся к Пинетту и тихо свистнул: Пинетт был вне досягаемости; он вслепую шел в свою последнюю ночь; он шел, но не продвигался — он уже пришел; его смерть и его рождение соединились, он еще шел под луной, а солнце уже освещало его раны. Пинетт перестал бежать за самим собой, он весь сосредоточился в себе самом, весь целиком, кряжистый и обтекаемый. Матье вздохнул и молча взял его за руку, взял за руку молодого служащего метро, благородного, мягкого, отважного и нежного, убитого 18 июня 1940 года. Он ему улыбнулся; из глубины прошлого. Пинетт улыбнулся ему в ответ. Матье увидел его улыбку и ощутил себя страшно одиноким. «Чтобы разбить раковину, отделяющую его от меня, нужно не желать никакого иного будущего, кроме его будущего, никакого иного солнца, кроме того, которое он увидит завтра в последний раз; чтобы жить одновременно каждую минуту, нам нужно обоим хотеть умереть одной и той же смертью». Он медленно сказал:

— В сущности, я должен был бы идти на бойню вместо тебя. Потому что мне больше незачем жить.

Пинетт весело посмотрел на него; они вновь стали почти ровесниками.

— Тебе?

— Да, мне. Я ошибся с самого начала.

— Что ж, — проговорил Пинетт. — Тебе остается только пойти со мной. Все стираем и начинаем снова.

Матье улыбнулся.

— Все стираем, но ничего не начинаем снова, — сказал он.

Пинетт обнял его за шею.

— Деларю, дружочек, — горячо зашептал он, — пошли со мной, пошли. Знаешь, мне доставит удовольствие, если мы будем рядом: других я не знаю.

Матье колебался: умереть, перейти в вечность из этой исчерпанной жизни, умереть вдвоем… Он покачал головой:

— Нет.

— Что нет?

— Я не хочу.

— Трусишь?

— Нет, просто, по‑моему, это глупо.

Рассечь руку ножом, забросить свое обручальное кольцо в поле, постреливать во фрицев — а что дальше? Крушить, увечить: нет, это не выход; безрассудный поступок — это не свобода. Если бы только я мог быть смиренным.

— Почему это глупо? — раздраженно спросил Пинетт — Я хочу убить фрица; в этом нет ничего глупого.

— Ты можешь убить их хоть сто, война все равно проиграна.

Пинетт ухмыльнулся:

— Но я спасу свою честь!

— Перед кем?

Пинетт шел молча, опустив голову.

— Даже если тебе воздвигнут памятник, — сказал Матье, — даже если положат твой прах под Триумфальной аркой, разве это стоит того, чтобы сгорела вся деревня?

— Пускай горит!. — разозлился Пинетт. — На то и война!

— Но там женщины и дети.

— Им просто нужно удрать в поле. Эх! — сказал он с дурацким видом. — Да пропади все пропадом!

Матье положил ему руку на плечо:

— Так‑то ты любишь свою жену?

— А при чем здесь моя жена?

— Подумай о ней, ведь ты погибнешь.

— Отстань! — крикнул Пинетт. — Мне надоела твоя лобуда. Если это последствия твоего образования, то я рад, что у меня его нет.

Они достигли первых домов деревни; Матье вдруг тоже сорвался на крик.

— Мне надоело! — проорал он. — Мне надоело! Надоело! Пинетт остановился и взглянул на него:

— Что это на тебя нашло?

— Ничего, — ошарашенно ответил Матье. — Крыша поехала.

Пинетт пожал плечами.

— Нужно зайти в школу, — сказал он. — Винтовки в учебном кабинете.

Дверь была открыта; они вошли. На плиточном полу вестибюля спали солдаты. Пинетт достал фонарик; на стене обозначился светящийся круг.

— Это здесь.

Винтовки были свалены в кучу. Пинетт взял одну, долго изучал ее при свете фонарика, взял другую, старательно осмотрел и ее. Матье было стыдно, что он сорвался: нужно сохранять хладнокровие и трезвый рассудок. Беречь себя для чего‑то дельного. Безрассудные поступки ни к чему не ведут. Он улыбнулся Пинетту.

— У тебя такой вид, будто ты сигару выбираешь. Довольный выбором, Пинетт повесил винтовку на плечо.

— Я беру эту. Пошли отсюда.

— Дай‑ка мне твой фонарик, — попросил Матье.

Он провел лучом фонарика по куче винтовок: у них был скучный, казенный вид, как у пишущих машинок. Трудно было поверить, что такая штука может быть смертоносной. Он наклонился и взял первую попавшуюся.

— Что ты делаешь? — удивился Пинетт.

— Сам видишь, — ответил Матье. — Беру винтовку.

— Нет, — сказала женщина, захлопнув у него перед носом дверь.

Он, опустив руки, остался на крыльце с удрученным видом, который напускал на себя, когда не мог больше внушить кому‑то робость, он прошептал: «Старая ведьма», достаточно громко, чтобы я его услышала, но достаточно тихо, чтобы не услышала его она, нет, мой бедный Жак: что угодно, но не «старая ведьма». Опусти, сейчас же опусти свои голубые глаза, посмотри себе под ноги — справедливость, твоя красивая мужская игрушка, разбилась вдребезги, возвращайся к машине своим бесконечно скорбным шагом, я знаю: добрый Бог тебе кое‑что задолжал, но вы разберетесь в день Страшного Суда (он возвратился к машине своим бесконечно скорбным шагом). Что касается «старой ведьмы», то туг было бы что‑то другое, Матье сказал бы: «старая перечница», «старая мымра», «старая калоша», но не «старая ведьма», ты завидуешь его словечкам; нет, Матье ничего не сказал бы, люди открыли бы нам двери и уступили бы кровати, простыни, рубашки, он сел бы на краю постели, положив плашмя большую руку на красное стеганое одеяло, и, краснея, сказал бы: «Одетта, нас принимают за мужа и жену», а я бы ничего не ответила, он бы предложил: «Я лягу на полу», а я бы сказала: «Нет, не надо, ночь так коротка, не надо, ляжем в одной постели»; иди, Жак, закрой мне глаза, раздави мою мысль, заполни меня, будь властным, требовательным, жадным, только не оставляй меня с ним наедине, он пришел, он спустился по ступенькам, такой прозрачный, такой предрекаемый, что походил на воспоминание, ты потянешь носом, подняв правую бровь, ты побарабанишь по капоту, ты пристально посмотришь на меня, он по‑своему потянул носом, по‑своему поднял бровь, у него свой глубокий и задумчивый взгляд, он был здесь, он склонился над ней: он плавал в этой большой грубой ночи, которую она ласкала кончиками пальцев, он плавает, непрочный, обычный, стародавний, я вижу сквозь него темную крепкую ферму, дорогу, бродячую собаку, все ново, кроме него, это не муж, это общая идея; я его зову, но он не спешит на помощь. Она улыбается ему, потому что им всегда нужно улыбаться, она предлагает ему спокойствие и ласковость природы, доверчивое жизнелюбие счастливой женщины; снизу она растворилась в ночи, как бы рассеялась в этой огромной женской ночи, которая таилась где‑то в ее сердце: Матье; он не улыбнулся, он потер нос, этот жест он позаимствовал у брата, она вздрогнула: «Откуда эти мысли, я сплю на ходу, я еще не превратилась в циничную старуху, мне просто приснилось», слова исчезли в глубине ее горла, все забыто, на поверхности ничего не осталось, только их обоюдная спокойная общность. Одетта весело спросила:

— Ну как?

— Ни в какую. Они утверждают, что у них нет риги, но я‑то ее видел, их ригу. Она там, в глубине двора. Неужели я похож на разбойника с большой дороги?

— Знаешь, — сказала она, — после четырнадцати часов поездки мы навряд ли так уж хорошо выглядим.

Он более внимательно посмотрел на нее, и под его взглядом она почувствовала, что нос ее загорается, как фара; сейчас он скажет, что у меня покраснел нос. Он сказал:

— У тебя мешки под глазами, бедняжка моя. Ты, должно быть, очень устала.

Она живо вытащила из сумочки пудреницу и внимательно посмотрелась в зеркальце, от моего вида испугаешься: при свете луны лицо ее казалось изукрашенным темными пятнами; некрасивость еще ладно, но грязь она ненавидела.

— Что будем делать? — спросил Жак в замешательстве. Она вынула пуховку и слегка провела ею по скулам и под

глазами.

— Что хочешь, — сказала она.

— Я спрашиваю у тебя совета.

Он на лету схватил руку, которая держала пуховку, и, властно улыбаясь, остановил ее. Я прошу у тебя совета, на этот раз я прошу у тебя совета, каждый раз, как я прошу у тебя совета, мой бедный друг, ты же знаешь, что все равно сделаешь иначе. Чтобы сформулировать свое мнение, ему необходимо критиковать мнение других. Она предложила наугад:

— Поедем дальше, может быть, встретим более любезных людей.

— Большое спасибо! Хватит и этих. Фу! — зло фыркнул он. — Ненавижу крестьян.

— Тогда, может быть, будем ехать всю ночь? Жак сделал большие глаза:

— Всю ночь?

— Завтра мы были бы в Гренобле, мы могли бы отдохнуть у Блерьо, двинуться в путь после полудня и переночевать в Кастеллане, а послезавтра быть в Жуане.

— И не думай об этом!

Он напустил на себя серьезность и добавил:

— Я страшно устал. Я усну за рулем, и мы проснемся в кювете.

— Я могу тебя сменить.

— Дорогая, уясни наконец, что я никогда не позволю тебе вести машину ночью. С твой близорукостью это было бы убийством. Дороги забиты телегами, грузовиками, автомобилями, а ведут их люди, которые никогда не сидели за рулем и теперь от страха побежали, куда глаза глядят. Нет, нет, тут нужна мужская реакция.

Открылись ставни, и в окне возникло чье‑то лицо.

— Дадите вы нам спокойно поспать? — раздался грубый голос. — Поищите другое место для болтовни, черт бы вас побрал!

— Благодарю вас, — сказал Жак с оскорбительной иронией, — вы очень любезны и гостеприимны.

Он сел в машину, хлопнул дверцей и резко газанул. Одетта покосилась на него: лучше было молчать; Жак гнал машину со скоростью восемьдесят километров в час, потушив все огни, так как он опасался воздушного налета. К счастью, было полнолуние; ее вдруг бросило к дверце.

— Что ты делаешь?

Он, почти не притормозив, бросил машину на поперечную дорогу. Они ехали еще некоторое время, потом Жак резко затормозил и поставил машину в конце дороги под густыми деревьями.

— Мы будем спать здесь.

— Здесь?

Он открыл дверцу и, не отвечая, вышел. Она выскользнула за ним, воздух был довольно прохладным.

— Ты хочешь спать снаружи?

— Нет.

Она с вожделением посмотрела на черную мягкую траву, наклонилась и потрогала ее, как воду.

— Послушай, Жак! Нам будет так хорошо; можно вынести из машины одеяла и подушку.

— Нет, — повторил он. И твердо добавил: — Мы будем спать в машине, неизвестно, кто сейчас бродит по дорогам.

Она смотрела, как он, заложив руки в карманы, ходит взад‑вперед молодым пританцовывающим шагом; дьявольская скрипка играет в деревьях, Жак вынужден прыгать и танцевать в такт этой мелодии. Он повернул к ней озабоченное и постаревшее лицо, взгляд его блуждал. «У него неуверенный вид; кажется, ему стыдно». Он вернулся к машине, и молодость и горячность магического инструмента завладели им, он явно взбодрился. «Знаю, он ненавидит спать в машине. Но кого он наказывает? Себя или меня?» Она чувствовала себя виноватой, не зная, почему.

— Отчего у тебя такое лицо? — спросил он. — Мы на больших неоглядных дорогах, нас ждут приключения: чем ты недовольна?

Она опустила глаза: «Я не хотела уезжать, Жак, я не боюсь немцев, я хотела остаться дома; если война продлится, мы будем отрезаны от Матье, мы даже не будем знать, жив ли он». Она сказала:

— Я думаю о своем брате и о Матье.

— В данный момент, — с горькой улыбкой сказал Жак, — Рауль в Каркассоне, в своей постели.

— Но Матье…

— Вбей себе в голову, — ответил Жак раздраженно, — что мой брат поступил на нестроевую службу и следовательно не подвергается никакой опасности. Он попадет в плен, только и всего. Ты воображаешь, что все солдаты герои. Увы, мой бедный дружок, Матье сейчас марает бумагу в каком‑нибудь штабе; там так же спокойно, как в тылу; может быть, он даже в большей безопасности, чем мы в данный момент. На их жаргоне это называется «блиндаж». Впрочем, я только радуюсь за него.

— Быть пленным нелегко, — сказала Одетта, не поднимая глаз.

Он важно посмотрел на нее:

— Не заставляй меня говорить то, чего я не говорил! Судьба Матье меня весьма волнует. Но по характеру он основательный и расторопный. Да, да, гораздо расторопнее, чем ты думаешь — у него повадки рассеянного чудака, но я его знаю лучше, чем ты: во всех его постоянных смятениях есть доля позы, он постоянно играет роль; очутившись в плену, он найдет себе хорошее местечко, я в этом уверен, он станет секретарем у какого‑нибудь немецкого офицера или же будет поваром… это будет как раз по нему. — Он улыбнулся и с готовностью продолжил: — Поваром, да, поваром; это как раз по нему! Если хочешь понять сущность моей мысли, — доверительно добавил он, — я считаю, что плен пойдет ему на пользу; он оттуда вернется совсем другим человеком.

— Сколько времени это продлится? — сдавленно спросила Одетта.

— Откуда мне знать?

Он покачал головой и добавил:

— Одно могу тебе сказать: не думаю, чтобы война продлилась долго. Ближайшая цель немцев — Англия… а Ла‑Манш очень узок…

— Англичане будут защищаться, — сказала Одетта.

— Конечно, конечно, — он сокрушенно развел руками. — Я не уверен, должны ли мы этого желать.

А чего мы должны желать? Чего должна желать я? Сначала все казалось таким простым: она думала, что следует желать победы, как в 1914 году. Но победы, казалось, никто не хочет. Она весело улыбнулась, когда увидела, как ее мать улыбалась при новостях о наступлении на Нивелль, она настойчиво повторяла: «Да, мы победим! Определенно, мы просто не можем не победить». Это чувство внушало ей отвращение к себе самой, потому что она ненавидела войну, даже победоносную. Но люди в ответ на ее рассуждения молча качали головами, словно она проявляла бестактность. Тогда она замолчала и постаралась, чтобы о ней все забыли; она слушала, как они говорили о Германии, об Англии, о России, ей не удавалось понять, чего они хотят; она думала: «Будь он рядом, он бы мне все объяснил». Но его рядом не было, он даже не писал: за девять месяцев он прислал Жаку два письма. Что он думает? Он должен знать, он должен понимать. А если и он не понимает? Если никто не понимает? Она резко подняла голову, она рассчитывала, что у Жака будет тот вид сытой уверенности, который иногда ее еще успокаивал, она хотела бы прочесть в его взгляде, что все идет хорошо, что у людей есть доводы, от нее ускользающие. На что надеяться? Разве победа союзников действительно на руку одной России? Она вопрошала это слишком знакомое лицо, и вдруг оно ей показалось новым: она увидела его глаза, потемневшие от волнения; в уголках губ затерялась толика надменности, но это была надменность сконфуженного ребенка, пойманного с поличным. «Что‑то с ним происходит, ему не по себе». Со времени их отъезда из Парижа он был какой‑то странный, то слишком вспыльчивый, то слишком мягкий. Ее ужасало, когда мужчины выглядели виноватыми. Жак сказал:

— До смерти хочется курить.

— У тебя нет сигарет?

— Нет.

— Держи. У меня есть еще четыре.

Это были «Де Резски»; он покривился и неохотно взял одну.

— Солома! — сказал он, кладя пачку в карман.

При первой его затяжке Одетта вдохнула запах табака: желание курить высушило ей горло. Долгое время, коша она уже перестала его любить, ей еще нравилось чувствовать жажду, когда он пил рядом с ней, голод, когда он ел, желание спать, коша он спит рядом, это ее успокаивало; он присваивал ее желания, освящал их и удовлетворял способом более мужским, более нравственным и более решительным. А теперь…

Она, усмехнувшись, попросила:

— Дай мне, по крайней мере, одну.

Он, не понимая, посмотрел на нее, потом поднял брови:

— Ой! Прости, бедняжка моя, я сунул их в карман машинально.

Он вынул пачку.

— Оставь ее себе, — сказала она, — дай мне одну.

Они молча курили. Одетта боялась самой себя; она вспоминала страстные и непреодолимые желания, томившие ее, когда она была молодой. Может быть, они вернутся. Жак два‑три раза кашлянул, чтобы прочистить горло: «Он собирается со мной говорить. Но он, как всегда, не спешит». Одетта терпеливо курила: «Он вползет в тему разговора, как краб, боком». Жак выпрямился, придал лицу соответствующее выражение и сурово посмотрел на нее.

— Бедная моя Одетта! — сказал он.

Она принужденно улыбнулась ему; он положил ей руку на плечо.

— Теперь ты должна признать, что мы совершили безрассудный поступок.

— Да, — сказала она. — Да, это был безрассудный поступок.

Он неотрывно смотрел на нее. Потом потушил сигарету о ступеньку машины и раздавил окурок ногой; он подошел к Одетте и сказал настойчиво, как бы желая убедить ее в справедливости своих слов:

— Нам ровным счетом ничто не угрожает.

Она не ответила; он продолжал в наставительной, но мягкой манере:

— Я уверен, что немцы поведут себя безупречно; они просто посчитают это своим долгом.

Именно так Одетта всегда и думала. Но она прочла в глазах Жака ожидание: он ждал от нее опасения. Она сказала:

— Но разве узнаешь заранее? А если они предали Париж огню и мечу?

Он пожал плечами:

— С чего бы это? Вот уж эти дамские страхи! Он наклонился и терпеливо объяснил ей:

— Постарайся понять, Одетта: в Берлине скорее всего захотят сразу же после перемирия сделать Францию одним из партнеров оси Рим — Берлин — Токио; возможно, там рассчитывают на наш авторитет в Америке, чтобы удержать Соединенные Штаты от участия в войне. Ты меня внимательно слушаешь? Короче говоря, даже разбитые, мы имеем определенные козыри. К тому же, — добавил он со смешком, — представятся возможности и для наших политиков, если они еще не утратили своих амбиций. Итак, в этих условиях просто невозможно представить себе, чтобы немцы рискнули пойти на бессмысленную жестокость и восстановили против себя французское общественное мнение.

— Я тоже так думаю, — ответила Одетта не без раздражения.

— Да?

Он посмотрел на нее, прикусив губу; вид у него был настолько смущенный, что она поспешно добавила:

— Но все же откуда такая уверенность? Вообрази, что в них начнут стрелять из окон…

Глаза Жака сверкнули:

— Если бы существовала опасность, я бы, конечно, остался в Париже; я смирился с отъездом, ибо был убежден, что оснований для тревоги нет.

Одетта вспомнила, как он с демонстративным хладнокровием вошел в гостиную и степенно сказал, дрожащей рукой прикуривая сигарету: «Собирай вещи, машина внизу, через полчаса мы уезжаем». Куда он клонит? Жак слегка ухмыльнулся.

— И потом, — как бы заключил он, — бежать — значит покинуть свой пост.

— Но у тебя не было никакого поста.

— Ты забыла, что я ответственный по кварталу, — сказал он. Он оттолкнул ладонью возможное возражение. —

Я знаю, это несерьезно, и я согласился только по настоянию Шампенуа. Но даже в этом качестве я мог бы быть полезным. К тому же, мы обязаны подавать пример другим.

Она неприязненно смотрела на него: «Что ж, да, да, да, ты должен был остаться в Париже, не рассчитывай, что я буду тебе возражать». Он вздохнул:

— Но что сделано, то сделано. Только в идеале есть обязанности, не противоречащие друг другу. Прости, что я морочу тебе голову, бедняжка. Это неизбежные мужские сомнения.

— Я вполне в состоянии их понять.

— Естественно, дитя мое, естественно. — Он улыбнулся ей сурово и отчужденно, потом взял ее за запястье и успокаивающе добавил:

— А что, в конце концов, могло бы со мной случиться? В худшем случае, всех трудоспособных мужчин угнали бы в Германию, ну и что? Матье там хорошо. Правда, в отличие от меня, у него не барахлит сердце. Помнишь, как этот дурак‑майор освободил меня от военной службы? Я чуть не лопнул от бешенства, я был готов на все, что угодно. Помнишь, как я был разъярен?

— Да.

Он сел на ступеньку машины и обхватил голову руками, он смотрел прямо перед собой.

— Шарвоз остался, — сказал он, глядя в одну точку. — А?

— Он остался. Я встретил его сегодня утром в гараже. Он удивился, что я уезжаю.

— Он совсем другой человек, — проговорила она машинально.

— Да, действительно, — с горечью согласился он. — Он ведь холостяк.

Одетта стояла слева от него, она смотрела на его голову, кожа местами просвечивала под волосами, она подумала: «Ах, вот с но что!»

У него были бегающие глаза. Он сказал сквозь зубы:

— Мне некому тебя доверить. Она напряглась:

— Что ты сказал?

— Я говорю: мне некому тебя доверить. Если бы я решился отпустить тебя одну к твоей тетке…

— Ты хочешь сказать, — дрожащим голосом проговорила она, — что ты уехал из‑за меня?

— Иначе я не мог, — ответил он. Он с нежностью посмотрел на нее:

— В последние дни ты была такой нервной: ты меня просто пугала.

Она онемела от изумления: «Ради меня? Но с какой стати?»

Жак продолжал с лихорадочной веселостью:

— Ты все время закрывала ставни, мы весь день жили в темноте, ты копила консервы, я буквально наступал на банки с сардинами… А потом, мне кажется, что твое общение с Люсьенной причиняло тебе много вреда; когда она уходила от нас, ты становилась совсем другой: она с придурью, малость не в себе и очень уж верит всяким страшным историям про немцев — об отрубленных руках, изнасилованиях и тому подобному.

Я не хочу. Я не хочу говорить ему то, чего он от меня ждет. С чем я останусь, если признаю, что презираю его? Она сделала шаг назад. Он остановил на ней стальной взгляд, он как бы понуждал ее: «Ну, скажи это. Скажи же!» И снова под этим орлиным взглядом, под взглядом своего супруга она почувствовала себя виноватой; что ж, возможно, он подумал, что я хочу уехать, возможно, у меня был испуганный вид, возможно, я действительно боялась, не сознавая этого. Что здесь правда? До сих пор правдой было то, что говорил Жак; если я больше этому не верю, чему мне верить? Она проговорила, понурившись:

— Мне не хотелось оставаться в Париже.

— Тебе было страшно? — доброжелательно спросил он.

— Да, мне было страшно.

Когда она подняла голову, Жак смотрел на нее, посмеиваясь.

— Ладно! — сказал он. — Все это не так уж скверно; правда, ночь под открытым небом нам не совсем по годам. Но мы еще молоды и можем увидеть в этом некое очарование. — Он легко погладил ее по затылку. — Помнишь Иер в тридцать шестом году? Мы спали в палатке, но это одно из моих самых дорогих воспоминаний.

Одетта не ответила: она судорожно ухватилась за ручку дверцы и стиснула ее изо всех сил. Жак подавил зевок:

— Как поздно. Может быть, ляжем?

Она утвердительно кивнула. Прокричал какой‑то ночной зверь, и Жак разразился хохотом.

— Как это по‑сельски! — сказал он. — Располагайся на заднем сиденье, — добавил он заботливо. — Ты сможешь немного вытянуть ноги, а я буду спать у руля.

Они сели в машину: Жак запер на ключ правую дверцу и накинул цепочку на левую.

— Тебе удобно?

— Очень.

Он вытащил револьвер и, ухмыляясь, осмотрел его.

— Вот ситуация, которая восхитила бы моего старого пирата деда, — сказал он. И весело добавил: — Все мы в семье немножко корсары.

Она промолчала. Жак развернулся на своем сиденье и взял ее за подбородок:

— Поцелуй меня, моя радость.

Она почувствовала его горячий открытый рот, прильнувший к ее рту; он слегка лизнул ей губы, как раньше, и она вздрогнула; в то же время она почувствовала, как его рука скользнула ей под мышку, лаская ей грудь.

— Моя бедная Одетта, — нежно проговорил он. — Моя бедная девочка, моя бедная малютка.

Она откинулась назад и сказала:

— Мне до смерти хочется спать.

— Спокойной ночи, любовь моя, — ответил он, улыбаясь. Жак повернулся, скрестил руки на руле и уронил голову на руки. Она сидела, выпрямившись, угнетенная: она выжидала. Два вздоха, это еще не сон. Он еще шевелится. Она не могла ни о чем думать, пока он бодрствует и думает о ней; я никогда ни о чем не могла размышлять, когда он рядом. Готово: он трижды по‑своему пробурчал; она немного расслабилась — он всего лишь животное. Теперь он спал, спала война, спал мир людей, живший в этой голове; выпрямившись в темноте между двумя меловыми стеклами на дне лунного озера, Одетта бодрствовала, очень давнее воспоминание всплыло в ее памяти: я бежала по розовой тропинке, мне было двенадцать лет, я остановилась с бьющимся от беспокойной радости сердцем и громко сказала: «Я необходима». Одетта повторила: «Я необходима», но она не знала, для чего; она попыталась думать о войне, ей казалось, что сейчас она найдет истину: «Разве это правда, что победа на руку только России?» Она оставила эту мысль, и ее радость сменилась отвращением. «Я об этом слишком мало знаю».

Ей захотелось курить. Скорее всего, от нервозности. Желание разбухало, у нее зашемило в груди. Желание сильное и неодолимое, как во времена ее капризного детства; он положил пачку в карман пиджака. Зачем ему курить? Вкус табака у него во рту должен быть таким скучным, таким иллюзорным, мне закурить важнее. Она наклонилась к нему; он посапывал; она запустила руку ему в карман, вытащила сигареты, потом, сняв цепочку, тихо открыла дверцу и выскользнула наружу. Свет луны сквозь листву, пятна луны на дороге, свежее дуновение, этот крик животного — все это мое. Она зажгла сигарету, война спит, Берлин спит, Москва спит, Черчилль, Политбюро, все наши политики спят, все спит, никто не видит мою ночь, я необходима; банки с консервами — это для моих подшефных солдат. Одетта вдруг заметила, что ей противен табак; она сделала еще две затяжки, потом бросила сигарету: она уже сама не знала, почему ей так хотелось курить Листва тихо шумела, поле поскрипывало, как паркет. Звезды казались живыми, ей было страшновато; Жак спал, и она понемногу обретала непонятный мир своего детства, заросли вопросов без ответов; это он знал названия звезд, точное расстояние от Земли до Луны, сколько жителей в квартале, их жизнь, их занятия; он спит, я его презираю, но сама я не знаю ничего; она чувствовала себя затерянной в этом непостижимом мире, в этом мире, где можно было только видеть и трогать. Одетта побежала к машине, она хотела сейчас же его разбудить, разбудить Знание, Экономику, Мораль. Она положила ладонь на ручку, склонилась над дверцей и сквозь стекло увидела широко разинутый рот. «Зачем?» — подумала Одетта. Она присела на ступеньку и, как каждый вечер, принялась думать о Матье.

Лейтенант бегом поднимался по темной лестнице; они бежали и делали повороты вслед за ним. Лейтенант остановился в полном мраке и уперся затылком в люк; и их ослепил яркий серебристый свет.

— Следуйте за мной.

Они выскочили в холодное светлое небо, полное воспоминаний и легких шумов. Чей‑то голос спросил:

— Кто здесь?

— Это я, — сказал лейтенант.

— Смирно!

— Вольно, — приказал лейтенант.

Они очутились на квадратном настиле на вершине колокольни. По углам кровлю поддерживали четыре столба. Между столбами шел каменный парапет метровой высоты. Повсюду было небо. Луна отбрасывала косую тень столба на пол.

— Ну как? — спросил лейтенант. — Здесь все в порядке?

— В порядке, господин лейтенант.

Перед ним стояли трое, длинные, худые, с винтовками. Матье и Пинетт смущенно держались позади лейтенанта.

— Мы остаемся здесь, господин лейтенант? — спросил один из троих стрелков.

— Да, — ответил лейтенант. И добавил: — Я поместил Кессона и еще четверых в мэрии, остальные будут со мной в здании школы. Дрейе обеспечит связь.

— Какие будут распоряжения?

— Огонь ведите сильный. Не жалейте боеприпасов.

— Что это?

Приглушенные возгласы, шарканье ног: звуки шли снизу, с улицы. Лейтенант улыбнулся:

— Этих штабных прихвостней я загнал в погреб мэрии. Им там будет тесновато, но это только на одну ночь: завтра утром боши, как только покончат с нами, получат их целехонькими.

Матье смотрел на стрелков: он стыдился за своих товарищей, но все трое были невозмутимы.

— В одиннадцать часов, — продолжал лейтенант, — жители деревни соберутся на площади; не стреляйте в них. Я их отправлю на ночь в лес. После их ухода — огонь по всем, кто появится на улице. И ни под каким предлогом не спускайтесь: иначе мы будем стрелять в вас.

Он направился к люку. Стрелки молча рассматривали Матье и Пинетта.

— Господин лейтенант… — начал Матье. Лейтенант обернулся.

— Я о вас забыл. Эти люди хотят сражаться с нами, — сказал он остальным. — У них есть винтовки, и я им выдал патронташи. Смотрите сами, как можно использовать этих двоих. Если они будут плохо стрелять, отберите у них патроны.

Он дружелюбно посмотрел на стрелков.

— Прощайте, ребятки. Прощайте.

— Прощайте, господин лейтенант, — вежливо сказали они.

Он секунду поколебался, качая головой, потом, пятясь, спустился по первым ступенькам лестницы и закрыл за собой люк. Три стрелка смотрели на Матье и Пинетта без любопытства и без особой симпатии. Матье сделал два шага назад и прислонился к столбу. Винтовка ему мешала, иногда он нес ее с излишней небрежностью, иногда держал ее, как свечу. В конце концов он осторожно положил ее на пол. Пинетт присоединился к нему; оба повернулись спиной к луне. Три стрелка, наоборот, стояли лицом к свету. Черная сажа пачкала их бледные лица; у них был неподвижный взгляд ночных птиц.

— Можно подумать, что мы в гостях, — сказал Пинетт. Матье улыбнулся; три стрелка ответили на его улыбку.

Пинетт подошел к Матье и шепнул ему:

— По‑моему, мы им не слишком нравимся.

— Кажется, да, — согласился Матье.

Оба смущенно замолчали. Матье наклонился и увидел прямо перед собой темные барашки каштанов.

— Сейчас я их разговорю, — сказал Пинетт.

— Сиди спокойно.

Но Пинетт уже подходил к стрелкам.

— Меня зовут Пинетт. А это Деларю.

Он остановился, ожидая ответа. Самый высокий кивнул, но никто из троих себя не назвал. Пинетт прокашлялся и сказал:

— Мы пришли сюда сражаться.

Стрелки продолжали молчать. Высокий блондин насупился и отвернулся. Пинетт растерянно спросил:

— Что нам надо делать?

Высокий блондин откинулся назад и зевнул. Матье заметил, что он был в чине капрала.

— Что нам надо делать? — повторил Пинетт.

— Ничего.

— Как ничего?

— Пока ничего.

— А потом?

— Вам скажут. Матье им улыбнулся:

— Мы вам надоедаем, да? Вы хотели бы остаться одни? Высокий блондин задумчиво посмотрел на него, потом повернулся к Пинетту:

— Ты кто?

— Служащий метро.

Капрал издал короткий смешок. Но глаза его оставались серьезными.

— Ты уже считаешь себя гражданским? Подожди немного.

— А, ты имеешь в виду в армии? — Да.

— Я наблюдатель.

— А он?

— Телефонист.

— Нестроевой? — Да.

Капрал прилежно посмотрел на Матье, словно ему было трудно сосредоточить на нем внимание.

— Что у тебя не в порядке? С виду ты довольно крепкий…

— Сердце.

— Вы когда‑нибудь стреляли в людей?

— Никогда, — признался Матье.

Капрал повернулся к своим товарищам. Все трое покачали головами.

— Мы будем стараться изо всех сил, — сдавленным голосом проговорил Пинетт.

Наступило долгое молчание. Капрал смотрел на них, почесывая голову. В конце концов он вздохнул и, казалось, решился. Он встал и отрывисто сказал:

— Меня зовут Клало. Подчиняться нужно мне. Эти двое — Шассерьо и Дандье; вам нужно делать только то, что вам скажут, мы сражаемся уже пятнадцать дней, и у нас есть опыт.

— Пятнадцать дней? — недоверчиво переспросил Пинетт. — Как это произошло?

— Мы прикрывали ваше отступление, — пояснил Дандье. Пинетт покраснел и понурился. Матье почувствовал, как

его челюсти сжались. Клапо объяснил более примирительным тоном:

— Операция прикрытия.

Они молча переглянулись. Матье было неловко; он думал: «Мы никогда уже не станем такими, как они. Они сражались пятнадцать дней подряд, а мы в это время удирали. Теперь мы можем лишь присоединиться к ним, когда они дадут свой последний фейерверк. Но такими, как они, мы уже не станем никогда. Наши внизу, в погребе, они там догнивают в позоре и стыде, и наше место среди них, а мы их в последний момент бросили — гордость не позволила». Он наклонился и увидел черные дома, поблескивающую дорогу; он повторил про себя: «Мое место там, внизу, мое место там, внизу», но в глубине души знал, что нипочем не сможет спуститься. Пинетт сел верхом на парапет, наверное, чтобы выглядеть порешительнее.

— Слезь оттуда! — сказал Клапо. — Ты нас обнаружишь.

— Так ведь немцы еще далеко.

— Много ты знаешь! Говорю, слезь.

Пинетт недовольно спрыгнул с парапета, и Матье подумал: «Они нас никогда не примут». Пинетт его раздражал: он мельтешил, болтал, когда нужно было стушеваться, затаить дыхание и заставить забыть о себе. Матье вздрогнул: мощный взрыв, густой и тяжелый, толкнулся ему в барабанные перепонки. Потом второй, третий, от этих металлических звуков пол сотрясался под его ногами. Пинетт нервно засмеялся:

— Зря пугаешься. Это башенные часы бьют.

Матье перевел взгляд на стрелков и с удовлетворением отметил, что и они вздрогнули.

— Одиннадцать часов, — сказал Пинетт.

Матье знобило, он озяб, но это было даже приятно. Он был очень высоко в небе, над крышами, над людьми, было темно. «Нет, я не спущусь. Ни за что на свете не спущусь».

— Вот гражданские и уходят.

Они все перегнулись через парапет. Матье увидел, как черные животные движутся под листвой, как по дну моря. На главной улице бесшумно открывались двери, и мужчины, женщины и дети выскальзывали на улицу. Почти все несли тюки или чемоданы. На мостовой образовались маленькие группки: похоже, они чего‑то ждали. Потом все они слились в одну длинную процессию, которая неторопливо тронулась к югу.

— Как на похоронах, — сказал Пинетт.

— Бедняги! — вздохнул Матье.

— Не волнуйся за них, — сухо заметил Дандье. — Они еще вернутся. Немцы редко поджигают деревни.

— А там? — напомнил Матье, показывая в сторону Робервилля.

— Там — другое дело: крестьяне стреляли вместе с нами. Пинетт засмеялся:

— Значит, там было не так, как здесь. Здесь мужики дали слабину.

Дандье посмотрел на него:

— Вы же не сражались: это все‑таки не гражданское дело.

— А кто виноват? — сердито воскликнул Пинетт. — Кто виноват, что мы не сражались?

— Этого я не знаю.

— Офицеры! Это офицеры проиграли войну.

— Не говори худо об офицерах, — вмешался Клапо. — Ты не имеешь права так о них говорить.

— А чего с ними церемониться?

— Не говори о них так при нас, — твердо сказал Клапо. — Потому что я тебе вот что скажу: все наши офицеры полегли там, кроме лейтенанта, и это не его вина.

Пинетт хотел объясниться; он протянул руки к Клапо, потом опустил их.

— С вами не договоришься, — сказал он удрученно. Шассерьо с любопытством посмотрел на Пинетта:

— А вы зачем сюда притащились?

— Сражаться, я тебе уже говорил.

— Но почему? Вас же никто не принуждал. Пинетт лениво ухмыльнулся.

— Просто так. Чтобы поразвлечься.

— Что ж, поразвлечетесь! — жестко сказал Клапо. — Это я вам гарантирую.

Дандье презрительно засмеялся.

— Ты только послушай их: они, значит, пришли сюда к нам в гости, поразвлечься, посмотреть, что такое бой; они собираются прострелить мишень, как в стрельбе по голубям. И их к этому даже не принуждали!

— А тебя‑то, дурня, кто принуждает сражаться? — спросил у него Пинетт.

— Мы — совсем другое дело, мы стрелки.

— Ну и что?

— Если ты стрелок, то должен сражаться до конца. — Он покачал головой: — А иначе получается, будто я стреляю в людей ради собственного удовольствия.

Шассерьо посмотрел на Пинетта со смесью недоумения и отвращения:

— Ты понимаешь, что вы рискуете своей шкурой? Пинетт, не отвечая, пожал плечами.

— Потому что если ты это понимаешь, — продолжал Шассерьо, — ты еще больший мудак, чем кажешься. Нет никакого смысла рисковать своей шкурой, если тебя к этому не принуждают.

— Нас принудили, — резко сказал Матье. — Принудили. Нам все надоело, и потом, мы уже просто не знали, что делать.

Он показал на школу под ними:

— Для нас был один выбор: колокольня или погреб. Дандье, казалось, смягчился; его черты немного разгладились. Матье продолжал наседать:

— А что бы сделали на нашем месте вы? Они не ответили, Матье настаивал:

— Что бы вы сделали? Дандье покачал головой:

— Может, я и погреб выбрал бы: ты убедишься, тут будет не до забавы.

— Наверняка, — сказал Матье, — но, уверяю тебя, совсем не сладко сидеть в погребе, когда другие сражаются.

— Не спорю, — согласился Шассерьо.

— Да, — признал Дандье. — Там уж не до гордости.

Теперь они выглядели не так враждебно. Клапо рассматривал Пинетта с неким удивлением, затем отвернулся и подошел к парапету. Лихорадочная суровость его взгляда исчезла, он выглядел куда мягче, чем прежде, кротко смотрел он на тихую ночь, на детскую, почти сказочную сельскую местность, и Матье не знал, мягкость ночи отражалась на этом лице или же одиночество этого лица отражалось на этой ночи.

— Эй, Клапо! — позвал Дандье.

Клапо выпрямился и вновь обрел суровое обличье. — Что?

— Пойду сделаю обход нижнего квадрата: я там кое‑что увидел.

— Иди.

Когда Дандье поднял люк, до них донесся женский голос:

— Анри! Анри!

Матье склонился над улицей. Запоздавшие жители бежали во всех направлениях, как обезумевшие муравьи; на дороге рядом с почтой он увидел маленькую тень.

— Анри!

Лицо Пинетта почернело, но он промолчал. Женщины взяли девицу за руки и попытались ее увести. Она кричала, отбиваясь:

— Анри! Анри!

Потом она вырвалась, бросилась в почтовую контору и закрыла за собой дверь.

— Мать твою так! — сквозь зубы процедил Пинетт. Он поскреб ногтями по камню парапета.

— Ее нужно отправить с остальными.

— Да, — ответил Матье.

— С ней случится несчастье.

— А кто в этом виноват?

Пинетт не ответил. Крышка люка приподнялась, и кто‑то сказал:

— Помогите мне.

Они откинули крышку назад: из темноты показался Дандье; на спине он нес два соломенных тюфяка.

— Вот что я нашел.

Клапо впервые улыбнулся, он, казалось, был в восторге.

— Какая удача, — сказал он.

— И что вы хотите с этим делать? — спросил Матье. Клапо удивленно посмотрел на него.

— А для чего, по‑твоему, служит соломенный тюфяк? Жемчужины нанизывать?

— Вы будете спать?

— Сначала перекусим, — сказал Шассерьо.

Матье смотрел, как они суетятся вокруг тюфяков, вытаскивают из рюкзаков мясные консервы — разве они не понимают, что скоро умрут? Шассерьо достал консервный нож, быстрыми и точными движениями открыл три банки, потом они сели и вытащили из карманов ножи.

Клапо через плечо бросил взгляд на Матье.

— Хочешь есть? — спросил он.

Матье ничего не ел уже два дня; слюна заполнила ему рот.

— Я? — переспросил он. — Нет.

— А твой приятель?

Пинетт не ответил. Перегнувшись через парапет, он смотрел на почту.

— Валяйте, — сказал Клапо, — лопайте, жратвы достаточно.

— Тот, кто сражается, — добавил Шассерьо, — имеет право пожрать.

Дандье порылся в своем рюкзаке, вынул оттуда две консервные банки и протянул их Матье. Матье взял их и хлопнул Пинетта по плечу. Пинетт подпрыгнул:

— Что такое?

— Это тебе, ешь!

Матье взял консервный нож, который ему протянул Дандье, нажал им на закраину из белой жести и изо всех сил надавил. Но лезвие соскользнуло, выскочило из желобка и натолкнулось на большой палец его левой руки.

— Какой ты неумеха, — проворчал Пинетт. — Очень больно?

— Нет, — сказал Матье.

— Дай мне.

Пинетт вскрыл обе банки, и они молча стали есть у столба, не решаясь сесть. Они рыли мясо ножами и накалывали куски на острие. Матье добросовестно жевал, но горло его занемело: он не чувствовал вкуса мяса, и ему было трудно глотать. Сидя на тюфяках, трое стрелков старательно склонялись над своей едой; в свете луны их ножи блестели.

— Полегоньку, — мечтательно сказал Шассерьо, — мы же едим на церковной колокольне.

На церковной колокольне. Матье опустил глаза. Под ногами у них витал запах камней и ладана, там было свежо, и в таинственных сумерках слабо светились витражи. Под ногами у них теплились доверие и надежда. Было холодно; он видел небо, он вдыхал небо, он думал вместе с небом, он чувствовал себя голым на леднике, на большой высоте; очень далеко под ними простиралось его детство.

Клапо запрокинул голову, он ел, глядя в небо.

— Посмотри на луну, — вполголоса сказал он.

— Что? — спросил Шассерьо.

— Луна сегодня не больше, чем обычно? — Нет.

— А мне показалось, что больше. Вдруг он опустил глаза:

— Идите есть с нами, стоя не едят. Матье и Пинетт помешкали.

— Идите! Идите к нам! — настаивал Клапо.

— Пошли! — сказал Матье Пинетту.

Они сели; Матье почувствовал у своего бедра тепло Клапо. Они молчали: это была их последняя трапеза, и она была священна.

— Есть еще ром, — сказал Дандье, — немного: как раз по глотку на каждого.

Они стали передавать по кругу флягу, и каждый прикладывал губы к горлышку. Пинетт наклонился к Матье.

— Думаю, они нас приняли. — Да.

— Они неплохие парни. Мне они нравятся.

— Мне тоже.

Пинетт выпрямился, охваченный гордостью: его глаза блеснули.

— Мы были такими же, если бы нами командовали как надо.

Матье посмотрел на лица стрелков и покачал головой.

— Разве неправда?

— Может, и так, — согласился Матье.

Пинетт поглядел на ладони Матье и тронул его за локоть.

— Что с тобой? У тебя кровь идет?

Матье бросил взгляд на свои ладони: он рассек большой палец на левой руке.

— А! — сказал он. — Это, наверно, консервным ножом.

— И ты не остановил кровь, дуралей?

— Я ничего не почувствовал, — сказал Матье.

— Ну и ну! — ворчливо восхитился Пинетт. — Что бы ты без меня делал?

Матье посмотрел на свой большой палец, как бы удивляясь, что еще имеет тело: он уже ничего не чувствовал: ни вкуса мяса, ни вкуса спиртного, ни боли. «А я считал, что я стеклянный». Он засмеялся:

— Однажды в танцзале у меня тоже был нож…

Он остановился. Пинетт удивленно посмотрел на него.

— И что?

— Ничего. Мне не везет с режущими инструментами.

— Дай руку, — сказал Клапо.

Он достал из своего рюкзака рулон бинта и голубую склянку. Потом вылил обжигающую жидкость на палец Матье и перевязал ранку бинтом. Матье зашевелил пальцем‑куклой и, улыбаясь, подумал: сколько хлопот, чтобы кровь не пролилась раньше времени!

— Ну вот! — сказал Клапо.

— Ага, — откликнулся Матье. Клапо посмотрел на часы.

— Спать, ребята: скоро полночь. Они окружили его.

— Дандье! Ты останешься с ним на карауле, — сказал он, указывая на Матье.

— Слушаюсь.

Шассерьо, Пинетт и Клапо легли рядом на тюфяках. Дандье вытащил из своей амуниции одеяло и набросил его на всех троих. Пинетт сладострастно потянулся, лукаво подмигнул Матье и закрыл глаза.

— Я буду наблюдать здесь, — сказал Дандье. — А ты там. Если начнется стрельба, ничего не делай, не предупредив меня.

Матье отошел в угол и пошарил глазами по местности. Он подумал, что скоро умрет, и это показалось ему странным. Он смотрел на темные крыши, мягкое свечение дороги между синими деревьями, на всю эту плодородную необитаемую землю и думал: «Я умираю ни за что». Шелковистый храп заставил его вздрогнуть: парни уже спали; Клапо с закрытыми глазами, помолодевший, бессмысленно улыбался; Пинетт тоже улыбался. Матье склонился над ним и долго смотрел на него; он думал: «Жалко!» На другой стороне площадки Дандье наклонился вперед, уперев руки в ляжки, в позе стража ворот.

— Эй! — тихо окликнул его Матье.

— Чего?

— Ты был вратарем?

Дандье удивленно повернулся к нему:

— Как ты узнал?

— Видно по твоей стойке. Он добавил:

— Ты хорошо играл?

— Если бы повезло, перешел бы в профессионалы. Они махнули друг другу рукой, и Матье вернулся на

свой пост. Он думал: «Я умру ни за что», и ему было жалко самого себя. За один миг его воспоминания промелькнули, как листва на ветру. Все его воспоминания: «Я любил жизнь». Где‑то в глубине его мучил тревожный вопрос: «Имел ли я право бросить товарищей? Имею ли я право умереть ни за что?» Он выпрямился, оперся обеими ладонями о парапет и зло затряс головой. «Надоело. Тем хуже для тех, кто внизу, тем хуже для всех. Кончены угрызения совести, благоразумные ограничения: никто мне не судья, никто не думает обо мне, никто не вспомнит меня, никто не решит за меня». Он все решил сам без угрызений совести, с полным пониманием дела. Он решил, и в этот момент его щепетильное и жалостливое сердце кубарем покатилось с ветки на ветку; нет больше сердца: все кончено. «Я понял, что смерть была тайным смыслом моей жизни, я жил, чтобы умереть; я умираю, чтобы засвидетельствовать, что жить невозможно; мои глаза погасят этот мир и закроют его навсегда».

Земля поднимала к этому обреченному запрокинутое лицо, распахнутое небо текло сквозь него со всеми своими звездами; но Матье стоял на посту, пренебрегая этими ненужными дарами.

#### ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ, 5 ЧАСОВ 45 МИНУТ

— Лола!

Как каждое утро, она проснулась с отвращением, как каждое утро, она возвращалась в свое старое гниющее тело.

— Лола! Ты спишь?

— Нет, — ответила она, — который час?

— Без четверти шесть.

— Без четверти шесть? И мой маленький хулиган уже проснулся? Мне его подменили.

— Иди ко мне! — сказал он.

«Нет, — подумала она. — Я не хочу, чтобы он ко мне прикасался».

— Борис…

«Мое тело вызывает у меня омерзение, даже если оно не вызывает омерзения у тебя, это жульничество: оно гниет, а ты этого не замечаешь, но если бы ты знал, оно внушало бы тебе ужас».

— Борис, я устала…

Но он уже обхватил ее за плечи; он давил на нее. «Ты сейчас войдешь в рану. Раньше, когда он ко мне прикасался, я становилась как бархатная. Но теперь мое тело — высохшая землям под его пальцами я даю трещины и рассыпаюсь, он мне делает больно». Он разрывал ее внутренности, он орудовал в ее животе, как ножом, он выглядел одиноким и одержимым, точно насекомое, точно муха, которая поднимается по стеклу, падает и вновь поднимается. Она чувствовала только боль; он тяжело дышит, он взмылен, он наслаждается; он наслаждается в моей крови, в моей боли. Она подумала: «Черт побери! У него не было женщины полгода, он совокупляется, как солдат в борделе». Что‑то на миг зашевелилось в ней, подобие взмаха крыльев, но тут же прошло. Он приклеился к ней, двигались только ее груди, потом он резко отпрянул, и груди Лолы издали звук снимаемой медицинской банки, ее разбирал смех, но она взглянула на лицо Бориса, и смеяться расхотелось: он был такой суровый и напряженный, он занимался любовью, как другие напиваются, он явно пытается что‑то забыть. В конце концов он рухнул на нее, как мертвец; она машинально погладила ему затылок; она была холодна и равнодушна, но чувствовала гулкие удары колокола, которые во весь размах вздымались от живота к груди: это в ней колотилось сердце Бориса. «Я слишком стара, я чересчур стара». Вся эта гимнастика показалась ей комичной, и она ласково его оттолкнула.

— Пусти меня.

— А?

Он поднял голову и удивленно посмотрел на нее.

— У меня неважно с сердцем, — сказала она. — Оно слишком сильно бьется, а ты меня душишь.

Он ей улыбнулся, прилег рядом и остался лежать на животе, закрыв глаза и уткнувшись лбом в подушку, в уголке рта получилась чудная складка. Она приподнялась на локте и посмотрела на него: он выглядел так интимно, так привычно, что ей хотелось за ним наблюдать не больше, чем за собственной рукой; я ничего не почувствовала. И даже вчера, когда он появился во дворе, такой красивый, я ничего не почувствовала. Ничего, даже того лихорадочного вкуса во рту, даже той плотной тяжести в животе; она смотрела на это слишком знакомое лицо и думала: «Я одинока». Маленькая голова, маленькая головенка, где так часто гнездились затаенные скрытные секреты, сколько раз она брала ее в руки и сжимала; она неистовствовала, она вопрошала, заклинала, она хотела бы вскрыть ее, как гранат, и полизать то, что было внутри: в конечном счете секрет испарялся и, как в гранатах, оставалось немного сладковатой водицы. Она злобно глядела на Бориса, она злилась, что он не сумел ее расшевелить, она смотрела на горькую складку в уголке его рта: «Если он утратит свою веселость, что у него останется?» Борис открыл глаза и улыбнулся ей:

— Я страшно доволен, что ты наконец со мной, моя безумная старушка.

Она улыбнулась ему в ответ: «Теперь секрет есть у меня, а ты сколько угодно можешь пытаться его у меня выудить». Борис встал, откинул простыни и внимательно посмотрел на ее тело; он слегка коснулся ее грудей; Лола смутилась.

— Как из мрамора, — промолвил он.

Лола подумала о мерзком животном, которое ночью размножалось в ее утробе, и кровь прилила к ее щекам.

— Я горжусь тобой, — сказал Борис.

— Почему?

— Как почему? Ты здорово надула этих госпитальных крыс.

Лола усмехнулась:

— А они у тебя не спросили, что ты делаешь с этой старухой? Они не приняли меня за твою мать?

— Лола! — с упреком сказал Борис. Он засмеялся, вспомнив что‑то забавное, и печать молодости на миг вновь возникла у него на лице.

— Что тебя так развеселило?

— Франсийона вспомнил. У него девушка что надо, ей еще нет восемнадцати; так вот он мне сказал: «Если хочешь, давай тут же махнемся».

— Он очень любезен, — сказала Лола.

Какая‑то тревога облаком скользнула по лицу Бориса, и глаза его потемнели. Она неприязненно посмотрела на него: «Да, да, у тебя, как и у всех, есть свои маленькие заботы. Но что он сделает, если я признаюсь ему в своих? Что ты сделаешь, если я тебе скажу: «У меня опухоль матки, ее нужно оперировать, а в моем возрасте это может кончиться худо». Ты вытаращишь свои блядские глазища, ты скажешь: «Это неправда!» Я тебе скажу, нет, это правда, тогда ты скажешь, что операцию делать нельзя, что есть надежные лекарства или облучение, что я слишком мнительна. А я тебе скажу: «Я вернулась в Париж не для того, чтобы взять деньги в банке, а чтобы проконсультироваться у Ле Гупиля, и он был категоричен». Ты мне скажешь, что Ле Гупиль кретин, что к кому угодно, но не к нему надо было обращаться, ты будешь возражать, протестовать, трясти головой с затравленным видом и в конце концов ты замолчишь, загнанный в угол, ты будешь смотреть на меня ошалевшими, полными ненависти глазами». Она подняла обнаженную руку и схватила Бориса за волосы.

— Ну, маленький хулиган! Рожай. Признавайся, что у тебя не так.

— Все хорошо, — фальшиво бодро ответил он.

— Ты меня удивляешь. Не в твоих привычках просыпаться в пять часов утра.

Он неуверенно повторил:

— Все хорошо…

— Но я не вижу, — сказала она. — Ты что‑то собрался мне сказать, но тебе хочется, чтобы я тебя об этом попросила.

Он улыбнулся и положил голову ей под мышку. Вдохнул и сказал:

— Ты хорошо пахнешь. Она пожала плечами:

— Ну так что? Будешь говорить или нет?

Он затравленно мотнул головой. Она замолчала и, в свою очередь, легла на спину: «Что ж, не говори! Какое это имеет для меня значение? Он говорит со мной, он спит со мной, но умру я все равно одна». Она услышала его вздох и повернула к нему голову. У Бориса было угрюмое и печальное лицо — таким она его еще не видела. Лола без всякого воодушевления подумала: «Ладно! Придется тобой заняться». Ей предстоит его расспрашивать, выслеживать, угадывать выражение его лица, как в те времена, когда она его ревновала, усердствовать, чтобы он наконец выложил ей то, в чем он и сам жаждет признаться. Она села:

— Ладно! Дай мне халат и сигарету.

— Зачем халат? Такая ты гораздо лучше.

— Дай халат. Мне холодно.

Он встал, голый и загорелый, она отвела глаза в сторону; он взял халат у изножья кровати и протянул ей. Она его надела; он секунду поколебался, потом влез в брюки и сел на стул.

— Ты сыскал девственницу и собираешься на ней жениться? — спросила Лола.

Он посмотрел на нее с такой растерянностью, что она покраснела.

— Ладно, выкладывай, — сказала она. Короткое молчание, и она продолжила:

— Что ты собираешься делать, когда тебя отпустят?

— Я женюсь на тебе, — ответил он. Она взяла сигарету и закурила.

— Зачем? — спросила она.

— Мне необходима респектабельность. Я не могу привезти тебя в Кастельнодари, если ты мне не жена.

— А что ты собираешься делать в Кастельнодари?

— Зарабатывать на жизнь, — сказал он строго. — Нет, кроме шуток: я буду преподавателем в коллеже.

— Но почему в Кастельнодари?

— Увидишь, — ответил он. — Увидишь. Это будет именно в Кастельнодари.

— И ты хочешь, чтобы я звалась мадам Сергин и чтобы, надев шляпу, я нанесла визит директору школы?

— Он называется принципал. Да, именно это тебе и предстоит. А я в конце года буду произносить речь на церемонии по присуждению премий.

— Гм! — хмыкнула Лола.

— Ивиш переедет жить к нам, — сказал Борис.

— Но она же меня не переносит.

— Не спорю. Но тут уж ничего не поделаешь.

— Это она так решила?

— Да. Она изнемогает от скуки у свекра и свекрови; они ее доводят до безумия; ты бы ее не узнала.

Наступило молчание; Лола искоса наблюдала за ним.

— Вы обо всем договорились? — спросила она. — Да.

— А если мне это не понравится?

— Лола, ну что ты такое говоришь? — удивился он.

— Раз речь идет о том, чтобы жить вместе, то ты, конечно, считаешь, что я всегда буду в полном восторге.

Ей показалось, что в глазах Бориса затеплился слабый огонек.

— А разве нет?

— Да, это так, — сказала она. — И все же, мой маленький хулиган, ты слишком уверен в своих чарах.

Огонек в его глазах погас; он уставился на свои колени, и Лола обратила внимание, как двигаются его челюсти.

— А тебе эта жизнь понравится? — спросила она.

— Я буду счастлив, если мы всегда будем вместе, — галантно ответил Борис.

— Но ты говорил, что испытываешь отвращение к преподаванию.

— А чем другим еще могу я теперь заняться? Я тебе скажу все как есть, — продолжал он. — Пока я воевал, я не задавал себе вопросов. Но теперь я задумываюсь: для чего я создан?

— Ты хотел заниматься литературой.

— Я никогда об этом не думал всерьез; в сущности, мне нечего сказать. Понимаешь, я думал, что война еще продлится и меня убьют, и теперь я захвачен всем этим врасплох.

Лола внимательно посмотрела на него.

— Ты жалеешь, что война закончилась?

— Она не закончилась, — сказал Борис. — Англичане еще воюют; не пройдет и полгода, как в войну втянутся и американцы.

— Но для тебя, во всяком случае, она закончилась.

— Верно, — подтвердил Борис. — Для меня закончилась.

Лола продолжала пристально смотреть на него.

— Для тебя и для всех французов, — добавила она.

— Не для всех! — с жаром возразил он. — Те, что сейчас в Англии, будут сражаться до конца.

— Понимаю, — сказала Лола.

Она затянулась и бросила окурок на пол. Потом тихо спросила:

— У тебя появилась возможность оказаться там?

— Лола! — воскликнул Борис восхищенно и благодарно. — Да, — признался он, — да. Такая возможность появилась.

— Но каким образом?

— Цинк[[12]](#footnote-12).

— Какой цинк? — не понимая, переспросила она.

— Около Мариньяна, между двумя возвышенностями, есть маленький частный аэродром. Там две недели назад приземлился военный самолет; он был неисправен. Теперь он в порядке.

— Но ты не летчик.

— У меня есть друзья‑летчики.

— Какие друзья?

— К примеру, Франсийон, с которым я тебя вчера познакомил. А еще Табель и Террасе.

— И они предложили тебе улететь с ними? — Да.

— И что еще?

— Я отказался, — поспешно ответил он.

— Правда? Может, ты отказался, сказав себе: надо сначала подготовить старуху?

— Нет.

Он нежно посмотрел на нее. Редко у него бывали такие глаза с поволокой: «Когда‑то я бы все отдала ради такого его взгляда».

— Хоть ты и сумасшедшая старуха, — сказал он ей, — но я не могу тебя покинуть. Без моего пригляда ты наделаешь массу глупостей.

— Ах, вот оно что! — воскликнула Лола. — И когда же мы поженимся?

— Когда захочешь, — равнодушно ответил он. — Главное, чтобы мы были женаты к началу занятий.

— Занятия начинаются в сентябре?

— Нет, в октябре.

— Очень хорошо, — сказала Лола. — У нас еще есть время.

Она встала и принялась расхаживать по комнате. На полу валялись окурки со следами губной помады: нагнувшись, Борис подбирал их с глупейшим видом.

— Когда должны лететь твои товарищи? — спросила она. Борис старательно раскладывал окурки на мраморном

ночном столике.

— Завтра вечером, — не оборачиваясь, ответил он.

— Так скоро! — изумилась она.

— Что ж, тут нужно действовать быстро.

— Так скоро!

Она дошла до окна и открыла его: она смотрела на покачивающиеся мачты рыбацких лодок, на набережную, на розовое небо и думала: «Завтра вечером». Оставалось разорвать еще одно крепление, одно‑единственное. Когда крепление будет разорвано, она обернется. «Какая разница: завтра вечером или в любой другой день», — подумала она. Вода тихо колыхала цветные разводы утренней зари. Вдалеке Лола услышала сирену парохода. Когда она почувствовала себя окончательно свободной, она повернулась к нему.

— Если ты хочешь уехать, то я не стану тебя удерживать.

Фраза далась ей нелегко, но теперь Лола ощутила пустоту и свободу. Она смотрела на Бориса и думала, не зная почему: «Бедный мальчик, бедный мой мальчик». Борис резко встал. Он подошел и схватил ее за руку:

— Лола!

— Ты мне делаешь больно, — сказала она.

Он отпустил Лолу, но посмотрел на нее с неким подозрением.

— А ты не будешь от этого страдать?

— Буду, — рассудительно ответила она. — Я буду страдать, но лучше это, чем твое преподавание в Кастельнодари.

Казалось, он немного успокоился.

— Ты тоже не смогла бы там жить? — спросил он.

— Да, — ответила она. — Я тоже.

Он ссутулил плечи, руки его беспомощно повисли; впервые у него был такой вид, будто ему мешает собственное тело. Лола была признательна ему, что он не демонстрирует в открытую свою радость.

— Лола! — повторил он.

Он положил руку ей на плечо; ей захотелось сбросить его руку с плеча, но она сдержалась. Она ему улыбалась, она еще чувствовала тяжесть его руки, но он уже ей не принадлежал, он был в Англии, они оба уже были по‑своему мертвы.

— Знаешь, я ведь отказался! — дрожащим голосом проговорил он. — Я отказался!

— Знаю.

— Я не буду тебе изменять, — сказал он. — Я ни с кем, кроме тебя, не буду спать.

Она улыбнулась.

— Мой бедный мальчик.

Теперь он был уже лишним. Ей хотелось бы, чтоб уже наступил завтрашний вечер. Вдруг он хлопнул себя по лбу.

— Какой же я осел!

— В чем дело? — спросила она.

— Я не еду! Я не могу ехать!

— Почему?

— Ивиш! Я же тебе сказал, что она хочет жить с нами.

— Борис! — в бешенстве выкрикнула Лола. — Если ты не остаешься ради меня, я запрещаю тебе делать это ради Ивиш.

Но это была злость той, прежней Лолы, и она тут же угасла.

— Я позабочусь об Ивиш, — спокойно сказала Лола.

— Ты возьмешь ее с собой?

— А почему бы и нет?

— Но вы же друг друга не выносите?

— Это не имеет значения.

Лола почувствовала, что ужасно устала. Она сказала:

— Оденься или ляг, ты простудишься.

Он взял полотенце и начал растирать себе торс. У него был ошеломленный вид. «Забавно, — подумала она, — он только что решил свою участь». Она села на кровати; Борис энергично растирался, но лицо его оставалось угрюмым.

— Что еще не так? — спросила она.

— Все хорошо, — сказал он. — Просто я трушу!

Она с трудом встала, поймала его за чуб и подняла ему голову.

— Посмотри на меня. Что еще не так? Борис отвел глаза.

— Ты ведешь себя странно.

— Почему странно?

— Ты совсем не рассердилась, узнав, что я уезжаю. И это меня шокирует.

— И это тебя шокирует? — повторила Лола. — И это тебя шокирует?

Она расхохоталась.

#### 6 ЧАСОВ УТРА

Матье заворчал, сел и почесал голову. Пел петух, солнце было теплым и радушным, но стояло еще низко.

— Хорошая погода, — сказал Матье.

Никто не ответил: все они стояли на коленях у парапета. Матье посмотрел на часы и увидел, что уже шесть; до него доносился отдаленный монотонный гул. Он опустился на четвереньки и подполз к товарищам.

— Что это? Самолет?

— Нет, это они. Моторизованная пехота. Матье приподнялся над их плечами.

— Осторожней! — предупредил Клапо. — Не высовывайся: у них есть бинокли.

В двухстах метрах от первых домов дорога отклонялась на запад, затем исчезала за поросшим травой пригорком, затем снова возникала между высокими строениями мукомольни, прикрывавшими ее, а затем шла к северо‑западу и наискось приближалась к деревне. Матье увидел машины, но так далеко, что они казались неподвижными, он подумал: «Это немцы!» и испугался. Странный страх, почти мистический, подобие священного ужаса. Тысячи чужих глаз пожирали деревню. Глаза сверхчеловеков и насекомых. Матье был охвачен ужасной и очевидной мыслью: «Они увидят мой труп».

— Они будут здесь через минуту, — помимо воли сказал он.

Никто ему не ответил. Через некоторое время Дандье проговорил тяжело и медлительно:

— Мы долго не продержимся.

— Назад! — приказал Клапо.

Они отступили на несколько шагов, и все четверо сели на тюфяк. Шассерьо и Дандье, одинаковые, как близнецы, и Пинетт, уже похожий на них: у всех был одинаковый землистый цвет лица и одинаковые ласковые пустые глаза. «Наверно, у меня такие же ланьи глаза», — подумал Матье. Клапо присел на пятки; он говорил им через плечо:

— Фрицы остановятся у въезда в деревню, сейчас они пошлют на разведку мотоциклистов. Ни в коем случае не стреляйте в них.

Шассерьо зевнул; та же зевота, мягкая, как рвота, приоткрыла рот Матье. Он попытался избавиться от ужаса, раззадорить себя злостью, он сказал себе: «Мы бойцы, черт побери! Мы не жертвы!» Но это была ненастоящая злость. Он снова зевнул. Шассерьо с симпатией посмотрел на него.

— Начинать всегда трудно, — сказал он. — Потом, сам увидишь, пойдет получше.

Клапо повернулся и присел на корточки напротив них.

— Будет только один приказ, — сказал он им, — защищать школу и мэрию; нельзя допустить, чтобы они туда приблизились. Сигнал подадут наши товарищи снизу, и как только они начнут стрелять, палите, не дожидаясь приказа. И запомните: пока они смогут сражаться, мы будем играть только роль прикрытия.

Они смотрели на него внимательно и послушно.

— А потом? — спросил Пинетт. Клапо пожал плечами:

— Потом…

— Вряд ли они долго продержатся, — сказал Дандье.

— Нельзя знать заранее. Возможно, у них есть небольшая пехотная пушка; нужно не дать им установить ее. Будет трудно, но если все получится, им тоже будет туго, потому что дорога и площадь образуют угол.

Он снова стал на колени и дополз до парапета. Спрятавшись за столб, он наблюдал за деревней.

— Дандье! — Что?

— Иди сюда.

Не оборачиваясь, он объяснил:

— Мы с тобой берем их в лоб. Шассерьо станет справа, а Деларю слева. На случай, если они попытаются нас обойти, Пинетт станет с другой стороны.

Шассерьо подтащил тюфяк к парапету; Матье стал коленями на одеяло. Пинетт разъярился:

— Почему я должен поворачиваться к этим говнюкам спиной?!

— Не ной, — сказал Шассерьо. — А вот мне солнце будет светить прямо в рыло.

Распластавшись у своего столба, Матье лежал лицом к мэрии; слегка наклоняясь направо, он хорошо видел дорогу. Площадь была зловещей ямой теней, ловушкой; ему было тяжело на нее смотреть. В каштанах пели птицы.

— Осторожно!

Матье затаил дыхание: два черных мотоциклиста в касках въезжали на улицу, два сверхъестественных всадника. Напрасно Матье пытался различить их лица: у них не было лиц. Две тонкие талии, четыре параллельных длинных бедра, пара круглых обтекаемых голов без ртов и глаз. Они передвигались механическими рывками, с негибким благородством кукол на шарнирах, приближаясь к циферблату старых башенных часов в ожидании своего часа. И час вот‑вот настанет.

— Не стрелять!

Мотоциклисты, треща моторами, объехали земляную площадку. Ничто не зашевелилось, кроме стайки взлетевших воробьев: это иллюзорное место притворялось мертвым. Матье завороженно думал: «Это немцы». Они прогарцевали перед мэрией, проехали прямо под Матье, который видел, как подрагивают на рулях их массивные кожаные лапы, и въехали на главную улицу. Через некоторое время они снова появились, очень прямые, как бы привинченные к тряским седлам, и на полном газу помчались по дороге, по которой только что приехали. Матье был доволен, что Клапо запретил стрелять: они казались ему неуязвимыми. Птицы, еще немного попорхав, спрятались в листве. Клапо сказал:

— Это к нам.

Заскрежетали тормоза, хлопнули дверцы, и Матье услышал голоса и шаги; он впал в омерзение, которое походило на сон, его так и тянуло закрыть глаза. Он смотрел на дорогу сквозь полузакрытые веки и чувствовал себя почти умиротворенным. Если мы спустимся, бросив винтовки, они нас окружат и, может быть, скажут: «Французские друзья, война закончена». Шаги приближались, они нам ничего не сделали, они и не думают о нас, они нам не желают зла. Он совсем закрыл глаза: ненависть сейчас брызнет до неба. Они увидят мой труп, они будут пинать его ногами. Он не боялся умереть, он боялся ненависти.

Готово! В ушах сильно хлопнуло, он открыл глаза: улица была пуста и молчалива; он попытался убедить себя, что ему снится сон. Никто не стрелял, никто…

— Сукины сыны! — прошептал Клапо. Матье вздрогнул:

— Какие сукины сыны?

— Те, из мэрии. Они слишком рано выстрелили. Должно быть, со страху, иначе они бы их пропустили.

Взгляд Матье с трудом поднялся вдоль шоссе, скользнул по мостовой, по пучкам травы между булыжниками, вплоть до угла улицы. Никого. Тишина; деревня в августе, все люди в поле. Но он знал, что по другую сторону этих стен замышляют его смерть; они жаждут причинить нам как можно больше зла. Он снова погрузился в доброту: он любил всех — французов, немцев, Гитлера. В вязком полусне он услышал крики, сопровождаемые сильным взрывом и грохотом стекол, потом снова хлопки выстрелов. Он стиснул пальцы на винтовке, чтобы не выронить ее из рук.

— Слишком рано гранату, — сквозь зубы сказал Клапо.

Теперь хлопало без остановки; фрицы стали стрелять вовсю; взорвались еще две гранаты. «Если бы это могло остановиться хоть на минуту, чтобы я овладел собой». Но вокруг стреляло, хлопало, взрывалось все пуще; в его голове все быстрее и быстрее крутилось зубчатое колесо: каждый зубец был выстрелом. «Боже мой! Неужели, ко всему, я еще и трус?» Он обернулся и посмотрел на своих товарищей: сидя на корточках, на пятках, бледные, с глазами суровыми и горящими, Клапо и Дандье наблюдали. Пинетт повернулся спиной, шея его была напряжена; его трясло, то ли от пляски святого Витта, то ли от безудержного смеха: его плечи подпрыгивали. Матье укрылся за столбом и осторожно наклонился. Ему удалось не закрыть глаза, но он не мог принудить себя повернуть голову в сторону мэрии; он смотрел на пустынный и спокойный юг, он мысленно бежал к Марселю, к морю. Прогремел еще один взрыв, что‑то сухо скатывалось вниз по черепицам колокольни. Матье вытаращил глаза, но дорога внизу мчалась во весь опор, предметы бежали, скользили, перемешивались, удалялись, это был сон, невидимая могила углублялась и притягивала его, это был сон, огненная дорога вращалась, вращалась, как колесико продавцов вафельных трубочек, он намеревался проснуться в своей постели, когда заметил жабу, которая ползла к мэрии. С минуту Матье безразлично смотрел на распластанное животное, потом жаба превратилась в человека. Матье чрезвычайно четко видел две складки на бритом затылке, зеленый китель, ремень, мягкие черные сапоги. «Должно быть, он пробрался полями и теперь ползет к мэрии, чтобы бросить гранату». Немец полз на локтях и коленях, правой поднятой рукой он сжимал палку с металлическим цилиндром в форме котелка на конце. «Но, — сказал Матье, — но, но…»; дорога перестала течь, колесо остановилось, Матье рывком вскочил, вскинул винтовку, глаза его затвердели: прочно стоя в мире сильных, он держал врага на мушке и спокойно целился ему в поясницу. На лице у него промелькнула едва заметная ухмылка превосходства: знаменитая немецкая армия, армия сверхлюдей, армия саранчи была этим жалким типом, трогательным в своей неправоте, он все больше увязал в своем невежестве и суетился с комичным усердием ребенка. Матье не спешил, он с любопытством разглядывал свою жертву, у него для этого было достаточно времени: немецкая армия уязвима. Он выстрелил, немец странно прыгнул на живот, вытянув вперед руки: у него был вид человека, который учится плавать. Увлекшись, Матье выстрелил еще, и бедный малый, сделав два или три плавательных движения, выпустил из рук гранату, которая, не взорвавшись, покатилась по шоссе. Теперь немец вел себя смирно, безвредный и смехотворный, околевший. «Я его успокоил, — вполголоса сказал Матье, — я его успокоил». Он глядел на мертвого и думал: «Они такие же, как все!» И он почувствовал прилив мужества.

На его плечо легла чья‑то рука: Клапо пришел посмотреть на работу любителя. Он, покачивая головой, рассматривал околевшее животное, потом обернулся:

— Шассерьо!

Шассерьо подполз к ним на коленях.

— Понаблюдай немного здесь, — приказал Клапо.

— Мне не нужен Шассерьо, — обиженно заметил Матье.

— Это только начало, — пояснил Клапо. — Если их придет много, одного тебя не хватит.

Раздалась пулеметная очередь. Клапо поднял брови.

— Э! — сказал он, возвращаясь на свое место. — Начинают стрелять по‑настоящему.

Матье повернулся к Шассерьо.

— Что ж, — оживленно сказал он, — думаю, мы фрицам зададим жару.

Шассерьо не ответил. У него был отяжелевший, грубый, почти сонный вид.

— Ты что, не понимаешь, что они тянут время? — раздраженно спросил Матье. — Я думал, что они сразу уплатят нам по счету.

Шассерьо удивленно поглядел на него, потом посмотрел на часы.

— Не прошло и трех минут, как проехали мотоциклисты. Возбуждение Матье спало; он стал смеяться. Шассерьо наблюдал, Матье смотрел на своего мертвеца и продолжал смеяться. В течение долгих лет он напрасно пытался действовать: у него постепенно крали его действия; крали бессчетно. Но на сей раз у него ничего не похитили. Он нажал на гашетку, и на сей раз нечто произошло. «Что‑то бесповоротное», — подумал он, продолжая смеяться. Его барабанные перепонки были изрешечены взрывами и криками, но он их едва слышал; он с удовлетворением смотрел на своего мертвеца. «Он чувствовал, что умирает, мать его так! Он понял, этот малый, понял!» Его мертвец, его работа, след его пребывания на земле. Его охватило желание убивать еще: это легко и забавно; он хотел бы погрузить всю Германию в траур.

— Осторожно.

Вдоль стены полз человек с гранатой в руках. Матье прицелился в это странное вожделенное существо; его сердце гулко колотилось в груди.

— Гадство!

Промазал. Предмет скрючился, стал растерявшимся человеком, который озирался по сторонам, ничего не понимая. Туг выстрелил Шассерьо. Немец расслабился, как пружина, вскочил на ноги, подпрыгнул, быстро вращая рукой, бросил гранату и рухнул на спину прямо посреди мостовой. В тот же миг выскочили стекла, на ослепляюще тусклом дне Матье увидел тени, извивающиеся на первом этаже мэрии, потом в глазах у него потемнело, замелькали какие‑то желтые пятна. Он был в ярости — Шассерьо запоздал.

— Вот блядь! — повторял он в бешенстве. — Вот блядь!

— Не злись, — сказал Шассерьо. — Он тоже промахнулся, ребята на втором этаже.

Матье моргал глазами и тряс головой, чтобы избавиться от ослеплявших его желтых пятен.

— Осторожно, — сказал он, — я слепну.

— Пройдет, — успокоил Шассерьо, — целься, мать‑перемать, в типа, которого я подстрелил, если он побежит.

Матье наклонился; теперь он видел немного лучше. Фриц лежал на спине с широко открытыми глазами и подергивался. Матье приложил приклад к плечу.

— Не сходи с ума! — сказал Шассерьо. — Не переводи зря патроны.

Матье недовольно опустил ружье. «Он, может, еще выпутается, этот выблядок!» — подумал он.

Дверь мэрии широко распахнулась. На пороге появился человек, он продвигался с некой вальяжностью. Он был обнажен по пояс: казалось, с него содрали кожу. С его багровых шероховатых щек свисали ошметки кожи. Вдруг он начал вопить, два десятка винтовок выстрелили одновременно, человек в дверях зашатался и ничком рухнул на ступеньки крыльца.

— Это не из наших, — сказал Шассерьо.

— Нет, — сдавленным от бешенства голосом сказал Матье. — Он из наших. Его зовут Латекс.

Его руки дрожали, глаза болели; дрожащим голосом он повторил:

— Его звали Латекс. У него было шестеро детей.

Внезапно он наклонился, прицелился в раненого, который, казалось, глядел на него широко раскрытыми глазами.

— Ты заплатишь за него, сволочь!

— Ты что, чокнулся?! — крикнул Шассерьо. — Я же тебе сказал: не переводи патроны.

— Отстань! — отмахнулся Матье.

Он не торопился стрелять: «Если этот мерзавец меня видит, ему сейчас погано». Он прицелился тому в голову и выстрелил: голова немца разлетелась, но конечности продолжали двигаться.

— Сволочь! — крикнул Матье. — Сволочь!

— Осторожно, мать твою! Посмотри налево. Появились пять или шесть немцев. Шассерьо и Матье

начали стрелять, но немцы изменили тактику. Они прятались по углам и, казалось, выжидали.

— Клапо! Дандье! Сюда! — позвал Шассерьо. — Здесь хреново!

— Не могу, — отозвался Клапо.

— Пинетт! — крикнул Матье.

Пинетт не ответил. Матье не посмел обернуться.

— Осторожно!

Немцы сделали перебежку. Матье выстрелил, но они уже успели пересечь улицу.

— Черт побери! — крикнул Клапо. — Под деревьями полно фрицев. Кто их пропустил?

Все промолчали. Под деревьями копошились, и Шассерьо выстрелил наугад.

— Без катавасии их оттуда не выбить.

Из школы начали стрелять; укрывшись за деревьями, немцы им отвечали. Из мэрии больше не стреляли. Земля на улице тихо дымилась.

— Не стреляйте по деревьям! — крикнул Клапо. — Только патроны зря тратите!

В эту минуту у фасада мэрии, на уровне второго этажа разорвалась граната.

— По деревьям карабкаются, — сказал Шассерьо.

— Если это так, — ответил Матье, — мы их накроем. Он пытался что‑нибудь рассмотреть сквозь листву; он

увидел, как чья‑то рука описала дугу, и тут же выстрелил. Слишком поздно: мэрия взорвалась, окна второго этажа были выбиты; глаза Матье снова заволокла желтизна. Он выстрелил наугад: он видел, как большие зрелые плоды перемещаются с ветки на ветку, но не различал, падают они или спускаются.

— Из мэрии больше не стреляют, — сказал Клапо.

Они прислушивались, затаив дыхание. Немцы непрерывно стреляли, но мэрия не отвечала. Матье вздрогнул. Значит, погибли. Куски кровавого мяса на развороченном полу в пустых залах.

— Мы не виноваты, — сказал Шассерьо. — Их было слишком много.

Внезапно клубы дыма повалили из окон второго этажа; сквозь дым Матье различил красно‑черные языки пламени. В мэрии кто‑то начал кричать, голос был пронзительный и почти беззвучный, голос голосящей женщины. Матье почувствовал дурноту. Шассерьо выстрелил.

— Ты с ума сошел! — крикнул ему Матье. — Зачем ты стреляешь по мэрии? Ты же сам ругал меня, что я перевожу зря патроны!

Шассерьо нацелился на окна мэрии и трижды выстрелил в языки пламени.

— Не могу больше выносить этого крика, — ответил Шассерьо.

— Он все равно кричит, — сказал Матье. Застыв, они вслушивались. Голос ослабел.

— Кончено.

Но вдруг вопли возобновились, страшные, нечеловеческие вопли. Они начинались на басах и поднимались до визга. Матье, не удержавшись, тоже выстрелил в окно мэрии, но безрезультатно.

— Стало быть, он не хочет подыхать! — сказал Шассерьо. Вдруг крики затихли.

— Уф! — вздохнул Матье.

— Кончено, — сказал Шассерьо. — Загнулся.

Ни под деревьями, ни на улице ничто больше не шевелилось. Солнце золотило фронтон горящей мэрии. Шассерьо посмотрел на часы.

— Семь минут, — сказал он.

Матье изнемогал от жары, он превратился в сплошной ожог. Прижимая руки к груди, он медленно опускал их вниз, до живота, чтобы убедиться, что цел и невредим. Вдруг Клапо сказал:

— Они на крышах.

— На крышах?

— Как раз напротив нас, они стреляют по школе. Черт, этого еще не хватало!

— Чего?

— Они устанавливают пулемет. Пинетт! — крикнул он. Пинетт отполз назад.

— Давай сюда! Сейчас будут обстреливать ребят из школы. Пинетт стал на четвереньки: он смотрел на них с отсутствующим видом.

Лицо его было землисто‑серым.

— Плохи дела? — спросил Матье.

— Наоборот, все отлично, — сухо ответил он. Пинетт прокрался к Клапо и стал на колени.

— Стреляй! — распорядился Клапо. — Стреляй по улице, чтобы отвлечь их. А мы займемся пулеметом.

Пинетт, не говоря ни слова, стал стрелять.

— Целься, мать твою! — рявкнул Клапо. — Кто же с закрытыми глазами стреляет?

Пинетт вздрогнул и, казалось, сделал над собой огромное усилие; щеки его чуть порозовели; вытаращив глаза, он прицелился. Рядом с ним Клапо и Дандье палили безостановочно. Клапо издал победный крик.

— Готово! — закричал он. — Готово! Его песенка спета. Матье прислушался: полная тишина.

— Да, — сказал он. — Но и ребята больше не стреляют. Школа молчала. Три немца, прятавшиеся за деревьями,

бегом пересекли улицу и распахнули дверь школы. Они вбежали туда и вскоре высунулись из окон второго этажа, они размахивали руками и что‑то кричали. Клапо выстрелил, немцы скрылись. Через несколько минут впервые с утра Матье услышал возле уха свист пули. Шассерьо посмотрел на свои часы.

— Десять минут, — сказал он.

— Да, — отозвался Матье. — Это начало конца. Мэрия горела, немцы заняли школу; было ощущение,

будто Францию разгромили вторично.

— Стреляйте, мать‑перемать!

Немцы осторожно выглядывали у входа на плавную улицу. Шассерьо, Пинетт и Клапо выстрелили. Головы мгновенно исчезли.

— На этот раз они нас засекли.

Снова тишина. Долгая пауза. Матье подумал: «Что они замышляют?» На главной улице четыре убитых, поодаль еще два: это все, что мы смогли сделать. Теперь пора завершать работу: погибнуть самим. А что это такое для немцев? Десять минут задержки в предусмотренном графике.

— Сзади! — вдруг предостерег Клапо.

Маленькое приземистое чудовище, сверкая на солнце, катилось к церкви.

— Schnellfeuerkanon[[13]](#footnote-13), — сквозь зубы сказал Дандье. Матье пополз к ним. Они стреляли, но никого не было

видно: казалось, пушка катится сама. Они стреляли для очистки совести, потому что еще не кончились патроны. У них были прекрасные, спокойные, усталые лица, их последние лица.

— Назад!

Внезапно слева от пушки появился крепыш без кителя. Он не пытался укрыться: он спокойно отдавал распоряжения, поднимая руку. Матье резко выпрямился: этот человек с незащищенной шеей искушал его.

— Назад, ползком!

Зев пушки медленно приподнялся. Матье не пошевелился: он стоял на коленях и целился в фельдфебеля.

— Ты что, не слышишь?! — крикнул ему Клапо. — Спокойно! — проворчал Матье.

Он выстрелил первым, приклад винтовки толкнулся ему в плечо; раздался сильный взрыв, как эхо его выстрела, он увидел пламя, потом услышал долгий мягкий шум разрыва.

— Мимо! — сказал Клапо. — Слишком высоко взяли.

Фельдфебель барахтался, суча ногами. Матье, улыбаясь, смотрел на него. Он собирался его прикончить, но тут появились два солдата и унесли его. Матье пополз, пятясь, и лег рядом с Дандье. Клапо уже поднимал люк.

— Живее! Спускаемся! Дандье покачал головой:

— Внизу нет окон. Они переглянулись.

— Надо беречь патроны, — сказал Шассерьо.

— Много их у тебя осталось?

— Две обоймы.

— А у тебя, Дандье?

— Одна.

Клапо закрыл люк.

— Ты прав, надо их экономить.

Матье услышал сзади хриплое дыхание; он обернулся: Пинетт сильно побледнел и тяжело дышал.

— Ты ранен?

Пинетт яростно взглянул на него.

— Нет.

Клапо внимательно поглядел на Пинетта.

— Если хочешь спуститься, дружок, то никто тебя не держит. Никто больше никому ничего не должен. Но, понимаешь, это наши патроны. И мы не можем их терять задарма.

— Мать твою так! — выругался Пинетт. — С какой стати я спущусь, если Деларю остается?

Он дополз до парапета и принялся беспорядочно стрелять.

— Пинетт! — крикнул Матье.

Пинетт не ответил. Над ним свистели пули.

— Брось, — сказал Клапо. — Это его отвлекает.

Пушка пальнула еще дважды. Они услышали над головой глухой удар, от потолка отвалился кусок штукатурки; Шассерьо вытащил часы.

— Двенадцать минут.

Матье и Шассерьо доползли до парапета. Матье сел на корточки рядом с Пинеттом, Шассерьо стоял справа от него, наклонившись вперед.

— Не так уж плохо: двенадцать минут продержались, — сказал Шассерьо. — Не так уж плохо.

Воздух засвистел, заревел, ударил Матье прямо в лицо: тяжелый и горячий, как каша. Матье сел на пол. Кровь ослепила его, руки были красны до запястий; он тер глаза, и кровь на руках смешивалась с кровью на лице. Но это была не его кровь: Шассерьо сидел без головы на южной части парапета; из его шеи, булькая, пузырилась кровь.

— Я не хочу! — закричал Пинетт. — Не хочу!

Он вскочил, подбежал к Шассерьо и ударил ему в грудь прикладом. Шассерьо зашатался и опрокинулся через парапет. Матье видел, как он падает, и не испытывал волнения: это было как бы начало его собственной смерти.

— Не жалей патронов, ребята! — крикнул Клапо.

Площадь вдруг заполнилась солдатами. Матье снова занял свой пост и стал стрелять. Дандье стрелял, стоя рядом с ним.

— Ну и мясорубка, — смеясь, сказал Дандье.

Вдруг он выпустил винтовку, и она упала на улицу, а он привалился к Матье, повторяя:

— Дружище! Дружище!

Матье оттолкнул его движением плеча, Дандье упал назад, и Матье продолжал стрелять. Он еще стрелял, когда на него рухнула крыша. Балка упала ему на голову, он выпустил винтовку из рук и упал. «Пятнадцать минут! — думал он в бешенстве. — Я отдал бы все, что угодно, чтобы продержаться пятнадцать минут!» Приклад винтовки торчал из груды развороченного дерева и обломков черепицы, он притянул его к себе: винтовка была липкая от крови, но заряженная.

— Пинетт! — крикнул Матье.

Никто не ответил. Обвал крыши загромождал всю северную часть настила, обломки и балки завалили люк; с зияющего потолка свисала железная перекладина; Матье был один.

— Мать‑перемать! — громко сказал он. — Мы обязаны продержаться пятнадцать минут.

Он подошел к парапету и стоя начал стрелять. Это был подлинный реванш: каждый выстрел мстил за его прошлые ошибки. «Выстрел за Лолу, которую я не осмелился обокрасть, выстрел за Марсель, которую я посмел оставить, выстрел за Одетту, с которой я не решился переспать. А этот — за книги, которые я не дерзнул написать, этот — за путешествия, от которых я отказался, этот — за всех людей скопом, которых я почти ненавидел и старался понять». Он стрелял, заповеди разлетались на глазах, бах, возлюби ближнего, как самого себя, бах — в эту гадскую рожу, не убий, бах — в этого поганого типа напротив. Он стрелял в Человека, в Добродетель, во весь Мир: Свобода — это Ужас, пылало здание мэрии, пылала его голова; пули свистели, он был свободен, как воздух, земной шар взорвется, и я вместе с ним, он выстрелил, посмотрел на часы: четырнадцать минут тридцать секунд; ему не о чем было больше просить, кроме как о полуминутной отсрочке, как раз столько понадобится, чтобы выстрелить в этого импозантного и такого горделивого офицера, который бежит к церкви; он выстрелил в красавца‑офицера, во всю Красоту Земли, в улицу, в цветы, в сады, во все, что он любил. Красота уродливо дернулась, и Матье выстрелил еще раз. Он выстрелил, он был чист, всемогущ, свободен. Пятнадцать минут.

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ночь, звезды; красный огонь на севере, это горит деревушка. На востоке и западе длинные языки пламени, сухие и мигающие: это их орудия. Они везде, завтра они со мной разделаются. Он входит в уснувшую деревню, пересекает площадь, подходит к первому попавшемуся дому, стучит — нет ответа, давит на ручку — дверь открывается. Он входит, закрывает дверь; темнота. Спичка. Он в прихожей, из темноты смутно выступает зеркало, он видит в нем свое лицо: мне давно пора побриться. Спичка тухнет, но он успел различить лестницу слева. Он наугад приближается: лестница изгибаясь, ведет вниз. Брюне спускается, делает поворот, замечает смутный рассеянный свет; он делает еще один поворот: погреб. Оттуда пахнет вином и грибами. Бочки, куча соломы. Тучный крестьянин в ночной рубашке и брюках сидит на бочке рядом с полуодетой блондинкой, на руках у нее ребенок. Они смотрят на Брюне, открыв рты: они боятся, крестьянин вдруг говорит: «Моя жена больна». — «И что?» — спрашивает Брюне. — «Я не хотел, чтобы она провела ночь в лесу». — «Ты это мне говоришь? — удивляется Брюне. — Но мне плевать». Теперь он в погребе. Крестьянин недоверчиво смотрит на него: «А чего вы хотите?» — «Переночевать», — отвечает Брюне. Крестьянин, скривившись, продолжает на него смотреть. — «Вы офицер?» Брюне молчит. «Где ваши люди?» — подозрительно спрашивает крестьянин. «Погибли», — говорит Брюне. Он подходит к куче соломы, крестьянин недоумевает: «А немцы? Где они?» — «Везде». — «Я не хочу, чтобы они вас здесь нашли». Брюне снимает китель, складывает его, кладет на бочку. «Вы слышите?» — кричит крестьянин. — «Слышу», — отвечает Брюне. — «У меня жена и ребенок: я не хочу за вас расплачиваться». — «Не волнуйся», — говорит Брюне. Он садится, женщина ненавидяще глядит на него: «Есть французы, которые будут сражаться наверху, вы должны быть с ними». Брюне смотрит на нее, она натягивает ночную рубашку на грудь и кричит: «Уходите! Уходите! Вы проиграли войну, а теперь по вашей милости убьют нас». Брюне ее успокаивает: «Не волнуйтесь. Разбудите меня, когда немцы будут здесь». — «И что вы будете делать?» — «Пойду сдаваться». — «Стыдоба! — говорит женщина. — Ведь сколько тех, что погибли». Брюне зевает, потягивается и улыбается. Уже неделю он воюет без сна и почти без еды, двадцать раз он едва не погиб. Но теперь война проиграна, и есть работа, которую предстоит выполнить. Много работы. Он ложится на солому, зевает, засыпает. «Пошевеливайтесь, немцы здесь», — говорит хозяин. Брюне открывает глаза, он видит толстое красное лицо, слышит хлопки и взрывы. «Они здесь?» — «Да. — Он злится. — Я не могу оставить вас у себя». Женщина неподвижна. Она смотрит на Брюне свирепыми глазами, прижимая к себе уснувшего у нее на руках ребенка. «Сейчас уйду», — говорит Брюне. Он встает, зевает, подходит к подвальному оконцу, роется в своем рюкзаке, вынимает оттуда осколок зеркала и бритву. Крестьянин смотрит на него, остолбенев от негодования. «Вы что же, еще и бриться здесь собираетесь?» — «А почему бы и нет?» — спрашивает Брюне. Хозяин краснеет от гнева: «Говорю же вам, меня расстреляют, если найдут вас здесь». Брюне говорит: «Я быстро». Крестьянин тянет его за руку, выталкивая из погреба: «Нечего! У меня жена и ребенок, если б я знал, я бы вас не впустил». Брюне рывком освобождается, он с отвращением смотрит на этого толстого рохлю, который упорствует в своем желании жить, который будет жить при любом режиме, покорный, околпаченный, упрямый, будет жить неизвестно для чего. Мужик бросается на него, и Брюне отбрасывает его к стене: «Отстань, или я ударю!» Теперь крестьянин держится тихо, он тяжело дышит, съежившись, он вращает глазами алкоголика, от него несет острым запахом смерти и навозной жижи. Брюне начинает бриться без мыла и воды, кожа горит; рядом с ним дрожит от страха и ненависти женщина, Брюне торопится: если я затяну, она сойдет с ума. Он кладет бритву в рюкзак: лезвие послужит еще два раза. «Видишь, я закончил. Не стоило устраивать такой шум». Крестьянин не отвечает, женщина кричит: «Уходите, гад такой, трус поганый, из‑за вас нас расстреляют!» Брюне надевает китель, он чувствует себя чистым, обновленным, он напряжен, выбритое лицо его покраснело. «Уходите! Уходите!» Он отдает честь двумя пальцами и говорит: «И все‑таки спасибо». Потомон поднимается по темной лестнице, пересекает прихожую: входная дверь широко открыта; снаружи белый водопад дня, непрерывный стрекот пулеметов, а в доме темно и прохладно. Он приближается к входной двери: необходимо нырнуть в эту пену света. Маленькая площадь, церковь, памятник погибшим, навоз у дверей. Между двумя темными домами идет важная магистраль, вся розовая от утренней зари. Там немцы, человек тридцать суетятся, они похожи на рабочих в разгар работы, они стреляют по церкви из скорострельной пушки, а с колокольни стреляют в них, грохот, как на строительной площадке. Посреди площади под перекрестным огнем французские солдаты без кителей идут на цыпочках мелкими торопливыми шагами, как будто дефилируют на конкурсе красоты. Они поднимают бледные руки над головами, и солнце просвечивает у них между пальцами. Брюне смотрит на них, потом на колокольню, справа от него пылает большая постройка, он чувствует жар на щеке, он матерится. Потом спускается по трем ступенькам крыльца. Все: его берут в плен. Он держит руки в карманах, они тяжелее свинца. «Руки вверх!» Немец целится в него из винтовки. Брюне краснеет, руки его медленно поднимаются, вот они уже над головой: «Они мне заплатят за это кровью, скоты». Брюне присоединяется к французам и приплясывает вместе с ними, все выглядит ненастоящим, как в кино: эти свистящие пули не могут убить, пушка стреляет холостыми патронами. Один француз делает реверанс и падает, Брюне перешагивает через него. Он неспешно огибает угол коричневого дома и выходит на главную улицу в тот момент, когда обрушивается колокольня. Нет больше ни фрицев, ни стрельбы, кино закончилось, это обыкновенная деревня, он снова сует руки в карманы. Теперь он опять среди своих. Шумная толпа маленьких французов в хаки, немытых, небритых, с черными от дыма лицами, они смеются, шепчутся, шутят, покачиваются барашки их обнаженных голов, полицейские пилотки, ни одной каски: они узнают друг друга, здороваются: «Я тебя видел в Саверне в декабре». — «Эй! Жирар, привет, не попади мы в плен, может, и не встретились бы снова, как там Лиза?» Скучающий немецкий солдат с винтовкой на ремне охраняет это стадо крохотных побежденных, размашистыми и медленными шагами он сопровождает их торопливую рысцу. Брюне рысит вместе с другими, но ростом он не уступает фрицу, и так же хорошо побрит. Розовая дорога течет между травами, ни дуновения ветерка, тяжкая жара поражения. От людей сильно пахнет, они о чем‑то судачат, птицы поют. Брюне поворачивается к соседу, тихому толстяку, который дышит ртом. «Откуда вы?» — «Мы шли из Саверна, ночь провели на фермах». — «А я пришел сюда совсем один, — говорит Брюне. — Странно, я думал, что деревня пуста». Молодой загорелый блондин идет за два ряда от него, он по пояс обнажен, с большим кровоточащим струпом между лопаток. За спиной Брюне слышится несмолкающий оживленный шум, смех, крики, шарканье подошв о землю, это похоже на шум ветра в деревьях. Он оборачивается: теперь позади него тысячи людей, их собрали отовсюду — с полей, деревушек, ферм. Плечи и голова Брюне одиноко возвышаются над этой волнообразной долиной. «Меня зовут Мулю, — говорит толстяк, — я из Бар‑ле‑Дюа». Он гордо добавляет: «Я знаю эту местность». У дороги горит ферма, черное пламя бьется на солнце, воет собака. «Слышишь пса? — спрашивает Мулю у своего соседа. — Его заперли внутри». Сосед явно с севера, блондин, не слишком низкорослый, с молочно‑белой кожей, он похож на фрица, который его охраняет. Он хмурит брови и обращает большие голубые глаза на Мулю: «А?» — «Собака там, внутри». — «Ну и что? Это всего лишь собака». «Уа, уа! уа! уа!» На сей раз это не лай собаки: это голосит молодой человек с обнаженной спиной. Кто‑то увлекает его и прикрывает ему рот рукой, Брюне успевает увидеть его большое бледное испуганное лицо и глаза без ресниц. «Шарпен, ему, кажется, худо», — говорит Мулю северянину. Северянин смотрит на него: «А?» — «Я говорю: Шарпену, твоему товарищу, худо». Северянин смеется, зубы у него белые: «Он всегда был малость не в себе». Дорога идет в гору, их сопровождает сильный запах разогретого камня, сожженного дерева, за их спиной продолжает завывать собака. Они взбираются на вершину косогора; вниз ведет пологий спуск. Мулю показывает пальцем на бесконечную колонну: «Ну и дела! Откуда они взялись?» Он поворачивается к Брюне: «Сколько их?» — «Не знаю. Может, десять тысяч, а может, больше». Мулю недоверчиво смотрит на него. «Ты можешь это определить на глаз, приблизительно?» Брюне думает о дне взятия Бастилии, о Первом мая: тогда размещали специальных людей на бульваре Ришар‑Ленуар, и те подсчитывали число демонстрантов по длительности прохождения. Когда ты среди них, это молчаливые и теплые толпы. А это скопище шумное, но холодное и безжизненное. Он улыбается и говорит: «У меня есть навык». — «Куда нас ведут?» — спрашивает северянин. — «Не знаю». — «Где фрицы? Кто командует?» Фрицев нет, кроме десятка солдат, растянувшегося вдоль дороги. Огромное стадо скользит до подножья косогора, как бы повинуясь собственной тяжести. «Забавно», — говорит Мулю. — «Действительно, — отзывается Брюне, — забавно». Они могли бы броситься на немцев, задушить их и убежать полями, но зачем? Они идут напрямик, куда ведет их дорога. Вот они уже внизу косогора, в ложбине; теперь они поднимаются, им жарко. Мулю вынимает из кармана связку писем, скрепленную резинкой, и с минуту вертит ее в больших неловких пальцах. Пот местами пропитал бумагу, фиолетовые чернила кое‑где выцвели. Он снимает резинку и, не читая, начинает методично рвать письма на мелкие кусочки, которые постепенно разбрасывает жестом сеятеля. Брюне следит глазами за плавным полетом обрывков; большая часть падает, как конфетти, на плечи солдат, а оттуда им под ноги; один кусочек секунду порхает и падает на пучок травы. Трава немного пригибается — получается маленький балдахин. Другие письма валяются вдоль дороги, разорванные, смятые, свернутые в шарик, они в кюветах, среди разбитых винтовок и помятых касок. Когда почерк размашист и крупен, Брюне ухватывает походя слова: ешь хорошенько, не ходи без головного убора, Элен приехала с детьми, в твоих объятиях, любовь моя. Вся дорога — длинное оскверненное любовное письмо. Маленькие мягкие чудовища ползут по земле и глядят глазами без зрачков на веселое стадо побежденных: противогазы; Мулю локтем толкает Брюне и показывает на противогаз: «Все‑таки повезло, что не пришлось ими пользоваться». Брюне не отвечает. Мулю ищет других собеседников: «Эй! Ламбер!» Солдат, идущий впереди Брюне, оборачивается, Мулю показывает ему на противогаз без комментариев, они начинают смеяться, и люди вокруг них хохочут тоже: они их ненавидели, этих мерзких паразитов, они их боялись, и однако их нужно было холить, ухаживать за ними. Теперь они лежат у них под ногами околевшие, пленные смотрят на них, и это им напоминает, что война закончена. Крестьяне, которые пришли, как всегда, работать в поле, глазеют на колонну, опираясь на лопаты; Ламбер веселится, он им кричит: «Привет, папаша! У нас демобилизация». Десять голосов, сто голосов повторяют с неким вызовом: «У нас демобилизация, демобилизация! Домой возвращаемся». Крестьяне ничего не отвечают, кажется, что они их даже не слышат. Кучерявый блондин столичного обличья спрашивает у Ламбера: «Как ты думаешь, сколько их?» — «Мало, блондинчик, мало», — говорил Ламбер. — «Ты так считаешь? Ты в этом уверен?» — «Только посмотри. Где они, эти субчики, которые должны нас охранять? Если бы мы были вправду пленными, ты б увидел, как бы нас обложили». — «Тогда почему они нас взяли в плен?» — спрашивает Мулю. — «В плен? Они нас не брали в плен: они нас просто отодвинули в сторону, чтобы мы не болтались у них под ногами, пока они наступают». — «Даже если и так, — вздыхает блондинчик, — это может долго продлиться». — «Ты с ума сошел! Они даже за нами не угонятся — так быстро мы удираем». У него игривый вид, он ухмыляется: «Фрицы не волнуются, для них это просто прогулка: подружка в Париже, стаканчик вина в Дижоне, рыбная похлебка в Марселе. Конечно, в Марселе все и закончится, там им придется остановиться: впереди море. Тогда‑то они нас и отпустят. К середине августа будем дома». Блондинчик качает головой: «Еще два месяца. Так долго». — «Скажи, ты что, очень торопишься? Они должны еще восстановить железнодорожные пути». — «Плевал я на пути, — говорит Мулю, — если дело только в этом, я прекрасно вернусь пешком». — «Мать твою, а я нет! Я иду уже две недели, мне это уже до задницы, я хочу отдохнуть». — «Тебе, значит, не хочется побаловаться со своей девчонкой?» — «Скажешь еще! А чем я буду это делать? Я слишком долго шел, и у меня в штанах уже ничего не осталось. Я хочу только спать, и один». Брюне слушает их, смотрит на их затылки, он думает, что предстоит много работы. Тополя, тополя, мост через ручей, тополя. «Хочется пить», — говорит Мулю. — «Не столько пить, — отвечает северянин, — сколько есть, я со вчерашнего дня ничего не ел». Мулю семенит и потеет, он тяжело дышит, снимает китель, перекидывает его через руку, расстегивает гимнастерку и с улыбкой говорит: «Теперь можно снять китель, мы свободны». Внезапная остановка; Брюне натыкается грудью на спину Ламбера. Ламбер оборачивается; у него круглая борода, живые глаза под густыми черными бровями: «Смотри куда прешь, осел. Ты что, слепой?» Он нагло разглядывает форму Брюне: «С офицерьем покончено. Теперь никто не командует. Тут все равны». Брюне равнодушно смотрит на него, и тот замолкает. Брюне прикидывает, чем он мог заниматься на гражданке. Мелкий коммерсант? Служащий? Во всяком случае, он из среднего класса. И их сотни тысяч таких: никакого чувства авторитета и личной порядочности. Нужна будет железная дисциплина. Мулю спрашивает: «Почему мы остановились?» Брюне не отвечает. Этот тоже мелкий буржуа, совершенно подобный другому, но еще глупее: с ними работать будет трудно. Мулю вздыхает от удовольствия и обмахивается: «Может, успеем присесть?» Он кладет на дорогу рюкзак, садится на него; подходит немецкий солдат, поворачивает к ним удлиненное, красивое и невыразительное лицо, его голубые глаза источают подобие симпатии. Он старательно выговаривает: «Бедные французы, война кончилась. Возвращайтесь домой. Возвращайтесь домой». — «Что он говорит? Он говорит, что мы скоро вернемся домой, конечно, мы скоро вернемся домой, черт побери, Жюльен, ты слышишь, мы возвращаемся домой, спроси у него, когда, эй! Спроси у него, когда мы вернемся?» — «Скажи, фриц, когда мы вернемся домой?» Они говорят ему ты, раболепно и в то же время фамильярно. Вся победоносная армия в лице одного солдата. Немец бесстрастно повторяет: «Возвращайтесь домой, возвращайтесь домой». — «Но когда, а?» — «Бедные французы, возвращайтесь домой». И снова в путь, тополя, тополя. Мулю стонет, ему жарко, он хочет пить, он устал, он хотел бы остановиться, но никому нельзя тормозить это упрямое шествие, которым никто не управляет. Какой‑то солдат стонет: «У меня раскалывается голова», но продолжает идти. Болтовня замедляется, прерывается долгими паузами, они жалуются друг другу: «Мы что, до Берлина будем так идти?» Но они идут; они следуют за теми, кто впереди, их подталкивают те, кто сзади. Деревня, груда касок, противогазов и винтовок на главной площади. — «Это Пудру, я здесь проходил позавчера», — говорит Мулю. — «Смотри‑ка, а я вчера вечером, — говорит блондин, — я был на грузовике: на порогах стояли люди, и вид у них был враждебный». Они и сейчас здесь, подле своих домов, стоят, скрестив руки, безмолвные. Черноволосые и черноглазые женщины в черных платьях, старики. Они смотрят. Перед этими соглядатаями пленные распрямляются, лица их становятся циничными и лихими, они машут руками, смеются, кричат: «Привет, мамаша! Привет, папаша! У нас демобилизация, война закончена, всем привет». Они проходят и салютуют зевакам, они строят глазки девицам, шлют им зазывные улыбочки, а соглядатаи смотрят и молчат. Только жирная и добродушная бакалейщица шепчет: «Бедные парни». Северянин блаженно улыбается, он говорит Ламберу: «Хорошо еще, что мы не на севере». — «Почему?» — «Они бы бросали нам в рожи что попало». Показалась колонка, и десять человек, сто человек выходят из рядов, идут пить. Мулю тотчас нетерпеливо бежит туда, он неловко наклоняется; они изнемогают от усталости, их плечи подрагивают; вода стекает по их лицам. Часовой ждет с отсутствующим видом. Они остались бы в деревне, если бы только захотели и если бы у них хватило мужества выдержать взгляды селян. Но нет, они поодиночке возвращаются, они торопятся, словно боятся потерять свое место; Мулю бежит, как женщина, крутя коленями, они толкаются, смеются, кричат, скандальные и дерзкие, как уличные парни; их рты раскрываются, как обнажающиеся раны, у них сконфуженные глаза побитых собак. Мулю вытирает губы и говорит: «Хорошо!» Он удивленно смотрит на Брюне: «Ты не пил? Ты не хочешь пить?» Брюне, не отвечая, пожимает плечами; жалко, что это стадо не окружено пятьюстами солдатами с примкнутыми штыками, которыми кололи бы задницы запоздавшим, жаль, что их не пинают прикладами: это вернуло бы их к реальности. Он смотрит направо от себя, налево, он оборачивается, среди этого леса заброшенных, пьяных, искаженных бесшабашным весельем физиономий он ищет лицо, подобное своему. Где товарищи? Коммуниста узнаешь с первого взгляда. Хоть бы одно лицо. Одно‑единственное лицо, суровое и спокойное человеческое лицо. Но нет: маленькие, юркие, жалкие, они идут, наклонившись вперед, скорость увлекает их хилые неприкаянные тела, так называемый галльский интеллект запечатлен на их грязных лицах; вытягивая складки губ в нитку, сужая и расширяя ноздри, наморщив лбы, сверкая глазами, они оценивают, определяют, спорят, судачат, критикуют, взвешивают все за и против, смакуют возражения, настаивают и делают выводы, этот бесконечный силлогизм, в каждой голове свои доводы. Они идут послушно, они разглагольствуют на ходу, они с виду спокойны: война закончена; потерь не было; немцы, кажется, не слишком гнусные. Они спокойны, потому что сразу же оценили своих новых хозяев; их лица снова начинают источать галльскую сметливость, ибо это чисто французский предмет роскоши, которому в нужное время можно будет обучить и фрицев — с некоторой пользой для себя. Тополя, тополя, солнце протекает, полдень: «Вот они!» Ум примолкает, все стадо стонет от наслаждения, это не крик, даже не вздох: нечто вроде радостного обвала, тихого шелеста листвы, гнущейся под дождем. «Вот они!» — проходит через всю колонну, переходит из головы в голову, как хорошая новость, вот они, вот они! Ряды сжимаются, переливаются на обочину, длинная гусеница вздрагивает: немцы проезжают по дороге на мотоциклах, на танкетках, на грузовиках, выбритые, отдохнувшие, загорелые, с красивыми, спокойными и рассеянными лицами, похожими на альпийский луг. Они ни на кого не смотрят, их взгляд прикован к югу, они углубляются во Францию, молча вытянувшись, только их транспортируют задарма, это моторизованная пехота, да, так можно вести войну, а посмотреть на их пулеметы, ого! А маленькие пушки, ух ты! Вот это да, неудивительно, что мы проиграли войну. Толпа восхищена немецкой мощью. Она себя чувствует не такой виноватой: «Они непобедимы, никуда не денешься, непобедимы». Брюне смотрит на этих очарованных побежденных, он думает: «Это строительный материал. Он немногого стоит, но что делать — другого у меня нет». Можно работать везде и, безусловно, есть в этой мешанине и такие, которых можно использовать. Немцы прошли, колонна немного сползает с дороги, вот они на баскетбольной площадке, людские черные горошины, они садятся, они ложатся, они мастерят из майских газет большие шляпы от солнца; можно подумать, что публика занимает дешевые места на ипподроме, или гуляющие заполняют Венсеннский лес в воскресенье. — «Как это вышло, что мы остановились?» — «Не знаю», — отвечает Брюне. Он с раздражением смотрит на эту толпу, на разлегшихся людей, ему не хочется садиться, но это глупо, не нужно их презирать, это значит сорвать операцию, и потом, кто знает, как все обернется? Он должен беречь силы, он садится. Сзади него проходит немец, потом другой: они смотрят на него, дружески смеясь, и с покровительственной иронией спрашивают: «А где же ваши англичане?» Брюне смотрит на их черные мягкие сапоги, он не отвечает, и они уходят; длинный фельдфебель остается сзади и повторяет чуть ли не с укоризненной грустью: «А где же англичане? Бедные французы, где же ваши англичане?» Никто ему не отвечает, и он долго качает головой. Когда фрицы уже далеко, Ламбер цедит сквозь зубы: «В моей заднице эти англичане, и как не беги, они тебя обосрут». — «Как же! — говорит Мулю. — А?» — «Англичане, — объясняет он, — может, и, обосрут фрицев, но в конце концов попадут в наше положение, и выхода у них не будет». — «Это еще неизвестно». — «Конечно, известно, балбес! Это точно. Они корчат из себя храбрецов, потому что сидят на своем острове, но подожди немного, увидишь, что будет, когда немцы пересекут Ла‑Манш. Раз французский солдат не мог устоять, где уж там англичанам!» Где же товарищи? Брюне одиноко. Вот уже десять лет ему не было так одиноко. Он хочет есть и пить, но ему совестно, что он хочет есть и пить; Мулю поворачивается к нему: «Скоро они дадут нам пожрать». — «Ты думаешь?» — «Кажется, фельдфебель сказал: скоро будут раздавать хлеб и консервы». Брюне улыбается: он уверен, что им ничего не дадут. Пусть все они слюнями изойдут, пусть на стенку лезут от голода. Вдруг некоторые пленные встают, за ними другие, потом встают остальные, и все снова отправляются в путь; Мулю в ярости, он бурчит: «Кто сказал: отправляться?» Никто не отвечает. Мулю кричит: «Ребята, постойте, они нам дадут поесть». Но слепое и глухое стадо уже вышло на дорогу. Они идут. Лес; бледные рыжеватые лучи пробиваются сквозь листву, три брошенные пушки семьдесят пятого калибра еще обращены на восток; пленные довольны, потому что есть тень; мимо проходит полк немецких саперов. Блондинчик, тонко улыбаясь, смотрит, как они шагают, он наслаждается, взирая на своих победителей полузакрытыми глазами, он играет с ними, как кошка с мышкой, он развлекается своим превосходством; Мулю хватает за руку Брюне и трясет ее: «Там! Там! Серая труба». — «И что?» — «Это Баккара». Он становится на цыпочки, рупором складывает руки у рта и кричит: «Баккара! Ребята, входим в Баккара!» Люди устали, солнце бьет им в глаза, они послушно повторяют: «Баккара, Баккара», но, в сущности, им наплевать. Блондинчик спрашивает у Брюне: «В Баккара кружева делают что ли?» — «Нет, — говорит Брюне, — здесь есть производство стекла». — «А! — говорит блондинчик с неопределенным и уважительным видом. — Понятно!» Город чернеет под голубым небом, лица грустнеют, кто‑то печально говорит: «Как‑то странно сейчас видеть город». Они идут по пустынной улице; осколки стекла устилают тротуар и мостовую. Блондинчик ухмыляется, он показывает на осколки пальцем и говорит: «Вот оно, производство стекла в Баккара». Брюне поднимает голову: дома невредимы, но все стекла выбиты, сзади него кто‑то повторяет: «Да, странно видеть город». Мост, колонна останавливается; тысячи глаз поворачиваются к реке: пять голых фрицев плещутся в воде, барахтаются, испуская негромкие крики: двадцать тысяч серых и потных французов в военной форме смотрят на эти животы и ягодицы, которые десять месяцев были защищены преградой из пушек и танков, а сейчас спокойно, нагло и беззащитно выставляют себя напоказ. Они видят только это: уязвимую плоть своих победителей. Толпа исторгает тихий и глубокий вздох. Они без гнева вынесли шествие армии‑победительницы на победоносных танках; но эти голые фрицы, которые играют в воде в чехарду, выглядят оскорбительно. Ламбер, склонясь над парапетом, смотрит на воду и шепчет: «А хорошо бы сейчас скупнуться!» Это даже не желание: это всего лишь вздох мертвеца. Полуживая, забытая, погребенная в затухшей войне толпа снова трогается в путь в нестерпимом пекле и в завихрениях пыли. Со скрипом открываются ворота, сквозь дрожащий воздух из глубины огромного двора приближаются стены, Брюне видит казарму с закрытыми ставнями; он проходит вперед, его толкают сзади, он оборачивается: «Не толкайтесь, все войдем». Он проходит через ворота, Мулю радостно смеется: «На сегодня — все». Закончено чередование гражданских и победителей, тополей и сверкающих на солнце рек, они похоронят меж этими стенами осточертевшую грязную войну, они будут вариться в собственном соку, без свидетелей, сами по себе. Брюне идет, его толкают, он продвигается в глубь двора и останавливается у подножья длинной серой скалы, Мулю тычет его локтем в бок: «Это казарма жандармерии». Сотня закрытых жалюзи; крыльцо с тремя ступеньками ведет к двери с висячим замком. Слева от крыльца, в двух метрах от казармы, небольшая кирпичная крепостная стена высотой в один и длиной в два метра, Брюне подходит к ней, прислоняется. Двор заполняется, непрерывный поток уминает остальных, оттесняет их к стене казармы; но идут еще и еще; вдруг тяжелые створки ворот поворачиваются вокруг вереи и закрываются. «Готово, — говорит Мулю, — мы дома». Ламбер смотрит на ворота и с удовлетворением говорит: «Некоторые не смогли войти: им придется спать снаружи». Брюне пожимает плечами: «Какая разница, спишь ты во дворе или на улице…» — «Это не одно и то же», — возражает Ламбер. Блондинчик одобрительно кивает. «А мы здесь, — объясняет он, — мы не снаружи». Ламбер набавляет цену: «Можно сказать, мы в доме, только без крыши». Брюне делает крутой поворот: мягким склоном двор спускается к крепостной стене. На гребне стены, в ста метрах друг от друга, высятся две сторожевые вышки: они пусты. Ряд свежеустановленных колышков, между которыми натянута железная проволока и веревки, делит двор на две неравные части. Сравнительно узкая полоса между крепостной стеной и колышками остается незанятой. На другой части, между колышками и казармой, скопились все. Людям не по себе, у них вид неловких визитеров, они не решаются сесть; они держат в руках рюкзаки и амуницию; пот стекает по их щекам, хваленое галльское остроумие покинуло их лица, солнце слепит их пустые глаза, они пытаются скрыться от прошлого и ближайшего будущего в маленькое неудобное временное небытие. Брюне гонит прочь мысль о том, что хочет пить, он положил свой рюкзак наземь и, засунув руки в карманы, насвистывает. Сержант отдает ему честь; Брюне в ответ улыбается, но на приветствие не отвечает. Сержант подходит ближе: «Чего ждем?» — «Не знаю». Сержант — высокий худой человек с большими глазами, потускневшими от важности; его костистое лицо пересекают усы; у него энергичные вышколенные движения. — «Кто здесь командует?» — спрашивает он. — «А кто, по‑вашему? Фрицы». — «А среди наших? Где ответственный?» Брюне смеется ему в лицо: «Ищи ветра в поле». Глаза сержанта тяжелеют от презрительного упрека: он хотел бы побыть заместителем командира, соединить опьянение повиновенья с усладой отдавать приказы; но Брюне вовсе не хочет больше командовать; его командованию пришел конец, когда погиб последний из его людей. Теперь в голове у него другое. Сержант нетерпеливо спрашивает: «Почему этих бедолаг держат здесь на ногах?» Брюне не отвечает; сержант бросает на него яростный взгляд и решается все взять на себя. Он держится вызывающе, складывает руки рупором и кричит: «Всем сесть! Передать дальше!» На него обеспокоенно оборачиваются, но никто не двигается. — «Всем сесть! — повторяет сержант. — Всем!» Люди с сонным видом садятся; голоса повторяют эхом: «Всем сесть!»; толпа нестройно усаживается. Крик кружится над головами, «Всем сесть!» доходит до другого конца двора, натыкается на стену и непонятным образом возвращается перевернутым: «Всем встать! Оставайтесь на ногах, ждите распоряжений». Сержант беспокойно смотрит на Брюне: там, у ворот, у него объявился конкурент. Люди резко встают, поднимают рюкзаки и, загнанно озираясь, прижимают их к груди. Но большая часть продолжает сидеть, те, кто встал, садятся снова. Сержант созерцает свою работу с фатоватым смешком: «Главное — приказать». Брюне смотрит на него и говорит: «Садитесь, сержант». Сержант хлопает глазами, Брюне повторяет: «Садитесь, есть приказ садиться». Сержант колеблется, затем соскальзывает на землю между Ламбером и Мулю: он охватывает руками колени и, приоткрыв рот, смотрит на Брюне снизу вверх. Брюне ему объясняет: «Я не сажусь, потому что я офицер». Брюне не хочет садиться: судороги сводят ему ноги от икр до бедер, но он все равно не хочет садиться. Он видит тысячи спин и лопаток, он видит шевелящиеся затылки, подрагивающие плечи, эту толпу сотрясает нервный тик. Он смотрит, как это скопище людей варится в собственном соку и трепещет, он думает без скуки и без удовольствия: «Это материал». Они напряженно ждут; они больше не кажутся голодными: жара, должно быть, иссушила им желудки. Они боятся и ждут. Чего они ждут? Приказа, катастрофы или ночи: чего угодно, только бы это освободило их от них самих. Высокий резервист поднимает бледное лицо, он показывает на вышки: «Почему там нет часовых? Куда они делись?» Некоторое время он ждет, солнце затопляет его запрокинутые глаза; в конце концов он пожимает плечами и говорит сурово и разочарованно: «У них такой же бардак, как и у нас: организация ни к черту». Единственный стоящий, Брюне смотрит на головы и думает: «Товарищи здесь, они затеряны, как иголки в стоге сена, нужно время, чтобы их обнаружить и сгруппировать». Он смотрит на небо и на черный самолет в небе, затем опускает глаза, поворачивает голову и замечает справа от себя высокого человека, который тоже остался на ногах. Это капрал; он курит сигарету. С грохотом пролетает самолет, толпа, перевернутая, как поле, становится из черной белой, расцветает: на месте жестких темных голов расцветают большие камелии: блестят очки, вспышки стекла среди цветов. Капрал не пошевелился: он горбит широкие плечи и смотрит себе под ноги. Брюне с симпатией замечает, что он выбрит. Капрал оборачивается и, в свою очередь, смотрит на Брюне: у него большие глаза с темными кругами; если бы не приплюснутый нос, он был бы почти красив. Брюне думает: «Я где‑то видел это лицо». Но где? Он не может вспомнить, он видел столько лиц! Он перестает вспоминать: это не имеет особого значения, к тому же капрал глядит на него, как на незнакомого. Вдруг Брюне кричит: «Эй!» Человек поднимает глаза: «Что?» Брюне недоволен: он вовсе не собирался окликать этого человека. Просто он тоже стоял, довольно чистый и выбритый… «Иди сюда, — холодно говорит Брюне. — Если хочешь стоять, можешь прислониться к стенке». Капрал нагибается, поднимает свое снаряжение и подходит к Брюне, перешагивая через тела. Он здоровяк, но немного жирный; он говорит: «Привет, старина». — «Привет», — отвечает Брюне. — «Я здесь размешусь», — решает тот. — «Ты один?» — спрашивает Брюне.

«Мои люди погибли», — отвечает крепыш. — «Мои тоже, — говорит Брюне. — Как тебя зовут?» — «Что?» — переспрашивает капрал. — «Я спрашиваю, как тебя зовут?» — «А, понял! Шнейдер. А тебя?» — «Брюне». Они молчат. «Зачем мне понадобилось звать этого малого, он будет меня только стеснять». Брюне смотрит на часы: пять часов, солнце прячется за казармой, но небо по‑прежнему пылает. Ни облачка, ни содрогания: мертвое море. Все молчат; вокруг Брюне люди пытаются уснуть, спрятав голову в руки, но тревога им мешает: они выпрямляются, вздыхают или начинают чесаться. «Эй! — говорит Мулю. — Эй! Смотрите!» Брюне оборачивается: позади него, под конвоем немецких часовых вдоль стены проходит с десяток офицеров. «Значит, они еще остались? — спрашивает блондинчик сквозь зубы. — Значит, не все драпнули?» Офицеры молча удаляются, ни на кого не глядя; люди криво ухмыляются и при их приближении отворачиваются: можно подумать, что они боятся друг друга. Брюне ищет взгляд Шнейдера, и они друг другу улыбаются. Внизу, у земли, слышна какая‑то перебранка: это сержант переругивается с блондинчиком. «Все, — говорит блондинчик. — Кто на автомобилях, кто на мотоциклах — все они смылись, а нас оставили в дерьме». Сержант скрещивает руки: «Неприятно слышать это. Все‑таки неприятно». — «Это нам сказали сами фрицы, — отвечает блондинчик. — Они нам сказали, когда взяли нас в плен: французская армия — армия без командиров». — «А та война, разве ее не командиры выиграли?» — «То были другие». — «Такие же! Только войска у них были другие». — «На что намекаешь? Значит, это мы проиграли войну? Или капралы с сержантами? Ну, говори, ты ведь один из них». — «А! — отвечает сержант. — Я и говорю: вы побежали от врага и предали Францию». Ламбер, который их молча слушал, покраснел и наклонился к сержанту: «А скажи‑ка, дружок, как случилось, что ты оказался здесь, если ты не удрал? Может, ты считаешь, что погиб на поле брани и что мы сейчас в раю? А я думаю, что тебя взяли в плен, потому что ты не успел улепетнуть». — «Я тебе не дружок: я сержант и гожусь тебе в отцы. К тому же, я не улепетывал, меня взяли, когда у меня кончились патроны». Со всех сторон к ним подползают пленные; блондинчик, смеясь, призывает их в свидетели: «Вы слышите?» Все смеются. Блондинчик поворачивается к сержанту: «Да, папаша, да, ты подстрелил двадцать парашютистов и в одиночку остановил танк. Я тоже могу приврать: доказательств‑то нет». Сержант показывает на своем кителе три светлых пятна, его глаза сверкают: «Медаль за воинскую доблесть, Почетный легион, крест за боевые заслуги, я их получил в четырнадцатом году, когда всех вас еще на свете не было: вот мои доказательства». — «А где они, твои награды?» — «Я их сорвал, когда подошли немцы». Вокруг него все кричат; они лежат на животах, задирают ноги к затылкам, как тюлени; они орут, их лица от напряжения краснеют; сержант сидит по‑турецки и возвышается над ними, один против всех. «Эй! Скажи, балбес, — кричит один из пленных, — ты думаешь, я собирался воевать, когда радио папаши Петэна трубило нам в уши, что Франция попросила перемирия?» И другой: «А ты бы хотел, чтобы мы погибали, пока генералы торгуются с фрицами о жирных кусках для себя в историческом замке?» — «А почему бы и нет? — запальчиво кричит сержант. — В конце концов, война для того и есть, чтобы убивать людей, разве не так?» Секунду они молчат, ошеломленные и негодующие; сержант этим пользуется и продолжает: «Давно уже я за вами наблюдаю, парни сорокового года, все вы пройдохи, шалопайские рожи, бузотеры. С вами не смели разговаривать, как надо; вам надо было, чтобы капитан снял кепи в руку и обратился бы к вам на такой манер: «Тысяча извинений, вас не слишком затруднит отправиться в наряд?» Я говорил себе: «Внимание! Скоро начнется катавасия, и что будут делать мои храбрецы‑командиры?» А еще и эта глупость: отпуска! Когда я увидел, что начинаются отпуска, я сказал себе: дело дрянь! Отпуска! Экие цацы! Их, видите ли, отпускали в койки к девкам, чтобы те вас малость порасслабили. Разве в четырнадцатом у нас были отпуска?» — «Да, были, именно что были». — «Откуда ты это знаешь, сопляк? Ты там был?» — «Я там не был, но мой старик был, и он рассказывал». — «Значит, твой старик воевал в Марселе. Потому что мы ждали отпусков два года с лишним, а их все откладывали неизвестно почему. Ты знаешь, сколько времени я провел дома за четыре с лишним года войны? Двадцать два дня. Да, двадцать два дня, мой мальчик, удивляешься? И еще меня считали везучим». — «Ладно, — сказал Ламбер, — только не пересказывай нам свою биографию». — «Я вам не пересказываю свою биографию, я вам только объясняю, почему мы выиграли ту войну, а вы проиграли эту». Глаза блондинчика блестят от гнева: «Раз ты такой мудрый, ты, может, объяснишь нам, почему вы проиграли мир?» — «Мир?» — удивленно переспрашивает сержант. Все вокруг кричат: «Да! Мир! Мир! Ты проиграл мир». — «Вы, — говорит блондинчик, — вы, старые вояки, как вы защитили своих сыновей? Вы заставили за это заплатить Германию? Вы ее разоружили? А Рейнская область? А Рур? А испанская война? А Абиссиния?» — «А Версальский договор? — подхватывает долговязый парень с конусообразным черепом. — По‑твоему, я его подписал?» — «А что, я?» — возмущенно смеясь, говорит сержант. — «Да, ты! Конечно, ты! Ты голосовал, разве нет? А я вот не голосовал, мне только двадцать два года, я ни разу еще не голосовал». — «Что это доказывает?» — «Это доказывает, что ты голосовал как мудак и что именно ты ткнул нас носом в это дерьмо. У тебя было двадцать лет в запасе, ты мог предотвратить эту войну, а что ты сделал? Потому‑то я тебе и говорю, приятель, что мы друг друга стоим; будь у меня командиры и оружие, я бы сражался не хуже тебя. А чем я сражался? У меня даже патронов не было». — «А кто в этом виноват?! — взрывается сержант. — Кто голосовал за Сталина? Кто бастовал из‑за ерунды, лишь бы досадить хозяину? Кто требовал повышения зарплаты? Кто отказывался от сверхурочных? Автомобили подавай и велосипеды, да? Подружки, оплачиваемые отпуска, воскресенья за городом, молодежные турбазы, кино? Вы были отъявленными лентяями. Я же работал даже по воскресеньям, и всю свою собачью жизнь…» Блондинчик багровеет, он на четвереньках приближается к сержанту и кричит ему в лицо: «Повтори, что я не работал! Повтори! Я сын вдовы, стервец! И я ушел из школы в одиннадцать лет, чтобы помогать матери!» Пожалуй, ему наплевать, что он проиграл войну, но обвинения в лени он не снес. Брюне думает: «Как знать, может, и из этого удастся кое‑что извлечь». Сержант тоже стал на четвереньки, и они кричат одновременно, чуть ли не упершись лбами. Шнейдер наклоняется, как бы желая вмешаться; Брюне кладет ладонь ему на руку: «Оставь: это от нечего делать». Шнейдер не настаивает, он выпрямляется, бросая на Брюне странный взгляд. — «Ну, будет вам, — говорит Мулю, — вы еще подеритесь тут». Сержант со смешком садится. «Да, — говорит он, — ты прав. Немножко поздновато драться: если он хотел драки, нужно было приниматься за немцев». Блондин пожимает плечами и, в свою очередь, садится. «Слушай! У меня от тебя живот разболелся!» — говорит он. Наступает долгое молчание; они сидят бок о бок, блондин вырывает пучки травы и забавляется, сплетая из них косы; остальные некоторое время ждут, потом на карачках возвращаются на свои места. Мулю потягивается и улыбается; он говорит примирительным тоном: «Все это пустяки, ей‑богу, пустяки». Брюне думает о товарищах: они проигрывали сражения, стиснув зубы, от поражения к поражению они шли к победе. Он смотрит на Мулю: «С этой породой я не знаком». Он испытывает необходимость говорить: Шнейдер рядом, и Брюне обращается к нему: «Видишь, не стоило вмешиваться». Шнейдер не отвечает. Брюне ухмыляется, он передразнивает Мулю: «Все это пустяки». Шнейдер не отвечает: его тяжелое красивое лицо остается безучастным. Брюне злится и поворачивается к нему спиной: он ненавидит пассивное сопротивление. «Есть хочется», — говорит Ламбер, Мулю показывает пальцем на пространство, отделяющее крепостную стену от колышков; он говорит медленно и усердно, будто декламирует стишок: «Еда придет вот оттуда, решетка откроется, войдут грузовики, и нам будут бросать хлеб через проволоку». Брюне краем глаза смотрит на Шнейдера и смеется: «Ты видишь, — повторяет он, — волноваться нет причин. Поражение, война — все это несерьезно, в счет идет только еда». Насмешливое выражение на миг мелькает на лице Шнейдера. Он удивленно говорит: «Что они тебе сделали, старина? По‑моему, ты им не шибко симпатизируешь». — «Они мне ничего не сделали, — сухо возражает Брюне. — Но я слышу их разговоры». У Шнейдера глаза опущены на правую полузакрытую ладонь, он смотрит на свои ногти и говорит грубым равнодушным голосом: «Трудно помогать людям, если не испытываешь к ним симпатии». Брюне хмурит брови: «Должно быть, мою физиономию часто видели на первой полосе «Юманите», и меня легко узнать». «Кто тебе сказал, что я хочу им помочь?» Лицо Шнейдера гаснет; он вяло говорит: «Все мы должны друг другу помогать». — «Безусловно», — соглашается Брюне. Он раздражен на самого себя: прежде всего, он не должен был злиться. К тому же, напрасно он обнаружил свой гнев перед дурнем, который отказывается его разделить. Он улыбается, он успокаивается, он говорит, улыбаясь: «У меня претензии не к ним». — «Тогда к кому же?» Брюне внимательно смотрит на Шнейдера и отвечает: «К тем, кто их одурачил». Шнейдер зло усмехается. Он поправляет: «Кто нас одурачил. Все мы в одинаковом положении». Брюне чувствует, как снова растет его раздражение, он почти задыхается, но продолжает добродушным тоном: «Может быть. Но, знаешь, я не строил себе особых иллюзий». — «Я тоже, — говорит Шнейдер. — Но что это меняет? Одураченные или нет, все оказались здесь». — «Какая разница, где мы?» — удивляется Брюне. Теперь он совершенно спокоен, он думает: «Везде, где есть люди, для меня найдется свое место и работа». Шнейдер перевел глаза на ворота и замолчал. Брюне смотрит на него без неприязни: «Что он за фрукт? Интеллектуал? Анархист? Чем он занимался на гражданке? Жирноват, немного небрежности, но в целом он держится неплохо: может, и послужит нам на пользу». Наступает вечер, серый и розовый на стенах, неизвестно какой в городе, которого они не видят. У людей неподвижные глаза; они смотрят на город сквозь стены; они ни о чем не думают, они больше не шевелятся, великое воинское терпение снизошло на них вместе с вечером: они ждут. Раньше они ждали почты, отпуска, немецкой атаки, и так они по‑своему ждали конца войны. Война закончилась, а они все ждут. Теперь они ждут грузовиков, нагруженных хлебом, немецких часовых, перемирия, они ждут, просто чтобы сохранить маленький кусочек будущего перед собой, чтобы не умереть. Очень далеко, в вечере, в прошлом, звонит колокол. Мулю улыбается: «Эй, Ламбер! Может, это перемирие?» Ламбер начинает смеяться; они понимающе перемигиваются. Ламбер объясняет остальным: «Мы решили, что устроим пирушку до усрачки!» — «Мы ее провернем в день мира», — говорит Мулю. Блондинчик смеется при этой мысли, он говорит: «Я не буду просыхать недели две!» — «Какие там недели две! — зашумели вокруг него. — Не две, и не месяц, мы все тогда упьемся, мать‑перемать!» Нужно будет терпеливо разрушать все их надежды, уничтожать все их иллюзии, заставить их осознать все их кошмарное положение, отвратить их от всех и всего наносного и прежде всего от них самих. Только тогда… На сей раз на него смотрит Шнейдер, он как будто читает его мысли. Жесткий взгляд. Брюне отвечает на его взгляд. «Это будет трудно», — говорит Шнейдер. Брюне ждет, подняв брови. Шнейдер повторяет: «Это будет трудно». — «Что будет трудно?» — «Сделать людей сознательными. Мы не класс. Мы только стадо. Мало рабочих: крестьяне, мелкие буржуа. Мы даже не работаем: мы заняты невесть чем». — «Не волнуйся, — невольно говорит Брюне. — Мы будем работать…» — «Да, конечно. Но как рабы, это совсем не та работа, которая раскрепощает, и мы никогда не станем им опорой. На какое общее действие мы способны? Забастовка придает забастовщикам сознание собственной силы. Но даже если все французские пленные будут сидеть сложа руки, немецкой экономике от этого не станет хуже». Они холодно смотрят друг на друга; Брюне думает: «Значит, ты меня узнал, тем хуже для тебя, я буду тебя остерегаться». Вдруг ненависть воспламеняет лицо Шнейдера, но оно тут же гаснет. Брюне так и не знает, кому она была адресована. Чей‑то удивленный и восхищенный голос: «Фриц!» — «Где? Где?» Все поднимают головы. На левой сторожевой вышке появился солдат в каске, с автоматом в руках и гранатой в сапоге; другой идет за ним с винтовкой. «Что ж, — говорит кто‑то, — они не слишком торопились нами заняться». У всех облегченный вид: вот и вернулся мир людей со своими законами, своими правилами и запретами; это хоть по‑человечески. Все смотрят на другую вышку. Она еще пуста, но люди доверчиво ждут, как ждут, когда откроется окошечко почты или проедет голубой экспресс. На уровне стены появляется каска, потом две: два чудища в касках, они вдвоем несут пулемет, устанавливают его на треноге и нацеливают на пленных. Никто не боится; люди занимают свои места: две вышки оснащены, бодрствующие часовые на гребне стены возвещают ночь без приключений; никакой приказ не вытащит пленных из сна, чтобы снова погнать по дороге; они чувствуют себя в безопасности. Высокий малый в очках в металлической оправе вытащил из кармана требник и, бормоча, принялся читать его. «Вербует», — думает Брюне. Но гнев его поверхностен и по‑настоящему его не затрагивает. Он отдыхает. Впервые за пятнадцать лет день тянется медленно, заканчивается прекрасным вечером, и нет необходимости что‑то делать. Былой досуг поднимается откуда‑то из его детства, небо здесь невысокое, оно лежит на стене, совсем розовое, близкое. Брюне глядит на него с неким смущением, потом смотрит на людей, которые шевелятся у его ног, все они шепчутся, складывают и раскладывают свое снаряжение: эмигранты на палубе парохода. Он думает: «Они не виноваты», и ему хочется им улыбнуться. Он чувствует, что у него болят ноги, он садится рядом со Шнейдером, расшнуровывает обувь. Он зевает, он чувствует, что его тело бесполезно, как это небо, он говорит: «Холодеет». Завтра он возьмется за дело. На земле сыро, он слышит негромкое пощелкивание трещотки, пощелкивание неравномерное и частое, он слушает его, пытается найти в нем какой‑то ритм, от нечего делать воображает, что это морзянка, и вдруг понимает: «Это кто‑то стучит зубами». Он выпрямляется; перед собой он различает совершенно голую спину с черным струпом, это тот человек, который кричал на дороге, он подползает к нему: у того гусиная кожа. «Эй!» — окликает его Брюне. Человек не отвечает. Брюне вынимает из рюкзака свой свитер. «Эй!» — он касается голого плеча, человек начинает вопить; он оборачивается и смотрит на Брюне, тяжело дыша, сопли текут из ноздрей до рта. Брюне впервые видит его лицо: это красивый, совсем молодой парень с синими щеками и глубокими, но лишенными ресниц глазами. «Не волнуйся, дружок, — мягко говорит Брюне. — Я просто хочу дать тебе свитер». Тот боязливо берет свитер, послушно натягивает его на себя и остается неподвижным, растопырив руки. Рукава слишком длинны, они прикрывают ему кисти рук. Брюне смеется: «Подкати их». Малый не отвечает, он продолжает стучать зубами; Брюне берет его за руки и закатывает рукава. «Это будет сегодня вечером», — говорит тот. — «Вот как? — спрашивает Брюне. — А что будет сегодня вечером?» — «Нам устроят бойню», — отвечает парень. — «Ладно, — говорит Брюне. — Ладно. Ладно». Он роется в карманах парня, вынимает грязный, в пятнах крови носовой платок, выбрасывает его, берет свой собственный и протягивает его: «А пока высморкайся». Парень сморкается, кладет платок в карман и начинает бессвязно бормотать. Брюне ласково гладит его по голове, как гладят животное, приговаривает: «Ты прав». Тот успокаивается, его зубы больше не стучат. Брюне поворачивается к его соседям: «Кто его знает?» Маленький брюнет с живым лицом приподнимается на локтях. «Это Шарпен», — говорит он. — «Присматривай за ним, — просит Брюне. — Как бы он не наделал глупостей». — «Ладно, буду за ним приглядывать», — соглашается брюнет. — «Как тебя зовут?» — «Вернье». — «Что ты делал до войны?» — «Я был наборщиком в Лионе». Наборщик: один шанс из трех; я с ним завтра потолкую. «Доброй ночи», — говорит Брюне. — «Доброй ночи», — отвечает наборщик. Брюне возвращается на свое место. Он садится и подводит итог: Мулю — определенно, коммерсант, от него толку мало. От сержанта тоже: неисправимый, видимо, близок к фашиствующим типам. Ламбер: бузотер. Сейчас в состоянии полного разложения, циник. Но попробуй привлечь. Северянин: из крестьян. Не стоит труда. Крестьян Брюне не любит. Блондинчик: Ламбер и он — два сапога пара; но блондинчик умнее, и потом, он имеет уважение к труду, можно считать, дело в шляпе. Наборщик даже, возможно, молодой товарищ. Брюне бросает взгляд на Шнейдера, который неподвижно курит, широко открыв глаза. «С этим посмотрим». Священник положил требник, теперь он говорит; лежащие рядом с ним три молодых человека набожно внемлют ему. Уже минус трое: «Он превзошел меня в скорости, во всяком случае поначалу. Им везет, — думает Брюне, — они могут работать в открытую; в воскресенье они устроят мессу». Мулю вздыхает: «Сегодня вечером они уже не приедут». — «Кто?» — спрашивает Ламбер. — «Грузовики, уже слишком темно». Он ложится на землю и кладет голову на рюкзак. «Подожди, — говорит Ламбер, — у меня есть палатка. Сколько нас?» — «Семеро», — отвечает Мулю. — «Семеро, — размышляет Ламбер, — все на ней уместятся». Он расстилает палатку у крыльца: «У кого есть одеяла?» Мулю вынимает свое, сержант и северянин разворачивают свои; у блондинчика нет, у Брюне тоже. «Ничего, — говорит Ламбер, — устроимся». Из тени выделяется робкое улыбающееся лицо: «Если вы мне позволите лечь на палатке, я тоже поделюсь своим одеялом». Ламбер и блондинчик холодно смотрят на постороннего. «Нет, тебе не хватит места», — говорит блондинчик. И Мулю любезнее добавляет: «Понимаешь, мы тут все свои». Улыбка исчезает в темноте. Так всегда: свои. Внутри толпы образовалась группа, случайная, без подлинной дружбы, без настоящей солидарности, но уже обособленная от других; и Брюне в ней. «Иди сюда, — зовет его Шнейдер, — накроемся одним одеялом». Брюне колеблется: «Мне пока не хочется спать». — «Мне тоже», — говорит Шнейдер. Они сидят бок о бок, а другие между тем заворачиваются в свои одеяла. Шнейдер курит, пряча сигарету в руке, чтобы не заметила охрана. Он вынимает пачку «Голуаз», протягивает ее Брюне. «Хочешь сигарету! Прикуривать иди за стенку, а то заметят». Брюне хочется курить. Тем не менее он отказывается: «Благодарю. Пока не буду». Он не станет играть в школяра, ему уже не шестнадцать лет; и потом подчиняться немцам в мелочах — значит признать их власть в целом. Зажигаются первые звезды; по другую сторону стены издалека слышится трескучая музыка, музыка триумфаторов. На двадцать тысяч изнуренных тел накатывается сон, каждое тело подрагивает, как волна. Это темное волнение ворчащей морской зыби. Брюне надоедает безделье; звездное небо он видит как бы между прочим. Спать тоже не хочется; зевая, он поворачивается к Шнейдеру, и вдруг взгляд его становится внимательным, он встает: Шнейдер расслабился, его сигарета погасла, снова он ее не зажег, и она повисла, приклеившись к его нижней губе; он грустно смотрит на небо; отличный момент узнать, что у него за душой. «Ты из Парижа?» — спрашивает Брюне. — «Нет». — Брюне напускает на себя непринужденный вид и говорит: «Я живу в Париже, но я из Комблю, рядом с Сент‑Этьеном». Пауза. Помолчав, Шнейдер как бы с сожалением говорит: «Я из Бордо». — «Ага! — отзывается Брюне. — Я хорошо знаю Бордо. Красивый город, но довольно скучный. Ты там работал?» — «Да». — «И что ты делал?» — «Что я делал?» — «Да». — «Служил клерком. Клерком у адвоката». — «Вот как», — говорит Брюне. Он зевает. Нужно будет исхитриться заглянуть в его военный билет. — «А ты?» — спрашивает Шнейдер. Брюне вздрагивает: «Я?» — «Да». — «Представитель». — «И что же ты представлял?» — «Да так. Все понемногу». — «Так я и думал». Брюне опускается, прижимаясь к стене, садится, подбирает колени к подбородку и говорит уже отдаленным голосом, как будто перед сном подводит итог дня: «Такие дела». — «Такие дела», — тем же тоном повторяет Шнейдер. — «Хорошую нам задали порку», — говорит Брюне. — «Это уж точно», — соглашается Шнейдер. — «Высекли что надо, — говорит Брюне, — хорошо еще, что все так быстро кончилось: кровь могли бы пустить и посильнее». Шнейдер ухмыляется: «Они будут пускать нам кровь постепенно: результат будет тот же». Брюне бросает на него быстрый взгляд: «Что‑то у тебя разговоры пораженца». — «Я не пораженец, просто констатирую факт поражения». — «Какого поражения? — спрашивает Брюне. — Никакого поражения и в помине нет». Он останавливается; он рассчитывает, что Шнейдер будет возражать, но он ошибается. Шнейдер лениво смотрит себе на ноги: окурок все еще висит в уголке его рта. Теперь Брюне уже не может остановиться: ему необходимо развить свою мысль; но это уже другая мысль. Если бы этот дурак спросил у меня прямо, я бы сразу насадил его на гарпун; теперь ему говорить противно: слова будут скользить, не затрагивая эту большую инертную массу. «Французы считают войну проигранной из чистого шовинизма. Они всегда воображали, что они лучшие в мире, и когда их непобедимая армия получает трепку, они убеждают себя, что все потеряно». Шнейдер неопределенно хмыкает, Брюне решает, что этого достаточно. Он продолжает: «Война только начинается, старина. Через полгода будут воевать от Кейптауна до Берингова пролива». Шнейдер смеется. Он спрашивает: «И мы?» — «Да, и мы, французы, — продолжает Брюне, — мы возобновим войну, но другими методами. Немцы вознамерятся поставить нашу экономику на военные рельсы. Пролетариат может и должен этому помешать». Шнейдер никак не реагирует; его атлетическое тело остается невозмутимым. Брюне этого не любит: тяжелые озадачивающие паузы — это не его специальность, он создан бороться на собственном поле; он хотел вынудить Шнейдера заговорить, а в конечном счете сам выдал свои затаенные мысли. Он, в свою очередь, замолкает, Шнейдер тоже продолжает безмолвствовать: это может длиться бесконечно. Брюне начинает беспокоиться: эта голова или слишком пуста или слишком заполнена. Недалеко от них кто‑то слабо завывает. На этот раз молчание прерывает Шнейдер. Он говорит с некой теплотой: «Ты слышишь? Он сам себя принимает за пса». Брюне пожимает плечами: к чему умиляться парню, погруженному в сны, нельзя терять времени. «Бедные люди, — продолжает Шнейдер медлительным страдающим голосом. — Бедные люди!» Брюне молчит. Шнейдер продолжает: «Они никогда не вернутся домой. Никогда». Он поворачивается к Брюне и с ненавистью смотрит на него. «Эй! — смеясь, говорит Брюне. — Не смотри на меня так: я тут ни при чем». Шнейдер тоже начинает смеяться, его лицо смягчается, глаза гаснут: «Это верно, ты туг ни при чем». Оба умолкают; Брюне меняет тактику, он приближается к Шнейдеру и тихо его спрашивает: «Если ты так думаешь, почему ты не пытаешься бежать?» — «Брось!» — говорит Шнейдер. — «Ты женат?» — «У меня даже двое детей». — «Ты не ладишь с женой?» — «Я? Мы обожаем друг друга». — «Тогда в чем дело?» — «Брось! — повторяет Шнейдер. — А ты? Ты собираешься бежать?» — «Еще не знаю, — отвечает Брюне, — позже будет видно». Он пытается разглядеть лицо Шнейдера, но во дворе стоит полная темнота; совершенно ничего не видно, кроме темной тени сторожевых вышек на фоне неба. «Пожалуй, я посплю», — зевая, говорит Брюне. — «Давай, — одобряет Шнейдер. — Тогда и я тоже». Они ложатся на полотно палатки, подталкивают свои рюкзаки к стене; Шнейдер разворачивает одеяло, и они в него заворачиваются. «Спокойной ночи», — говорит Шнейдер. —

«Спокойной ночи». Брюне поворачивается на спину и кладет голову на рюкзак, глаза у него открыты, он чувствует тепло Шнейдера, он догадывается, что у Шнейдера открыты глаза, он думает: «Необходимо заняться этим фруктом». Он прикидывает, кто из них двоих кем манипулировал. Время от времени между кустарниками звезд небо прочерчивают маленькие светящиеся вспышки; Шнейдер тихо шевелится под одеялом и шепчет: «Ты спишь, Брюне?» Брюне не отвечает, он ждет. Проходит минута, и он слышит сиплое похрапывание: Шнейдер спит, Брюне бодрствует один, единственный источник света среди этих двадцати тысяч ночей. Он улыбается, закрывает глаза и забывается, в лесочке смеются два араба: «Где Абд‑эль‑Керим?» Старуха отвечает: «Не удивлюсь, если он сейчас в магазине одежды». Действительно, он там мирно сидит перед прилавком, но при этом вопит: «Убийцы! Убийцы!» Он рвет пуговицы на своем бурнусе; каждая пуговица, подпрыгивая, вспыхивает и взрывается. «За стену, быстрей!» — торопит Шнейдер. Брюне садится, чешет голову и вдруг понимает, что ночь нашпигована звуками. — «Что случилось?» — «Быстрей! Быстрей!» Брюне отбрасывает одеяло и распластывается рядом со Шнейдером за стеной. Чей‑то голос повторяет: «Убийцы!» Кто‑то кричит по‑немецки, затем сухо щелкают автоматы. Брюне рискует бросить взгляд поверх стены, при свете вспышек он видит скопление скрюченных деревьев, которые тянут к небу узловатые и корявые ветви, глаза у него болят, голова пуста, он шепчет: «Вот оно, страдающее человечество». Шнейдер тянет его назад: «Какое там страдающее человечество: они хотят нас всех перебить». Кто‑то рыдает: «Как собак! Как собак!» Автомат больше не стреляет. Брюне проводит рукой по лбу и окончательно просыпается: «Что происходит?» — «Не знаю, — отвечает Шнейдер. — Они пальнули дважды: первый раз, возможно, в воздух, но второй в нас». Вокруг них шумят джунгли: «Что такое? Что такое? Что это было?» Самозванные командиры отвечают: «Замолчите, не двигайтесь, оставайтесь лежать»; сторожевые вышки чернеют на фоне молочного неба, на них люди, которые их стерегут, держа палец на курке автомата. Стоя на коленях за стеной, Брюне и Шнейдер видят вдалеке круглый глаз электрического карманного фонарика. Он приближается, раскачиваемый невидимой рукой, он освещает серые плоские личинки. Два хриплых голоса говорят по‑немецки; Брюне получает свет фонарика прямо в лицо; ослепленный, он закрывает глаза, голос спрашивает с сильным акцентом: «Кто кричал?» Брюне говорит: «Не знаю». Встает сержант, он чувствует себя торжественно и под электрическим светом держится очень прямо, он одновременно корректен и сохраняет необходимую дистанцию: «Один солдат сошел с ума, он начал кричать, его товарищи испугались и вскочили, тогда часовой и выстрелил». Немцы не поняли; Шнейдер говорит с ними по‑немецки, немцы ворчат и тоже что‑то произносят; Шнейдер поворачивается к сержанту: «Они спрашивают, есть ли среди нас раненые». Сержант выпрямляется, быстрым и точным движением складывает руки вокруг рта и кричит: «Сообщите о раненых!» Со всех сторон ему отвечают слабые голоса, внезапно зажигаются два прожектора, они освещают двор феерическим светом, разглаживающим распростертую толпу; двор пересекают немцы с носилками, к ним присоединяются французские санитары. «Где сумасшедший?» — по слогам спрашивает немецкий офицер. Никто не отвечает, но сумасшедший здесь, он стоит, его белые губы дрожат, слезы катятся по его щекам, солдаты становятся по обе стороны и уводят его, он ошалело подчиняется, вытирая нос и губы платком Брюне. Привстав, люди смотрят на этого страдальца, которому предстоит страдать еще; все здесь пахнет поражением и смертью. Немцы исчезают, Брюне зевает; свет щиплет ему глаза; Мулю спрашивает: «Что они с ним сделают?» Брюне пожимает плечами, Шнейдер говорит: «Нацисты сумасшедших не жалуют». Снуют санитары с носилками, Брюне говорит: «Наверное, можно снова лечь». Они ложатся. Брюне смеется: на том месте, где он лежал, дыра в палаточном полотне. Дыра с порыжевшими краями — это пулевое отверстие. Он показывает его, Мулю зеленеет от ужаса, руки его дрожат: «Ого! — восклицает он. — Ого!» Брюне, улыбаясь, говорит Шнейдеру: «Так или иначе, ты спас мне жизнь». Шнейдер не улыбается, он смотрит на Брюне серьезно и несколько растерянно и медленно говорит: «Да. Я спас тебе жизнь». — «Что ж, спасибо», — произносит Брюне, заворачиваясь в одеяло. — «Лично я, — решает Мулю, — буду спать за стеной».

Прожекторы внезапно тухнут, лес скрипит, хрустит, шумит, шепчет. Брюне встает, глаза его полны солнцем, голова — сном, он смотрит на часы: семь часов утра, люди суетятся, складывают палатки, скручивают одеяла. Брюне чувствует себя грязным и вспотевшим: он потел ночью, и его рубашка прилипает к телу. — «Мать твою за ногу! — говорит блондинчик. — До чего жрать охота». Мулю меланхолически вопрошает взглядом закрытые ворота: «Еще один день без жратвы!» Ламбер в ярости открывает глаза: «Не каркай». Брюне встает, осматривает двор, видит скопление людей вокруг поливального шланга, подходит: совершенно голый толстяк поливает себя водой, по‑бабьи взвизгивая. Брюне раздевается, дожидается своей очереди, получает в спину и живот упругую холодную струю; он, не вытираясь, одевается, идет держать шланг и обливать трех следующих. Но под душ стремятся немногие: люди дорожат своей ночной испариной. «Чья очередь?» — спрашивает Брюне. Никто не отвечает, он зло опускает шланг и думает: «Как они себя распустили!» Он смотрит вокруг себя, он размышляет: «Вот. Вот они, люди». С ними будет нелегко. Он берет китель под мышку, чтобы спрятать нашивки, и подходит к группе пленных, которые разговаривают вполголоса. Брюне решается прощупать почву. Девять шансов против одного, что они говорят о жратве. Брюне не станет на это сетовать: еда — прекрасная отправная точка; это просто и конкретно, это подлинно: голодный человек как воск. Но они говорят не о жратве; высокий худой человек с красными глазами узнает его: «Это ты был рядом с сумасшедшим, верно?» — «Ну, был», — говорит Брюне. — «А что он, собственно, сделал?» — «Он закричал», — отвечает Брюне. — «И это все? Суки! А в итоге четверо убитых и двадцать раненых». — «Откуда ты знаешь?» — «Это нам сказал Гартизе». Гартизе — коренастый человек с дряблыми щеками, у него серьезный и печальный взгляд. «Ты санитар?» — спрашивает Брюне. Гартизе утвердительно кивнул головой: да, он санитар, фрицы увели его в конюшни за казармой, чтобы ухаживать за ранеными. «Один скончался у меня на руках». — «Какая все‑таки гнусность, — говорит один из пленных, — сдохнуть здесь за неделю до демобилизации». — «За неделю?» — спрашивает Брюне. — «За неделю. Ну за две, если хочешь.

Ведь нас наверняка отошлют по домам, раз они не могут нас кормить». Брюне спрашивает: «А что с сумасшедшим?» Гартизе плюет себе под ноги: «Лучше не спрашивай». — «Что с ним?» — «Они хотели заставить его замолчать, один закрыл ему рот рукой, тогда тот его укусил. Ой! Мамочки! Если б ты их видел! Они начали вопить на своей тарабарщине, друг друга не слыша, они толкнули его в угол конюшни, и все начали лупить его кулаками, прикладами, под конец они все хохотали, а были там и из наших, которые их подначивали, потому что, как они говорили, все началось из‑за этого выблядка. В конце концов вместо физиономии у него было месиво, один глаз выбит, они положили малого на носилки и унесли, не знаю куда, но, должно быть, они еще с ним поразвлекались, потому что я слышал, как он орал до трех утра». Санитар вытаскивает из кармана маленький предмет, завернутый в обрывок газеты: «Посмотрите». Он разворачивает бумагу: «Это зуб. Я его нашел утром на том месте, где они его выбили». Он старательно заворачивает зуб, кладет его в карман и говорит: «Я сохраню его на память». Брюне поворачивается к ним спиной и медленно возвращается к крыльцу. Мулю кричит ему издалека: «Ты знаешь итог?» — «Какой итог?» — «Итог этой ночи: двадцать убитых и тридцать раненых». — «Черт подери!» — вскрикивает Брюне. «Неплохо», — говорит Мулю. Он улыбается, довольный непонятно чем, и повторяет: «Для первой ночи совсем неплохо». — «Но зачем им расходовать патроны? — спрашивает Ламбер. — Если они хотят от нас избавиться, у них есть одно простое средство: нужно только дать нам подохнуть с голоду, что они и делают». — «Они нас не оставят подыхать с голоду», — говорит Мулю. — «Что ты об этом знаешь?» Мулю улыбается: «Делай, как я: смотри на ворота, это тебя отвлечет, и потом, именно оттуда придут грузовики». Шум мотора заглушает его голос. «Смотри — самолет!» — кричит северянин. Это самолет наблюдения, он летит на высоте пятидесяти метров, черный и блестящий, он пролетает над двором, делает поворот на левое крыло; два раза, три раза; двадцать тысяч пар глаз следят за ним, весь двор поворачивается вслед за ним. «Они часом не собираются нас бомбить?» — говорит кучерявый безразличным тоном. — «Нас бомбить? — повторяет Мулю. — Но зачем?» — «Затем, что они не могут нас накормить». Шнейдер, щурясь, смотрит на самолет; он говорит, кривясь от солнца: «Думаю, скорей всего, они нас фотографируют…» — «Чего?» — спрашивает Мулю. Шнейдер лаконично объясняет: «Военные корреспонденты…» Толстые щеки Мулю багровеют, его страх перерастает в бешенство, внезапно он вскакивает, протягивает руки к небу и начинает орать: «Покажите им язык! Ребята, покажите им язык! Кажется, они нас действительно фотографируют». Брюне забавляется: дрожь гнева пробегает по толпе; один вытягивает над головой кулак, другой, опустив плечи и выставив живот, просовывает руку в ширинку и выставляет наружу большой палец как член; северянин становится на четвереньки, опустив голову и выставив зад: «Пусть фотографируют мою задницу». Шнейдер смотрит на Брюне. «Как видишь, — говорит он, — мы еще полны энергии». — «Чепуха, — возражает Брюне, — это еще ничего не доказывает!» Самолет исчезает в солнечном сиянье. «Значит, — говорит Мулю, — мою рожу увидят во «Франкфуртере?» Ламбер куда‑то уходит, вскоре он возвращается, очень возбужденный: «Кажется, тут можно задешево меблироваться». — «Что?» — «За казармой куча мебели, матрацы, жбаны, кувшины для воды, только наклонись и бери, но поторопимся, пока их еще можно слямзить». Он смотрит на своих товарищей блестящими глазами: «Пошли, ребята?» — «Согласен», — отзывается кучерявый, вскакивая на ноги. Мулю не шевелится. «Идем же, Мулю!» — зовет Ламбер. — «Нет, — отвечает Мулю. — Я экономлю силы. Пока не поем, с места не двинусь». — «Тогда стереги вещи», — говорит сержант. Он встает и бегом догоняет остальных. Когда они доходят до угла казармы, Мулю вяло кричит им: «Вы только напрасно тратите силы, ишаки!» Он вздыхает, строго смотрит на Шнейдера и Брюне и шепотом говорит: «Я даже не должен был кричать». — «Пойдем», — предлагает Шнейдер. — «А что мы будем делать с кувшином для воды?» — спрашивает Брюне. — «Пойдем просто разомнем ноги». По другую сторону казармы есть второй двор и длинное двухэтажное строение с четырьмя дверями: это конюшни. В углу вперемежку свалены в кучи старые соломенные тюфяки, матрацы, раскладушки, расшатанные шкафы, колченогие стулья. Солдаты толкаются вокруг этого хлама; один из них идет через двор, волоча за собой матрац, другой несет ивовую корзину. Брюне и Шнейдер обходят конюшню и обнаруживают заросший травою холмик. «Залезем на него?» — спрашивает Шнейдер. — «Залезем». Брюне чувствует себя неловко: «Чего хочет этот парень? Дружбы? Это мне уже не по возрасту». Наверху холмика они видят три свежие могилы. «Видишь, — говорит Шнейдер, — они убили только троих». Брюне садится на траву рядом с могилами. — «Дай мне нож». Шнейдер дает, Брюне открывает его и начинает отпарывать нашивки. «Напрасно, — говорит Шнейдер, — унтер‑офицеры освобождаются от работы». Брюне, не отвечая, пожимает плечами, кладет нашивки в карман и встает. Они возвращаются в первый двор: люди устраиваются каждый по‑своему; один смазливый юноша с наглым видом раскачивается в кресле‑качалке; к растянутой палатке два человека подтащили стол и два стула: они азартно играют в карты; Гартизе сидит по‑турецки на персидском прикроватном коврике, испещренном ожогами. «Напоминает блошиный рынок», — говорит Брюне. — «Или восточный базар», — уточняет Шнейдер. Брюне подходит к Ламберу: «Что вы принесли?» Ламбер с гордостью поднимает голову. «Тарелки!» — говорит он, показывая стопку выщербленных тарелок с почерневшим дном. — «Что вы хотите с ними делать? Есть их?» — «Пускай, — говорит Мулю. — Может, от этого скорее жратву подвезут». Утро все не кончается: люди впали в оцепенение; они пытаются спать или лежат на спине с открытыми остановившимися глазами, повернувшись лицом к небу; они хотят есть. Кучерявый вырывает траву, растущую между булыжниками, и жует ее; северянин вынул нож и вырезает кусок дерева. Группа пленных разжигает огонь под ржавым котелком, Ламбер встает, идет посмотреть и разочарованный возвращается: «Суп из крапивы, — объясняет он, опускаясь между кучерявым и Мулю. — Этим не наешься». Смена немецких часовых. «Они идут есть», — с отсутствующим видом замечает сержант. Брюне садится рядом с наборщиком. Он спрашивает его: «Ты хорошо спал?» — «Неплохо», — отвечает тот. Брюне с удовольствием смотрит на него: у наборщика опрятный и чистый вид, веселый блеск в глазах; два шанса из трех. «Я все хочу тебя спросить: ты работал в Париже?» — «Нет, — отвечает тот, — в Лионе». — «А где именно?» — «В типографии Левро». — «А! — говорит Брюне. — Только ее я и знаю. Вы там организовали прекрасную стачку в тридцать шестом году, дерзко и хорошо провели ее». Наборщик смеется довольно и горделиво. Брюне спрашивает: «Тогда ты должен знать Перню». — «Перню, профсоюзного делегата?» — «Да». — «Еще бы!» Брюне встает: «Пойдем пройдемся, мне нужно с тобой поговорить». Когда они заходят в другой двор, Брюне смотрит ему прямо в глаза: «Ты коммунист?» Наборщик колеблется, Брюне выкладывает: «Я Брюне из «Юманите». — «Вот оно что, — говорит наборщик, — так я и думал…» — «Здесь есть еще товарищи?» — «Два или три». — «Решительные люди?» — «Стойкие из стойких. Но я их вчера потерял в толпе». — «Постарайся их отыскать, — говорит Брюне. — И приходи ко мне с ними: нам нужно перегруппироваться». Он возвращается и садится рядом со Шнейдером; он искоса бросает на него взгляд, лицо Шнейдера спокойно и невыразительно. — «Который час?» — спрашивает Шнейдер. — «Два часа», — отвечает Брюне. — Посмотри на пса», — говорит кучерявый. Большая черная собака пересекает двор, высунув язык; люди недоуменно смотрят на нее. «Откуда она взялась?» — спрашивает сержант. — «Не знаю, — говорит Брюне. — Может, она была в конюшне». Ламбер приподнимается на локте, он озадаченно следит за собакой и говорит как бы самому себе: «Собачье мясо не такое поганое, как считают». — «А ты его ел?» Ламбер не отвечает: он раздраженно отмахивается, затем с обреченным видом снова ложится на спину: двое игравших у палатки в карты бросают их на стол и с небрежным видом встают, один из них несет под рукой палаточное полотно. «Не догонят», — говорит Ламбер. Собака исчезла за казармой; они, не торопясь, следуют за ней и исчезают из поля зрения. «Поймают? Не поймают?» — спрашивает северянин. Несколько позже оба возвращаются: они обмотали полотном объемистый предмет и несут его за края, как гамак. Когда они проходят мимо Брюне, из полотна падает красная капля и растекается по булыжникам. «Плохое полотно, — замечает сержант. — Оно должно быть непромокаемым». Он качает головой, ворчит: «Все не так, как надо. Как туг выиграть войну?» Двое бросают свой сверток в палатку. Один вползает в нее на четвереньках, другой идет за дровами для костра. Кучерявый вздыхает: «Эти‑то выживут». Брюне засыпает, но внезапно просыпается от крика Мулю: «Вот оно! Жратва». Ворота медленно открываются. Человек сто встают: «Грузовик». Въезжает грузовик, замаскированный цветами и листьями, весна, тысяча человек поднимаются, грузовик проезжает между крепостными стенами и шлагбаумом. Брюне встает, его толкают, увлекают, несут до железной проволоки. Грузовик пуст В кузове голый до пояса фриц лениво смотрит, как они подходят. Загорелая кожа, светлые волосы, длинные веретенообразные мышцы, на вид он роскошный парняга, один из тех красавцев, которые полуголыми катаются на лыжах в Сен‑Морице. Тысяча пар глаз поднялась к нему, это его забавляет: он с улыбкой смотрит на этих сумрачных голодных животных, которые толпятся у перекладин своей клетки, чтобы лучше его разглядеть. Через некоторое время он наклоняется назад и заговаривает с часовыми на вышке, которые ему, смеясь, что‑то отвечают. Толпа ждет, покоренная, она подстерегает движения своего господина, постанывает от нетерпения и предвкушения. Фриц наклоняется, берет со дна грузовика буханку плоского солдатского хлеба, вынимает из кармана нож, открывает его, точит о сапог и отрезает ломоть; позади Брюне кто‑то тяжело задышал. Фриц подносит ломоть к носу и притворяется, что с наслаждением его вдыхает, полузакрыв глаза, животные урчат, Брюне чувствует, как его горло стискивает гнев. Немец снова на них смотрит, улыбается, берет ломоть между указательным и большим пальцем плашмя, как метательный диск. Он слишком близко прицелился, скорее всего, нарочно, ломоть падает между грузовиком и колышками. Люди уже наклоняются, чтобы проскользнуть под железную проволоку; часовой с вышки что‑то грозно выкрикивает и целится в них из автомата. Люди замирают, прижавшись к шлагбауму, с открытыми ртами и безумными глазами. Мулю, прижатый к Брюне, шепчет: «Это плохо кончится, я хочу уйти». Но напор толпы прижимает его к Брюне, он тщетно старается высвободиться и кричит: «Назад! Назад, идиоты! Разве вы не видите — сейчас снова начнется то, что было ночью». Немец на грузовике отрезает другой ломоть, бросает его, тот вертится в воздухе и падает между поднятых голов; Брюне схвачен огромным водоворотом, он чувствует, что его толкают, пихают, пинают; он видит Мулю, которого затягивает в воронку — тот поднимает вверх руки, как будто тонет. «Мерзавец! — думает Брюне. — Мерзавцы!» Он хотел бы бить кулаками и ногами окружающих его людей. Падает второй ломоть, третий, люди дерутся; один здоровяк вырывается, он зажал ломоть в кулаке, его ловят, окружают, он засовывает весь кусок в рот, подталкивая его тыльной стороной ладони, чтобы засунуть целиком; его отпускают, он медленно уходит, вращая ошалевшими глазами. Фриц забавляется, он бросает ломти направо и налево, он делает обманные движения, чтобы подзадорить толпу. Кусок хлеба падает к ногам Брюне, старший капрал видит его, он ныряет, толкая Брюне; Брюне хватает его за плечи и прижимает к себе. Свора уже кидается на хлеб, валяющийся в пыли. Брюне ставит ногу на хлеб и припечатывает его к земле подошвой. Но десять рук хватают ногу, отодвигают ее, подбирают перемазанные землей крошки. Старший капрал яростно отбивается: у его башмака упал другой кусок. «Отпусти меня, мудило! Отпусти!» Брюне держит его крепко, капрал пытается его ударить, Брюне отражает удар локтем и сжимает капрала изо всех сил: он удовлетворен. «Ты меня душишь…» — беззвучно хрипит тот. Брюне продолжает его стискивать, он видит над своей головой белый полет ломтей хлеба, он доволен, чувствуя, как капрал слабеет в его руках. «Все», — говорит кто‑то. Брюне выпрямляется: немец закрывает нож, Брюне разжимает руки: капрал шатается, делает два шага в сторону, чтобы обрести равновесие, и кашляет, в злобном недоумении глядя на Брюне. Брюне улыбается; капрал смотрит на его плечи, колеблется, потом бормочет: «Мудило…» и отворачивается. Толпа медленно расходится, разочарованная, недовольная. Несколько счастливчиков еще стыдливо жуют, прикрывая рот рукой и по‑детски озираясь. Старший капрал стоит у колышка; кусок хлеба валяется в угольно‑черной пыли между грузовиком и шлагбаумом; он смотрит на него. Немец спрыгивает с грузовика, идет вдоль стены, открывает дверь будки. Глаза капрала блестят: он подстерегает. Часовые отвернулись, он становится на четвереньки, проскальзывает под железную проволоку, вытягивает руку; раздается крик: часовой прицеливается в него. Он хочет отступить назад, но другой часовой делает ему знак оставаться на месте. Капрал ждет, бледный, задом кверху, с вытянутой рукой. Немец из грузовика вернулся, он, не торопясь, подходит, поднимает капрала одной рукой, а другой бьет наотмашь по лицу. Брюне хохочет до слез. Кто‑то сзади него говорит: «А ты нас не очень‑то любишь». Брюне вздрагивает и оборачивается. Это Шнейдер. Молчание; Брюне следит глазами за старшим капралом, которого фриц сильными пинками подгоняет к лачуге, потом Шнейдер говорит безразличным тоном: «Мы хотим есть». Брюне пожимает плечами: «Почему ты говоришь «мы»? Ты кидался на эти куски хлеба?» — «Естественно, — отвечает Шнейдер, — как и все». — «Неправда. Я тебя видел», — говорит Брюне. Шнейдер качает головой: «Кидался я или нет, неважно». Брюне, опустив глаза, трет землю подошвой, чтобы затоптать крошки в пыль; какое‑то странное чувство заставляет его поспешно поднять голову; в этот самый миг что‑то гаснет в глазах Шнейдера, остается только слабый отсвет ненависти, утяжеляющий его лицо. Шнейдер говорит: «Да, мы обжоры! Да, мы трусливы и раболепны! Но разве это наша вина? У нас все отняли: работу, семьи, обязанности. Чтобы быть мужественным, нужно быть чем‑то занятым, иначе это не жизнь, а сон. Нам нечего делать, мы не можем даже зарабатывать на еду, но тебе на нас наплевать. Мы живем в полусне; если мы и трусливы, то только в этом полусне. Дай нам работу, и ты увидишь, чего мы стоим». Фриц вышел из будки; он курит; старший капрал, хромая, выходит следом: он несет лопату и кирку. «У меня нет для вас работы, — говорит Брюне. — Но даже без работы можно держать себя достойно». Верхняя губа Шнейдера дергается в нервном тике. Он улыбается. «Я тебя считал большим реалистом. Конечно, ты можешь держать себя достойно. Но что это меняет? Ты никому не поможешь, это лишь потешит твое самолюбие. Разве что, — иронично добавляет он, — ты рассчитываешь на притягательность примера». Брюне холодно смотрит на Шнейдера. Он его спрашивает: «Похоже, ты меня узнал?» — «Да, — признается Шнейдер, — ты — Брюне из «Юманите». Я не раз видел там твою физиономию». — «Ты читаешь «Юманите»?» — «Случается». — «Ты из наших?» — «Нет, но я и не из ваших врагов». Брюне хмурится. Он медленно возвращается к крыльцу, перешагивая через тела; изнуренные голодом и раздражением, люди снова легли; они мертвенно бледны, их глаза блестят. Около своей палатки два игрока в карты начали партию в манилыо; под столом видны кости и пепел. Брюне краем глаза смотрит на Шнейдера; он пытается обнаружить на этом лице непринужденность, поразившую его накануне. Но он уже слишком присмотрелся к этому крупному носу, к этим щекам: его первое впечатление исчезло. Он говорит сквозь зубы: «Ты знаешь, что значит быть коммунистом, когда попадешь в лапы нацистов?» Шнейдер, не отвечая, улыбается. Брюне добавляет: «С болтунами мы будем беспощадны». Шнейдер, продолжая улыбаться, говорит: «Я не из болтунов». Брюне останавливается, Шнейдер тоже останавливается. Брюне спрашивает: «Хочешь работать с нами?» — «А что вы собираетесь делать?» — «Скажу позже. Сначала ответь». — «Попробовать можно?» Брюне пытается разгадать это большое, гладкое, немного вялое лицо, он говорит, не спуская глаз со Шнейдера: «Это не всегда весело». — «Мне нечего терять, — отвечает Шнейдер. — И потом, я буду хоть чем‑то занят». Они садятся, затем Шнейдер ложится, положив руки под затылок; он говорит, закрывая глаза: «Но дело не в этом. К сожалению, ты нас не любишь, вот что мне не по душе». Брюне тоже ложится. «Что это за субъект? Сочувствующий? Гм! Но ты сам так сказал, — думает он. — Ты сам сказал. И теперь я тебя уже не выпущу». Он засыпает, просыпается, вечер, он снова засыпает, ночь, солнце; он встает, смотрит вокруг, пытается вспомнить, где он, вспоминает и чувствует, что голова его опустела. Блондинчик сидит, у него отупевший и зловещий вид, его руки висят между раздвинутых ног. «Плохи дела?» — спрашивает Брюне. — «Плохи, чувствуешь себя как в дерьме. Как по‑твоему, дадут нам сегодня утром поесть?» — «Не знаю». — «Или они хотят уморить нас голодом?» — «Не думаю». — «Мне скучно! — вздыхает блондинчик. — Я не привык ничего не делать!» — «Тогда пойди помойся». Блондинчик без восторга смотрит в сторону шланга: «Будет холодно». — «Иди же». Они встают, Шнейдер спит, Мулю спит, сержант лежит на спине, широко открыв глаза, он покусывает усы; на земле тысячи глаз, просто открытых и таких, которые вытаращены от жары и солнца; блондинчик пошатывается: «Черт, я уже еле держусь на ногах, я сейчас взлечу в воздух». Брюне разворачивает поливальный шланг, укрепляет его на водопроводном кране, поворачивает кран. Движения даются ему с трудом. Блондинчик раздевается догола; он весь твердый и волосатый, с большими шарообразными мышцами. Под холодной струей его кожа розовеет и сжимается, но лицо остается серым. «Теперь меня», — говорит Брюне. Блондинчик берет шланг и говорит: «Какой он тяжелый!» Он роняет его и снова ловит. Потом направляет струю на Брюне, ноги его дрожат, внезапно он выпускает шланг. Он говорит: «Нет, уже сил не хватает». Они одеваются. Блондинчик долго сидит на земле с обмоткой в руке, он смотрит на воду, текущую между булыжниками, он следит за мутными канавками и говорит: «Мы теряем силы». Брюне закрывает кран, помогает ему встать и ведет к крыльцу. Ламбер проснулся, он, смеясь, смотрит на них: «Вы шатаетесь, как пьянчуги!» Блондинчик падает на палатку, он ворчит: «Меня вконец вымотало, больше ты меня в это не втравишь». Он смотрит на свои большие волосатые дрожащие руки: «Вот видишь». — «Пойди погуляй», — говорит Брюне. — «Как бы не так!» Блондинчик заворачивается в одеяло и закрывает глаза. Брюне уходит на задний двор; он пуст; тридцать кругов по двору спортивным шагом. На втором круге у него начинает кружиться голова; на девятнадцатом он вынужден прислониться к стене; но он держится, он хочет укротить свое тело, он шагает до конца и наконец, запыхавшись, останавливается. Удары сердца отдают в голову, но он счастлив: «Тело создано, чтобы повиноваться; я буду это делать каждый день, доведу круги до пятидесяти». Он не чувствует голода, и он счастлив, что его не чувствует: «Сегодня мой пятый день голодовки, я держусь вполне прилично». Он возвращается в передний двор. Шнейдер все еще спит с открытым ртом; пленные лежат неподвижно и безмолвно, они кажутся мертвецами. Брюне хотел бы поговорить с наборщиком, но тот еще спит. Он собирается сесть; сердце его все еще так же бешено колотится; северянин начинает смеяться. Брюне оборачивается: северянин чему‑то смеется, склонив голову над палкой, на которой он что‑то вырезает; он уже вырезал дату; сейчас он вырезает острием ножа лепестки цветов. «Чему ты веселишься? — спрашивает Ламбер. — Тебе что, очень смешно?» Северянин продолжает смеяться. Он объясняет, не поднимая глаз: «Я смеюсь, потому что уже три дня не срал». — «Это нормально, — успокаивает его Ламбер. — Чем бы ты срал?» — «А есть такие, что срут, — говорит Мулю. — Сам видел». — «Это счастливчики, — объясняет Ламбер. — Они наверняка пронесли с собой мясные консервы». Сержант выпрямляется. Он смотрит на Мулю и дергает себя за ус: «Ну что? Где же твои грузовики?» — «В дороге, — отвечает Мулю. — Уже неподалеку». Но в его голосе нет былой уверенности. «Могли бы и поторопиться, — говорит сержант. — Иначе они нас в живых не застанут». Мулю не сводит глаз с ворот; слышится жидкое певучее бульканье, Мулю извиняется и поясняет: «Это у меня в брюхе!» Шнейдер проснулся. Он трет глаза, улыбается и бормочет: «Кофе с молоком…» — «И с рогаликами», — добавляет кучерявый. — «А я бы предпочел хороший суп, — мечтает северянин. — И немного красного вина в нем». Сержант спрашивает: «Ни у кого нет сигарет?» Шнейдер протягивает ему пачку, но Брюне раздраженно его останавливает — он не любит индивидуальной щедрости: «Лучше положи ее для общего пользования». — «Как хочешь, — соглашается Шнейдер. — У меня полторы пачки». — «А у меня пачка», — говорит Брюне. Он вынимает ее из кармана и кладет на подстилку. Мулю вынимает из рюкзака коробочку из белой жести и открывает ее: «У меня осталось семнадцать штук». — «Это всё? — спрашивает Брюне. — Ламбер, а у тебя?» — «Ничего нет», — говорит Ламбер. — «Не ври! — протестует Мулю. — Вчера вечером у тебя была полная пачка». — «Я дымил всю ночь». — «Враки! Я слышал, как ты храпел». — «Пошел ты на… — возмущается Ламбер. — Я согласен дать сигарету сержанту, если у него нет, но я не хочу их выкладывать для общего пользования, в конце концов это мое дело». — «Ламбер, — говорит Брюне, — ты можешь забрать свою палатку и мотать отсюда, но если ты хочешь остаться с нами, тебе придется вести себя как члену коллектива и отдать все, что имеешь, в общее пользование. Давай свои сигареты».

Ламбер передергивает плечами и яростно бросает пачку на одеяло Шнейдера. Мулю считает сигареты: «Двадцать четыре. Это по одиннадцать на брата и еще три по жребию. Распределим?» — «Нет, — говорит Брюне. — Если ты их распределишь сейчас, найдутся такие, что выкурят их до вечера. Я их беру на хранение. Вы будете получать по три штуки в течение трех дней; две на четвертый день. Согласны?» Все смотрят на него. Они смутно понимают, что обретают руководителя. Брюне повторяет: «Согласны?» В конце концов им на это начхать, они хотят есть, вот что их интересует сейчас. Мулю пожимает плечами и говорит: «Согласен». Другие одобряют кивком головы. Брюне раздает по три сигареты каждому и остальные кладет в свой рюкзак. Сержант закуривает, делает четыре затяжки, гасит сигарету и кладет за ухо. Северянин берет одну из своих, разрывает бумагу и сует табак в рот. — «Чтобы обмануть голод», — объясняет он, жуя табак. Шнейдер ничего не говорит. Брюне думает: «Из него выйдет толковый новобранец». Он размышляет о Шнейдере, а потом еще о чем‑то; он вдруг пытается вспомнить, о чем именно, но это ему так и не удается. Минуту он сидит с остановившимся взглядом, с горстью гальки в руке, потом тяжело встает: проснулся наборщик. «Ну как?» — спрашивает Брюне. — «Не знаю, где они, — отвечает наборщик. — Я трижды обошел двор и не смог их найти». — «Продолжай искать, — говорит Брюне. — Не падай духом». Он снова садится, смотрит на часы, удивляется: «Не может быть. Который час на ваших, ребята?» — «Четыре тридцать пять», — отвечает Мулю. — «Значит, вот оно что, вот оно что. Четыре тридцать пять, а я еще ничего не сделал, я думал, что сейчас десять часов утра». Ему кажется, что у него украли время. А тут еще наборщик не нашел своих товарищей… Как все здесь медленно. Медленно, нерешительно, сложно; чтобы поставить дело, понадобятся месяцы. Небо лазурное, солнце палит вовсю. Но мало‑помалу оно блекнет, небо розовеет, Брюне смотрит на небо, он думает о чайках, ему хочется спать, голова гудит, ему не хочется есть, он думает: «Я не хотел есть в течение дня», он засыпает, он видит сон, что хочет есть, он просыпается, нет, он не хочет есть, он ощущает скорее легкую тошноту и огненный обруч вокруг головы. Небо голубое и веселое, воздух свеж, очень далеко, в деревне, хрипло кричит петух, солнце спряталось, но его лучи текут золотистым туманом над гребнем стены, по двору еще простираются длинные фиолетовые тени. Петух замолчал, Брюне думает: «Какая тишина», на мгновение ему кажется, что он один в мире. Он с трудом приподнимается и садится; вокруг него люди, тысячи неподвижных лежащих людей. Можно подумать, что это поле брани. Но у всех глаза широко открыты. Вокруг себя Брюне видит запрокинутые лица, растрепанные волосы, выжидающие взгляды. Он поворачивается к Шнейдеру и видит его остановившийся взгляд. Он тихо зовет: «Шнейдер! Эй! Шнейдер!» Тот не отвечает. Брюне видит издалека длинную, мягкую, брызгающую змею: поливальный шланг. Он думает: «Нужно умыться». Его голова тяжела, ему кажется, будто она тянет его назад, он ложится, ему чудится, что он плывет. «Нужно умыться». Он пытается встать, но тело больше ему не подчиняется; руки и ноги обмякли, он их больше не чувствует, они лежат рядом с ним, как посторонние предметы. Солнце показывается над стеной: «Нужно умыться», его бесит, что он валяется, как мертвый среди мертвых, с открытыми глазами, он сжимается, напрягает мышцы, рывок — и вот он стоит, ноги подкашиваются, он потеет, делает несколько шагов, боится упасть. Он подходит к наборщику и говорит: «Привет!» Наборщик со странным видом выпрямляется и смотрит на него. «Привет!» — повторяет Брюне. — «Привет». — «Ты не хочешь сесть? — спрашивает наборщик. — Ты плохо себя чувствуешь?» — «Хорошо, — отвечает Брюне. — Прекрасно. Я предпочитаю стоять». Он не уверен, что сможет подняться, если сядет. Наборщик садится, у него живой свежий вид, ореховые глаза блестят на красивом девичьем лице. «Одного я нашел, — весело говорит он. — Его зовут Перрен. Он железнодорожник из Орлеана. Он потерял своих товарищей, но он их ищет. Если найдет, они в полдень придут втроем». Брюне смотрит на часы: десять часов, он вытирает рукавом потный лоб, он говорит: «Превосходно». Ему кажется, что он хотел сказать другое, но он уже не знает, что именно. С минуту он, покачиваясь, стоит перед наборщиком, повторяя: «Превосходно! Это превосходно!», и потом с пылающей головой медленно уходит, он тяжело падает на палатку и думает: «Я не умылся». Шнейдер привстает на локте и с тревогой смотрит на него: «Тебе плохо?» — «Нет, — раздраженно отвечает Брюне. — Нет, нет. Все в порядке». Он вынимает платок и расправляет его на лице, прикрываясь от солнца. Ему не хочется спать, во всяком случае, не очень. Его голова пуста, и ему кажется, что он стремительно спускается в лифте. Кто‑то кашлянул у него над головой. Он срывает платок: это наборщик с тремя другими парнями. Брюне удивленно смотрит на них, он говорит низким голосом: «Уже полдень?» Потом он пытается встать: ему стыдно, что его застали врасплох; он вспоминает, что небрит, что он такой же грязный, как все остальные; он делает неимоверное усилие над собой и встает. — «Привет», — говорит он. Парни с любопытством взирают на него; это как раз такие ребята, каких он любит: сильные и чистые, с жесткими глазами. Отличные инструменты. Они смотрят на него, он думает: «Здесь у них никого нет, кроме меня» и сразу чувствует себя лучше. Он говорит: «Пройдемся немного?» Они следуют за ним. Он поворачивает за угол казармы, идет в глубь другого двора, он оборачивается и улыбается им. — «А я тебя знаю», — говорит смуглый бритоголовый малый. — «Мне тоже показалось, что я тебя где‑то видел», — откликается Брюне. — «Я приходил к тебе в тридцать седьмом году, — говорит бритоголовый, — меня зовут Стефан; я был в интернациональной бригаде». Остальные тоже представляются: Перрен из Орлеана, Деврукер, шахтер из Ланса. Брюне прислоняется к стене конюшни. Он смотрит на них, разочарованно отмечая, что они слишком молоды. Он думает, хотят ли они есть. «Итак? — говорит Стефан. — Что нужно делать?» Брюне смотрит на них, он не может вспомнить, что хотел им сказать; он молчит, он читает удивление в их глазах, наконец он разжимает зубы: «Ничего. Пока что делать нечего. Надо объединиться и поддерживать контакты». — «Хочешь пойти с нами? — спрашивает Перрен. — У нас есть палатка». — «Нет, — живо откликается Брюне. — Останемся, где мы есть, и попытайтесь повидать как можно больше людей, выявляйте товарищей, постарайтесь узнать, кто чем дышит. И никакой пропаганды. Еще рано». Деврукер кривится: «Чем они дышат? Да только жратвой». Брюне кажется, что его голова начинает вспухать; он прикрывает глаза и говорит: «Все еще может измениться. В ваших секторах есть священники?» — «Да, — говорит Перрен. — В моем. И они уже занимаются своими странными делами». — «Пусть, — говорит Брюне. — Не высовывайтесь. И если они будут подкатывать к вам, не спроваживайте их. Понятно?» Они кивают, и Брюне им говорит: «Встретимся завтра в полдень». Они смотрят на него и немного колеблются, он говорит им с оттенком раздражения: «Идите! Идите! Я остаюсь здесь». Они уходят. Брюне смотрит, как они удаляются, он ждет, когда они завернут за угол, чтобы выдвинуть вперед ногу: он не уверен, что вот‑вот не рухнет. Он думает: «Тридцать кругов спортивным шагом». Он, качаясь, делает два шага, злится, кровь приливает к лицу, по голове будто кто‑то бьет молотком: «Тридцать кругов — и сейчас же!» Он отрывается от стены, делает три шага и шлепается на живот. Потом встает и снова падает, разодрав себе руку. Тридцать кругов каждый день. Он цепляется за железное кольцо, вделанное в стену, встает и собирается с силами. Десять кругов, двадцать кругов, ноги его подкашиваются, каждый шаг похож на падение, но он знает, что рухнет, как только остановится. Двадцать девять кругов, после тридцатого он бегом огибает угол казармы и замедляет шаг только тогда, когда входит в передний двор. Он перешагивает через тела, доходит до крыльца. Никто не шевелится: это пласт издохших рыб, всплывших брюхом кверху. Он улыбается. Он тут один стоящий. «Теперь нужно побриться». Он поднимает рюкзак, подходит к окну, берет бритву, ставит осколок зеркала на подоконник и бреется всухую; он жмурится от боли. Бритва падает, он наклоняется, чтобы поднять ее, роняет зеркало, оно разбивается у его ног, он опускается на колени. На этот раз он знает, что не сможет больше встать. Он на четвереньках добирается до своего места и опрокидывается на спину; его сердце колотится в груди как сумасшедшее. При каждом ударе огненное острие сверлит череп. Шнейдер молча приподнимает ему голову и просовывает свое свернутое одеяло ему под затылок. Проплывают облака; одно похоже не монашенку, другое — на гондолу. Его тянут за рукав: «Вставай! Мы переезжаем». Он, не понимая, встает, его подталкивают к крыльцу, дверь открыта; непрерывная волна пленных втекает в казарму. Он чувствует, что поднимается по лестнице, он хочет остановиться, его толкают сзади, чей‑то голос говорит ему: «Выше». Он оступается, падает руками вперед. Шнейдер и наборщик подхватывают его и несут. Он хочет высвободиться, но у него для этого нет сил. Он говорит: «Я не понимаю». Шнейдер тихо смеется: «Тебе надо поесть». — «Как и вам, не больше». — «Ты выше и крепче, — говорит наборщик. — Тебе нужно больше жратвы». Брюне уже не может говорить; они его несут до чердака. Длинный темный коридор пересекает казарму с одного конца до другого. С каждой стороны коридора — каморки, отделенные друг от друга перегородками с просветом. Они входят в одну из них. Три пустых ящика — это все. Окон нет. Через каждые две‑три каморки есть слуховое окно; окно соседней каморки наделяет их косым светом, отражающим на полу крупные тени деревянных решеток. Шнейдер растягивает свое одеяло на полу, и Брюне падает на него. На секунду Брюне видит лицо наборщика, склонившегося над ним, он ему говорит: «Не оставайся здесь, устройся подальше, а встреча завтра в полдень». Лицо исчезает, и начинается сон. Тень решеток медленно скользит по полу, скользит и кружит по простертым телам, взбирается на ящики, кружит, кружит, бледнеет, ночь поднимается вдоль стен; сквозь решетки слуховое окно кажется синяком, бледным синяком, черным синяком, и потом вдруг ясным и веселым глазом; решетки возобновляют свой хоровод, они кружат, тень кружит, как фонарь маяка, зверь в клетке, на миг возникают шевелящиеся люди, потом они исчезают, пароход отправляется от берега со всеми этими каторжниками, околевшими от холода в своих клетках. Вспыхивает пламя спички, из сумерек выскакивают слова, написанные красными буквами наискось на ящиках: «ОСТОРОЖНО! СТЕКЛО!», в соседней клетке шимпанзе прижимают любопытствующие лица к решеткам, они тянут длинные руки сквозь прутья, у них грустные и морщинистые глаза, обезьяна — это животное, у которого самые грустные глаза после человеческих. Что‑то случилось, он хочет понять, что случилось, катастрофа? Какая катастрофа? Может, солнце потухло? В клетках чей‑то голос напевает: «Однажды вечером я вам скажу что‑нибудь приятное». Катастрофа, все вовлечены в нее, какая катастрофа? Что будет делать партия? Это восхитительный вкус свежего ананаса, молодой, немного веселый детский вкус, он жует ананас, он мнет его сладкую волокнистую упругую мякоть, когда я его ел в последний раз? Я любил ананасы, это как беззащитное дерево без коры; он жует. Молодой жесткий вкус нежного дерева тихо поднимается из глубины его горла, как нерешительный восход солнца, расцветает у него на языке, он хочет сказать что‑то, что он хочет сказать, этот солнечный сироп? Я любил ананасы, о! давно, это из той поры, когда я любил лыжи, горы, бокс, маленькие парусные яхты, женщин. Стекло. Что стекло? Все мы хрупки, как стекло. Вкус на языке кружит, солнечный водоворот, старый забытый вкус, я себя забыл, муравейник солнца в листьях каштанов, дождь солнца на моем лбу, я читал в гамаке, позади меня белый дом, позади меня Турень, я любил деревья, солнце и дом, я любил вселенную и счастье, о! когда‑то. Он шевелится, он барахтается: «Я должен что‑то сделать, я должен что‑то сейчас же сделать». Срочная встреча, но с кем? С Крупской. Он снова падает: «СТЕКЛО». Что я сделал со своими любимыми; они мне говорили: «Ты нас недостаточно любишь». Они меня подловили, они избавили от кожуры мой молодой нежный побег, клейкий от сока, когда я выйду отсюда, я съем целый ананас. Он наполовину привстает, у меня срочная встреча, он снова падает в спокойное детство, в парк, раздвиньте травы и вы увидите солнце; что ты сделал со своими желаниями? У меня нет желаний, я еще существую, но сок мертв; обезьяны вцепились в решетки и смотрят на него лихорадочно блестящими глазами, что‑то произошло. Он вспоминает, он приподнимается и кричит: «Наборщик!» Он спрашивает: «Наборщик пришел?» Никто не отвечает, он снова падает в клейкий сок, в СУБЪЕКТИВНОСТЬ, мы проиграли войну, и я здесь подохну, над ним склоняется Матье, он шепчет: «Ты нас недостаточно любил, ты нас недостаточно любил»; обезьяны хохочут, ударяя себя по ляжкам: «Ты ничего не любил, нет! Ничего!» Тень решеток медленно кружит по его лицу, тень, солнце, тень, его это забавляет. Я принадлежу партии, я люблю товарищей; для других у меня нет времени, у меня встреча. «Однажды вечером я вам скажу что‑нибудь приятное, однажды вечером я вам скажу, что вас люблю». Он сел, он тяжело дышит, он смотрит на них, Мулю бессмысленно улыбается, подняв лицо к потолку, свежая тень ласкает его, скользит вдоль щеки, от солнца у него блестят зубы. «Эй! Мулю!» Мулю продолжает улыбаться, он, не шевелясь, говорит: «Ты их слышишь?» — «Что именно?» — спрашивает Брюне. — «Грузовики». Он ничего не слышит; он боится этого всеобъемлющего желания, которое вдруг его захлестывает: желания жить, любить, ласкать белые груди. Шнейдер лежит справа от него, он зовет его на помощь: «Эй! Шнейдер!» Шнейдер спрашивает слабым голосом: «Совсем плохо?» Брюне говорит: «Возьмешь сигареты в моем рюкзаке. По три в день». Его бедра медленно скользят на пол, он обнаруживает, что лежит, откинув голову, он смотрит в потолок, я их люблю, конечно, я их люблю, но они должны накрыть на стол, что значит это желание? Тело, смертное тело, лес желаний, на каждой ветке птица, они подают вестфальскую ветчину на деревянных тарелках, нож нарезает мясо, когда нож вынимают, чувствуешь легкое прилипание влажного дерева, они меня подловили, я только желание, все мы в дерьме, и я подохну здесь. Какое желание? Его приподнимают, его сажают, Шнейдер заставляет его проглотить суп: «Что это?» — «Ячменный суп». Брюне начинает смеяться: вот что это было, вот оно что. Это огромное преступное желание было всего‑навсего голодом. Он засыпает, его будят, он ест суп во второй раз. Он чувствует ожоги в желудке; решетки кружат, голос умолк; он говорит «Кто‑то пел». — «Да, — говорит Мулю. — Он больше не поет. Он умер, — говорит Мулю. — Его вчера унесли». Еще суп, и на сей раз с хлебом. Он говорит: «Мне лучше». Он самостоятельно садится, он улыбается. «Детство, любовь, «субъективность» — все это было ничем, просто галлюцинации от голода. Он весело окликает Мулю: «Значит, грузовики в конце концов пришли?» — «Да! — говорит Мулю, — да!» Мулю скребет плоский солдатский хлеб перочинным ножом, он его ковыряет, местами делает выемку, он словно скульптор. Он объясняет, не поднимая глаз: «Это хлеб на добавочную порцию, он заплесневел. Если съесть это непрожаренным, начнется понос, но сейчас, по крайней мере, есть чем срать». Он протягивает ломтик хлеба Брюне, другой засовывает в свой большой рот и гордо говорит: «Шесть дней мы были без жратвы. Я от этого чуть не рехнулся». Брюне смеется, он думает о «субъективности». «Я тоже», — говорит он. Он засыпает, его будит солнце, он еще чувствует слабость, но может встать. Он спрашивает: «Наборщик приходит ко мне?» — «Знаешь, в эти дни мы не очень‑то обращали внимание на гостей». — «Где Шнейдер?» — спрашивает Брюне. — «Не знаю». Брюне выходит в коридор, Шнейдер разговаривает с наборщиком, и оба смеются. Брюне с раздражением смотрит на них. Наборщик подходит к нему и говорит: «Мы со Шнейдером провели кой‑какую работу». Брюне поворачивается к Шнейдеру и думает: «Этот везде пролезет». Шнейдер ему улыбается и говорит: «Мы тут немного поискали с позавчерашнего дня, нашли новых товарищей». — «Гм! — скептически хмыкает Брюне. — Нужно будет их увидеть». Он спускается по лестнице, Шнейдер и наборщик спускаются следом. Во дворе он останавливается, ослепленно щурится: день стоит прекрасный. Сидя на ступеньках крыльца, люди мирно курят, у них совсем домашний вид, они отдыхают после тяжелого недельного труда; время от времени кто‑то качает головой и роняет несколько слов; тогда все начинают вслед за ним качать головами. Брюне со злостью смотрит на них: «Готово! Вот они и приспособились». Двор, вышки, стена — это принадлежит им, они сидят на пороге своих домов и с медлительной крестьянской рассудительностью обсуждают деревенские происшествия: «Что можно сделать с таким вот народом? У них страсть к обладанию; их бросают в тюрьму, и через три дня уже не понять, узники они или хозяева тюрьмы». Другие прогуливаются по двое или по трое, они идут быстро, они судачат, смеются, размахивают руками: это щеголяющие буржуа. Проходят, ни на кого не глядя, вольноопределяющиеся в нестандартной форме, и Брюне слышит их благовоспитанные голоса: «Нет, старина, прошу прощения, они не объявили себя банкротами; правда, поговаривали, что объявят, но Национальный банк помог им выбраться из затруднения». В большом окружении двое в очках играют в шахматы, положив доску на колени; лысый человечек читает, хмуря брови; время от времени он кладет книгу и возбужденно листает огромный том. Брюне подходит сзади: оказывается, том — это словарь. «Что ты делаешь?» — спрашивает Брюне. — «Учу немецкий». Вокруг поливального шланга совсем голые парни кричат, смеются и толкаются; облокотившись на колышек, эльзасец Гартизе беседует по‑немецки с часовым, который слушает его и одобрительно кивает. Достаточно было куска хлеба! Один кусок хлеба — и этот зловещий двор, где агонизировала побежденная армия, превратился в пляж, в солярий, в праздничное гулянье. Два совершенно голых человека загорают, лежа на одеяле; Брюне захотелось пнуть их в побронзовевшие ягодицы: подожгите их города, их деревни, уведите их в плен — они повсюду будут неистово восстанавливать свое маленькое жалкое благополучие, благополучие бедняков; поработайте‑ка с такими! Он поворачивается к ним спиной и переходит в другой двор; он тут же останавливается, ошеломленный: спины, тысячи спин, звенит колокольчик, и тысячи голов покорно склоняются. «Ну и дела!» — говорит он. Шнейдер и наборщик начинают смеяться: «А, да! Сегодня воскресенье. Мы хотели сделать тебе сюрприз». — «Вот оно что! — говорит Брюне. — Воскресенье!» Он оторопело смотрит на них: какое упрямство! Они себе измыслили мифическое воскресенье, воскресенье городов и деревень, потому что увидели в календаре, что сегодня воскресенье. В том дворе сельское воскресенье, воскресенье главной улицы провинциального городка, а здесь воскресенье в церкви, не хватает только кино. Он поворачивается к наборщику: «Сегодня вечером нет кино?» Наборщик улыбается: «Члены христианской молодежной организации разожгут «костер»». Брюне сжимает кулаки, он думает о попах, он думает: «Пока я был болен, они здорово поработали. Нельзя болеть». Наборщик застенчиво говорит: «Нынче прекрасный день». — «Безусловно», — сквозь зубы цедит Брюне. Безусловно: прекрасный день. Прекрасный день надо всей Францией: вывороченные и искореженные рельсы блестят на солнце, солнце золотит пожелтевшие листья вывороченных с корнем деревьев, вода сверкает на дне воронок от бомб, мертвые разлагаются в хлебах, их животы поют под безоблачным небом. Вы уже забыли? Люди — это резина. Все подняли головы, теперь говорит священник. Брюне не слышит, что он говорит, но он видит его красное лицо, седые волосы, очки в железной оправе, сильные плечи; он его узнает: это субъект с требником, которого он заметил в первый вечер. Он подходит. В двух шагах от него горящие глаза, смиренный вид, усатый сержант благоговейно внемлет: «…что многие из вас верующие, но я знаю также, что есть и другие, которые слушают меня из чистого любопытства, чтобы кое‑что узнать или просто убить время. Все вы мои братья, мои дражайшие братья, братья по оружию и братья в Боге, я обращаюсь к вам всем, католикам, протестантам и атеистам, так как слово Божье предназначено решительно для всех. Завет, который я обращаю к вам в этот день скорби и день Господа, — это завет Господа нашего, он состоит из двух простых слов: «Не отчаивайтесь!..», ибо отчаяние есть не только смертный грех против бесконечной божественной доброты: даже неверующие согласятся со мной, что это еще и покушение человека на самого себя и, если можно так сказать, нравственное самоубийство. Среди вас, мои дорогие братья, несомненно, есть и такие, кто был обманут еретическим утверждением, что в удивительном следовании событий нашей истории нет ничего, кроме скопления случайностей, лишенных значения и связи. Сейчас они повторяют, что мы были разбиты, потому что нам не хватило танков и самолетов. О таких Господь сказал, что имеют уши, да не слышат, имеют глаза, да не видят, и, вне сомнений, когда гнев Божий обрушился на Содом и Гоморру, в нечестивых городах нашлось немало закоренелых грешников, которые утверждали, что огненный дождь, превративший их города в пепел, был всего лишь метеором или атмосферными осадками. Братья мои, не грешили ли они против самих себя? Если бы молнии упали на Содом случайно, тогда все труды человека, все, что создано им, может быть обращено в ничто слепыми силами природы и без всякого смысла. Зачем тогда строить? Зачем сеять? Зачем создавать семью? Так думаем сейчас мы, побежденные и плененные, униженные в нашей законной национальной гордости, без известий от дорогих нам людей. Неужели вам кажется, что все это только игра бездушных сил, что все это не имеет высшей первопричины? Если бы это было правдой, друзья мои, нам следовало бы предаться отчаянию, ибо нет ничего более приводящего в отчаяние, ничего более несправедливого, чем страдать ни за что. Но, братья мои, я спрашиваю у этих вольнодумцев: «А почему нам не хватило танков? Почему нам не хватило пушек?» Они, без сомнения, ответят: «Потому что мы их недостаточно производили». И тут вдруг спадает покров с лица нашей многогрешной Франции, которая уже четверть века как забыла свой долг и своего Бога. Почему, действительно, мы оказались не готовы к войне? Потому что мы не работали. А откуда идет, братья мои, эта волна лени, которая обрушилась на нас, как саранча на поля египетские? Все потому, что мы были расколоты внутренними раздорами: рабочие, ведомые циничными подстрекателями, стали ненавидеть своих хозяев; хозяева, ослепленные сребролюбием, мало заботились о законнейших нуждах рабочих, коммерсанты завидовали служащим, служащие жили, как омела на дубе; наши избранники в Палате депутатов вместо того, чтобы спокойно обсуждать общественные интересы, противоборствовали, оскорбляли друг друга, иногда доходили до рукоприкладства. Но откуда, мои дорогие братья, это столкновение интересов, откуда эта нравственная распущенность? А все это потому, что гнусный материализм распространился по стране, как эпидемия. А что такое материализм, если не состояние человека, отвернувшегося от Бога: он думает, что родился из земли и что он вернется в землю, он ни о чем не заботится, кроме как о своих земных интересах. Я отвечу нашим маловерам: «Вы правы, братья мои: мы проиграли войну, потому что нам не хватило материального. Но вы правы только частично, потому что ваш ответ материалистический, и именно потому, что вы материалисты, вы были побеждены. И это Франция, старшая дочь Церкви, которая некогда вписала в историю непрерывную череду своих ослепительных побед; но Франция без Бога познала поражения 1940 года». Он делает паузу; люди молча слушают, открыв рот, сержант одобрительно кивает. Брюне переводит взгляд на священника; он поражен его триумфальным видом: его сияющие глаза озирают аудиторию из конца в конец, щеки попунцовели, он вздымает руку и продолжает свою речь с особым пылом: «Итак, братья мои, оставим мысль, что наше поражение — дело случая: это одновременно наше наказание и наш грех. Не случайно, братья мои, говорю: это кара; вот добрая весть, которую я вам сегодня несу». Он выдерживает еще одну паузу и вглядывается в обращенные к нему лица, чтобы оценить произведенный эффект. Потом наклоняется и вкрадчиво продолжает: «Я должен признать, что это весть жестокая и неприятная, но, тем не менее, это весть благая. Разве тому, кто считает себя невинной жертвой катастрофы и, не понимая сути, ломает руки, не сообщают добрую весть, когда открывают ему, что он всего лишь искупает свою вину? И потому говорю вам: возрадуйтесь, братья мои! Возрадуйтесь из глубины ваших страданий, ибо если есть вина, есть также и искупление. И я вам говорю: возрадуйтесь еще, возрадуйтесь в Доме Отца вашего, так как есть и другая причина возрадоваться. Наш Господь, который страдал за всех людей, который взял на себя наши грехи и который еще страдает, чтобы их искупить, наш Господь избрал вас. Да, всех вас, крестьян, рабочих, мещан, которые не совсем невинны, но и не самые виноватые, он избрал вас для несравненной судьбы: по его воле ваши страдания, подобно его страданиям, искупят грехи и ошибки всей Франции, которую Бог не перестал любить и которую он наказал с тяжелым сердцем. Братья мои, здесь надо выбирать: или вы будете стенать и рвать власы свои, причитая: почему именно со мной случилось это несчастье? Со мной, а не с моим соседом, который был многогрешным богатеем, не с политиками, которые привели мою страну на край гибели? Если вы будете рассуждать так, то вам только и остается умереть в ненависти и злобе. Или же вы сами себе скажете: мы были ничем, а теперь мы избранные страдальцы, страстотерпцы, мученики. Мы как те ниспосланные небом избранники, как те, кого Господь всегда призывал во Франции, когда она бывала на волосок от гибели…» Брюне уходит на цыпочках. Он находит Шнейдера и наборщика у стены казармы. Он говорит: «Этот знает свое дело». — «Еще бы! — отзывается наборщик. — Он обитает в двух каморках от меня, по вечерам только его и слышно, за это время он набил себе руку». Мимо проходят двое — высокий сухопарый с вытянутым черепом и пенсне на носу и маленький толстяк с высокомерно поджатыми губами. Высокий говорит мягко и степенно: «Он очень хорошо говорил. Очень просто. И он сказал именно то, что нужно». Брюне начинает смеяться: «Черт возьми!» Они делают несколько шагов. Наборщик недоверчиво смотрит на Брюне; он спрашивает: «Итак?» — «Итак? — повторяет Брюне. — Что ты думаешь об этой проповеди?» — «В ней есть и хорошее, и плохое. В каком‑то смысле он работает на нас: он им объясняет, что плен не будет увеселительной прогулкой; и я полагаю, что он будет твердить об этом и дальше: это в его интересах, как и в наших. Пока эти парни будут думать, что в конце месяца они увидят свою подружку, ничего нельзя сделать». — «Да?» Наборщик слегка выпучил красивые глаза, щеки его стали серыми. Брюне продолжает: «С этой стороны все в порядке. Вы даже можете использовать его проповеди. Отводите людей в сторону и с глазу на глаз говорите им: «Слышал попа? Он сказал, что придется туго». Наборщик с тревогой спрашивает: «Так ты думаешь, все это надолго?» Брюне сурово смотрит на него: «Ты веришь в сказки?» Наборщик молчит, он глотает слюну; Брюне поворачивается к Шнейдеру и продолжает: «Хотя, с другой стороны, я не думал, что они так быстро ему поддадутся, я рассчитывал, что они захотят предугадать события. Что ж, плевать! Но его проповедь — настоящая политическая программа: Франция — старшая дочь Церкви, а Петэн — вождь французов. И это неприятно». Он бросает быстрый взгляд на наборщика: «Что о нем думают в твоем окружении?» — «Его очень любят». — «Вот как?» — «Его не в чем упрекнуть. Он делится всем, что имеет; но всегда дает это почувствовать. У него постоянно такой вид, будто он говорит тебе: я даю тебе это из любви к Богу. Лично я предпочитаю вовсе не курить, чем курить его табак; но я один такой». — «Это все, что ты о нем знаешь?» — «Но дело в том, — извиняющимся тоном говорит наборщик, — что он на месте только вечером». — «А где его носит днем?» — «Он бывает в медпункте». — «Как, теперь есть медпункт?» — «Да, в другом здании». — «Он что, санитар?» — «Нет, но он приятель майора, он играет в бридж с ним и двумя ранеными офицерами». — «Ха‑ха! — смеется Брюне. — И что об этом говорят ребята?» — «Они ничего не говорят: они догадываются, но не хотят этого знать. Я узнал это от Гартизе, санитара». — «Ладно, что ж, ты им выскажешь все без обиняков; ты у них спросишь, как это получается, что попы всегда путаются с офицерами». — «Согласен». Шнейдер уже давно смотрит на них, странно улыбаясь. Он говорит: «Другое здание — это там, где фрицы». — «А!» — восклицает Брюне. Шнейдер поворачивается к наборщику; он продолжает улыбаться: «Теперь ты понимаешь, что ты должен сказать: поп бросает своих товарищей, чтобы подхалимничать перед фрицами». — «Ну, знаешь ли, — вяло говорит наборщик, — я не думаю, что он там видит много фрицев». Шнейдер с притворным нетерпением пожимает плечами: Брюне кажется, что он просто забавляется. «А вот у тебя есть право разгуливать по зданию фрицев?» — спрашивает Шнейдер у наборщика. Тот, не отвечая, пожимает плечами. Шнейдер торжествует: «Вот видишь! Мне плевать на его замыслы: может, он хочет спасти Францию. Но объективно он — французский пленный, который проводит дни с врагами. Вот о чем должны знать товарищи». Наборщик в замешательстве поворачивается к Брюне. Брюне не нравится тон Шнейдера, но ему не хочется вступать с ним в спор. Он говорит: «Действуй осторожно. Не пытайся в данный момент подорвать его авторитет. Впрочем, их здесь больше пятидесяти, тебя все равно не хватит. Изловчись сказать в разговоре, что поп думает, будто мы не скоро вернемся домой, а он это знает, потому что якшается с офицерьем и точит лясы с фрицами. Пусть ребята мало‑помалу уразумеют, что поп для них — чужой. Понял?» — «Да», — говорит наборщик. — «Есть кто‑нибудь из наших в комнате священника?» — «Да». — «Он смышленый?» — «Еще бы!» — «Пусть он позволит заговаривать себе зубы, пусть делает вид, что поддается, нам необходим информатор». Прислонившись к стене, он некоторое время размышляет и говорит наборщику: «Сходи за товарищами. Двумя или тремя. Новыми». Когда они остаются одни, Брюне говорит Шнейдеру: «Я бы предпочел немного подождать; через месяц‑другой люди как раз созреют. Но попы слишком сильны. Если мы не начнем сейчас же, то потеряем темп. Ты по‑прежнему согласен работать с нами?» — «Работать над чем?» — спрашивает Шнейдер. Брюне хмурит брови: «Я считал, что ты хотел работать с нами. Ты передумал?» — «Я не передумал, — отвечает Шнейдер. — Я просто спрашиваю тебя, над чем вы собираетесь работать?» — «Что ж, — говорит Брюне, — ты слышал попа? Он тут не одинок: через месяц будут повсюду. Более того, я не слишком удивлюсь, если фрицы подберут среди нас двух‑трех Квислингов и заставят на себя работать. До войны можно было противопоставить солидные организации, партию, профсоюзы, комитет бдительности. Здесь же ничего нет. Стало быть, речь идет о том, чтобы хоть что‑то воссоздать. Естественно, это часто будет сводиться к разглагольствованиям, я всегда этого очень не любил, но у нас нет выбора. Итак: обнаружить здоровые элементы, организовать их, приступить к подпольной контрпропаганде — вот ближайшие цели. Развернуть две темы: мы отказываемся признавать перемирие; демократия — единственная форма управления, которую мы можем сегодня принять. Пока не следует идти дальше: поначалу нужно быть осторожными. Я же обязуюсь найти товарищей из коммунистической партии. Но есть еще другие: социалисты, радикалы, все, кто более или менее «слева», а также сочувствующие, как ты». Шнейдер холодно улыбается: «Слабые». — «Скажем так: умеренные». Брюне торопится добавить: «Но можно быть умеренным и честным, Я не уверен, что говорю на их языке. У тебя этой трудности не будет, потому что это твой язык». — «Согласен, — говорит Шнейдер. — Короче говоря, речь идет о частичном возрождении духа Народного фронта?» — «Это было бы не так уж плохо», — не возражает Брюне. Шнейдер качает головой и уточняет: «Значит, такой будет моя работа. Но… ты уверен, что она твоя?» Брюне удивленно смотрит на него: «Моя?» — «Ладно! — безразлично говорит Шнейдер, — Если ты в этом уверен…» — «Объяснись, — просит Брюне. — Я не люблю околичностей». — «Но мне нечего объяснять. Я только хотел спросить: что делает компартия в данный момент? Каковы ее указания, ее директивы? Предполагаю, тебе они известны?» Брюне, улыбаясь, смотрит на него: «Ты отдаешь себе отчет в ситуации? Немцы в Париже уже две недели, вся Франция вверх дном: одни товарищи убиты или в плену, другие ушли бог знает куда со своими дивизиями, в По или Монпелье, третьи в застенках. Если хочешь знать, что делает партия в данный момент, я тебе скажу: она в состоянии реорганизации». — «Понятно, — вяло говорит Шнейдер. — А ты, со своей стороны, пытаешься сблизиться с товарищами, которые находятся здесь. Это превосходно». — «Ладно, — заключает Брюне, — если ты согласен…» — «Но, старина, конечно, я согласен.

Тем более, что это меня мало касается. Я не коммунист. Ты мне говоришь, что партия реорганизуется: большего я не спрашиваю. Но на твоем месте я хотел бы знать… — Он шарит в кармане кителя, как будто ищет сигарету, потом вынимает руку и опускает ее вдоль стены. — На какой базе она реорганизуется? Вот в чем вопрос». Он добавляет, не глядя на Брюне: «Ведь Советы вступили в союз с Германией». — «Да нет же, — нетерпеливо говорит Брюне. — Они всего лишь заключили пакт о ненападении, к тому же временный. Поразмысли немного, Шнейдер: после Мюнхена у СССР не было другого выхода…» Шнейдер вздыхает. «Знаю, я знаю все, что ты мне скажешь. Ты мне скажешь, что Советы потеряли доверие к союзникам и что они выгадывают время, чтобы собрать силы и вступить в войну с фрицами. Разве не так?» Брюне колеблется. «Не совсем так, — говорит он, — скорее, я думаю, что СССР понимает, что фрицы на него нападут». — «Но ты считаешь, что Советы делают все, чтобы это отсрочить?» — «Полагаю, да». — «Но тогда, — медленно произносит Шнейдер, — я бы на твоем месте не был так уверен, что партия сейчас непоколебимо займет антинацистскую позицию; это могло бы повредить Советам». Он останавливает на Брюне тусклые глаза. Сегодня у Шнейдера притуплённый, меланхолический взгляд, но его трудно выдержать. Брюне раздраженно отворачивается. — «Не строй из себя большего глупца, чем ты есть. Ты хорошо знаешь, что речь не идет об определенной официальной позиции, партия на нелегальном положении с тридцать девятого года, и ее деятельность останется подпольной». Шнейдер улыбается: «Да, подпольной. Но что это значит? К примеру, будут подпольно печатать «Юманите»? Но пойми, из десяти тысяч распространенных экземпляров каждый раз, по меньшей мере, сотня попадет в руки немцев, это неизбежно: будучи на нелегальном положении, можно еще как‑то скрыть место выпуска листовок, типографии, редакцию и прочее, но не сами листовки, потому что они для того и существуют, чтобы распространяться. Через три месяца гестапо будет знать абсолютно все о политике французской компартии». — «И что из этого? Они не смогут вменить это в вину СССР». — «А Коминтерну? — спрашивает Шнейдер. — Ты считаешь, что между Молотовым и Риббентропом не было разговора о Коминтерне?» Он говорит без всякой агрессивности, нейтрально. Однако в его мягкой настойчивости есть что‑то настораживающее. «Не будем строить из себя доморощенных стратегов, — говорит Брюне. — Что Риббентроп сказал Молотову, я не знаю, я у них под столом не сидел. Но вот что я знаю наверняка — потому что это просто очевидно — между СССР и партией отношения прерваны». — «Ты в этом уверен?» — сомневается Шнейдер. Через мгновение он добавляет: «Но даже если сегодня отношения прерваны, они вполне могут быть восстановлены завтра. На то и Швейцария». Месса закончилась, солдаты, молчаливые и отрешенные, проходят мимо. Шнейдер понижает голос: «Я убежден, что нацистское руководство считает СССР ответственным за деятельность французской компартии». — «Предположим, — говорит Брюне. — И что из этого следует?» — «Представь себе, — продолжает Шнейдер, — что СССР, желая выиграть время, прикажет коммунистам Франции и Бельгии молчать». Брюне пожимает плечами: «Прикажет! Как ты себе представляешь отношения между СССР и компартией? Разве ты не знаешь, что в партии есть ячейки, а в них люди, которые имеют право дискутировать и голосовать?» Шнейдер улыбается и терпеливо произносит: «Я не хотел тебя обидеть. Скажу иначе: представь себе, что компартия, не желая создавать трудности СССР, сама обяжет себя молчать…» — «Это будет ново». — «Не так уж ново. Как вы вели себя при объявлении войны? А с тех пор положение СССР ухудшилось. Если Англия капитулирует, у Гитлера будут развязаны руки». — «У СССР было время подготовиться. Он надеется на блиц». — «Ты в этом уверен? Этой зимой Красная Армия выглядела не слишком убедительно. К тому же ты сам признал, что Молотов тянет время…» — «Если между СССР и компартией, как ты утверждаешь, все же существуют определенные отношения, в нужное время товарищи будут осведомлены о степени подготовленности Красной Армии». — «Товарищи, да. Там, в Париже. Но не ты. А здесь работаешь ты». — «Куда ты, в конце концов, клонишь? — повышает голос Брюне. — Что ты хочешь всем этим сказать? Что наша коммунистическая партия стала профашистской?» — «Нет, но победа фашистов и германо‑советский пакт — это два факта, которые могут партии не нравиться, но к которым она должна приноравливаться. А ты ведь пока не знаешь, как она намерена к ним приноравливаться». — «Стало быть, мне сидеть сложа руки?» — «Я этого не сказал, — возражает Шнейдер. — Мы просто рассуждаем..» Помолчав, он чешет большой нос и продолжает: «Но западным демократиям компартия отнюдь не милее, чем нацисты, хоть и по другой причине. Пока было возможно говорить об альянсе СССР и западных демократий, вы избрали защиту политических свобод и борьбу с фашистской диктатурой. Эти свободы иллюзорны, ты это знаешь не хуже меня. Но сегодня демократии на коленях, СССР сблизился с Германией, Петэн взял власть, и партия вынуждена продолжать работу в фашистском и профашистском обществе. А ты, оставшись без руководителей, без директив, без контактов, без новостей, по собственной инициативе избираешь прежнюю, явно устаревшую позицию. Только что мы говорили о духе Народного фронта, но Народный фронт умер. Умер и погребен. Он имел смысл в тридцать шестом году, в тогдашнем историческом контексте. Сегодня в нем нет решительно никакого смысла. Будь осторожен, Брюне, ты намерен работать в потемках». Его голос стал резким; но внезапно он сменил тон и мягко продолжил: «Вот поэтому я у тебя и спрашивал, уверен ли ты в своей работе». Брюне начинает смеяться. «Брось! — говорит он. — Все это не так ужасно. Сгруппируем людей, попытаемся противостоять попам и нацистам, а дальше будет видно: задачи возникнут сами собой». Шнейдер одобряет его кивком головы. «Конечно, — соглашается он. — Конечно». Брюне смотрит ему в глаза. «Меня беспокоишь именно ты, — говорит он. — По‑моему, ты отъявленный пессимист». — «Да что я! — безразлично произносит Шнейдер. — Если хочешь знать мое мнение, я думаю, что все, что мы будем делать, не имеет никакого политического значения: ситуация слишком сложная, и мы мало что знаем. Те из нас, кто вернется, обнаружат уже как‑то организованное общество, со своими кодексами и мифами. Мы бессильны. По крайней мере, в этом смысле. Но с другой стороны, если мы сможем придать немного мужества товарищам, если мы помешаем им впасть в отчаяние, если мы сейчас дадим им смысл жизни, пусть даже иллюзорный, тогда игра стоит свеч». — «Что ж, хорошо! — говорит Брюне. — Ладно! — добавляет он, помолчав. — Я пойду немного прогуляюсь, я сегодня впервые вышел. До скорого». Шнейдер двумя пальцами отдает ему честь и уходит. «Дух отрицания, интеллектуал, необходимо было основательно им заняться. Странный тип: то такой дружественный, такой теплый, то ледяной, почти циничный, где я его видел? Почему он говорит «товарищи» о людях из партии, а не твои товарищи, как это следовало ожидать от него? Нужно все же заглянуть в его военный билет». В шумном дворе люди выглядят, как в воскресные дни; на всех выбритых, вымытых лицах одно и то же отсутствующее выражение. Они ждут, и их ожидание построило по другую сторону крепостной стены целый гарнизонный город с садами, борделями и кафе. Посреди двора кто‑то играет на гармонике, танцуют пары, город‑призрак вздымает крыши и кроны над крепостной стеной, он отражается на незрячих лицах этих танцоров‑призраков. Брюне поворачивает назад, возвращается в другой двор. Тут смена декораций: церковь переместили; парни горланят и, как сумасшедшие, бегают взапуски. В конце концов Брюне поднимается на холмик за конюшней, он смотрит на могилы, здесь он чувствует себя покойно. На утрамбованную землю бросили цветы, впритык поставили три маленьких креста. Брюне садится между двумя холмиками, мертвые распластаны под ним, это его успокаивает; для него тоже однажды придет день успокоения и невиновности. Он откапывает открытую ржавую банку из‑под сардин, потом бросает ее: «Нынче воскресенье для пикника и посещения кладбища; я гулял по холму, подо мной в городе взапуски бегали дети, и их крики доносились до меня. Где это было?» Он не знает; он думает: «Он прав, я буду работать в потемках». А где выход? Не делать вообще ничего? При этой мысли все в нем бунтует. В конце войны я вернусь и скажу товарищам: «Вот и я. Я выжил». Ну и дела. «А если бежать?» Он смотрит на стены, они не слишком высоки: потом достаточно будет добраться до Нанси, Пуллены меня спрячут. Но под ним три мертвеца, дети кричат в этой вечной низине: он прикладывает ладонь к свежей земле, он решает остаться. Нужна гибкость. Сплотить парней, присматриваться к ним, вернуть им уверенность и отвагу, во всяком случае, взбунтовать их против перемирия, а потом, в зависимости от обстоятельств, изменить линию. «Партия нас не бросит, — думает Брюне. — Партия не может нас бросить». Он в полный рост ложится, как мертвый, на мертвых: он смотрит на небо; затем встает, медленным шагом спускается, он думает о том, что одинок. Смерть витает вокруг него, как запах, венчающий воскресенье; впервые в жизни он чувствует смутную вину. Вину за то, что одинок, вину за то, что думает и живет. Вину за то, что не погиб. За крепостными стенами черные бездыханные дома с выколоченными глазами: вечность камня.

А эти клики воскресной толпы звучат вечно. Один Брюне не вечен, но вечность осеняет его, словно чей‑то взгляд. Он ходит; когда он возвращается, уже смеркается, он гулял весь день, ему нужно было что‑то в себе убить, он не знает, удалось ли ему это: когда ничего не делаешь, невольно размягчаешься. Коридор чердака пахнет пылью, каморки гудят, это остатний хвост воскресенья. На полу целое небо, усеянное звездами: люди курят во мраке. Брюне останавливается и говорит, не обращаясь ни к кому в отдельности: «Будьте осторожны. Постарайтесь не поджечь барак». Люди недовольно ворчат — этот голос давит сверху им на плечи; Брюне, сбитый с толку, замолкает, он чувствует себя лишним. Он делает еще несколько шагов; красная звездочка выпрыгивает и мягко катится ему под ноги, он тушит ее башмаком; ночь тихая и синяя, окна вырисовываются во мраке, сиреневые, как пятна, которые плывут перед глазами, когда слишком долго смотришь на солнце. Он не может найти свою каморку, он кричит: «Эй! Шнейдер!» — «Сюда! Сюда! — отзывается чей‑то голос. — Это здесь!» Он возвращается, кто‑то совсем тихо поет себе под нос: «На дороге, на главной дороге пел молодой человек». Брюне думает: «Они любят вечер». «Сюда, — говорит Шнейдер, — пройди немного, и ты дома». Он входит, смотрит сквозь решетки на слуховое окно, он думает о газовом фонаре, который зажигался, когда ночь была синей. Он молча садится, смотрит на слуховое окно; газовый фонарь, где это было? Вокруг него шепчутся люди. Утром они кричат, вечером шепчут, потому что они любят вечер; вместе с ночью, крадучись, в большой темный ящик входит Покой, Покой и былые годы; можно даже подумать, что они любили свою прежнюю жизнь. «Я бы, — говорит Мулю, — выпил сейчас хорошую кружку пива. В этот час я пил бы ее в «Кадран Бле» и глазел на прохожих». — «Кадран Бле», это где?» — спрашивает блондинчик. — «Где Гобелен. На углу проспекта де Гобелен и бульвара Сен‑Марсель, если помнишь». — «А! Да, там есть кинотеатр «Сен‑Марсель»?» — «В двухстах метрах; еще бы я его не знал, я живу напротив казармы «Лурсин». После работы я возвращался домой перекусить, а потом снова выходил, шел в «Кадран Бле», а иногда в «Канон де Гобелен». Но в «Кадран Бле» есть оркестр». — «В кино «Сен‑Марсель» бывали первоклассные развлечения». — «Еще бы. Там выступали Трене, Мари Дюба, я видел ее собственной персоной у выхода, у нее был вот такусенький маленький автомобильчик». — «И я туда ходил, — говорит блондинчик. — Я живу в Ванве, когда ночь была хорошей, я возвращался пешком». — «Это не близко». — «Не близко, но я молодой». — «Я же, — говорит Ламбер, — не скучаю по пиву, я никогда его особенно не любил. Вот вино — другое дело! Я мог заложить за воротник литра два. Иногда три. Но прежде мне нужно его просмаковать. Представляешь себе, если бы сегодня вечером было вино. Хороший первач». — «Ну и дела! — поражается Мулю. — Три литра!» — «Ну и что?» — «Когда я выпиваю больше одного, у меня начинается изжога». — «Это потому, что ты пьешь белое». — «А! Верно, — признается Мулю. — Белое. Я другого и не знаю». — «Не нужно далеко ходить. Слушай, моей мамаше шестьдесят пять лет, мы живем вместе. Так вот, в таком‑то возрасте она, представь себе, еще выпивает литр вина за день. Только, конечно, это красное». С минуту он молчит, мечтает. Остальные тоже мечтают; они спокойно слушают, не пытаясь прервать никого, а говорят, обращаясь ко всем. Брюне думает о Париже, об улице Монмартр, о маленьком баре, куда он, выходя из «Юманите», заходил выпить вязкого белого вина. «В такое воскресенье, как сегодня, — говорит сержант, — я пошел бы с женой на наш огород. У нас есть огород в двадцати пяти километрах от Парижа, немного за Вильнёв‑Сен‑Жорж, там отличные овощи растут». Грубый голос по другую сторону решетки подтверждает: «Еще бы! Там везде прекрасная земля!» — «В это время мы обычно возвращались, — говорит сержант. —

Или, может, чуть раньше, как раз при заходе солнца; я не люблю ездить при фонарях. Жена везла на руле велосипеда цветы, а я клал овощи на багажник». — «А я, — говорит Ламбер, — по воскресеньям никуда не выходил. На улицах толчея, и потом, я работаю по понедельникам, а Лионский вокзал не близко». — «Что ты делаешь на Лионском вокзале?» — «Я в справочном бюро: здание, которое чуть в стороне. Если захочешь немножко попутешествовать, то заходи ко мне, и я сделаю тебе билет заранее. Даже накануне: я тебе это устрою». — «А я, — говорит Мулю, — не смог бы остаться дома, я сдох бы со скуки. Дело в том, что я живу бобылем». — «Даже по субботам, — говорит Ламбер, — часто бывает, что я никуда не выхожу». — «А как же девочки?» — «Девочки? Я их привожу к себе». — «К себе? — недоверчиво переспрашивает блондинчик. — А что же твоя старуха?» — «Она помалкивает. Она нам варит суп, а потом уходит в кино». — «Вот здорово! — говорит блондинчик. — Она у тебя молодчина! А моя мать, если встречала меня с девчонкой, давала мне тумаков, даже когда мне было восемнадцать лет». — «Ты тоже живешь с матерью?» — «Уже нет. Я женился». Помолчав, он говорит: «Сегодня вечером мы бы тоже никуда не пошли. Мы бы трахались». Наступает долгое молчание, Брюне слушает их; он чувствует себя обыденным и в то же время каким‑то вневременным, он говорит почти застенчиво: «А я в это время был бы в бистро на улице Монмартр и пил бы белое вино с друзьями». Никто не отвечает. Кто‑то металлическим голосом поет песню «Моя хижина». Брюне спрашивает у Шнейдера: «Кто этот парень?» Шнейдер говорит: «Это Гассу, сборщик налогов, он из Нима». Малый продолжает петь, Брюне думает: «А Шнейдер так и не сказал, что он делает по воскресеньям». Внезапно раздается долгий мелодичный зов, что это? Белеет стекло слухового окна, на белый пол отбрасывает тень решетка; три часа утра. Виноградники кучерявятся под лунной дымкой, Аллье плещется о свои островки, в Пон‑де‑Во‑Флервилль виноградари, пританцовывая, ждут трехчасового поезда, Брюне весело спрашивает: «Что это?» Он вздрагивает, потому что кто‑то ему отвечает: «Тише. Тише. Слушай!» Я не в Маконе, в своей постели, это не летние каникулы. Снова долгий чрезмерно откровенный зов: три свистка вытягиваются, растягиваются, длятся. Что‑то случилось. Чердак шумит, огромное животное шевелится на полу; в глубине безликой ночи крик наблюдателя: «Поезд! Поезд! Поезд!» Значит, вот что это было: первый поезд. Что‑то начинается: отвлеченная ночь сейчас погустеет и оживет, она запоет снова. Все начинают говорить одновременно. «Поезд! Первый поезд! Пути восстановлены! Нужно признать, фрицы быстро сработали! Немцы всегда были хорошими работниками. Послушайте, в их интересах все снова привести в порядок. На этом поезде мы увидим Францию. Мы поймем, куда он идет, в Нанси, а может, в Париж? Эй, ребята, а если в нем пленные, пленные, которые возвращаются по домам, вы только представьте себе!» Поезд идет там, снаружи, неизвестно куда, и весь большой темный дом насторожился. Брюне думает: «Это товарный поезд»; он из суеверия пытается забыть свое детство; он пытается представить себе ржавые вагоны, брезент, скопище чугуна и стали; но у него ничего не выходит; при голубом свете ночника, среди запахов колбасы и вина, спят женщины, в коридоре курит мужчина, и ночь, прильнув к окнам, посылает ему его изображение; завтра утром — Париж. Брюне улыбается, он снова ложится, завернувшись в свое детство, под шелестящим светом луны, завтра Париж, он дремлет в поезде, положив голову на мягкое голое плечо, он просыпается в шелковом свете, Париж! Он скашивает глаза влево, не двигая головой: шесть летучих мышей зацепились лапами за стены, их крылья опали, точно юбки. Тут он просыпается полностью: летучие мыши — это черные тени повешенных на стену кителей; естественно, Мулю не снял свой китель, попробуй его заставь снять его хотя бы на ночь. Или сменить гимнастерку, в конце концов он определенно напустит на нас вшей. Брюне зевает, еще одно утро, что же это было ночью? А! да, поезд. Он резко вскакивает, отбрасывает одеяло и садится. Его тело одеревенело, всюду зигзагообразная ломота, деревянная радость его окоченевших мышц, как будто жесткость пола перешла в его плоть; он потягивается и думает: «Если я выживу, никогда больше не буду спать в кровати». Шнейдер еще спит, открыв рот, вид у него страдальческий; северянин бессмысленно улыбается; Гассу — волосы взлохмачены, глаза красные — собирает крошки хлеба на одеяле и ест их; время от времени он открывает рот и трет большим пальцем кончик языка, чтобы убрать волос или шерстинку, попавшие на хлеб; Мулю озадаченно чешет голову, угольные дорожки подчеркивают его морщины, кажется, что глаза у него подведены: надо найти средство заставить его умываться; блондинчик щурится с хмурым и недоуменным видом, вдруг его лицо озаряется: «Вот это да!» Из‑под одеяла торчит только его голова, у него удивленный и восхищенный вид.

«Что такое, дурачок?» — спрашивает Мулю. — «Да такое, что у меня стоит», — отвечает блондинчик. — «Стоит? — недоверчиво переспрашивает Мулю. — Ну, конечно! Как носовой платок?» Блондинчик отбрасывает одеяло, сорочка задрана над его белыми волосатыми ногами. «Ей‑богу, правда, — подтверждает Мулю. — Счастливчик!» — «Счастливчик? — с недовольным видом говорит Гассу. — По‑моему, это, скорее, несчастье!» — «Не завидуй! — хохочет блондинчик. — Ты бы очень хотел, чтобы это несчастье случилось с тобой». Мулю трясет Ламбера за руку, Ламбер вскрикивает и подскакивает: «А?» — «Смотри», — говорит Мулю. Ламбер протирает глаза и удостоверяется. «Черт! — восхищенно произносит он. Потом смотрит еще: —Можно потрогать?» — «Мне это будет неприятно», — возражает блондинчик. — «А он случаем не искусственный?» — «Искусственный! Искусственный! — с омерзением повторяет блондинчик. — На гражданке я каждое утро просыпался с дубиной в два раза больше этой». Он лежит на спине, скрестив руки, глаза полузакрыты, на губах детская улыбка. «А я уже начинал беспокоиться, — сознается он, созерцая сквозь ресницы свой член, который движется в такт с его дыханием. — Я ведь женат». Все смеются. Брюне отворачивается, гнев подступает у него к горлу. Мулю говорит: «А я ходил в бордель: если у меня больше стоять не будет, значит на шлюх не придется тратиться». И они снова смеются. Блондинчик небрежно, по‑отечески гладит член и заключает: «Земной рай!» Брюне резко поворачивается к блондинчику и говорит ему сквозь зубы: «Спрячь немедленно!» — «Чего?» — изумляется тот голосом, отяжелевшим от сладострастия. Насмешник Гассу передразнивает Брюне: «Спрячьте эту грудь, мне ее видеть невыносимо!» — «Все вы свиньи!» — сухо говорит Брюне. Они поворачиваются к нему, они смотрят на него, а Брюне думает: «Я им неприятен».

Гассу что‑то бормочет. Брюне наклоняется к нему: «Что ты говоришь?» Гассу не отвечает, Мулю примирительно тараторит: «Время от времени не грех поговорить и о любви, это отвлекает». — «Только импотенты болтают о любви, — обрывает его Брюне. — Надо не болтать, а трахаться. Когда есть возможность». — «А когда нет?» — «Тогда о ней молчат». У всех смущенный и замкнутый вид; медленно, неохотно блондинчик натягивает одеяло. Шнейдер все еще спит; Брюне наклоняется над северянином и расталкивает его, тот ворчит и открывает глаза. «Пора на гимнастику!» — напоминает Брюне. — «Уже?» — удивляется северянин. Он встает и берет китель, они выходят во двор. Перед одним из бараков наборщик, Деврукер и три стрелка ждут их. Брюне кричит им издалека: «Все в порядке?» — «Все в порядке. Ты слышал поезд сегодня ночью?» — «Да, — раздраженно отвечает Брюне. — Слышал». Но его раздражение быстро проходит: они молоды, подвижны, опрятны; наборщик с некоторым кокетством надел пилотку набок. Брюне им улыбается. Моросит; в глубине двора толпа ждет мессу. Брюне с удовольствием отмечает, что людей поменьше, чем в первое воскресенье. «Ты сделал, что я тебе сказал?» Деврукер, не отвечая, открывает дверь барака: он разбросал на полу солому, и Брюне вдыхает влажный запах конюшни. «Где ты ее взял?» Деврукер улыбается: «Приходится вертеться». — «Это хорошо», — говорит Брюне; он дружески смотрит на них. Они входят, раздеваются, остаются только в трусах и носках; Брюне с удовольствием погружает ноги в хрупкую мягкость соломы и распоряжается: «Начинаем!» Люди выстраиваются спиной к двери. Брюне напротив них, считая, делает движения. Они повторяют за ним, он слышит их ритмичное дыхание. Брюне удовлетворенно смотрит, как они приседают на пятки, заложив руки за затылок, крепкие, с длинными веретенообразными мышцами, Деврукер и Брюне самые сильные, но у них скованные мышцы; наборщик слишком тощий; Брюне рассматривает его с некоторой тревогой, но потом в голову ему приходит одна мысль, он выпрямляется и кричит: «Стой!» Наборщик явно доволен, что можно остановиться, он тяжело дышит. Брюне подходит к нему: «Послушай! Ты слишком худой!» — «С двадцатого июня я потерял шесть килограммов». —

«Откуда ты знаешь?» — «В санчасти есть весы». — «Тебе нужно прибавить в весе, — говорит Брюне. — Ты слишком мало ешь». — «А что делать?» — «Есть очень простое средство. Каждый будет отдавать тебе часть своей порции». — «Я…» — начинает наборщик. Брюне прерывает его: «Считай, что я врач, и предписываю тебе усиленное питание. Все согласны?» — спрашивает он, повернувшись к остальным. «Согласны», — отвечают они. — «Хорошо, значит, по утрам ты будешь обходить каморки и собирать нашу складчину. Только без опозданий». Наклон и вращение туловища; через некоторое время наборщик уже шатается. Брюне хмурит брови: «Что еще?» Наборщик улыбается с извиняющимся видом: «Тяжеловато». — «Не останавливайся, — говорит Брюне. — Главное — не останавливайся». Туловища вращаются, как колеса, голова вверх и потом между ног, затем опять вверх и снова между ног. Довольно! Они ложатся на спину, чтобы сделать упражнения для живота, закончат задним мостиком; это их забавляет, им кажется, будто они занимаются американской борьбой. Брюне чувствует, как работают мышцы, долгая легкая боль тянет ему пах, он счастлив; это единственный хороший момент дня, черные балки потолка катятся назад, солома прыгает ему в лицо, он вдыхает ее желтый запах, его руки прикасаются к ней далеко‑далеко впереди ног. «Давайте! — подгоняет он. — Давайте!» — «Тянет», — говорит стрелок. — «Тем лучше. Давайте! Давайте!» Он встает: «Твоя очередь, Марбо!» Марбо до войны занимался американской борьбой; по профессии он массажист. Он подходит к Деврукеру, хватает его за талию; Деврукер смеется от щекотки и падает назад, запрокинув руки. Теперь очередь Брюне, он чувствует эту теплую хватку на своих боках и отбрасывается назад. «Нет, нет, — говорит Марбо. — Не сжимайся. Тут нужна гибкость, черт побери, а не сила». Брюне вытягивает бедра, раздается хруст, он слишком стар, слишком напряжен, он едва касается земли кончиками пальцев. Он встает все же довольный, он потеет, поворачивается к ним спиной и подпрыгивает на месте. «Остановитесь!» Он резко оборачивается: наборщик потерял сознание. Марбо осторожно кладет его на солому и говорит с легким упреком: «Для него это слишком тяжело». —

«Да нет, — раздраженно возражает Брюне. — Просто у него нет навыка».

Впрочем, наборщик открывает глаза. Он бледен и с трудом дышит. «Ну как, дружок?» — заботливо спрашивает Брюне. Наборщик доверчиво ему улыбается: «Порядок, Брюне, порядок. Я прошу прощения, я…» — «Ладно, ладно, — говорит Брюне, — все будет в норме, если ты будешь больше есть. На сегодня все, ребята. А теперь спортивным шагом марш в душ». В трусах, взяв под мышку одежду, они бегут к шлангу; они бросают одежду на палаточное полотно, делают из него непромокаемый сверток и принимают душ под моросящим дождем. Брюне и наборщик держат металлический наконечник и направляют струю на Марбо. Наборщик бросает на Деврукера озабоченный взгляд и, кашлянув, сообщает Брюне: «Мы хотели бы с тобой поговорить». Брюне поворачивается к нему, не выпуская наконечника; наборщик опускает глаза, Брюне слегка раздражен: он не любит внушать кому‑то страх. Он сухо говорит: «Сегодня в три часа дня, во дворе». Марбо растирается лоскутом от гимнастерки цвета хаки и одевается: «Эй, ребята, есть какие‑то новости!» Высокий чернявый человек разглагольствует среди группы пленных. «Это Шабош, секретарь, — говорит очень возбужденный Марбо. — Пойду узнаю, что там». Брюне смотрит, как он удаляется: дурак, даже не удосужился замотать обмотки: держит их по одной в каждой руке. «Как ты думаешь, что это?» — спрашивает наборщик. Он говорит равнодушным тоном, но голос его выдает: таким голосом они говорят сто раз на дню, это голос их надежды. Брюне пожимает плечами: «Может, русские высадились в Бремене, или англичане попросили перемирия: это ничего не меняет». Он неприязненно смотрит на наборщика: паренек умирает от желания присоединиться к остальным, но не смеет. Брюне не растроган его робостью: «Как только я повернусь спиной, он сбежит туда, станет перед Шабошем, вытаращив глаза, раздувая ноздри, широко открыв уши, будет внимать всеми дырками». «Полей на меня», — просит Брюне. Он снимает трусы, его плоть ликует под влажным градом, шариками града, миллион маленьких шариков плоти, сила; он растирает тело руками, глаза его устремлены на зевак;

Марбо проскользнул в середину группы, он поднимает к оратору курносый нос. Боже, если бы только они могли утратить надежду; если бы только им было что делать.

До войны работа была их пробным камнем и определяла истину и их отношение к миру. Теперь, когда они ничего не делают, они верят, что все возможно, они витают в облаках, они больше не знают, что такое реальность. Вот прогуливается троица парней, гибких и медлительных, они продвигаются длинными естественными волнообразными движениями, с бессмысленными улыбками на губах, да проснулись ли они? Время от времени с их губ, как во сне, слетает слово, и кажется, что они этого не замечают. О чем они мечтают? С утра до вечера они вырабатывают, как автотоксин, какую‑нибудь сенсацию, которой они лишены; изо дня в день они рассказывают друг другу историю, которую они перестали делать: историю, полную неожиданных развязок и крови. «Вот так». Струя опускается, пена пузырится между булыжниками, Брюне вытирается, Марбо возвращается с видом незрячим и горделивым к ним. Он с минуту топчется на месте, потом решается заговорить. Говорит он с притворным безразличием: «Скоро будут свидания». Лицо наборщика рдеет: «Что? Какие свидания?» — «Встречи с семьями». — «Неужели? — насмешливо спрашивает Брюне. — И когда же?» Марбо быстро встает и лихорадочно смотрит на него: «Сегодня». — «Конечно, — говорит Брюне. — И уже заказали двадцать тысяч кроватей, чтобы пленные могли потрахаться с женами». Деврукер смеется; наборщик не смеет не смеяться, но взгляд его становится плотоядным. Марбо спокойно улыбается: «Это точно, — говорит он. — Официально! Так сказал Шабош». — «А! Раз это сам Шабош сказал!» — продолжает язвить Брюне. — «Он говорит, что сегодня утром вывесят специальные объявления». — «Да, прямо на моей заднице», — говорит Деврукер. Брюне ему улыбается. У Марбо удивленный вид. — «Нет! Серьезно, так говорит Гартизе, а ему об этом сказал водитель немецкого грузовика, они вроде бы прибывают из Эпиналя и из Нанси». — «Кто это они?» — «Да семьи! Они приехали сюда на велосипедах, на двуколках, в товарном поезде, пришли пешком, они спали в мэрии на соломенных тюфяках и утром пошли умолять немецкого коменданта. Смотри, — говорит он. — Смотри! Вот объявление». Какой‑то человек приклеивает листок на дверь, наплыв, толпа теснится вокруг крыльца; Марбо широким жестом показывает на дверь. «Ну что? — ликующе спрашивает он, — на твоей заднице приклеено объявление? На твоей?» Деврукер пожимает плечами. Брюне медленно натягивает гимнастерку и брюки, раздраженный, что ошибся. Он говорит: «Пока, ребята. Закроете кран». И спокойно идет присоединиться к толпе, которая переминается с ноги на ногу у двери; остается надежда, что все это, как и многое другое, только утка. Брюне ненавидит маленькие незаслуженные удачи, которые время от времени приходят, чтобы одарить трусливые душонки: добавочная порция супа, посещение семей, все это осложняет работу. Издалека над головами он читает: «Комендант лагеря разрешает пленным свидания с семьями (прямые родственники). Для этого будет оборудован зал первого этажа. Посещения будут происходить — до нового приказа — в воскресенье, с четырнадцати до семнадцати часов. Они ни в коем случае не должны превышать двадцати минут. Если поведение пленных не оправдает эту исключительную меру, она будет приостановлена». Годшо поднимает голову со счастливым ревом: «Нужно отдать им должное: они не сволочи». Слева от Брюне маленький Галлуа начинает похихикивать странным полусонным смехом. — «Чему ты смеешься?» — спрашивает Брюне. — «Э! — говорит Галлуа. — Наступает. Мало‑помалу наступает». — «Что наступает?» У Галлуа смущенный вид, он делает неопределенный жест, прекращает смеяться и повторяет: «Наступает». Брюне рассекает толпу и идет по лестнице: вокруг него в сумерках первого этажа все кишит — настоящий муравейник; подняв голову, Брюне видит руки бледно‑голубого цвета на перилах и длинную спираль голубых лиц, он толкается, его толкают, он подтягивается вверх, держась за перекладины, его придавливают к перилам, которые начинают прогибаться; весь день люди поднимаются и спускаются без малейшего повода; он думает: «Ничего не поделаешь: они еще недостаточно несчастны». Они стали собственниками, рантье, казарма принадлежит им, они организуют вылазки на крышу, в погреба, они нашли в подвале книги. Конечно, в медпункте нет лекарств, и на кухне нет продуктов, но есть медпункт, есть кухня, есть секретариат и даже парикмахеры: они чувствуют, что ими руководят.

Они написали семьям, и уже два дня каждый настроен на время своего городка. Когда комендатура предписала всем перевести часы на немецкое время, они поспешили подчиниться, даже те, кто с июня в знак траура носил на руке остановившиеся часы: эта неопределенная продолжительность, которая росла, как сорняк, милитаризовалась, им одолжили немецкое время, настоящее время победителей, то же самое, что в Данциге, в Берлине: священное время. Они недостаточно несчастны: их арестовали, ими руководят, их кормят, их разместили, ими управляют, они ни за что не отвечают. Сегодня ночью был этот поезд, и вот скоро приедут семьи, привезут множество консервов и утешений. Сколько криков, плача, поцелуев! «Им это было очень необходимо; до сих пор, по крайней мере, они были непритязательны. Теперь они почувствуют, что чего‑то стоят». У их жен и матерей было время создать себе великий героический миф о Пленном, они их им заразят. Брюне поднимается на чердак, идет по коридору, входит в свою клетку и со злостью смотрит на своих товарищей. Они здесь, лежат, как обычно, они бездействуют, мечтают о своей жизни, они хорошо устроены и околпачены. Ламбер поднял брови, с недовольным и удивленным видом он читает книжку «Образцовые девочки». Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что новость еще не дошла до чердака. Брюне в нерешительности: рассказать или нет? Он представляет себе загоревшиеся глаза, их плотоядное возбуждение. «Они все равно это скоро узнают». Он молча садится. Шнейдер вышел умываться, северянин еще не вернулся, остальные удрученно уставились на него. — «Что еще случилось?» — спрашивает Брюне. Они отвечают не сразу, Мулю, понизив голос, говорит: «В шестом вши». Брюне вздрагивает и кривится. Он и без того возбужден, а теперь нервничает еще больше. Он резко говорит: «Я не хочу, чтобы они проникли сюда». Потом вдруг останавливается, закусывает нижнюю губу и неуверенно смотрит по сторонам. Никто не реагирует; лица, повернувшиеся к нему, остаются тусклыми и неопределенно сконфуженными. Гассу спрашивает: «Скажи, Брюне, что будем делать?» «Да, да, вы меня не слишком любите, но когда случается неприятность, вы идете за мной». Он более мягко отвечает: «Вы же не захотели переселиться, когда я вам это советовал…» — «Переселиться куда?» — «Есть свободные каморки. Ламбер, разве я не просил тебя посмотреть, свободна ли кухня на первом этаже?» — «Кухня! — восклицает Мулю. — Спасибо, спать на каменном полу, чтоб от этого появились колики, и потом, там полно тараканов». — «Это лучше, чем вши. Ламбер, я с тобой разговариваю! Ты там был?» — «Да». — «И что?» — «Занято». — «Конечно, надо было сходить туда неделю назад». Он чувствует, что щеки его багровеют, голос повышается, он кричит: «Здесь не будет вшей! Здесь их не будет!» — «Ладно, ладно! — говорит блондинчик. — Не горячись: это не наша вина». Но сержант в свою очередь кричит: «Он прав, что орет! Он прав! Я прошел всю войну четырнадцатого года, и у меня никогда не было вшей, и я не хочу их заиметь по вине таких молокососов, как вы, вы даже не умеете мыться!» Брюне взял себя в руки, теперь он говорит спокойным голосом: «Нужно принять срочные меры». Блондинчик ухмыляется: «Мы согласны, но какие?» — «Первое, — говорит Брюне, — вы все каждое утро будете ходить мыться. Второе: каждый вечер каждый будет искать у себя вшей». — «Что это значит?» — «Вы раздеваетесь догола, берете кители, трусы, сорочки и смотрите, нет ли в швах гнид. Если вы носите фланелевые пояса, учтите, там они преимущественно и селятся». Гассу вздыхает: «Весело!» — «Ложась спать, — продолжает Брюне, — будете вешать свои вещи на гвозди, включая сорочки: мы будем спать голыми под одеялами». — «Мать твою так! — протестует Мулю. — Но я подхвачу бронхит». Брюне живо поворачивается к нему: «Перехожу к тебе, Мулю. Ты — готовое гнездо для вшей, так продолжаться не может». — «Неправда! — верещит Мулю, задыхаясь от возмущения. — Неправда, у меня их нет». — «Очень даже может быть, что сейчас их у тебя нет, но если в радиусе двадцати километров появится хоть одна, она прыгнет именно на тебя, это так же точно, как то, что мы проиграли войну». — «С какой стати? — с недовольным видом возмущается Мулю. — Почему ко мне, а не к тебе? Не вижу причин». — «Есть одна, — говорит Брюне громовым голосом, — ты грязен, как свинья!» Мулю бросает на него злобный взгляд, он открывает рот, но все остальные уже смеются и кричат: «Он прав! Ты воняешь, ты смердишь, от тебя несет немытой шлюшкой, ты грязнуля, ты отбиваешь у меня аппетит, я не могу есть, когда смотрю на тебя». Мулю выпрямляется и оглядывает их. — «Я моюсь, — удивленно говорит он. — Может, я моюсь побольше вашего. Только я не раздеваюсь догола посреди двора, как некоторые, чтобы пофорсить». Брюне сует ему палец под нос: «Ты вчера мылся?» — «Ну естественно». — «Тогда покажи ноги». Мулю подпрыгивает до потолка: «Ты случаем не чокнутый?» Он подбирает под себя ноги и садится по‑турецки на пятки: «Еще чего, так я и покажу тебе ноги!» — «Снимите с него ботинки!» — приказывает Брюне. Ламбер и блондинчик бросаются на Мулю, опрокидывают навзничь и прижимают к полу. Гассу щекочет ему бока. Мулю дрыгается, вопит, пускает слюну, смеется, охает: «Хватит! Хватит, ребята! Не дурите! Я терпеть не могу щекотки». — «Тогда, — говорит сержант, — веди себя спокойно». Мулю затихает, его еще сотрясает дрожь; Ламбер садится ему на грудь; сержант расшнуровывает ему правый ботинок и сталкивает его, появляется нога, сержант бледнеет, роняет ботинок и быстро встает. «Какая мерзость!» — говорит он. — «Да, — повторяет Брюне, — мерзость!» Ламбер и блондинчик молча встают, они восхищенно и удивленно смотрят на Мулю, а тот, спокойный и важный, садится. Из соседней клетушки раздается сердитый голос: «Эй! Ребята из четвертой! Что вы там делаете? У вас воняет прогорклым маслом». — «Это Мулю разувается», — простодушно поясняет Ламбер. Они смотрят на ногу Мулю: из дырявого носка торчит черный большой палец. «Ты видел его подошву? — спрашивает Ламбер. — Это уже не носок, это сетка». Гассу дышит через платок. Блондинчик качает головой и повторяет с некоторым уважением: «Ну и сволочь! Ну и сволочь!» — «Хватит! — говорит Брюне. — Спрячь!» Мулю поспешно засовывает ногу в ботинок. «Мулю, — серьезно продолжает Брюне, — ты представляешь опасность для общества. Сделай одолжение, пойди прими душ, и немедленно. Если через полчаса ты не помоешься, то не получишь еды, а сегодня ночью будешь спать в другом месте». Мулю с ненавистью смотрит на него, но встает, он уже не возражает, а только говорит: «Так, значит, ты здесь командуешь?» Брюне ему не отвечает; Мулю выходит, все смеются, кроме Брюне; он думает о вшах: «В любом случае, у меня их не будет». — «Который час? — спрашивает блондинчик. — Я зверски хочу есть». — «Полдень», — отвечает сержант. — «Полдень — это время раздачи, кто сегодня в наряде?» — «Гассу». — «Давай, пошевеливайся, Гассу». — «Еще есть время», — тянет Гассу. — «Давай, пошевеливайся, когда ты в наряде, нас всегда обслуживают последними». — «Ладно!» Гассу раздраженно натягивает пилотку и выходит. Ламбер снова погружается в чтение. Брюне чувствует, как нервный зуд пробегает у него между лопаток; Ламбер, читая, чешет ляжку, блондинчик внимательно смотрит на него. — «У тебя вши?» — «Нет, — говорит Ламбер, — это просто от мнительности». — «Глянь, — признается блондинчик, — у меня тоже зудит». Он чешет шею. — «Брюне, у тебя ничего не чешется?» — «Нет», — говорит Брюне. Все молчат, блондинчик скребется, судорожно улыбаясь, Ламбер читает и почесывается; Брюне засовывает руки в карманы, но не чешется. Гассу появляется на пороге с беспокойным видом: «Вы что, надо мной смеетесь?» — «Где хлеб?» — «Какой хлеб? Чертов осел, внизу никого нет, кухня на запоре». Ламбер поднимает обеспокоенное лицо: «Что, снова начнется, как в июне?» Их суеверные слабые души всегда готовы поверить в самое худшее или в самое лучшее. Брюне поворачивается к сержанту: «Который час на твоих?» — «Десять минут первого». — «Ты уверен, что твои часы ходят?» Сержант улыбается и снова охотно смотрит на свои часы. «Это швейцарские», — просто поясняет он. Брюне кричит людям из соседней клетушки: «Который час?» — «Десять минут двенадцатого», — отвечает кто‑то. Сержант торжествует: «Что я вам сказал?» — «Ты нам сказал: десять минут первого, дурак», — злобно говорит Гассу. — «Ну да: десять минут первого по французскому времени и десять минут двенадцатого по фрицевскому». — «Болван!» — яростно выкрикивает Гассу. Он перешагивает через Ламбера и падает на одеяло. Сержант продолжает: «Не буду же я отрекаться от французского времени, когда

Франция оказалась в дерьме!» «Французского времени больше нет, идиот! От Марселя до Страсбурга фрицы заставили всех принять свое». — «Может, и так, — мирно, но упрямо говорит сержант. — Но тот, кто меня заставит сменить мое время, еще не родился на свет». Он поворачивается к Брюне и объясняет: «Когда фрицы получат хорошую трепку, все вы будете счастливы его восстановить». — «Эй! — кричит Ламбер. — Посмотрите на Мулю — прямо светский человек». Мулю возвращается розовый и свежий, с воскресным видом. Все смеются: «Ну как, Мулю, хорошая была?» — «Что?» — «Вода». — «Да, да, — рассеянно говорит Мулю, — очень хорошая». — «Прекрасно, — говорит Брюне. — Так вот, отныне ты каждое утро будешь показывать нам ноги». Мулю делает вид, что не слышит, он многозначительно и загадочно улыбается. — «Есть новости, ребята, только не падайте!» — «Что? Что? Новости? Какие новости?» Лица блестят, краснеют, расцветают, и Мулю сообщает: «Будем принимать гостей!» Брюне бесшумно встает и выходит, за его спиной кричат, он ускоряет шаг, погружается в ползучий лес лестницы, двор переполнен, люди медленно кружат под моросящим дождем; все они смотрят в середину круга, по которому бредут; во всех окнах внимательные лица: что‑то случилось. Брюне затесывается в толпу и тоже начинает кружить, но без любопытства: каждый день на этом самом месте что‑то происходит, люди останавливаются и, кажется, чего‑то ждут, другие кружат около них, Брюне кружит среди других, сержант Андре ему улыбается: «Глянь, вот и Брюне, держу пари, что он ищет Шнейдера». — «Ты его видел?» — живо спрашивает Брюне. — «Еще бы, — смеясь, отвечает Андре. — Он тебя тоже ищет». Потом поворачивается к остальным и ухмыляется: «Эти — два сапога пара, всегда вместе или гоняются друг за дружкой». Брюне улыбается: два сапога пара, почему бы и нет? Ему легко дружить со Шнейдером, потому что эта дружба не отнимает у него времени: это как знакомство на пароходе, оно ни к чему не обязывает; если они вернутся из плена, то больше никогда не увидятся. Дружба без претензий, без прав, без ответственности: так, немножко тепла под ложечкой. Он кружит, Андре молча кружит рядом с ним. В центре этого медленного водоворота находится зона абсолютного спокойствия: люди в шинелях сидят на земле или на рюкзаках. Андре мимоходом останавливает Клапо: «Что это за парни?» — «Их наказали». — «Наказали? За что?» Клапо нетерпеливо высвобождается: «Говорю тебе, наказали». Они снова начинают кружить, не спуская глаз с этих неподвижных и молчащих людей. — «Наказали! — брюзжит Андре. — В первый раз вижу наказанных. За что их наказали? Что они сделали?» Брюне сияет: Шнейдер здесь, его оттеснили к краю водоворота, и он, потирая нос, изучает группку наказанных. Брюне очень нравится эта манера Шнейдера наклонять голову набок; он с удовольствием думает: «Сейчас побеседуем». Шнейдер очень умен. Умнее, чем Брюне. Ум не так уж важен, но это делает общение приятным. Он кладет руку на плечо Шнейдера и улыбается ему; Шнейдер хмуро отвечает на его улыбку. Брюне подчас задается вопросом, испытывает ли Шнейдер удовольствие, общаясь с ним: они почти не расстаются, но если Шнейдер и испытывает симпатию к Брюне, он проявляет ее не часто.

В глубине души Брюне признателен ему за это: он ненавидит выставляемые напоказ сентименты. — «Ну как? — спрашивает Андре. — Отыскал своего Шнейдера?» Брюне смеется, Шнейдер невозмутим. Андре обращается к Шнейдеру: «Послушай! За что они наказаны?» — «Кто?» — «Эти парни». — «Они не наказаны, — поясняет Шнейдер. — Ты разве не видишь? Это эльзасцы. Гартизе в первом ряду». — «А! Вот как! — говорит Андре. — Вот оно что!» У него удовлетворенный вид, некоторое время он стоит рядом с ними, засунув руки в карманы, довольный, что теперь он в курсе дела, потом начинает волноваться: «Но почему они там?» Шнейдер пожимает плечами: «Пойди спроси у них сам». Андре медлит, потом неспешным шагом приближается к ним, изображая безразличие. Напряженные и встревоженные эльзасцы сидят прямо, вид у них неуверенный, шинели растопырены, как юбки, вид у них всех, как у эмигрантов на палубе парохода. Гартизе сидит по‑турецки, положив плашмя ладони на ляжки, на его широком лице вращаются круглые куриные глаза. — «Ну как, парни, — говорит Андре, — что нового?» Те не отвечают; озадаченное лицо Андре покачивается над их опущенными головами. — «Что нового?» Молчание. «Я думал, что есть новости, когда увидел вас вместе. Эй, Гартизе!» Гартизе поднимает голову и надменно смотрит на него. — «Чего это вы, эльзасцы, собрались вместе?» — «Нам приказали». — «А шинели, личное имущество, вам что, приказали их взять?» — «Да». — «Зачем?» — «Не знаю». Лицо Андре багровеет от возбуждения: «Но вы имеете хоть какое‑то представление, чего от вас хотят?» Гартизе не отвечает; позади него нетерпеливо переговариваются по‑эльзасски. Оскорбленный, Андре напрягается. «Ладно, — язвит он. — Зимой вы не были такими гордыми, вы не болтали на вашем наречии, а теперь, когда мы разбиты, вы уже разучились говорить по‑французски». Никто даже не смотрит на него; эльзасский язык — как протяжный и естественный шелест листвы на ветру. Андре ухмыляется, глядя на эту разномастную кучку. «Сегодня незавидно быть французом, так, парни?» — «Не волнуйся за нас, — живо откликается Гартизе, — мы здесь долго не останемся». Андре колеблется, хмурит брови, ищет жесткий ответ и не находит его. Он поворачивает назад и возвращается к Брюне: «Вот оно что». За спиной Брюне раздаются раздраженные голоса: «Зачем тебе понадобилось с ними разговаривать? Нужно было оставить их в покое, это боши». Брюне смотрит на них; бледные и раздраженные лица, прокисшее молоко: зависть. Зависть мещан, мелких торговцев, сначала они завидовали служащим, потом специалистам, получившим освобождение от мобилизации. Теперь эльзасцам. Брюне улыбается: он смотрит на эти распаленные обидой глаза, они досадуют, что они французы, и все‑таки это лучше, чем пассивное смирение; даже зависть может быть плодоносной. «Они разве что‑то тебе должны или нахамили тебе?» — «А что, нет? Я видел, как кое у кого из них было мясо в первые дни, они его жрали у нас под носом, они готовы были оставить нас подыхать с разинутыми ртами». Эльзасцы слушают; они поворачивают к французам белесые покрасневшие физиономии; вероятно, будет драка. Раздается хриплый крик: французы отхлынули назад, эльзасцы вскочили на ноги и стали по стойке смирно: на ступеньках крыльца появился немецкий офицер, долговязый и хрупкий, на некрасивом лице сидят впалые глаза. Он что‑то говорит, эльзасцы слушают, побагровевший Гартизе вытягивает шею. Французы, не понимая, тоже слушают с интересом, полным почтения. Их гнев утих: они осознают, что присутствуют на некой официальной церемонии. А церемония — это всегда лестно. Офицер говорит, время идет, этот странный, чопорный и священный язык звучит как церковная латынь; никто больше не смеет завидовать эльзасцам: они приобрели достоинство хора. Андре качает головой, офицер вещает, кто‑то говорит: «Их тарабарщина не так уж безобразна». Брюне не отвечает: это обезьяны, они не могут удержать гнев более пяти минут.

Он спрашивает Шнейдера: «О чем он?» — «Говорит, что они свободны». Голос коменданта вырывается патетическими рывками из его мрачного рта; он кричит, но глаза его не блестят. «Что он говорит?» Шнейдер тихо переводит: «Благодаря фюреру, Эльзас вернется в лоно своей матери‑родины». Брюне оборачивается к эльзасцам, но у них медлительные лица, вечно запаздывающие за чувствами. Однако двое или трое заметно покраснели. Брюне забавляется. Немецкий голос взлетает и низвергается, перепрыгивает с места на место, офицер поднял руки над головой, он отбивает ритм локтями в такт своему победоносному голосу, все растроганы, как в те минуты, когда под военную музыку проносят знамя; два кулака открываются и взмывают в воздух, люди вздрагивают, офицер вопит: «Хайль Гитлер!» У эльзасцев остолбеневший вид; Гартизе поворачивается к ним и испепеляет их взглядом, потом поворачивается к коменданту, выбрасывает руку вперед и кричит: «Хайль!» Наступает неуловимая тишина, и тут же поднимаются еще руки; Брюне невольно хватает Шнейдера за запястье и сильно сжимает его. Теперь кричат все эльзасцы. Но одни выкрикивают «Хайль» с неким энтузиазмом, а другие просто открывают рот, не издавая ни звука, как люди, которые в церкви лишь делают вид, что поют. В последнем ряду, опустив голову, засунув руки в карманы, со страдающим видом стоит какой‑то высокий малый. Потом руки опускаются, Брюне отпускает запястье Шнейдера; французы молчат, эльзасцы снова становятся по стойке смирно, лица у них цвета белого мрамора, ослепшие и глохшие под золотым ореолом их волос. Комендант отдает приказ, колонна трогается, французы расступаются, эльзасцы проходят маршем между двумя шеренгами любопытных. Брюне оборачивается, он смотрит на ошеломленные лица своих товарищей. Он хотел бы прочесть на них ярость и гнев, но видит всего лишь мерцающее желание. Вдалеке открылись решетчатые ворота, немецкий комендант стоит на крыльце и с добродушной улыбкой смотрит на удаляющуюся колонну. «Ну и дела! — говорит Ацдре. — Ну и дела!» — «Мать твою так, — бурчит какой‑то бородач, — а вот меня угораздило родиться в Ли‑може…» Андре качает головой, он повторяет «Ну и дела!» — «А что, что‑то не так?» — спрашивает у него повар Шарпен. — «Ну и дела!» — повторяет Андре. У повара веселый и оживленный вид; он спрашивает: «Послушай‑ка, если бы надо было крикнуть «Хайль Гитлер» и тебя освободили бы, ты бы крикнул? Ведь это ни к чему не обязывает. Кричишь одно, а думаешь другое». — «Я‑то? — говорит Андре. — Конечно, я бы крикнул что угодно, но они — другое дело, они — эльзасцы, у них долг по отношению к Франции». Брюне делает знак Шнейдеру; они уходят и уединяются в соседнем дворе, пока пустынном. Брюне прислоняется спиной к стене под площадкой напротив конюшен; недалеко от них на земле сидит, обвив колени руками, долговязый солдат, у него редкие волосы и заостренная голова. Но он им не мешает. У него вид деревенского дурачка. Брюне смотрит себе под ноги и говорит: «Ты видел двух эльзасских социалистов?» — «Каких социалистов?» — «Среди эльзасцев мы обнаружили двух социалистов; Деврукер вступил с ними в контакт на прошлой неделе, и они были настроены по‑боевому». — «И что?» — «Они вскинули руку вместе с остальными». Шнейдер молчит; Брюне задерживает взгляд на деревенском дурачке, у этого молодого человека точеный нос с горбинкой, нос богача; на его изысканном лице, вылепленном тридцатью годами безбедной буржуазной жизни, с хитрыми морщинками, впадинами и изгибами мыслящего существа, застыло растерянное спокойствие животного. Брюне пожимает плечами: «Все время одна и та же история: однажды соприкасаешься с человеком, он согласен; на следующий день — пшик, он меняет комнату или же делает вид, будто вовсе с тобой не знаком». Он показывает пальцем на дурачка: «Я привык работать с людьми. Но не с этим». Шнейдер улыбается: «Это работало инженером у Томпсона. Что называется, мальчик с будущим». — «Что ж, — говорит Брюне, — теперь его будущее осталось позади». — «Сколько нас реально?» — спрашивает Шнейдер. — «Говорю тебе, никак не могу точно узнать; цифра неустойчива. Ну, предположим, сотня». — «Сотня на тридцать тысяч?» — «Да, сотня на тридцать тысяч». Шнейдер задал вопрос безразличным тоном; он никак не комментирует, однако Брюне не осмеливается на него посмотреть.

«Ситуация развивается неблагоприятно, — продолжает Брюне. — Судя по тридцать шестому году, мы должны были бы сгруппировать добрую треть пленных». — «Сейчас не тридцать шестой год», — говорит Шнейдер. — «Знаю», — соглашается Брюне. Шнейдер трогает ноздрю кончиком указательного пальца: «Дело в том, что мы вербуем преимущественно крикунов. Этим объясняется нестабильность наших сторонников. Крикун не обязательно недовольный; наоборот, он рад возможности покричать. Если ты ему предложишь сделать вывод из того, что он говорит, он с тобой, естественно, согласится, согласится, чтобы ты не подумал, что он сдрейфил, но как только ты поворачиваешься к нему спиной, он превращается в пустоту: я убеждался в этом много раз». — «Я тоже», — подтверждает Брюне. — «Нужно вербовать непримиримых, — говорит Шнейдер, — всех честных людей левых взглядов, которые читали «Марианну» и «Вандреди»[[14]](#footnote-14) и верили в демократию и прогресс». — «Что ж, ты прав», — соглашается Брюне. Он смотрит на кресты на вершине холмика, на траву, отлакированную изморосью; он добавляет: «Время от времени я встречаю одинокого парня, который волочит ноги с видом выздоравливающего, я говорю себе: вот он. Но что поделаешь? Как только к ним подходишь, они пугаются. Можно подумать, они никому и ничему не доверяют». — «Это не совсем так, — говорит Шнейдер. — Думаю, скорее это от конфуза. Они знают, что их наголову разбили в этой войне и что им никогда уже не подняться». — «В глубине души, — размышляет Брюне, — они не стремятся возобновить борьбу: они предпочитают уговорить себя, что поражение непоправимо, так им более лестно». Шнейдер цедит сквозь зубы со странным видом: «А что? Это утешает». — «Что?» — «Всегда утешает, когда думаешь, что твое поражение — это поражение всего рода человеческого». — «Самоубийцы!» — с отвращением говорит Брюне. — «Возможно, — соглашается Шнейдер и тихо добавляет: — но знаешь, Франция — это именно они. Если ты их не перевоспитаешь, вся твоя деятельность бессмысленна».

Брюне поворачивает голову и смотрит на дурачка, он смотрит как завороженный на это пустое лицо. Дурачок плотоядно зевает и плачет, собака зевает, Франция зевает, Брюне зевает: он перестает зевать и, не поднимая глаз, тихо и быстро спрашивает: «Так нужно продолжать?» — «Что продолжать?» — «Работу». Шнейдер резко и неприятно смеется: «И ты это спрашиваешь у меня!» Брюне быстро поднимает голову и еще успевает заметить на толстых губах Шнейдера злорадную и горестную улыбку. Шнейдер спрашивает: «Что бы ты делал, если бы все бросил?» Улыбка исчезла, лицо снова стало гладким, тяжелым и безмятежным, мертвое море, я никогда не разберусь в этом лице. — «Что? Я бы бежал, присоединился к товарищам в Париже». — «В Париже?» Шнейдер почесывает затылок, Брюне живо спрашивает: «Ты думаешь, что там то же самое?» Шнейдер размышляет: «Если немцы вежливы…» — «Скорее всего, что да. Можешь быть уверен, они помогают слепцам переходить улицу». — «Тогда да, — говорит Шнейдер. — Да, там, вероятно, то же самое». Он резко выпрямляется и смотрит на Брюне с холодным любопытством: «На что ты надеешься?» Брюне напрягается: «Ни на что; я никогда ни на что не надеялся, плевать я хотел на надежду: просто я знаю». — «И что же ты знаешь?» — «Я знаю, что рано или поздно Советский Союз вступит в дело, — говорит Брюне, — я знаю, что он ждет своего часа, и я хочу, чтобы наши парни были наготове». — «Его час прошел. До осени Англия рухнет. Если Советский Союз не вмешался, когда еще оставалась надежда создать два фронта, почему ты думаешь, что он вмешается теперь, когда ему придется воевать в одиночку?» — «Советский Союз — страна трудящихся, — говорит Брюне. — И русские трудящиеся не допустят, чтобы европейский пролетариат остался под нацистским сапогом». — «Тогда почему они позволили Молотову подписать германо‑советский пакт?» — «В тот момент ничего другого не оставалось.

Советский Союз еще не был готов». — «А что доказывает, что сегодня он готов?» Брюне с раздражением бьет ладонью о стену: «Мы не в Коммерческом кафе, — говорит он, — я не собираюсь спорить об этом с тобой: я борец и никогда не терял времени на высокие политические материи: у меня была своя работа, и я ее делал. В остальном я доверял Центральному Комитету и Советскому Союзу; и я не намерен меняться». — «Именно это я и говорил, — грустно отвечает Шнейдер, — ты живешь надеждой». Этот умный тон выводит Брюне из себя: ему кажется, что Шнейдер притворно изображает грусть. «Шнейдер, — говорит он, не повышая голоса, — всегда есть вероятность, что Политбюро в полном составе может впасть в безумие. Но ведь также есть вероятность, что крыша этого внутреннего дворика упадет нам на голову; однако ты не посвящаешь свою жизнь наблюдению за потолком. После этого ты можешь мне сказать, если тебе угодно, что ты надеешься на Бога, или что доверяешь архитектору, все это слова; ты хорошо знаешь, что существуют естественные законы и что здания имеют привычку стоять, раз их построили в согласии с этими законами. Но тогда почему ты хочешь, чтобы я тратил время, постоянно думая о политике Советского Союза и о моем доверии Сталину? Да, я доверяю ему, доверяю Молотову, Жданову: в той же самой мере, в какой ты доверяешь прочности этих стен. Иначе говоря, я знаю, что есть исторические законы и что в силу этих законов страна трудящихся и европейский пролетариат имеют одинаковые интересы. Впрочем, я об этом думаю не часто, не чаще, чем ты думаешь о фундаменте своего дома: пол у меня под ногами, крыша у меня над головой — вот та уверенность, которая меня поддерживает, защищает и позволяет мне преследовать конкретные цели, которые ставит передо мной партия. Когда ты протягиваешь руку, чтобы взять свой котелок, твой жест сам по себе уже демонстрирует всеобщий детерминизм; со мной то же самое: малейшее из моих действий скрыто утверждает, что Советский Союз стоит в авангарде мировой революции». Он с иронией смотрит на Шнейдера и заключает: «Что ж ты хочешь? Я всего лишь борец». У Шнейдера по‑прежнему унылый вид; руки его повисли, глаза тусклы. Можно подумать, что он прячет подвижность своего ума за медлительностью своей мимики. Брюне это часто замечал: Шнейдер пытается замедлить свой ум, словно хочет укоренить в себе некий вид терпеливого и упорного мышления, которое он, без сомнения, считает уделом крестьян и солдат. Зачем? Чтобы до конца утвердиться в своей солидарности с ними? Чтобы протестовать против интеллектуалов и хозяев? Из ненависти к педантизму? «Что ж, — говорит Шнейдер, — борись, старина, борись. Только твоя деятельность здорово походит на пустую болтовню в Коммерческом кафе: мы с большим трудом завербовали сотню несчастных идеалистов и теперь рассказываем им небылицы о будущем Европы». — «Это неизбежно, — говорит Брюне, — пока они не работают, пока мне им нечего поручить; да, мы разговариваем, устанавливаем контакты. Подожди немного, когда нас перевезут в Германию, увидишь, как мы примемся за работу». — «Да, да! Я подожду, — говорит Шнейдер сонным голосом. — Я подожду: приходится только ждать. Но попы и нацисты не ждут. И их пропаганда гораздо эффективней, чем наша». Брюне устремляет взгляд в его глаза: «И что же? Куда ты клонишь?» — «Я? — удивляется Шнейдер. — Да… никуда. Мы просто толкуем о трудностях вербовки…» — «Разве я виноват, — неистово вопрошает Брюне, — что французы — прохвосты, у которых нет ни энергии, ни мужества? Разве я виноват…» Шнейдер выпрямляется и прерывает его, лицо его ожесточается, он говорит так быстро, при этом заикаясь, как будто это совсем другой человек, который решил нанести Брюне оскорбление. — «Нет… ты… Это ты негодяй! — кричит он. — Именно ты! Легко чувствовать превосходство, когда имеешь за собой партию, когда владеешь политической фразеологией и когда привык к интригам, поэтому‑то тебе так легко презирать бедных, сбитых с толку парней». Но Брюне не смущается: он просто упрекает себя за неосторожность. «Я никого не презираю, — спокойно говорит он. — А что касается товарищей, то, разумеется, я признаю для них некоторые смягчающие обстоятельства». Шнейдер его не слушает: его большие глаза вытаращены, он на пределе. И вдруг он начинает кричать: «Да, это ты виноват! Только ты!» Брюне недоуменно смотрит на него: болезненный румянец окрашивает щеки Шнейдера, это не просто гнев, скорее, это старая, давно скрываемая родовая ненависть, которая ликует оттого, что, наконец, дала себе волю. Брюне смотрит на это крупное разгневанное лицо, лицо публично исповедующегося, он думает: «Сейчас что‑то произойдет». Шнейдер хватает его за руку и показывает на бывшего инженера из компании Томпсона, продолжающего пребывать в прострации. Наступает молчание, так как Шнейдер слишком взволнован и не может продолжать; Брюне хладнокровен и невозмутим: чужой гнев его всегда успокаивает.

Он ждет; сейчас он узнает, что у Шнейдера на уме. Тот делает над собой отчаянное усилие: «Вот один из них! Один из тех негодяев, у которых нет ни энергии, ни мужества. Субъект вроде меня, вроде Мулю, похожий на всех нас, но, конечно, не на тебя. Это правда, что он стал негодяем, это правда, это настолько правда, что он и сам в этом убежден. Только я его видел в Туле в сентябре, он испытывал отвращение к войне, но он принимал на себя ответственность, потому что считал, что у него есть причина воевать, и я тебе клянусь, что это не был негодяй, и… и вот что ты из него сделал. Вы все в сговоре: Петэн с Гитлером, Гитлер со Сталиным, вот вы им совместно и объясните, что все они вдвойне виноваты: виноваты, что воевали, и виноваты, что проиграли войну. Все причины, заставившие их воевать, вы у них сейчас отнимаете. Этого бедного парня, который думал, что отправляется в крестовый поход за Право и Справедливость, вы теперь хотите убедить, что он по легкомыслию позволил вовлечь себя в империалистическую бойню: он больше не знает, чего хочет, он больше не сознает, что сделал. Не только армия его врагов торжествует победу: торжествует их идеология; он же остается здесь, он выпал из общества и истории, его идеи омертвели, он пытается защититься, вновь продумать ситуацию. Но как? Вы его глупили, вы поселили в его душе смерть». Брюне не может удержаться от смеха: «Но позволь, — спрашивает он, — кому ты это говоришь? Мне или Гитлеру?» — «Я это говорю редактору «Юманите», члену коммунистической партии, типу, который 29 августа 1939 года прославлял на двух колонках германо‑советский пакт». — «Вот мы и приехали», — говорит Брюне. — «Да, приехали», — соглашается Шнейдер. — «Коммунистическая партия была против войны, ты это прекрасно знаешь», — мирно втолковывает ему Брюне. — «Да, против войны. По крайней мере, она об этом очень громко кричала. Но в то же самое время одобряла пакт, который сделал войну неизбежной». — «Нет! — упорствует Брюне. — Пакт был нашим единственным шансом ей помешать». Шнейдер разражается смехом; Брюне молча улыбается. Шнейдер резко обрывает смех: «Да, смотри на меня, смотри же на меня; напусти на себя вид смотрителя покойницкой. Сто раз я видел, как ты наблюдал за товарищами ледяным взглядом, словно констатировал факт смерти. Что же ты констатируешь на сей раз? Что я отброс исторического процесса? Согласен. Если тебе угодно, отброс. Но не мертвый, Брюне, к несчастью, не мертвый. Я обречен жить, сознавая свое падение, но тебе никогда не понять всей переполняющей меня горечи. Это вы, механические люди, сверхчеловеки, превратили нас в отбросы». Брюне молча смотрит на Шнейдера; Шнейдер колеблется, у него суровые и испуганные глаза, кажется, сейчас у него вырвутся непоправимые слова. Вдруг он бледнеет, взгляд его туманится, он закрывает рот. Помолчав, он продолжает грубоватым, спокойным и монотонным голосом: «Ладно, хватит! Все мы в дерьме, ты, как и я, только это тебя и извиняет. Конечно, ты продолжаешь воображать себя историческим деятелем, но ты пустотел. Коммунистическая партия восстанавливается без тебя и на основах, которых ты не знаешь. Ты мог бы бежать, но ты не смеешь, так как боишься неизвестности. У тебя тоже смерть в душе». Брюне улыбается: нет, это не так. С ним так легко не справиться, эти слова не имеют к нему никакого отношения. Шнейдер молчит, его сотрясает дрожь: в конечном счете ничего не произошло. Абсолютно ничего: Шнейдер ни в чем не признался, ничего не открыл; просто он немного взвинчен, только и всего. Что касается тирады о германо‑советском пакте, то такое Брюне слышит, может быть, в сотый раз, начиная с сентября. Дурачок, видимо, понял, что говорили о нем: он медленно распрямляется и уходит на длинных паучьих конечностях, шагая боком, как испуганное животное. Кто такой Шнейдер? Буржуазный интеллектуал? Правый анархист? Не осознавший себя фашист? Фашисты тоже не хотели войны. Брюне поворачивается к Шнейдеру: он видит оборванного и растерянного солдата, которому нечего защищать, больше нечего терять и который с отсутствующим видом трет нос. Брюне думает: «Он хотел меня обидеть». Но это у него не получилось. Он тихо спрашивает: «Если ты действительно думаешь так, почему ты пошел с нами?» У Шнейдера постаревший изнуренный вид; он жалким голосом говорит: «Чтобы не остаться одному». Наступает молчание, потом Шнейдер, неуверенно улыбаясь, поднимает голову: «Нужно же что‑то делать, разве не так? Неважно что. Можно не соглашаться по некоторым вопросам…» Он замолкает. Брюне тоже молчит. Через некоторое время Шнейдер смотрит на часы: «Время посещений. Ты идешь?» — «Не знаю, — говорит Брюне. — Иди, может, я к тебе позже присоединюсь». Шнейдер смотрит на него, как будто хочет сказать что‑то еще, но отворачивается и исчезает. Инцидент исчерпан. Брюне закладывает руки за спину и гуляет по двору под моросящим дождиком; он ни о чем не думает, он чувствует себя полым и звонким, он ощущает на щеке и на руках мельчайшие брызги. Смерть в душе. Ладно. И что из того? «Все это только психология!» — с презрением говорит он себе. Потом останавливается и начинает думать о партии. Двор пуст, зыбок и сер, он пахнет воскресеньем; это изгнание. Вдруг Брюне пускается бегом и мчится в соседний двор. Парни теснятся у шлагбаума и молчат, все лица повернуты к воротам: они там, по ту сторону стен, в тех же сумерках. В первом ряду Брюне видит мощную спину Шнейдера; он пробирается поближе, кладет ему руку на плечо, Шнейдер оборачивается и приветливо ему улыбается. «А! — произносит он, — вот и ты». — «Вот и я». — «Пять минут третьего, — говорит Шнейдер, — ворота сейчас откроются». Рядом с ними молодой ефрейтор наклоняется к своему товарищу и шепчет: «Может, будут девочки». — «Мне приятно видеть гражданских, — оживленно говорит Шнейдер, — это мне напоминает воскресенье в школе». — «Ты учился в пансионе?» — «Да. Мы выстраивались в шеренгу перед приемной, чтобы побыстрее увидеть родителей». Брюне, не отвечая, улыбается: плевал он на гражданских; он доволен потому, что вокруг него парни, это его греет. Ворота со скрипом отворяются, по рядам пробегает разочарованный шепот: «И все?»

Их около тридцати: через головы Брюне видит, что они сбились в черную кучку, укрывшись под зонтами. Два немца идут им навстречу, улыбаясь, говорят с ними, проверяют документы, затем сторонятся, пропуская их. Женщины и старики, почти все в черном, похороны под дождем: они несут чемоданы, сумки, корзины, накрытые салфетками. У женщин серые липа, суровые глаза, усталый вид; они продвигаются мелкими шажками, поджав бедра, смущаясь пожирающих их взглядов.

«Проклятье! Какие же они уродины», — задыхается ефрейтор». — «Да нет, — говорит другой, — все равно есть чем заняться: посмотри на зад вон той брюнетки». Брюне с симпатией смотрит на посетительниц Конечно, они некрасивы, у них хмурый и замкнутый вид, можно полумать, что они пришли сказать мужьям: «Ты с ума сошел, как ты угодил в плен? Как же мне теперь одной управляться, да еще с ребенком?» Однако они пришли пешком или приехали в товарняках, таща тяжелые корзины с едой; именно такие неизменно приходят и ждут, неподвижные и безликие, у ворот госпиталей, казарм и тюрем: смазливые куколки с зовущим взглядом носят траур дома. На лицах этих людей Брюне с волнением обнаруживает всю предвоенную нужду и нищету; у них были тревожные, неодобряющие и преданные глаза, когда их мужья устраивали сидячую забастовку, а они приносили им супа. Пришедшие мужчины в большинстве своем крепкие, спокойные, приземистые старики. Они идут медленно, тяжело, но у них походка свободных людей: когда‑то они выиграли войну и чувствуют, что выполнили свой долг. Это поражение — не их поражение, но они все же принимают за него ответственность; они несут ее на своих широких плечах, потому что, произведя на свет ребенка, нужно платить за стекла, которые он разобьет; без гнева и стыда каждый из них пришел повидать своего сыночка, совершившего очередную глупость. На этих полукрестьянских лицах Брюне находит то, что потерял: смысл жизни. «Я с ними говорил, они не спешили понять, они слушали с тем же вдумчивым спокойствием, немного вдаваясь в мелочи; но то, что они поняли, они больше не забывали». В его сердце сызнова зарождается прежнее желание: «Работать, чувствовать на себе взрослые одобрительные взгляды». Он пожимает плечами и отворачивается от этого прошлого, он смотрит на других, на стайку невротиков с невыразительными подергивающимися лицами: «Вот мой удел». Поднявшись на цыпочки, они вытягивают шеи и следят за посетителями взглядом обезьяньим, дерзким и одновременно боязливым. Они рассчитывали, что война сделает их мужчинами, дарует им права главы семьи и ветерана войны: это был торжественный ритуал приобщения, их война должна была превзойти ту, другую, Великую Мировую, слава которой подавляла их детство; они рассчитывали, что она будет еще более великой, еще более мировой; стреляя во фрицев, они бы исполняли ритуальный завет великих отцов, с подобной мечтой вступает в жизнь каждое поколение. Но они ни в кого не выстрелили, ничего не истребили, не получилось: они так и остались несовершеннолетними, и вот здравствующие отцы проходят перед ними; они вызывают зависть, ненависть, обожание, внушающие страх, они снова погружают двадцать тысяч воинов в подспудное детство лежебок.

Вдруг один из них оборачивается и обращает лицо к пленным: у него густые черные брови и обветренное лицо, он несет на конце трости узел. Он приближается, кладет руку на железную проволоку и снизу смотрит на них большими, в красных прожилках, глазами. Под этим взглядом животного, медленным, невыразительным и суровым, пленные ждут, съежившись, затаив дыхание, собираясь сопротивляться: они ждут пары оплеух. Старик говорит: «Ну вот и вы!» Наступает молчание, потом кто‑то бормочет: «Да, отец, вот и мы». Старик вздыхает: «Вот беда‑то!» Ефрейтор откашливается и краснеет; Брюне читает на его лице то же судорожное недоверие. «Да, папаша, вот и мы: двадцать тысяч молодцов, которым хотелось стать героями и которые бесславно сдались без боя». Старик качает головой и говорит медленно и проникновенно: «Бедолаги!» Все расслабляются, улыбаются, все непроизвольно тянутся в сторону старика. Подходит немецкий часовой, он вежливо дотрагивается до руки старика, делает ему знак отойти, тот едва оборачивается: «Еще минутку, сейчас». Он заговорщицки подмигивает пленным, те улыбаются, они довольны, потому что старик сердечен и упрям, потому что он — свой, и они чувствуют себя как бы свободными. Старик спрашивает: «Не слишком тяжело?» И Брюне думает: «Ну вот, сейчас они начнут плакаться». Но двадцать голосов весело отвечают: «Нет, отец. Нет, нет, вполне терпимо». — «Ну что ж, вот и хорошо, — говорит старик. — Вот и хорошо». Ему больше нечего им сказать, но он остается на месте, грузный, каменистый, плотный; часовой осторожно тянет его за рукав, но старик колеблется, он озирает лица пленных, как будто ищет лицо своего сына; через мгновение какая‑то мысль созревает в его глазах, вид у него неуверенный, и все же он произносит грубоватым голосом: «Знаете, ребята, вы не виноваты». Пленные ничего не отвечают, они держатся напряженно, почти по стойке смирно. Старик хочет уточнить свою мысль, он продолжает: «У нас никто не думает, что это ваша вина». Пленные по‑прежнему молчат, и он говорит: «До свиданья, ребята». И после этого уходит. По толпе пробегает внезапная дрожь; все пылко кричат: «До свиданья, отец, до скорой встречи! До скорой встречи! До скорой встречи!» Их голоса крепнут по мере того, как старик удаляется, но он не оборачивается.

Шнейдер говорит Брюне: «Видишь?» Брюне вздрагивает: «А, что?» Но он прекрасно знает, что ему сейчас скажет Шнейдер. Шнейдер говорит: «Нам необходимо хоть немного доверия». Брюне улыбается и говорит: «Разве у меня действительно вид смотрителя покойницкой?» — «Нет, — отвечает Шнейдер, — сейчас — нет». Они дружелюбно смотрят друг на друга, Брюне резко отворачивается и говорит: «Посмотри на ту женщину». Она, прихрамывая, останавливается, маленькая и седая, роняет свой тюк в грязь, перекладывает в правую руку букет, который держала в левой, и поднимает руку прямо над головой. Проходит минута, можно подумать, что эта торжествующая рука, которая тянет ей плечо и шею, поднялась помимо ее воли; наконец, неуклюже размахнувшись, она бросает цветы в толпу. И они рассыпаются — полевые цветы, васильки, одуванчики, маки: должно быть, она сорвала их на обочине дороги. Пленные толкаются; они скребут землю и хватают стебли грязными пальцами; смеясь, они выпрямляются и показывают ей цветы, как бы отдавая ей этим дань уважения. У Брюне перехватило горло; он поворачивается к Шнейдеру и яростно говорит: «Цветы! А что было бы, если б мы победили!» Женщина не улыбается, она поднимает тюк и уходит, видна только ее покачивающаяся спина под непромокаемым плащом. Брюне открывает рот, чтобы заговорить, но он видит лицо Шнейдера и молчит. Шнейдер, толкая соседей, выбирается из рядов. Что случилось? Брюне следует за ним, кладет ему руку на плечо: «Что‑то не так?» Шнейдер поднимает голову, и Брюне отводит глаза, он смущен собственным взглядом, взглядом смотрителя покойницкой. Он повторяет, глядя на ноги: «А? Что‑то не так?» Они стоят одни посреди двора под мелким дождем. Шнейдер говорит: «Это тяжко». Молчание, потом он добавляет: «Тяжко снова видеть гражданских». Брюне произносит, не поднимая глаз: «Мне тоже»: — «Нет, — говорит Шнейдер, — это совсем другое; у тебя ведь никого нет». Помедлив, он расстегивает китель, роется во внутреннем кармане, вынимает оттуда странный плоский бумажник. Брюне думает: «Он все порвал». Шнейдер открывает бумажник: там только одна фотография, размером с почтовую открытку. Шнейдер, не глядя на нее, протягивает ее Брюне.

Брюне видит молодую темноглазую женщину. Она улыбается: Брюне никогда не видел подобной улыбки. Женщина выглядит так, будто отлично знает, что существуют концентрационные лагеря, войны, пленные, согнанные в казармы; она это знает и все же улыбается: всем побежденным, депортированным, пасынкам истории дарует она свою улыбку. Однако Брюне напрасно ищет в ее глазах подловатый унизительный отблеск милосердия; она улыбается им доверчиво и спокойно, она улыбается их силе, как будто просит их прощать победителей. За это время Брюне повидал немало фотографий и немало улыбок. Война всех их сделала мертвенными, на них стало невыносимо смотреть. На эту можно: улыбка родилась только что, она адресована Брюне, одному Брюне. Брюне‑пленному, Брюне‑отбросу, Брюне‑победителю. Шнейдер склонился над его плечом. Он говорит: «Она ветшает». — «Да, — соглашается Брюне, — надо подрезать края». Он возвращает фотографию, блестящую от измороси; Шнейдер старательно вытирает ее отворотом рукава и кладет в бумажник. Брюне пытается определить: «Она красива?» Он не знает, у него не было времени убедиться в этом. Он поднимает голову, смотрит на Шнейдера и думает: «Она ему улыбалась». Ему кажется, что он видит Шнейдера другими глазами. Проходят двое пленных, очень молодых, это стрелки; они воткнули маки в петлицы, они не разговаривают, у них немного комичный вид первопричастников. Шнейдер провожает их взглядом; Брюне колеблется, полузабытое слово поднимается откуда‑то из глубины, и он говорит: «По‑моему, у них трогательный вид». — «Кроме шуток?» — отзывается Шнейдер. Сзади них теснятся ряды любопытных, посетители вошли в казарму. Шагая вперевалку, появляется Деврукер в сопровождении Перрена и наборщика. «Действительно, — думает Брюне. — Сейчас три часа». У всех троих замкнутые лица; Брюне злится, что они уже переговорили между собой: этому нельзя помешать. Он издалека кричит: «Ну как, ребята?» Они подходят, останавливаются и смущенно переглядываются. «Выкладывайте, о чем толковали, — быстро говорит он. — Что не ладится?» Наборщик останавливает на нем взгляд красивых тревожных глаз; выглядит он скверно. Он говорит: «Мы всегда делали то, что ты нам поручал, так?» — «Так, — нетерпеливо подтверждает Брюне. — Да, да. И что?» Наборщик не может больше ничего добавить, вместо него, не поднимая глаз, говорит Деврукер: «Мы хотим продолжать и будет продолжать, пока ты этого требуешь. Но это пустая трата времени». Перрен говорит: «Они ничего не хотят слушать». Брюне по‑прежнему молчит, наборщик подхватывает безразличным тоном: «Как раз вчера я поссорился с одним типом, потому что я уверял его, что немцы отправят нас в Германию. Тип был сумасшедший, он сказал, что я из пятой колонны». Они поднимают глаза и упрямо смотрят на Брюне. «Представляешь себе, им даже нельзя плохого слова сказать о немцах». Деврукер собирает все свое мужество и смотрит Брюне в глаза: «Честно, Брюне, мы не отказываемся работать, если мы плохо взялись, мы готовы снова начать по‑другому. Но пойми и нас. Мы ходим повсюду. За день мы обычно успеваем поговорить с двумя сотнями человек, мы измеряем температуру лагеря, ты же поневоле видишь меньше, ты не можешь представить себе всего». — «И что дальше?» — «Дело в том настроении, в котором находятся эти парни, если завтра освободят двадцать тысяч пленных, то будет на двадцать тысяч нацистов больше». Брюне чувствует, как жар опаляет его щеки, он поочередно смотрит на них; он спрашивает: «Вы в этом уверены?» Все трое отвечают «Да», и он их спрашивает. «Все?» Они еще раз отвечают «Да», и он внезапно взрывается: «В этом скопите людей есть рабочие и крестьяне, стыдно думать, что все они станут нацистами, а если и так, то это будет по вашей вине: человек не полено, понимаете, он живой, черт возьми, и его можно убедить; если вам не удается их обратить в свою веру, значит, вы не умеете работать». Он поворачивается к ним спиной, делает три шага, потом быстро возвращается к ним, выставив палец: «Все дело в том, что вы принимаете себя за важных персон. Вы презираете своих товарищей. Так вот, запомните: член нашей партии никого не презирает». Он видит их ошеломленные липа, злится все больше и кричит: «Двадцать тысяч нацистов, да вы с ума сошли! Вы не способны их изменить, пока вы их презираете! Попытайтесь сначала их понять: у этих парней смерть в душе, они уже не знают, что делать; они будут с первым, кто в них поверит».

Присутствие Шнейдера его раздражает; он говорит ему: «Пошли!» и, уходя, оборачивается к остальным — те стоят в молчаливом смущении: «Я считаю, что вы проявили невыдержанность. И не лезьте ко мне больше со своими бреднями. До завтра». Он бегом поднимается по лестнице, Шнейдер тяжело дышит сзади; он входит в свою клетушку, падает на одеяло, протягивает руку и берет книгу: «Их сестры» Анри Лаведана. Он усердно читает, строчку за строчкой, слово за словом; он понемногу успокаивается. Когда начинает смеркаться, он откладывает книгу и вспоминает, что не ел: «Вы отложили мой хлеб?» Мулю протягивает ему хлеб, Брюне отрезает кусок, который он должен завтра отдать наборщику, кладет его в рюкзак и начинает есть; в дверном проеме появляются Кантрелль и Ливар: наступило время гостей. «Привет!» — «Привет!» — не поднимая головы, отвечают они. «Ну что? — спрашивает Мулю. — Что вы нам скажете хорошенького?» — «Среди нас появились наглецы! — говорит Ливар. — А кто будет расплачиваться? Натурально, мы». — «Ага! — восклицает Мулю. — Стало быть, есть новости?» — «Есть, — говорит Ливар, — один унтер сбежал». — «Сбежал? Почему?» — изумляется блондинчик. Все смолкают, переваривая новость, в глазах у них легкое замешательство, легкий ужас, как у людей в усталой толпе в метро, когда какой‑то сумасшедший начал неожиданно лаять. «Сбежал», — медленно повторяет Гассу. Северянин отложил палку, которую он вырезал. Он явно встревожен. Ламбер молча жует, его остановившийся взгляд мрачнеет. Немного погодя он говорит, неприятно ухмыляясь: «Всегда найдется кто‑нибудь, кто считает, что он торопится больше остальных». — «А может, — иронизирует Мулю, — он любит пешие прогулки». Брюне острием ножа выковыривает кусочки заплесневелого хлебного мякиша и роняет их на одеяло; он чувствует себя неловко. В клетушке потемнело; где‑то снаружи, в мертвом городе, прячется затравленный человек. Мы же здесь, мы едим, сегодня вечером мы ляжем спать под крышей. Он неохотно спрашивает: «Как он убежал?» Ливар значительно смотрит на него и говорит: «Угадай!» — «Но я не знаю: может, через заднюю стену?» Ливар, улыбаясь, качает головой, он медлит, потом ликующе произносит: «Через ворота, в четыре часа дня, на глазах у фрицев!» Все ошеломлены. Ливар и Кантрелль наслаждаются всеобщим изумлением, потом Кантрелль резким голосом торопливо объясняет: «Его старуха пришла повидать его и принесла ему гражданские шмотки; унтер переоделся в стенном шкафу и потом вышел, взяв ее под руку».

— «И никто его не остановил?» — «Никто». — «А я, — говорит Гассу, — если б только его узнал, когда он выходил, позвал бы фрица и засадил бы его!» Брюне недоуменно смотрит на него: «Ты что, чокнулся?» — «Чокнулся?! — запальчиво кричит Гассу. — Бедная Франция! Человека обзывают чокнутым, когда он хочет выполнить свой долг». Он обводит всех взглядом, чтобы убедиться, что его одобряют, и с горячностью продолжает: «Ты увидишь, чокнулся ли я, когда фрицы отменят посещения. А так они позволили гражданским прийти, хоть и не обязаны были это делать. Что, ребята, разве я не прав?» Мулю и Ламбер покачивают головами. Гассу суровым тоном добавляет: «Я совершенно прав! И вот теперь, когда фрицы поступили не по‑сволочному, чем мы их отблагодарили? Нагадили в протянутую руку. Они рассвирепеют и будут совершенно правы». Брюне открывает рот, собираясь назвать его негодяем, но Шнейдер бросает на него быстрый взгляд и кричит: «Гассу, ты отпетый негодяй!» Брюне молчит, он горько думает: «Он поспешил оскорбить его, чтобы помешать мне осудить его. На самом деле он не осуждает Гассу, он никогда никого не осуждает: ему просто стыдно за них передо мной; что бы ни случилось, как бы они ни поступили, он всегда будет с ними заодно». Гассу разъяренно смотрит на Шнейдера, Шнейдер отвечает ему тем же; Гассу опускает голову. «Ладно, — цедит он. — Ладно. Пусть отменят посещения; мне на это наплевать: мои‑то старики в Оранже». — «И мне! — вмешивается Мулю. — Я вообще сирота. Только надо все же думать и о товарищах». — «Действительно, — говорит Брюне. — Золотые слова, Мулю, ты ведь так тщательно моешься по утрам, чтобы твои товарищи не подхватили вшей». — «Это разные вещи, — резко говорит блондинчик. — Мулю грязнуля, я согласен, но он осточертел только нам. А тот парень готов из‑за себя посадить двадцать тысяч человек в дерьмо». — «Если немцы его поймают, — говорит Ламбер, — и сунут в каталажку, я не стану его жалеть». — «Представляешь себе, — говорит Мулю, — за шесть недель до освобождения этот господинчик дает деру. Мы ждем, а ему приспичило».

На сей раз сержант с ними согласен. «Таков уж французский характер, — вздыхая, говорит он, — потому‑то мы и проиграли войну». Брюне ухмыляется, он им говорит: «Тем не менее, вы хотели бы быть на его месте, и вам стыдно, что вы на это не решились». — «А вот и ошибаешься, — живо возражает Кантрелль, — если бы он отважился на что‑нибудь другое, неважно, на что, выстрелить во фрица, к примеру, тогда дело иное, можно было бы сказать: он баламут, горячая голова, но он смел. Но этот фрукт спокойно уходит, прикрываясь женой, как трус, это не побег, это злоупотребление доверием». Ледяная дрожь пробегает по спине Брюне, он выпрямляется и поочередно смотрит им в глаза: «Хорошо, раз так, я вас предупреждаю: завтра вечером я улизну. Посмотрим, найдется ли кто‑нибудь, чтобы выдать меня». У пленных смущенный вид, но Гассу не дает сбить себя с толку: «Мы тебя не выдадим, ты это отлично знаешь, но учти — когда я выйду отсюда, то обязательно задам тебе хорошую трёпку, потому что, если ты убежишь, это обернется против нас». — «Трёпку, — оскорбительно смеется Брюне, — трёпку, ты?» — «Да‑да! Не заносись, если нужно, мы возьмемся сообща». — «Ты поговоришь со мной об этом через десять лет, когда вернешься из Германии». Гассу хочет что‑то ответить, но Ливар прерывает его: «Не спорь с ним. Нас освободят четырнадцатого, это официальная дата». — «Официальная дата? — хохоча, переспрашивает Брюне. — Тебе так и написали?» Ливар делает вид, что отвечает не ему, он поворачивается к остальным и говорит: «Мне так не написали, и все‑таки это так». Лица в темноте сияют: радиолампы, молочно‑тусклые. Ливар смотрит на них с доброжелательной улыбкой, потом объясняет: «Это сказал Гитлер». — «Гитлер?» — повторяет опешивший Брюне. Ливар не обращает внимания на эту реплику. Он продолжает: «Не то, чтобы я его любил, этого гада: конечно, он наш враг. А что до нацизма, то я ни за, ни против: у немцев такое может прижиться, но французскому темпераменту это не подходит. Однако у Гитлера есть одно достоинство: он всегда делает то, что говорит. Он сказал: пятнадцатого июня я буду в Париже; что ж, так оно и вышло, и даже раньше».

— «Он говорил, что освободит нас?» — спрашивает Ламбер. — «Конечно. Он сказал: пятнадцатого июня я буду в Париже, а четырнадцатого июля вы будете танцевать со своими женами». Раздается робкий голос, это голос северянина: «Наверное, он сказал иначе: мы будем танцевать с вашими женами. Мы: мы, фрицы». Ливар с пренебрежением смотрит на него: «А ты при этом присутствовал?» — «Нет, — говорит северянин, — мне так сказали». Ливар ухмыляется, Брюне у него спрашивает: «А ты при этом присутствовал?» — «Естественно, присутствовал! Было это в Агено; у дружков был радиоприемник; когда я к ним зашел, Гитлер только что сказал эту фразу!» Он качает головой и охотно повторяет: «Пятнадцатого июня мы будем в Париже, а четырнадцатого июля вы будете танцевать со своими женами». — «Ага! — повторяют развеселившиеся пленные, — пятнадцатого июня в Париже, а четырнадцатого июля мы будем танцевать». Женщины, танцы. Втянув голову в плечи, запрокинув лица, хлопая ладонями о палаточное полотно, люди танцуют; пол скрипит, вращается и вальсирует под звездами между массивными утесами перекрестка Шатоден. Размякший Гассу наклоняется к Брюне и рассудительно говорит: «Понимаешь, Гитлер ведь не идиот. Скажи, зачем ему миллион пленных в Германии? Зачем ему лишний миллион ртов?» — «Чтобы заставить их работать», — отвечает Брюне. — «Работать? С немецкими рабочими? Представляю себе моральный дух фрицев, если они хотя бы малость поговорят с нами». — «На каком языке?» — «Неважно, на каком, на ломаном французском, на эсперанто: французский рабочий хитрец, человек неуживчивый и недисциплинированный, он бы в два счета научил фрицев уму‑разуму, и можешь быть уверен, что Гитлер это понимает. Уж кто‑кто, а он не идиот! Это точно! Я, как и Ливар, не люблю этого человека, но я его уважаю, а я так мало о ком могу сказать». Пленные серьезно и одобрительно кивают: «Нужно отдать ему должное: он любит свою страну». — «У этого человека есть идеал. Не наш, конечно, но тем не менее, это достойно уважения». — «Все позиции достойны уважения, лишь бы только они были искренними». — «А что за идеалы у наших депутатов? Набить себе карман, погулять с девками и тому подобное. Они оплачивают свои попойки нашими деньгами. У фрицев не так: ты платишь налоги, но ты знаешь, на что идут твои деньги. Каждый год сборщик налогов посылает тебе извещение: сударь, вы заплатили столько‑то, так вот, столько‑то пошло на лекарства для больных или столько‑то на строительство такого‑то участка автострады». — «Он не хотел с нами воевать, — говорит Мулю, — мы сами ему объявили войну». — «Даже не мы, а Даладье, и он даже не посоветовался с депутатами». — «Об этом я и говорю. Значит, ты понимаешь, он не трус; он сказал: раз вы, ребята, меня задираете, пеняйте на себя. В два счета он нам задал трёпку. Ну, хорошо. А теперь? Думаешь, он доволен, заполучив миллион пленных? Послушай, через несколько дней он нам скажет: вы мне мешаете, ребята, возвращайтесь‑ка домой. А потом он обернется против русских, и они схватятся между собой. Думаешь, его интересует Франция? Она ему не нужна. Понятное дело, он у нас отберет назад Эльзас — тут вопрос престижа. Только я тебе скажу: плевать нам на эльзасцев; я всегда их не выносил». Ливар беззвучно смеется: у него фатоватый вид «Между нами, — говорит он, — будь у нас свой Гитлер…» — «Эх, дружок! — говорит Гассу. — Гитлер и французские солдаты! Кошмар! Мы были бы сейчас в Константинополе. Потому что, — добавляет он, игриво подмигивая, — французский солдат — лучший в мире, когда им по‑настоящему командуют». Брюне думает, что Шнейдеру наверняка стыдно, он не решается на него посмотреть. Он встает, поворачивается спиной к лучшим солдатам в мире, он понимает, что ему тут больше нечего делать; он выходит. На лестничной площадке он колеблется, смотрит на лестницу, которая, извиваясь, углубляется в сумерки: в это время ворота должны быть закрыты. В первый раз он чувствует, что он пленный. Рано или поздно ему придется вернуться в свою тюрьму, лечь на пол рядом с остальными и слушать их бредни. Под ним шумит казарма, крики и пение проникают сквозь перегородки, Сзади скрипит пол, и Брюне живо оборачивается: в темном коридоре, пересекая последние отсветы дня, к нему приближается Шнейдер.

Я ему сейчас скажу: «Ну что, неужели у тебя осталась наглость их защищать!» Шнейдер уже рядом с ним, Брюне молча смотрит на него. Он облокачивается на перила; Шнейдер облокачивается рядом, Брюне говорит: «Прав Деврукер». Шнейдер не отвечает; а что он может ответить? Улыбка, красные цветы под изморосью, достаточно оказать им доверие, немного, да, конечно же, я тебе верю; он яростно повторяет: «Нечего делать! Нечего! Нечего!» Конечно, одного доверия не достаточно. Доверие к кому? Доверие к чему? Нужны страдания, страх и ненависть, нужны бунт и бойня, нужна железная дисциплина. Пусть им больше нечего будет терять, пусть для них жизнь станет хуже смерти. Оба наклоняются над мраком, пахнет пылью, Шнейдер, понизив голос, спрашивает: «Ты правда хочешь бежать?» Брюне молча смотрит на него. Шнейдер говорит: «Мне будет тебя не хватать». Брюне с горечью возражает: «Тебе будет хорошо и одному». На первом этаже люди хором поют: «Выпьем стаканчик, выпьем второй во здравие пары влюбленной», бежать, поставить крест на двадцати тысячах пленных, дать им подохнуть в дерьме, разве ты имеешь право когда‑нибудь сказать: делать больше нечего?

А если меня ждут в Париже? Он думает о Париже с отвращением, сила которого его удивляет. Он говорит: «Я не сбегу, я сказал это сгоряча». — «Если ты думаешь, что больше нечего делать…» — «Всегда есть, что делать. Нужно работать там, где находишься, и с теми средствами, которые есть под рукой. Позже все образуется». Шнейдер вздыхает, Брюне вдруг говорит: «Это ты должен был бы бежать». Шнейдер отрицательно качает головой, Брюне поясняет: «У тебя на воле жена». Шнейдер снова качает головой; Брюне спрашивает: «Но почему? Тебя ничто здесь не держит». Шнейдер отвечает: «Повсюду будет только хуже». Выпьем стаканчик, выпьем другой во здравие пары влюбленной. Брюне говорит: «Скорее бы Германия!», и в первый раз Шнейдер повторяет с некоторым стыдом: «Да. Скорее бы Германия! И к черту английского короля, объявившего нам войну». Двадцать семь человек, вагон скрипит, вдоль путей тянется канал. Мулю говорит: «А что, не так уж все и разрушено». Немцы не закрыли раздвижную дверь, свет и мухи проникают в вагон; Шнейдер, Брюне и наборщик сидят на полу у дверного проема, свесив ноги наружу, стоит прекрасный летний день. «Нет, — удовлетворенно говорит Мулю, — все не так уж и разрушено». Брюне поднимает голову: Мулю стоит рядом и с удовлетворением смотрит на проплывающие мимо поля и луга. Жарко, от пленных скверно пахнет; в глубине вагона кто‑то храпит. Брюне наклоняется и видит, как в багажном вагоне блестят над стволами ружей немецкие каски. Прекрасный летний день; все спокойно, поезд идет, канал течет, местами бомбы изрыли дорогу, вспахали поле; на дне воронок скопилась вода, в которой отражается небо. Наборщик говорит сам себе: «Не так уж трудно спрыгнуть». Шнейдер движением плеча показывает на винтовки: «Тебя подстрелят, как зайца». Наборщик не отвечает, он наклоняется, как будто собирается нырнуть; Брюне удерживает его за плечо. «Это было бы не так уж трудно», — зачарованно повторяет наборщик. Мулю гладит его по затылку: «Но ведь мы едем в Шалон». — «Это правда? Мы едем туда?» — «Ты не хуже меня видел объявление». — «Но там не было написано, что мы едем в Шалон». — «Нет, но было написано, что мы остаемся во Франции. Верно, Брюне?» Брюне медлит с ответом: это правда, позавчера на стене было вывешено объявление, подписанное комендантом: «Пленные лагеря Баккара останутся на территории Франции». Тем не менее, сейчас они в поезде, который идет неизвестно куда. Мулю настаивает: «Так правда это или неправда?» За их спинами нетерпеливо выкрикивают: «Ну да, это правда, конечно, правда! Не валяйте дурака, вы сами знаете, что это правда». Брюне бросает взгляд на наборщика и вполголоса говорит: «Это правда». Наборщик вздыхает и произносит, облегченно улыбаясь: «Любопытно, но я всегда чувствую себя как‑то странно, когда еду в поезде». Он смеется, повернувшись к Брюне: «Я, может, и ездил‑то раз двадцать за всю свою жизнь, но каждый раз это на меня действует». Он продолжает смеяться, Брюне смотрит на него и думает: «Дело дрянь».

Немного сзади, обхватив лодыжки, сидит Люсьен, он говорит: «Мои старики должны были приехать в воскресенье». Это тихий юноша в очках. Мулю поворачивается к нему: «А разве не лучше встретиться с ними дома?» — «Конечно, да, — отвечает тот, — но раз уж они должны были приехать в воскресенье, я бы предпочел, чтобы мы отправились в понедельник». Вагон возмущается: «Ишь ты какой, он хотел бы остаться там на три дня дольше; мать твою так, есть же такие, которые не знают, чего хотят; днем дольше, послушай, а почему не до рождества?» Люсьен мягко улыбается и объясняет: «Понимаете, они уже немолодые, мне жаль, что они промучаются понапрасну». — «Брось! — обрывает его Мулю. — Когда они вернутся, ты уже будешь дома». — «Хорошо бы, — говорит Люсьен, — но этого счастья мне не видать: с нашей мобилизацией фрицы протянут, по меньшей мере, неделю». — «Как знать? — говорит Мулю. — Как знать? У фрицев это может быть быстро». — «А я, — мечтает вслух Жюрассьен, — хотел бы поспеть домой к сбору лаванды». Брюне оборачивается: вагон сизый от пыли и дыма, одни стоят, другие сидят; сквозь кривые стволы ног он различает благодушные, смутно улыбающиеся лица. Жюрассьен — сурового вида толстяк с бритой головой и черной повязкой на глазу. Он сидит по‑турецки, чтобы занимать поменьше места. «Ты откуда?» — спрашивает Брюне. — «Из Маноска, раньше служил на флоте, теперь живу с женой, я не хотел бы, чтобы она собирала лаванду без меня». Наборщик неотрывно смотрит наружу, он говорит: «Давно пора». — «О чем ты?» — спрашивает Брюне. — «Давно пора нас отпустить». — «Ты так считаешь?» — «У меня была такая хандра!» — жалуется наборщик. Брюне думает «И он тоже!», но видит его горящие запавшие глаза, молчит и думает:

«Все равно скоро догадается и он». Шнейдер спрашивает: «Что это ты погрустнел?» — «Нет, ничего! — отвечает наборщик. — Уже все в порядке». Он хочет что‑то объяснить, но ему не хватает слов. Он делает извиняющееся движение и просто говорит: «Я ведь из Лиона». Брюне чувствует себя неловко, он думает: «Я совсем забыл, что он из Лиона. Вот уже два месяца я заставляю его работать и ничего о нем не знаю. Сейчас он совсем раскис, и его тянет домой». Наборщик повернулся к нему, Брюне читает в глубине его глаз нечто вроде смиренной тревоги. «Так мы и правда едем в Шалон?» — снова спрашивает он. — «Эй! Ты опять за свое?» — сердится Мулю. — «Брось! — говорит Брюне. — Даже если мы едем не в Шалон, в конце концов мы все равно вернемся». — «Только бы в Шалон, — твердит наборщик. — Только бы в Шалон». Это похоже на заклинание. — «Знаешь, — говорит он Брюне, — если бы не ты, я бы уже давно сбежал». — «Если бы не я?» — «Ну да. Раз появился ответственный партиец, я обязан был остаться». Брюне не отвечает. Он думает: «Естественно, он не сбежал из‑за меня». Но это не доставляет ему никакого удовольствия. Тот продолжает: «Сегодня я был бы в Лионе. Представляешь себе, я был мобилизован в октябре тридцать седьмого, я уже забыл свою профессию». — «Ничего, это быстро восстанавливается», — успокаивает его Люсьен. Наборщик задумчиво качает головой. «Где там! — восклицает он. — Не так уж быстро. Сами убедитесь». Он сидит неподвижно, глаза его пусты, потом говорит: «По вечерам дома у моих стариков я все начищал до блеска, я не любил сидеть сложа руки». Брюне краем глаза косится на него: он утратил опрятный и бодрый вид, слова вяло вытекают у него изо рта; пучки черной щетины как придется торчат на его похудевших щеках. Туннель пожирает головные вагоны; Брюне смотрит на черную дыру, куда врывается поезд, он быстро поворачивается к наборщику: «Если хочешь бежать, самое время». — «Что?» — переспрашивает наборщик. — «Только тебе нужно спрыгнуть, когда мы будем в туннеле». Наборщик гладит на него, и тут все вокруг чернеет. Дым попадает Брюне в рот и глаза, он кашляет. Поезд замедляет ход. «Прыгай! — кашляя, приказывает Брюне. — Да прыгай же!» Ответа нет; свет сереет сквозь дым, Брюне вытирает глаза, солнце ослепляет его; наборщик сидит на том же месте. «Ну что ж ты?» — спрашивает Брюне. Наборщик щурится и удивленно спрашивает: «А зачем? Ведь мы и так едем в Шалон».

Брюне пожимает плечами и смотрит на канал. На берегу ресторанчик, какой‑то человек пьет, сквозь грабовую аллею видна его фуражка, стакан и длинный нос. Двое других идут по берегу; на них шляпы‑канотье, они спокойно беседуют и даже не поворачиваются к поезду. — «Эй! — кричит Мулю. — Эй! Парни!» Но их уже не видно. Другое, совсем новенькое бистро под названием «Удачной рыбалки». Ржущее дребезжание механического пианино режет слух Брюне и тут же исчезает; теперь его слышат фрицы из багажного вагона. Брюне видит замок, которого фрицы еще не видят, он стоит в глубине парка, белоснежный, с двумя остроконечными башнями по бокам; в парке какая‑то девчушка с обручем в руках серьезно смотрит на состав: ее детскими глазами вся невиновная и обветшалая Франция смотрит, как их увозят. Брюне глядит на девочку и думает о Петэне; поезд катит сквозь этот взгляд, сквозь это будущее, полное прилежных игр, добрых помыслов, мелких забот, он катит к картофельным полям, фабрикам и военным заводам, к их мрачному и подлинному будущему. Пленные за спиной у Брюне машут руками: Брюне видит руки с платками во всех вагонах; но девочка не отвечает, она прижимает к себе обруч. «Могли бы и поздороваться, — говорит Андре. — В сентябре они были куда как рады, что мы уходим рисковать своей шкурой ради них». — <Это так, — соглашается Ламбер, — только вот шкура‑то наша осталась целехонькой». — «Ну и что? Разве мы виноваты? Мы французские пленные, мы имеем право на приветствие». Какой‑то старик ловит рыбу удочкой, сидя на складном стуле; он даже не поднимает головы; Жюрассьен ухмыляется: «А им все нипочем. Они живут себе помаленьку, тихо‑мирно…» — «Похоже на то», — говорит Брюне. Поезд идет через мирную жизнь: рыбаки с удочками, ресторанчики, шляпы‑канотье и такое спокойное небо. Брюне бросает взгляд назад, он видит брюзгливые, но очарованные лица. — «Старик правильно делает, — говорит Марсьяль. — Через неделю я тоже пойду на рыбалку». — «На что ты ловишь?» — «На муху». Они видят свое освобождение, они касаются его, глядя на этот почти привычный пейзаж, на эти спокойные воды. Мир, мирные заботы, сегодня вечером старик вернется с пескарями, а через неделю и мы будем свободны: доказательства под рукой, вкрадчивые и сладостные.

Брюне не по себе: неприятно знать будущее в одиночку. Он отворачивается, смотрит, как бегут шпалы параллельного пути. Он думает: «Что я могу им сказать? Они мне просто не поверят». Он думает, что должен был бы радоваться, что наконец они все поймут и он сможет работать по‑настоящему. Но он чувствует у своего плеча и руки лихорадочное тепло тела наборщика, и его охватывает мрачное отвращение, похожее на угрызения совести. Поезд замедляет ход. «Что это?» — «Ага! — хвастливо говорит Мулю. — Это стрелка. Мне ли не знать эту линию! Десять лет назад я был коммивояжером и ездил по ней каждую неделю. Увидите: скоро мы повернем налево. Направо поворот к Люневиллю и Страсбургу». — «Люневилль? — спрашивает блондинчик. — А я думал, что мы как раз должны проехать через Люневилль». — «Нет, нет, я же тебе говорю, что хорошо знаю эту линию. Возможно, пути к Люневиллю разрушены, мы проехали через Сен‑Дье, чтобы обогнуть их, теперь наверстываем». — «Направо Германия?» — тревожно спрашивает Рамелль. — «Да, да, но мы берем влево. Там Нанси, Бар‑ле‑Дюк и Шалон». Поезд замедляет ход и останавливается. Брюне оборачивается и смотрит на спутников. У всех добрые спокойные лица, некоторые улыбаются. Только Рамелль, учитель музыки, кусает нижнюю губу и с беспокойным и подавленным видом поправляет очки. Тем не менее, наступает молчание, и вдруг Мулю кричит: «Эй, курочки! Один поцелуй, милашки, один поцелуйчик!» Брюне резко оборачивается: их шестеро, в легких платьях, у них большие красные руки и полнокровные лица, все шестеро смотрят на них из‑за шлагбаума. Мулю посылает им воздушные поцелуи. Но они не улыбаются; толстая брюнетка, которая недурна собой, принимается вздыхать, вздохи вздымают ее полную грудь; остальные смотрят на них большими скорбными глазами; у всех шестерых лица кривятся, как у ребенка, готового заплакать, а в общем, у них невыразительные деревенские физиономии. — «Ну же, куколки! — взывает Мулю. — Сделайте доброе дело!» И добавляет, охваченный внезапным вдохновением: «Вы не хотите послать поцелуй парням, которых увозят в Германию?» Сзади него протестующие голоса: «Эй ты! Не каркай!» Мулю оборачивается, весьма довольный собой: «Замолчите, я им это говорю, чтобы они нам улыбнулись».

Пленные смеются, кричат: «Ну! Ну!» Брюнетка по‑прежнему смотрит на них испуганными глазами. Она неуверенно поднимает руку, прикладывает ее к отвислым губам и выбрасывает вперед механическим движением. «Крепче! — просит Мулю. — Крепче!» Его по‑немецки окликает сердитый голос; он поспешно прячет голову. — «Заткнись, — говорит Жюрассьен. — из‑за тебя закроют вагон». Мулю не отвечает, он ворчит про себя: «До чего глупые бабы в этой дыре». Состав, поскрипывая, медленно трогается, все молчат, Мулю ждет, приоткрыв рот, поезд идет, Брюне думает: «Вот подходящий момент!», резкий треск, толчок, Мулю теряет равновесие и цепляется за плечо Шнейдера, испуская победный крик: «Эй, ребята, ура! Мы едем в Нанси». Все смеются и кричат. Раздается нервный голос Рамелля: «Мы точно едем в Нанси?» — «Посмотри сам», — говорит Мулю, показывая на путь. Действительно, состав повернул налево, он описывает такую дугу, что, не наклоняясь, можно увидеть маленький локомотив. «Ну и что дальше? Это прямое сообщение?» Брюне оборачивается, лицо у Рамелля все еще землистое, его губы продолжают дрожать. «Прямое? — смеясь, спрашивает Мулю. — Ты что, считаешь, что нам устроят пересадку?» — «Нет, но я хочу знать: больше не будут переводить стрелки?» — «Будут еще дважды, — отвечает Мулю. — Один раз перед Фруаром, другой в Паньи‑сюр‑Мез. Но можешь не волноваться: мы едем налево, все время налево: на Бар‑ле‑Дюк и Шалон». — «Когда же все будет ясно?» — «Да и так все ясно». — «Но как же с переводом стрелок?» — «А! — говорит Мулю. — Ты имеешь в виду вторую? Если мы возьмем направо, значит, это Мец и Люксембург. Третья не считается: направо будет линия на Верден и Седан, там нам нечего делать». — «Значит, — шепчет Рамелль, — теперь будет вторая…» Он больше ничего не говорит, а только съеживается, подобрав колени к подбородку с потерянным и озябшим видом. — «Послушай, не трепи нам нервы заранее, — увещевает его Андре. — Там будет видно». Рамелль не отвечает; в вагоне воцаряется гнетущая тишина; все лица невыразительны, но немного искажены.

Брюне слышит переливчатый звук губной гармошки; Андре подскакивает: «Нет! Не надо музыки!» — «Что, я не имею права поиграть на губной гармошке?» — говорит кто‑то в глубине вагона. — «Не надо музыки!» Молчание. Поезд тихо набирает скорость; он проходит по мосту. «Кончился канал», — вздыхает наборщик. Шнейдер сидя спит, голова его раскачивается из стороны в сторону. Брюне скучает, он смотрит на поля, голова у него пуста; вскоре поезд замедляет ход, и Рамелль выпрямляется, глаза его растеряны: «Что это?» — «Не дергайся, — говорит Мулю. — Это Нанси». Над вагоном вокзальный навес, рядом стена. Над короткой стеной карниз из белого камня; над карнизом железная балюстрада с просветами. «Наверху улица», — говорит Мулю. Брюне вдруг чувствует, как его придавило огромной тяжестью. Люди наклоняются, опираясь на него; в вагон врываются крупные хлопья дыма, Брюне кашляет. «Посмотрите на парня наверху», — говорит Марсьяль. Брюне пытается откинуться назад, но чувствует, как ему упираются в голову, как чьи‑то руки давят ему на плечи; действительно, склонившись над балюстрадой, стоит какой‑то мужчина. Сквозь перекладины виден его черный пиджак и брюки в полоску. Он держит кожаный портфель; ему лет сорок. «Привет!» — кричит Марсьяль. — «Здравствуйте», — откликается мужчина. У него на худом и суровом лице ухоженные усы, ясные, светлые голубые глаза. «Привет! Привет!» — выкрикивают пленные. — «Ну как, — спрашивает Мулю, — как дела в Нанси? Много разрушений?» — «Нет», — отвечает мужчина. — «Вот и хорошо, — говорит Мулю. — Вот и хорошо». Мужчина не отвечает. Он пристально, с любопытством смотрит на них. «Жизнь наладилась?» — спрашивает Жюрассьен. В этот момент свистит локомотив, и мужчина прикладывает козырьком руку к уху и кричит: «Что?» Жюрассьен делает жесты над головой Брюне, чтобы объяснить, что он не может кричать слишком громко; Люсьен говорит ему: «Спроси у него о пленных в Нанси». — «Что, пленные?» — «Знает ли он что‑нибудь о пленных». — «Подожди, — говорит Мулю, — мы друг друга не слышим». — «Быстрее спрашивай, поезд сейчас тронется». Свист оборвался. Мулю кричит: «Как дела тут у вас? Наладились?» — «Какое там! — отвечает мужчина. — Ведь в городе полно немцев!» — «А кинотеатры хоть открылись?» — любопытствует Марсьяль. — «Что?» — переспрашивает мужчина. — «Сучий потрох! — возмущается Люсьен. — Меня уже тошнит от твоих кинотеатров, оставь в покое кинотеатры, дай мне поговорить». И он на одном дыхании добавляет: «А как пленные?» — «Какие пленные?» — спрашивает мужчина. — «Здесь не было пленных?» — «Были, но больше их нет». — «Куда они уехали?» — кричит Мулю. Мужчина смотрит на него немного удивленно: «В Германию, куда же еще?» — «Эй, вы там! — увещевает Брюне. — Не толкайтесь!» Он двумя руками упирается в пол; люди давят на него и все вместе кричат: «В Германию? Ты что, рехнулся? Ты хочешь сказать в Шалон? В Германию? Кто тебе сказал, что они уехали в Германию?» Мужчина не отвечает, он спокойно смотрит на них. «Замолчите, ребята! — призывает Жюрассьен. — Не кричите хором». Все умолкают, и Жюрассьен кричит: «Откуда вы это знаете?» Раздается злобный выкрик: немецкий часовой с примкнутым к винтовке штыком спрыгивает с товарного вагона и бросается к ним. Это совсем еще молодой парень, багровый от гнева, хриплым голосом он очень быстро кричит что‑то по‑немецки. Брюне вдруг чувствует, что освободился от огромного натиска, должно быть, люди поспешно сели снова. Часовой умолкает, он стоит перед ними, прижав винтовку к ноге. Мужчина не уходит, он смотрит, склонившись над балюстрадой; Брюне угадывает в сумерках вагона лихорадочные, чего‑то ждущие глаза. «Что за чушь! — шепчет Люсьен позади него. — Это просто чушь». Мужчина стоит неподвижно, молчаливый и бесполезный, однако полный тайной осведомленности. Локомотив свистит, вихрь дыма врывается в вагон, поезд трогается и набирает ход. Брюне кашляет; часовой ждет, когда багажный вагон приблизится к нему, бросает в него винтовку; Брюне видит две пары рук, которые выглядывают из серо‑зеленых рукавов, они хватают его за плечи и поднимают в вагон. «Прежде всего, что он может знать, этот мудак? Что он может об этом знать? Если они и уехали, он просто видел, как они уезжают, вот и все». Гневные голоса взрываются за спиной Брюне, Брюне молча улыбается. — «Он это предполагает, вот и все, — говорит Рамелль. — Он только предполагает, что они уехали в Германию». Поезд наращивает скорость, он проходит вдоль больших пустынных перронов, Брюне читает на вывеске: «Выход. Подземный переход». Поезд идет. Вокзал мертв. У плеча Брюне подрагивает плечо наборщика. Его вдруг прорвало: «Сволочь он — говорить такое, если сам точно не знает!» — «Правильно, — соглашается Марсьяль. — Чертова гнида!» — «И еще какая! — подхватывает Мулю. — Так не делают. Нужно быть полным болваном…» — «Болваном? — повторяет Жюрассьен. — А ты его видел? Уж поверь мне, этот тип неглуп. Он прекрасно знает, что говорит». — «Что ты имеешь в виду?» Брюне оборачивается, Жюрассьен зло ухмыляется. «Да он из пятой колонны», — говорит он. — «Слушайте, ребята, — вмешивается Ламбер, — а вдруг он прав?» — «Заткнись, выблядок! Если ты хочешь ехать к фрицам, езжай добровольцем, но не трепи нервы другим». — «И потом, мать твою так, мы все узнаем по переводу стрелок», — говорит Мулю. — «А когда перевод? — спрашивает Рамелль. Лицо у него позеленело; он похлопывает пальцами по шинели. — «Через пятнадцать‑двадцать минут». Молчание, все ждут. У них суровые лица, остановившиеся взгляды, такими Брюне не видел их со времен поражения. Все погружается в тишину, слышен только скрежет вагонов. Жарко. Брюне хотел бы снять китель, но не может, он зажат между стеной и наборщиком. Капли пота стекают у него по шее. Наборщик говорит, не глядя на него: «Эй! Брюне!» — «Чего?» — «Ты смеялся надо мной, когда предложил мне спрыгнуть?» — «Вовсе нет», — отвечает Брюне. Наборщик поворачивает к нему прелестное детское лицо, которое не состарилось, несмотря на морщины, грязь и отросшую бороду. Он говорит: «Я не смогу быть в Германии». Брюне не отвечает. Наборщик повторяет: «Я не смогу там быть. Я там сдохну».

Брюне пожимает плечами и говорит: «Ты будешь делать то же, что и все». — «Но там все передохнут! — кричит наборщик. — Все, все, все!» Брюне освобождает руку и кладет ему на плечо. «Не психуй, старина», — сердечно говорит он. Тот дрожит. Брюне продолжает: «Если ты будешь так кричать, то нагонишь страх на товарищей». Наборщик глотает слюну, у него послушный вид. Он говорит: «Ты прав, Брюне». Он отчаянно и бессильно машет рукой и грустно добавляет. «Ты всегда прав». Брюне улыбается ему. Немного позже наборщик тихо продолжает: «Значит, ты не шутил?» — «Когда?» — «Когда ты мне сказал, чтобы я спрыгнул?» — «А! Не думай больше об этом», — говорит Брюне. — «А если бы я спрыгнул, ты бы на меня рассердился?» Брюне смотрит на сверкающие стволы ружей, которые торчат из багажного вагона. Он говорит: «Не делай глупостей, тебя тут же укокошат». — «Дай мне рискнуть, — шепчет наборщик. — Дай мне рискнуть». — «Сейчас не время.‑.» — «Неважно, я все равно сдохну, если попаду туда. Подыхать так подыхать…» Брюне не отвечает; наборщик настаивает: «Скажи мне одно: ты на меня рассердишься?» Брюне все еще смотрит на ружья и отвечает медленно и холодно: «Да. Я на тебя рассержусь, и я тебе это запрещаю». Наборщик опускает голову, Брюне видит, как дрожит его челюсть. «Ну и подлец же ты», — внезапно вмешивается Шнейдер. Брюне поворачивает голову: Шнейдер сурово смотрит на него. Брюне не отвечает и прижимается к стойке; он хотел бы сказать Шнейдеру: «Если я ему разрешу, его убьют, разве ты не понимаешь?» Но он не может этого сделать, потому что наборщик его слышит; у него неприятное чувство, что Шнейдер его осуждает. Он думает: «Это глупо». Брюне смотрит на тощую шею наборщика и думает: «А если он там и вправду сдохнет? Вот гадство! Я уже больше не тот». Поезд притормаживает: перевод стрелок. Все точно знают, что это перевод, но молчат. Поезд останавливается, тишина. Брюне поднимает голову. Склонившийся над ним Мулю смотрит на путь, открыв рот; он бледен. Из травы на насыпи несется стрекотанье кузнечиков. Три немца спрыгивают на рельсы, чтобы размять ноги; смеясь, они проходят мимо вагона.

Поезд трогается; немцы поворачивают и бегут догонять багажный вагон. Мулю издает вопль: «Налево, ребята! Мы идем налево!» Вагон дрожит и скрипит, кажется, что он сейчас оторвется от рельсов. Брюне снова чувствует тяжесть десятка тел, навалившихся на него. Все вопят: «Налево! Налево! Мы едем в Шалон!» Из дверей других вагонов высовываются черные от дыма радостные лица. Андре кричит: «Эй, Шабо! Мы едем в Шалон!» И Шабо, свесившись из четвертого вагона, смеется и орет: «Порядок, ребята, порядок!» Все смеются. Брюне слышит голос Гассу: «Оказывается, они боялись, как и мы». — «Видите, ребята! — говорит Жюрассьен. — Тот тип был из пятой колонны». Брюне смотрит на наборщика. Тот ничего не говорит, он все еще дрожит, по его левой щеке катится слеза, прочерчивая полосу через налет угольной пыли и грязи. Кто‑то снова начинает наигрывать на губной гармошке, другой поет в такт мелодии: «Мой солдатик, я тебе останусь верной». Брюне охватывает страшная грусть, он смотрит на бегущие рельсы, и ему хочется спрыгнуть. Вагон ликует, весь поезд поет. Совсем как довоенные поезда‑сюрпризы. Брюне думает: «Сюрприз будет в конце». Наборщик испускает глубокий вздох облегчения и радости. Он верещит: «А‑ля‑ля, а‑ля‑ля!» Потом хитро смотрит на Брюне и говорит: «А ты‑то думал, что мы едем в Германию». Брюне немного напрягается, он чувствует, что задет его авторитет; но он ничего не отвечает. У наборщика благодушное настроение, он живо добавляет: «Каждый может ошибаться, я ведь тоже думал, как и ты». Брюне молчит, наборщик посвистывает; немного погодя он говорит: «Я ее предупрежу перед тем, как приеду сам». — «Кого это?» — спрашивает Брюне. — «Мою девочку, — отвечает наборщик. — Иначе она упадет в обморок». — «У тебя есть девочка? В твоем‑то возрасте?» — «Конечно. Если б не война, мы бы уже поженились». — «Сколько же ей лет?» — спрашивает Брюне. — «Восемнадцать». — «Ты с ней познакомился через партию?» — «Н‑нет. На балу». — «Она думает, как и ты?» — «О чем?» — «Обо всем». — «Я не знаю, что она думает. По правде говоря, мне кажется, что она ни о чем не думает: она еще ребенок. Но она славная и работящая, и потом… у нее такая фигура!» Он немного мечтает, потом говорит: «Может, это и нагнало на меня хандру. Я скучаю по ней. А у тебя есть подруга, Брюне?» — «У меня на это нет времени», — отвечает Брюне. — «Тогда как же ты обходишься?» — Брюне улыбается: «Иногда случается, но так, мимоходом». — «Я бы так жить не смог, — говорит наборщик. — Разве ты не хочешь иметь свой дом, свою женушку?» — «Этого у меня не будет никогда». — «Неужели?» — изумляется наборщик. Он смущен и, как бы извиняясь, говорит: «Мне много не нужно, ей тоже. Три стула да койка». Улыбаясь своим мыслям, он добавляет: «Не будь этой войны, мы были бы так счастливы…» Брюне злится и неприязненно смотрит на наборщика; на этом лице, столь выразительном из‑за худобы, он читает плотоядное желание счастья. Он тихо говорит: «Эта война началась не случайно. И ты хорошо знаешь, что нельзя счастливо жить, будучи угнетенным». — «Да ну! — продолжает наборщик, — мы бы устроили себе уютную норку…» Брюне повышает голос и сухо спрашивает: «Но тогда почему ты коммунист? Коммунисты созданы не для того, чтобы прозябать в норках». — «Я в партии ради других, — отвечает наборщик. — В нашем квартале столько нищеты, и я хотел, чтоб это изменилось». — «Когда вступаешь в партию, кроме нее не существует больше ничего, — говорит Брюне. — Ты должен был бы понимать, какие обязательства ты на себя берешь». — «Но я и так понимаю, — тихо отвечает наборщик. — Разве я когда‑нибудь отказывался делать то, о чем ты просил? Только когда я трахаюсь, партия не должна стоять надо мной со свечкой. Бывают обстоятельства, когда…» Он смотрит на Брюне и осекается. Брюне ничего не говорит, он думает: «Он так рассуждает, потому что думает, что я ошибся. Я обязан быть непогрешимым». Становится жарче, пот пропитывает его гимнастерку, солнце бьет ему прямо в лицо: нужно выяснить, зачем все эти молодые люди вступили в компартию: если из‑за великих идей, то неизбежен момент сомнений и колебаний.

А я, зачем я в нее вступил! Но, право, это было так давно, что уже не имеет значения, я коммунист, потому что я коммунист, вот и все. Он высвобождает правую руку, утирает пот, осевший на бровях, смотрит на часы: половина пятого. С этими объездами мы не скоро доберемся до Ша‑лона. Сегодня ночью фрицы, наверное, запрут вагоны, и мы заночуем на запасных путях. Зевая, Брюне говорит: «Шнейдер, почему ты молчишь?» — «А что, по‑твоему, я должен сказать?» — спрашивает Шнейдер. Брюне снова зевает, он глядит на убегающие рельсы, бледное лицо смеется между шпал: ха, ха, ха, голова его падает, но он тут же просыпается, у него болят глаза, он отклоняется назад, чтобы укрыться от солнечных лучей, кто‑то произнес:

«Смертный приговор», его голова опять падает, он вдругорядь просыпается и подносит руку к мокрому подбородку: «Я пустил слюну, наверно, я срал, разинув рот»; он испытывает отвращение к самому себе. «Вылей!» Ему протягивают банку из‑под мясных консервов, она совсем теплая, он говорит: «Что это? А! Ясно». Он ее опоражнивает, желтая жидкость льется на пути. «Эй! Осторожней! Передай ее быстро сюда!» Он, не оборачиваясь, протягивает банку, у него берут ее из рук, он хочет снова уснуть, но его хлопают по плечу; он снова берет банку и выливает. «Дай мне», — просит наборщик. Брюне протягивает банку с трудом встающему наборщику, вытирает влажные пальцы о китель; вскоре над его головой опрокидывают жестяную банку, желтая жидкость льется, рассыпается белыми каплями. Наборщик снова садится, вытирая пальцы. Брюне кладет голову ему на плечо, он слышит звуки губной гармошки и видит заросший цветами обширный сад, он засыпает. Его будит толчок, он вскрикивает. «А?» Поезд остановился в поле. «А?» — «Ничего, — говорит Мулю. — Можешь снова соснуть: это Паньи‑сюр‑Мез». Брюне оборачивается, все спокойно, люди привыкли к своей радости, одни играют в карты, другие поют, третьи, молчаливые и завороженные, мечтают о разных разностях, их глаза полны воспоминаний, которым они, наконец, дают волю; никто не придает значения неожиданной стоянке. Брюне окончательно засыпает, ему снится странная долина, где обнаженные и тощие, как скелеты, люди с седыми бородами сидят вокруг большого костра; когда он просыпается, солнце заходит за линию горизонта, а небо стало сиреневым, две коровы бредут по лугу, состав все еще стоит, люди поют, на насыпи немецкие солдаты рвут цветы.

Один плотный низенький крепыш приближается к пленным с маргариткой в зубах, он улыбается им во весь рот. Мулю, Андре и Марсьяль улыбаются ему в ответ. Немец и французы некоторое время, улыбаясь, глазеют друг на друга, и вдруг Мулю обращается к нему: «Cigaretten. Bitte schоn Cigaretten[[15]](#footnote-15)». Солдат колеблется и поворачивается к насыпи; там торчат зады трех его наклонившихся товарищей; он поспешно роется в кармане и бросает пачку сигарет в вагон; Брюне слышит за спиной быструю возню, некурящий Рамелль вскакивает и, осклабясь, кричит: «Danke schon!»[[16]](#footnote-16) Маленький крепыш жестом призывает его замолчать. Мулю просит Шнейдера: «Спроси у него, куда мы едем». Шнейдер говорит с солдатом по‑немецки, тот, улыбаясь, что‑то отвечает; немцы перестали рвать цветы и приближаются, каждый держит букет в левой руке цветами вниз; это сержант и два солдата, у них развеселый вид, смеясь, они вмешиваются в разговор. «Что они говорят?» — спрашивает Мулю, тоже улыбаясь. — «Подожди немного, — нетерпеливо останавливает его Шнейдер. — Дай мне понять». Солдаты о чем‑то шутят и неторопливо возвращаются к багажному вагону, сержант останавливается помочиться у оси вагона, расставив ноги, он расстегивает ширинку, бросает взгляд на своих товарищей, и пока те стоят к нему спиной, бросает в вагон пачку сигарет. «Ха! — восклицает Марсьяль со счастливым хрипом. — Не такие уж они подлецы». — «Это потому, что нас освобождают, — говорит Жюрассьен, — они хотят оставить о себе добрую память». — «Может, и так, — мечтательно отзывается Марсьяль. — Но на самом деле то, что они делают, просто пропаганда». — «Что они сказали?» — снова спрашивает Мулю. Шнейдер не отвечает, у него странный вид. «Так что они сказали?» — повторяет Андре. Шнейдер с трудом глотает слюну и говорит: «Они из Ганновера, воевали в Бельгии». — «Они сказали, куда мы едем?» Шнейдер разводит руками, виновато улыбается и говорит: «В Трев». — «Трев… — говорит Мулю. — Где это?» — «В Палатинате», — отвечает Шнейдер. Наступает неопределенное молчание, потом Мулю говорит: «Трев у фрицев? Они тебя разыграли».

Шнейдер молчит. Мулю со спокойной уверенностью говорит: «К фрицам не едут через Бар‑ле‑Дюк». Шнейдер не отвечает, Андре небрежно спрашивает: «Так они пошутили или как?» — «Ты прекрасно видел, что они шутили, — говорит Люсьен. — Они смеялись». — «Они не шутили, когда мне так ответили», — неохотно возражает Шнейдер. — «Ты не слышал, что сказал Мулю? — гневно спрашивает Марсьяль. — Если едут к фрицам, то не проезжают через Бар‑ле‑Дюк. Кто ж так едет?» — «Мы и не едем через Бар‑ле‑Дюк, — говорит Шнейдер, — мы берем направо». Мулю начинает смеяться: «Ну, нет! Как‑нибудь я знаю эту дорогу получше тебя. Направо Верден и Седан. Если все время ехать направо, можно попасть в Бельгию, но только не в Германию!» Он оборачивается к остальным с успокаивающим видом: «Я же вам сказал, что ездил по этим местам каждую неделю. Иногда дважды в неделю. Иногда дважды в неделю!» — добавляет он убежденно. — «Конечно, — говорят вокруг. — Конечно, он не может ошибиться». — «Мы едем через Люксембург», — поясняет Шнейдер. Он говорит через силу, у Брюне создается впечатление, что он хочет, наконец, втолковать им правду, он бледен и ни на кого не глядит. Андре подходит вплотную к Шнейдеру и кричит ему прямо в лицо: «Но почему они сделали этот объезд? Почему?» Сзади кричат: «Почему? Почему? Ведь это глупо! Почему? Тогда нужно было просто ехать через Люневилль». Шнейдер краснеет, он оборачивается к возбужденным товарищам: «Я ничего об этом не знаю! Я ничего об этом не знаю! Ничего! — гневно кричит он. — Возможно, пути повреждены, или другие линии забиты немецкими эшелонами, не заставляйте меня говорить больше того, что я знаю, и думайте, что хотите». Чей‑то пронзительный голос перекрывает все остальные: «Не стоит волноваться, ребята, скоро все узнаем». И все повторяют: «Это правда, поживем — увидим, не стоит зазря портить себе кровь». Шнейдер садится; из предпоследнего вагона показывается кучерявая голова, молодой голос окликает их: «Эй! Ребята! Вам сказали, куда мы едем?» — «Что он говорит?» — «Он спрашивает, куда мы едем».

В вагоне хохочут: «Вовремя он всполошился, у него нюх, самое время об этом спрашивать». Мулю наклоняется, приставив рупором руки ко рту, и кричит: «В мою задницу!» Голова исчезает. Все смеются, потом смех утихает; Жюрассьен говорит: «Сыграем, ребятки? Все лучше, чем гадать на кофейной гуще». — «Давай», — отвечают ему. Пленные садятся по‑турецки вокруг свернутой вчетверо шинели, Жюрассьен собрал карты, он сдает. Рамелль молча грызет ногти; губная гармошка играет вальс; стоящий у внутренней стенки пленный задумчиво курит немецкую сигарету.

Он отрешенно говорит: «Приятно курнуть». Шнейдер поворачивается к Брюне и виновато сознается: «Я не мог им соврать». Брюне, не отвечая, пожимает плечами, Шнейдер повторяет: «Нет, я не мог». — «Это ничего не дало бы, — отвечает Брюне, — так или иначе, они сами об этом скоро узнают». Он отдает себе отчет, что откликается слишком вяло; он злится на Шнейдера из‑за остальных. Шнейдер со странным видом смотрит на него и говорит: «Жалко, что ты не знаешь немецкого». — «Почему?» — удивляется Брюне. — «Потому что ты рад был бы сообщить им сам». — «Ошибаешься», — устало отвечает Брюне. — «Ты ведь так желал этого отъезда в Германию», — напоминает Шнейдер. — «Что ж, это правда, — признает Брюне, — я его желал». Наборщик снова начинает дрожать, Брюне обнимает его за плечи и неуклюже прижимает к себе. Кивком головы он показывает на него Шнейдеру и говорит: «Замолчи». Шнейдер смотрит на Брюне, удивленно улыбаясь; он как будто хочет сказать: «С каких это пор ты стараешься щадить людей?» Брюне отворачивается, но снова видит молодое алчущее лицо наборщика. Тот смотрит на него, губы его шевелятся, на его помрачневшем лице таращатся большие ласковые глаза. Брюне собирается ему сказать: «Вот видишь, разве я ошибся?» Но ничего не говорит, а только, насвистывая, смотрит на свои свесившиеся над неподвижными рельсами ноги; солнце заходит, стало прохладней; мальчишка погоняет коров палкой, они сначала бегут, но потом успокаиваются и величественно удаляются по дороге; мальчик возвращается домой, коровы возвращаются в стойло: какое страдание.

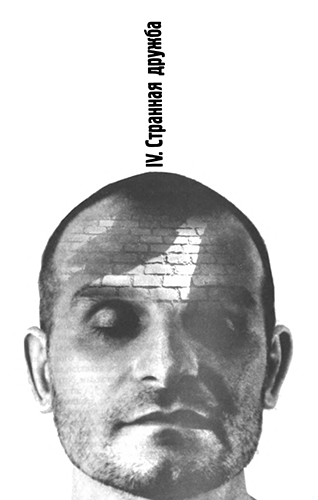
Очень далеко над полем кружат черные птицы: еще не все мертвые похоронены. Брюне больше не знает, его ли это тревога или тревога других; он оборачивается и внимательно смотрит на пленных: серые и рассеянные лица почти спокойны, он узнает отрешенный вид толпы, готовой заполыхать яростью. Он думает: «Хорошо. Очень хорошо». Однако особой радости он не испытывает. Поезд трогается, но через несколько минут опять останавливается. Высунувшись из вагона, Мулю изучает горизонт и говорит: «Стрелки в ста метрах». — «Ты что, не понимаешь, — говорит Гассу, — они оставят нас здесь до завтра?» — «Настроение к тому времени будет еще похлеще!» — замечает Андре. Брюне всей своей сутью чувствует тягостную неподвижность вагона. Кто‑то говорит: «Это уже психическая война начинается». Сухой треск пробегает по вагону, это чей‑то смех. Но он тут же угасает; Брюне слышит невозмутимый голос Жюрассьена: «Козырь и козырь!», он чувствует толчок, оборачивается: рука Жюрассьена, держащая червонный туз, застыла в воздухе, поезд пошел снова; Мулю поджидает. Вскоре эшелон понемногу набирает скорость, затем два рельса вылетают из‑под колес, две параллельные молнии, которые сейчас затеряются слева среди полей. «Сволочи! — кричит Мулю. — Сволочи! Сволочи!» Люди молчат: они все поняли; Жюрассьен роняет туза на шинель и разглаживает складку; поезд лихо катит с небольшой равномерной одышкой под заходящим солнцем, лицо Шнейдера краснеет, становится зябко. Брюне смотрит на наборщика и резко хватает его за плечи: «Не делай глупостей, понял? Не делай глупостей, паренек!» Щуплое тело корчится под его пальцами, он их сжимает сильнее, тело расслабляется, Брюне думает: «Я его буду держать до ночи». На ночь фрицы запирают вагон, а к утру он успокоится. Поезд идет под сиреневым небом в абсолютной тишине; сейчас они уже знают, знают во всех вагонах. Наборщик забылся, как женщина, на плече Брюне. Брюне думает: «Имею ли я право мешать ему спрыгнуть?» Но он не перестает сжимать плечи наборщика. Смех за его спиной, голос: «А моя‑то еще хотела ребенка! Нужно ей написать, чтоб на нее влез сосед». Общий смех. Брюне думает: «Они смеются с горя». Смех заполнил вагон, гнев возрастает; насмешливый голос повторяет: «Какими же мы были идиотами! Какими идиотами!» Картофельное поле, сталелитейные заводы, шахты, каторжные работы: по какому праву?

А по какому праву он его удерживает? «Какими же мы были идиотами!» — повторяет кто‑то. Гнев переходит от одного к другому, нагнетается. Брюне чувствует, как под его пальцами покачиваются худые плечи, перекатываются мягкие мышцы, он думает: «Он не сможет этого перенести». По какому праву он его держит? Тем не менее, он сжимает его еще сильнее, наборщик говорит: «Ты мне делаешь больно!» Брюне не ослабляет хватки: это жизнь коммуниста, пока он жив, она принадлежит нам. Он смотрит на эту беличью мордочку: пока он жив, да, но жив ли он? Он кончен, пружина сломалась, он больше не сможет работать. «Отпусти меня! — кричит наборщик. — Черт побери, отпусти меня!» Брюне осознает собственную нелепость; он держит в руках эту оболочку: партийца, который больше не сможет служить партии. Он хотел бы поговорить с ним, переубедить его, помочь ему, но не может: его слова принадлежат партии, это она придала им смысл; внутри партии Брюне может любить, убеждать и утешать. Наборщик же выпал из этой огромной световой зоны, Брюне больше нечего ему сказать. Однако этот паренек еще страдает. Подыхать так подыхать… Эх! Пусть он решится! Если он выкарабкается, тем лучше для него; если нет, его смерть принесет пользу партии. Вагон смеется все громче; поезд движется медленно; кажется, он вот‑вот остановится; наборщик неестественным голосом говорит: «Передай мне банку, мне нужно отлить». Брюне не отвечает, он смотрит на наборщика и видит смерть. Смерть, эту свободу. «Черт возьми, — говорит наборщик, — ты что, не можешь передать мне банку? Ты хочешь, чтобы я напрудил в штаны?» Брюне оборачивается, кричит: «Банку!» Из темноты, светящейся гневом, появляется рука и протягивает ему банку, поезд притормаживает, Брюне колеблется, он впивается пальцами в плечо наборщика, потом вдруг отпускает, берет банку, какими же мы все‑таки были идиотами, какими идиотами! Пленные перестают смеяться. Брюне чувствует жесткое царапанье у локтя, наборщик поднырнул ему под руку, Брюне протягивает руку, но хватает пустоту: серая масса, согнувшись пополам, опрокинулась, тяжелый полет, Мулю кричит, тень расплющилась на насыпи, ноги расставлены, руки крестом. Брюне слышит выстрелы, они уже наготове, наборщик подпрыгивает, вот он уже стоит, черный, свободный. Брюне видит выстрелы: пять жутковатых вспышек.

Наборщик начинает бежать вдоль поезда, он испугался, он хочет вернуться назад. Брюне кричит ему: «Прыгай на насыпь, черт возьми! Прыгай!» Весь вагон кричит: «Прыгай! Прыгай!» Наборщик не слышит, он бежит, достигает уровня вагона, протягивает руку, кричит: «Брюне! Брюне!» Брюне видит его глаза, полные ужаса, он ему орет: «Насыпь!» Наборщик глух, он весь превратился в огромные глаза, Брюне думает: «Если он успеет взбежать на насыпь — уцелеет». Он нагибается: Шнейдер уже понял, он опоясывает его левой рукой, чтобы не дать упасть. Брюне протягивает руки. Рука наборщика касается его руки, фрицы трижды стреляют, наборщик мягко заваливается назад, падает, поезд удаляется, ноги наборщика подергиваются, замирают, шпалы и щебенка вокруг его головы черны от крови. Поезд резко останавливается, Брюне падает на Шнейдера и, стиснув зубы, говорит: «Они же видели, что он хотел подняться в вагон. Они его ухлопали ради забавы». Тело там, в двадцати шагах, оно уже предмет, уже свободно. Я бы устроил себе уютную норку. Брюне замечает, что все еще держит банку в руке, он протягивал руки наборщику, не выпуская ее. Она теплая. Брюне роняет ее на насыпь. Четыре фрица выпрыгивают из багажного вагона и бегут к телу; позади Брюне люди гудят: готово, гнев сорвался с цепи. Из головного вагона вышло с десяток немцев. Они карабкаются на насыпь, поворачиваются к поезду, в руках автоматы. Пленные больше не боятся; кто‑то вопит позади Брюне: «Сволочи! Сволочи!» У толстого немецкого сержанта яростный вид, он нагибается, приподнимает тело, отпускает его и пинает. Брюне резко оборачивается: «Эй, вы! Вы так меня свалите на землю!» Человек двадцать давят ему в спину. Брюне видит двадцать пар глаз, полных смертельной ненависти: быть беде. Он кричит: «Не прыгайте, парни, вас убьют!» Он с трудом встает, борясь с ними, кричит: «Шнейдер! Шнейдер!» Шнейдер тоже встает. Они берут друг друга за талию и другой рукой хватаются за косяки двери. «Мы вас не пустим!» Люди напирают; Брюне видит всю эту ненависть, его ненависть, его орудие и пугается. Три немца подходят к вагону и берут людей на прицел. Пленные глухо гудят, немцы не сводят с них глаз; Брюне узнает толстого кучерявого солдата, который бросил им сигареты: у него глаза убийцы.

Французы и немцы смотрят друг на друга, это война, впервые, начиная с сентября тридцать девятого года, это война. Давление понемногу ослабевает, люди отступают, теперь ему легче дышать. Подходит сержант, он кричит: Hinein! Hinein![[17]](#footnote-17) Брюне и Шнейдер упираются в груди товарищей, за их спиной фрицы задвигают дверь, вагон погружается в темноту, пахнет потом и углем, гнев не утихает, ноги шаркают по полу, это похоже на идущую толпу. Брюне думает: «Они этого никогда не забудут. Это выигрыш». Ему скверно, он тяжело дышит, глаза его открыты в темноту: время от времени он чувствует, как они набухают — два больших апельсина, которые вот‑вот разорвут его глазницы. Он тихим голосом зовет: «Шнейдер! Шнейдер!» — «Я здесь», — откликается Шнейдер. Брюне шарит вокруг себя, ему необходимо прикоснуться к Шнейдеру. Рука находит его руку и сжимает ее. «Это ты, Шнейдер?» — «Да». Они молчат бок о бок, рука в руке. Толчок, поезд, поскрипывая, трогается. Как они поступили с телом? Он чувствует у своего уха дыхание Шнейдера. Внезапно Шнейдер убирает руку, Брюне хочет ее удержать, но тот рывком высвобождается и растворяется в темноте. Брюне остается один, одеревеневший и неуклюжий, а вокруг жара, как в печной топке. Он стоит на одной ноге, другая зажата на полу чужими ногами. Он не пытается ее высвободить, ему необходимо остаться в переходном состоянии: он здесь только мимоходом, его мысль только мимоходом в его голове, поезд только мимоходом во Франции, неотчетливые мысли вспыхивают и падают вместе с ним на рельсы, до того, как он может их опознать, он удаляется, удаляется, удаляется: именно на этой скорости жизнь терпима. Полная остановка: скорость уменьшается и сходит на нет; он знает, что поезд еще идет: эшелон скрежещет, стучит и дрожит; но Брюне перестал чувствовать движение. Он в большом мусорном ящике, кто‑то пинает его. Позади, на насыпи, распласталось расстрелянное тело; Брюне знает, что с каждой секундой они удаляются от него, он хотел бы это почувствовать, но не может: все замерло. Над мертвецом и неподвижным вагоном нависает ночь, единственное, что еще живо. Завтра заря покроет их всех одной и той же росой, мертвая плоть и ржавая сталь обольются тем же потом. Завтра прилетят черные птицы.

## Странная дружба



Брюне просыпается, спрыгивает на пол, зажигает ночник; алмазы холода врезаются в его кожу, тени приплясывают, он ощущает запах ночи и утра, запах счастья. Снаружи, в темноте, двести мертвых бараков, триста тысяч спящих людей, только он один на ногах; Брюне кладет руку на спинку койки и склоняется над сонной массой:

— Подъем!

Мулю трясет головой, не открывая век, большой провидческий рот зияет на его безглазом лице:

— А который час?

— Час, когда тебе пора подниматься. Мулю вздыхает и садится, не открывая глаз.

— Ночью наверняка был мороз.

Потом он разлепляет веки, смотрит на часы и исторгает свой каждодневный вопль изумления:

— Иисус Мария! Пять часов!

Брюне улыбается; Мулю хнычет, запускает руки в волосы, чешет голову; Брюне ощущает себя каменистым: веселый холодный камень.

— Пять часов! — повторяет Мулю. — Во всем лагере нет ни одного такого треклятого барака, где ребята согласились бы вставать в пять часов, когда даже фрицы не требуют, чтоб мы вставали раньше шести, это уже не плен, это каторга.

Он мешкает, размышляет, и вдруг в глазах его появляется блеск, и он радостно и уверенно произносит свое еже‑утреннее открытие:

— Гнусный фашист!

Брюне смеется от удовольствия: он любит все, что повторяется. Холод, ночь, гнусный фашист: полгода лагеря и одно‑единственное утро, всегда одинаковое, которое всегда возвращается в пять часов все более мрачным, все более холодным, все более глубоким, все более его собственным. Мулю вскакивает с постели, постанывая от холода, надевает рубашку, натягивает брюки. Брюне недовольно смотрит, как тот суетится вокруг печки: сам он предпочел бы наслаждаться холодом подольше.

— Не транжирь уголь, он скоро кончится.

Мулю поджигает бумагу, трещат веточки, он выпрямляется, весь побагровевший, и смеется в лицо Брюне:

— За кого ты принимаешь свою домоуправительницу? Когда она оставляла тебя в нужде?

Он простирает указательный палец по направлению к ящику, полному угольных брикетов; Брюне хмурит брови:

— Где ты это взял?

— На кухне.

— Я же тебе запретил! — раздосадованно бурчит Брюне. Мулю негодующе его прерывает:

— Послушай! Ты знаешь, куда идет уголь от поваров? К фрицам из комендатуры! А раз так, то уж лучше мы возьмем его себе.

Брюне не отвечает: он бреется. Под укусами бритвы его каменные щеки снова оживают; тепло проникает в. него, как искушение.

— Шоколад будешь? — Да.

Печка гудит, Мулю ставит на нее котелок с водой, вынимает из рюкзака две плитки шоколада, бросает их в котелок и, глядя, как они плавятся, говорит:

— Ты рано бреешься.

— Я ухожу.

— Зачем?

— Сегодня утром прибывают новенькие, они работали во Франции. Я возьму десяток в наш барак.

— Новички! — весело откликается Мулю.

Он мешает воду в котелке лезвием ножа; потом покачивает головой:

— Бедняги! Может, им тут будет и не хуже, чем в другом месте, но им предстоит пообвыкнуться.

В котелке булькает коричневая жидкость, пузырьки приподнимают ее, лопаются, капельки выскакивают на печку и белеют, слегка шипя. Мулю берет котелок носовым платком и ставит его на ящик, Брюне садится рядом с ним.

— Войдите.

Санитар Циммер просовывает голову в приоткрытую дверь.

— Ты уже встал? — спрашивает Мулю.

— Да, пришлось из‑за этих стервецов, которые прибывают из Франции. Нужно пойти посмотреть, нет ли среди них больных.

Он принюхивается:

— Пахнет шоколадом.

— Я посылку получил, — живо поясняет Мулю.

— Тебе повезло.

— Ну? — раздраженно спрашивает Брюне. — Что ты хотел мне сказать?

— Да насчет Коньяра. Сегодня утром его отправляют в госпиталь. Дизентерия.

— Понятно, — говорит Брюне.

Голова исчезает, дверь закрывается. Мулю отрезает ломти от буханки зачерствевшего хлеба.

— Хочешь ломтик?

— Нет, — сухо отвечает Брюне.

— Ты не прав, — бесстрастно замечает Мулю. — Ты не понимаешь, что такое радости жизни.

Он встает, снимает с гвоздей кружки и наливает шоколад. Потом показывает пальцем на кружку Коньяра, которая осталась висеть на гвозде.

— На меня это действует, а на тебя? Брюне пожимает плечами: Коньяр — лодырь.

— Кем ты его собираешься заменить? — спрашивает Мулю. — Шнейдером?

— Естественно, Шнейдером.

— Я не против, — говорит Мулю. — Он человек чистоплотный.

Брюне встает и надевает шинель, Мулю берет метлу. Брюне открывает дверь.

— Дверь! — кричит Мулю. — Ты выпустишь все тепло.

Брюне закрывает дверь и в длинном коридоре, пересекающем барак, снова попадает в холод; маленькие комочки снега, упавшие с подошв и с шинелей в этом туннеле ветра и ночи, нагромождаются и затвердевают, нужно будет распорядиться, чтобы они соскабливали снег с подошв во дворе, в конце концов они сгноят весь пол; хлопает дверь, скрипит дерево, в конце туннеля пузырится смутный серый туман, утро. Стоя в ночи, в холоде, на ветру, на снегу, на утренних холмах, Брюне созерцает день: в десять часов Шанселье — учитывая, что он работает в медпункте — усилит пропаганду и вербовку; в полдень Арман окончательно решит вопрос о краске для листовок; в три часа комитет у Брада, необходимо попросить организацию позаботиться об испанских пленных, которых администрация лагеря изолирует и морит голодом, короче, будет работа, будет опасность, это объединяет. Он глубоко дышит, холод проникает в него через нос, пучками радости взрывается в его венах. За дверями — скольжение, шелест, скрежет, шепот, люди встают; все еще спят, кроме моих ребят. Он приотворяет дверь: ночники на столе, огромные тени скользят по стенам.

— Больных нет?

Дружеские улыбки, белеют зубы.

— Нет.

Брюне открывает и закрывает двери, внутри копошатся, один поет, другой играет на губной гармошке; они веселы, холод и ненависть их закаляют, вот что я сделал из них. В комнате Ламбера толстый голый увалень, похожий на младенца, прячется в тени лежака, Брюне берет его за подмышки, вытягивает и бросает на четвереньки посреди комнаты, все смеются, толстяк добродушно возмущается:

— Неужели нельзя всласть выспаться?

— Ты уже выспался, рохля, наполненный супом.

— Дело не в этом, я видел хороший сон.

— Со своей милкой ласкался? — спрашивает Ламбер.

— Да нет. Я стоял на вышке с автоматом, а фрицы были в бараке на нашем месте.

— Не волнуйся, — говорит Брюне. — Рано или поздно так и будет.

Ламбер тянет Брюне за рукав.

— А правда, что макаронники получили взбучку? — Да.

Пленные выпрямляются и обращают к Брюне суровые глаза.

— А это не враки? Не розыгрыш?

Брюне в упор смотрит на эти грубые лица.

— Вы что, вчера вечером не слушали последних известий?

— У нас не было времени.

Он распорядился поставить у Тибо радиоприемник в ящике из‑под мыла.

— Пошлите кого‑нибудь к Тибо. Есть хорошие новости. Их глаза блестят, ненависть и радость расцвечивают их

щеки. Брюне чувствует, как бьется его сердце, вот что я сделал из них.

— Это случилось в Албании, ребята: греки их вдрызг расколошматили.

Брюне закрывает дверь, он растроган: теперь они начнут день под знаком удачи. Он открывает последнюю дверь, самую лучшую: на восемнадцать жильцов — семнадцать коммунистов, семнадцать решительных пареньков, которые шныряют повсюду, собирают информацию, передают пароли, восемнадцатый — Шнейдер. Брюне входит и улыбается: тут он всегда улыбается первым.

— Привет, ребята!

Он садится на скамейку, и они окружают его. Ему нечего особенно им сказать, и все‑таки это лучший момент дня. Он вынимает из кармана трубку и, осматриваясь, набивает ее: все чисто, пол уже подметен и побрызган; наклонившись вперед и поставив ногу на скамейку, Шнейдер протирает ботинки шерстяной тряпкой.

— Кто сегодня проводит беседу? Они показывают на Деврукера:

— Он.

— О чем?

Деврукер краснеет:

— О жизни шахтеров.

— Очень хорошо, — говорит Брюне. — Прекрасно.

Он знает, что Деврукер ждет, когда он уйдет, чтобы начать. Но он медлит, он среди своих: еще пять минут. К нему наклоняется Туссю:

— Брюне, представляешь себе: мой свояк — в нашем лагере.

— Твой свояк?

— Да. Брат моей жены. Я видел его фамилию в списке больных.

— И что?

— Знаешь, он не член партии, — смущенно говорит Туссю.

— А кто он?

— Он человек аполитичный.

— И в чем проблема?

— Нужно ли мне с ним повидаться? Мы как раз это обсуждали, когда ты вошел.

Брюне не отвечает. Перрен делает шаг вперед:

— А если он даст заморочить себе голову францистам[[18]](#footnote-18)? Ведь он может нас выдать.

Брюне делает ему знак замолчать. Все смотрят на него, он не торопится сообщать свое мнение: их доверие — как теплые губы на его руках.

— Ты любишь свояка?

— Пожалуй. Мы с ним ладим, если только не говорим о политике.

Он небрежно машет рукой, чтобы продемонстрировать, что не слишком стремится к встрече.

— Знаешь, я не так уж рвусь его увидеть: просто у него могут быть новости о моей жене.

Брюне кладет ладонь ему на руку и мягко говорит:

— Лучше, если ты его не увидишь.

Вокруг него загорается венок глаз: он попал в точку, ребята не хотят, чтобы Туссю увиделся со свояком. Брюне, улыбаясь, добавляет:

— Естественно, если однажды ты на него наскочишь, никакой катастрофы не будет.

Все одобрительно кивают:

— Так мы ему и говорим.

— Я согласен! — поспешно кивает Туссю. — Я ведь только из‑за жены.

Инцидент исчерпан; успокоившись, они замолкают. Брюне курит трубку, он счастлив. Внезапно его охватывает холод. Но это уже не чистый и целомудренный морозец раннего утра: это промозглый озноб, который лижет ему живот и бедра, он вздрагивает:

— Вы не топите печку?

— Мы решили больше по утрам не топить.

— Вижу.

Он резко встает:

— Шнейдер! Шнейдер выпрямляется: — Да?

— Пошли, мне нужно с тобой поговорить. Деврукер облегченно вздыхает и подходит к столу, он держит лист бумаги, все тут же окружают его, из‑за холода никто не садится.

— В общем, так, — начинает Деврукер. — В общем, так. Но он умолкает, он ждет. Брюне на прощание машет рукой и выходит. Шнейдер, посвистывая, следует за ним.

— Фальшиво свистишь.

— Я всегда фальшиво свистел, — говорит Шнейдер. Брюне оборачивается и улыбается ему. Шнейдер тоже изменился. Он скверно выглядит, кашляет, но глаза у него почти веселые. Брюне открывает дверь своей комнаты.

— Входи.

Шнейдер входит, двумя пальцами приветствует Мулю, подходит к печке и протягивает руку к огню. Он перестает свистеть, он весь дрожит.

— Тебе плохо, старина? — спрашивает Брюне. Шнейдер пожимает плечами:

— Сразу затрясло, потому что я вошел в эту парилку. Брюне с раздражением смотрит на Мулю, надо было

вышвырнуть его уголь в окно. Мулю невинно улыбается. Брюне колеблется, потом просто говорит:

— Свари ему чашку шоколада.

— Шоколада? Но его больше нет, — сокрушенно отвечает Мулю. — Ты его только что прикончил.

Он явно лжет. Брюне пожимает плечами.

— Тогда свари ему бульон.

Мулю бросает два кубика в кипящую воду, Брюне садится, Шнейдер продолжает дрожать.

— Коньяра отправляют в госпиталь, — сообщает Брюне.

— Что с ним?

— Дизентерия.

— Бедняга, — огорчается Шнейдер. — Он пропал. Мулю морщится и живо возражает:

— Зачем так говорить? Может, и наоборот: может, ему повезло. Его могут отправить на родину.

Шнейдер зло усмехается.

— Как же! Брюне спрашивает:

— Хочешь его заменить? Шнейдер поворачивается к нему:

— А что он, собственно, делал?

— Был переводчиком.

— Это я могу.

— Хорошо.

Брюне показывает на койку Коньяра.

— Сегодня вечером будешь спать здесь.

— Нет, — отказывается Шнейдер.

— Нет?

— Работу я исполнять буду, но спать предпочитаю там.

— Не понимаю, почему, — удивляется Брюне. — Это было бы удобнее…

Он не решается добавить: и тебе было бы теплее.

— Мне и там хорошо, — упрямится Шнейдер.

Я должен был бы это предвидеть: он отказывается спать здесь, потому что тут почти спокойно и не околеваешь от холода, это его вечная тяга взваливать на себя обязанности и отказываться от преимуществ. Но это и не преимущество: эта комната — мой рабочий инструмент. Брюне встает, поднимает лопату с углем и с силой бросает уголь в топку. Шнейдер пьет бульон и больше не дрожит. Не поднимая голоса, он замечает:

— Вы устраиваете прямо‑таки адское пекло.

— А почему бы и нет?

— Если разделить уголь среди комнат барака, — живо отзывается Мулю, — получится по четыре брикета на каждую.

Шнейдер не отвечает, следовало бы раз и навсегда сказать ему правду о его поведении: его упрямое стремление не желать большего, чем у остальных, — это даже не христианское смирение, это всего лишь горделивая манера избегать ответственности. Ты просто анархист, Шнейдер, один из тех олухов — интеллектуалов, из‑за которых мы проиграли войну, потому что они отказались быть офицерами. Брюне пожимает плечами, засовывает руки в карманы и молчит; тепло шевелит в его глазах остатний сон. Внезапно его ослепляет свет: зажглась висящая под потолком лампочка. Шнейдер щурится.

— Шесть часов!

С радостным криком Мулю хватает коробку для шитья, вынимает оттуда наперсток, нитки, иголку, поднимает ее против света и, косясь, смотрит в игольное ушко. Брюне наклоняется к ночнику и задувает его: он задувает свое утро, теперь начинается утро для всех. Свет производит уборку, ликвидирует полумрак, окончательно подавляет сон в голове Брюне, прокладывает на лице Шнейдера морщины, подчеркивает его горестные толстые губы; в глазах Шнейдера затаилась вся темень ночи. Брюне смотрит в эти мрачные глаза, он хочет сказать ему: почему ты оставляешь меня одного? Но он выпрямляется и говорит:

— Ты можешь спать, где захочешь, лишь бы ты был здесь каждое утро в пять часов.

Шнейдер утвердительно кивает, Мулю начинает шить, высунув язык, он совершает точные и прихотливые движения.

— Что ты шьешь? — спрашивает Шнейдер.

— Занавеску на окно, — отвечает Мулю. — Так будет повеселее.

Брюне надевает шинель.

— Ты сделаешь это позже, а пока идем со мной.

— Куда? — огорченно спрашивает Мулю.

— На Черную Площадь. Я иду за своими людьми. Шнейдер встает.

— Тебе нужен переводчик?

— Нет, — говорит Брюне.

Он смотрит на это еще бледное от холода лицо, слегка колеблется, потом добавляет:

— Оставайся здесь: когда я вернусь, ты мне понадобишься.

Шнейдер широко, почти заговорщицки, ему улыбается; его глаза вдруг становятся прозрачными и веселыми. Брюне, качая головой, смотрит на него. Он думает: какая странная дружба.

— Пошевеливайся!

Он подталкивает впереди себя Мулю. Снаружи оба шлепают по грязи. Мулю стонет:

— Ох‑ох! Мы с тобой простудимся.

— А ты думай о парнях, которые ожидают нас на Черной Площади.

— Так разве от этого согреешься…

Он семенит в темноте, тяжело дышит и постанывает. Внезапно он прекращает стонать, поднимает голову и говорит таинственно и возбужденно:

— Напрасно Шнейдер отказался перейти к нам.

— Он очень любит своих товарищей, — безразлично отвечает Брюне.

Мулю усмехается.

— Возможно. Только его товарищи совсем его не любят.

— Послушай! — возмущается Брюне. — Что ты можешь об этом знать?

— Они говорят, что он слишком активен.

— Слишком активным быть нельзя, — сухо отвечает Брюне.

— Но они мне так сказали. Они говорят, что не знают, о чем он думает, и что ему не место в их комнате, потому что он не из ваших.

— Пусть они мне это скажут, — говорит Брюне.

Он расстроен из‑за Шнейдера, но не так уж удивлен: это в порядке вещей, люди не любят, если кто‑то слишком активен, мученики внушают им страх. Брюне ускоряет шаг: кончится тем, что они его возненавидят, и это усложнит работу. Он вдруг решает: не надо скандалов, сегодня вечером он будет спать у меня, я ему это прикажу.

— Эй, Брюне!

Из барака выходит Тибо, округлый и смешливый малый. Брюне дружески ему улыбается: тот хорошо выполняет поручения, хоть он и радикал‑социалист.

— Привет!

Тибо останавливается, его маленькие глазки слезятся на широком плоском лице, его мучит холод.

— Черт возьми, а морозец кусается! Ты идешь на Черную Площадь?

— Мне нужно взять десятерых.

— А мне пятнадцать. Проклятье, до чего не хочется тащиться по такой погоде.

Они погружаются в тишину, их обволакивает мутный желтый фосфоресцирующий свет; пока они идут, из тумана один за другим выплывают бараки. Лагерь пуст, они скользят между двумя рядами кораблей‑призраков. Вдруг бараки исчезают, остается нейтральная полоса, тусклый туман. Они расталкивают эту грязную муть, их подошвы скребут твердую почву. Брюне останавливается перевести дух, неподалеку шевелятся тени. Брюне подходит, здоровается с Косме, Астрюком, Риулем, с другими старостами бараков. Они подвижны и значительны, обтянуты английскими кителями, можно подумать, что они офицеры.

— Ну что? — смеясь, спрашивает Косме. — Пришли на рынок рабов?

Брюне, не отвечая, отворачивается. Он поднимает глаза: рабы здесь, их четыреста или пятьсот, прижавшихся друг к другу, бесформенная куча одежды и грязи, последние ряды теряются в тумане. Он делает к ним шаг, их землистые лица похожи друг на друга: это Нечто, он рассматривает каждого поочередно, он добродушно им улыбается, но их ночные глаза моргают, как будто они не могут вынести человеческого взгляда. Брюне потирает руки: он сделает из них людей. Громкоговоритель исторгает звучный голос:

— Сдайте поясные ремни, бритвы, электрические лампы; сдайте поясные ремни…

Подходит Мейе, доверенное лицо, Брюне недолюбливает этого приторного человечка.

— Давайте! Рассчитайтесь!

Косме, стоя лицом к толпе, выбрасывает руку вверх и устрашающе вращает глазами.

— Слушай мою команду! Первые пятнадцать ко мне. Тибо наклоняется к уху Брюне:

— Какой кретин!

Волна земли, шерсти и сукна катится на Косме, он пятится, грозно крича:

— Я сказал пятнадцать!.

Волна булькает и останавливается.

— Выстроиться по трое. Вперед — марш!

Он поворачивается и уходит, не удостоив их взглядом, пятнадцать человек, спотыкаясь, шагают вслед за ним. Мейе теряет терпение.

— Следующие! Поторопитесь, а то холодно.

Астрюк никак не выберет, он медленно проходит перед пленными, изучает их, берет самых крепких за воротник, вытаскивает из рядов и ставит за собой.

— Брюне!

Брюне озирается, но никого не видит.

— Брюне! Брюне!

Астрюк схватил за плечо крепкого высокого человека, позеленевшего от холода. Но тот рывком высвобождается и улыбается Брюне.

— Эй, Брюне! Ты меня не узнаешь?

— Морис! — вскрикивает Брюне. — Вот так неожиданность!

Он кладет ладонь на руку Астрюка:

— Это мой приятель!

— Забирай его, — вежливо говорит Астрюк, — он твой.

Брюне, хохоча, трясет Мориса:

— Привет, паренек, вот забавно! Дай‑ка я тебя рассмотрю: похоже, ты еще подрос.

— Здравствуй, — серьезно отзывается Морис. — А знаешь, Шале тоже здесь.

— Шале? — удивленно переспрашивает Брюне. — Да.

— Скажи, чтобы он подошел.

Холод пощипывает. Брюне вздрагивает и ищет глазами хрупкий силуэт Шале.

— Второй слева, во втором ряду.

Брюне радостно машет рукой. Шале подходит, бледный, красноносый.

— Привет, — говорит Брюне.

— Здравствуй, товарищ, — бормочет Шале.

Они немного смущенно улыбаются друг другу, Шале стучит зубами.

— Ты совсем замерз, — замечает Брюне.

Шале пожимает плечами, его глаза суровы и угрюмы.

— Не больше других.

Нет, больше. Шале всегда холоднее или жарче, чем другим. Он плохо управляет своим телом.

— Пойдем со мной. Согреешься на ходу.

Шале не отвечает. Брюне отворачивается и кричит:

— Восемь человек со мной, кто хочет!

Восемь человек выходят из рядов. Брюне внимательно смотрит на эти восемь неразличимых лиц, которые объединяет общее выражение страдания. Такими они ему нравятся.

— Вы ели сегодня утром?

— Разве что гальку. Мы со вчерашнего дня ничего не ели.

— Мулю! — зовет Брюне. — Пойди скажи Сервьену, чтобы он незаметно дал им чего‑нибудь поесть — пять буханок хлеба и десять банок консервов. Да поживее!

Мулю убегает. Морис и Брюне идут бок о бок, Шале какое‑то время мешкает, потом задерживается позади, Брюне оборачивается и видит, что Шале идет вместе с остальными, и его толстые короткие ноги заплетаются под длинным туловищем.

— Я рад, что Шале с нами, — говорит Брюне. Морис довольно улыбается.

— Еще бы, ведь это ас. Второго такого, как он, во всей партии не сыщешь.

Брюне, не отвечая, наклоняет голову: безусловно, Шале — ас.

— Стой!

Подходят немцы: смирные старики из ландсвера. Они пересчитывают пленных, фельдфебель с седыми усами и девичьими щеками улыбается Брюне:

— Guten Morgen![[19]](#footnote-19)— Guten Morgen! — отвечает Брюне. Морис толкает его локтем.

— Он говорит по‑французски? — Нет.

Морис любезно улыбается фельдфебелю:

— Здравствуй, старый хрен!

Фельдфебель снова улыбается, Морис вовсю забавляется.

— Вот как нужно с ними обращаться.

Брюне не смеется. Они уходят, уже светает. У окон и на порогах люди, зевая, смотрят, как они проходят. Брюне знает их всех, но в это утро они кажутся ему чужими и далекими. Он машет им рукой с некоторой тревогой, люди немного удивленно улыбаются: в лагере друг с другом не здороваются. Вот высовывается из окна Шапло:

— Здорово, новички! Морис мигом ему отвечает:

— Марш в сортиры, старички! Он поворачивается к Брюне:

— И пук‑пук!

Он похож на парижского новобранца, который скандально врывается в провинциальную казарму. Брюне внимательно на него смотрит: он окреп и похудел, немного полысел, обрел уверенность.

— В последний раз, — говорит Брюне, — я тебя видел на улице Руаяль.

— Да, — вспоминает Морис. — В тридцать восьмом году. В те времена мы даром портили себе кровь, даже вспоминать не хочется.

Он показывает Брюне на бараки:

— Это там вы живете?

— А где ж еще? Морис хохочет.

— Не слишком шикарно.

— Так что? — раздраженно спрашивает Брюне. — Вы разве были лучше устроены?

— В Суассоне? Мы жили в совсем новенькой казарме. Некоторые даже ночевали в городе.

Брюне свистит с притворным восхищением. Морис улыбается своим воспоминаниям, у него непроницаемый вид. Брюне спрашивает:

— Как твоя жена?

— Потихоньку. Она навещала меня в Суассоне. Нам разрешали столько посещений, сколько мы хотели.

Брюне понижает голос:

— У вас были контакты с кем‑нибудь из наших?

— Не у меня: у Шале. Зато мне, — гордо говорит Морис, — Зезетта пронесла два номера «Юманите».

— Вот как? — оживляется Брюне. — Так «Юманите» снова выходит?

— С июля. Брюне повторяет:

— С июля.

От этого ему почти больно.

— Каждую неделю?

— Нет, не каждую неделю, а как получается. — Морис, смеясь, добавляет: — Но в одно прекрасное утро ты увидишь, как она появится совершенно открыто, и ты сможешь ее купить в киосках, а у тех, кто думает, что мы уже мертвы, будут изумленные физиономии.

— Открыто? Пока фрицы в Париже?

— А почему бы и нет?

В данный момент Брюне не хочется все это обсуждать: даже над лучшими придется работать, они слишком долго оставались во Франции, это действует тлетворно. Внезапно он думает: но что же им говорил Шале? Он спрашивает:

— У тебя есть номер «Юманите»?

— Нет, спроси у Шале, может, у него есть. Их выбрасывали, чтоб не вляпаться в историю.

— Вы их не распространяли?

— Нет.

— Почему?

— Большинство людей не разделяли наших идей.

— С людьми надо работать. Разве Шале с ними не работал?

— Мне неизвестно, что делал Шале, — сухо говорит Морис.

Брюне смотрит на него, Морис улыбается.

— Во всяком случае, одно могу тебе сказать: это по‑прежнему наша старая добрая «Юманите».

Они идут молча. Морис веселится, глаза его рыщут повсюду, все замечают, улыбка превосходства приподнимает его губу, теперь лагерь имеет свидетеля. Вдруг он останавливается: человек двадцать, полуголые, поспешно умываются под навесом, нагнувшись над каменным желобом. Морис качает головой, Брюне возвращается и берет его за руку.

— Нам нельзя терять времени.

Морис не отвечает. Брюне смотрит на умывающихся парней и вдруг он их видит: он видит их сгорбленные плечи, худые торсы, вздувшиеся животы, стариковские движения. Он в гневе поворачивается к Морису: ему кажется, словно кто‑то нападает на его детище. Морис больше страдает от холода, чем они, и руки его дрожат, но у него суровый и торжествующий вид, как будто он несет знамя на первомайской демонстрации, и он держится прямо. Брюне машинально выпрямляется и, вцепившись в бицепсы Мориса, увлекает его за собой: легко изображать умника, когда ты провел полгода во Франции, посмотрим через полгодика, будешь ли ты больше стоить, чем сейчас они. Он говорит:

— А ты лихой малый.

— А как же, — соглашается Морис.

— Посмотрим, сколько это продлится!

— А почему бы этому и не продлиться?

— Увидишь, — мягко произносит Брюне. — Германия день за днем — это тебе не мед.

— Ерунда! — говорит Морис. — Все равно долго мы тут не останемся.

Брюне раздосадованно поднимает брови. Он шепчет:

— Ты собираешься бежать? Морис удивленно таращится.

— Бежать? А зачем, коли нас и так отпустят? Брюне вздрагивает. Морис возбужденно продолжает:

— Сам убедишься, товарищ! На днях папаша Сталин кое‑что им скажет. А именно: «Кончайте валять дурака, ребята. Заключайте‑ка мир с Францией, заключайте‑ка мир с Англией и отправляйте‑ка домой французских трудящихся».

— И фрицы заключат мир?

— Конечно!

— Просто так, за здорово живешь? Только потому, что их об этом попросили?

— Эх! — говорит Морис. — Ну как ты не можешь понять? Теперь бал правит Советский Союз, фрицы делают все, что он пожелает.

— Вот как! — поражается Брюне. — А я и не знал!

— Это естественно, — снисходительно замечает Морис. — Ведь ты полгода не имел контактов. Сначала все было по‑другому, но сейчас СССР держит их за горло.

— Но почему?

— Да потому, черт возьми, что он поставляет им материалы.

— Какие материалы? — кричит Брюне, так и подскочив.

— Разные. Шале тебе это объяснит лучше меня. Если поставки прекратятся, фрицам останется только пасть на колени.

— А как вы все это узнали?

— Ну, — говорит Морис, — все это было в «Юманите». Брюне овладел собой, он улыбается Морису и потирает руки.

— Что ж, тем лучше! — говорит он. — Тем лучше. Это добрые вести.

Они пришли. Солнце поднимается, начинается день, жирный и вялый, раздутый влагой, но в этот день, похожий на все остальные, что‑то произошло. Брюне не ощущает ни страха, ни гнева, он с холодным интересом смотрит на Мориса, потом оборачивается к остальным:

— Входите!

Они входят, Брюне зовет Ламбера:

— Развести их. Мулю принесет еду, я займусь ими позже.

Он делает знак Морису и Шале.

— Вы оба идите за мной.

Они идут вместе в конец коридора, Брюне останавливается; перед тем, как открыть дверь, он им говорит:

— Здесь все чувствуют себя как дома.

Он входит, люди надевают шинели: они собираются на работу.

— Ну? Как жизнь шахтеров?

— Здорово! — отвечают ему. — Это было очень интересно.

— И поучительно, — с некоторой горячностью говорит Бенен.

Брюне тронут, он гордо поворачивается к Шале.

— По утрам они беседуют. Они делятся всем, что знают. Шале ничего не отвечает, он клацает зубами. Брюне

как бы сам себе добавляет:

— Если бы была возможность добыть для них книги… Он показывает на Шале и Мориса:

— Вот два новых товарища. Они прибыли из Франции.

Все с теплыми улыбками поворачиваются к ним. Брюне удовлетворенно смотрит на своих парней, по ним Морис всегда сможет равняться. Брюне им, в свою очередь, улыбается, у него создается мимолетное впечатление, что он прощается с ними, он кладет руку на плечо Шале и, подталкивая его вперед, говорит громко и торжественно:

— Он будет для вас тем же, чем был я.

Люди переводят взгляды с него на Шале. Брюне секунду‑другую смотрит в их глаза, которые больше не глядят на него, ему хочется что‑то добавить, но он не помнит, что именно. Он поворачивается на каблуках и через плечо бросает Шале:

— Приходи ко мне после еды, побеседуем.

Он выходит, смутно ощущая: что‑то сейчас свершается, он ускоряет шаги, ему не терпится увидеть Шнейдера; при всех своих недостатках Шнейдер — как родной. Он открывает дверь: Шнейдер здесь, склонился над печкой. Брюне чувствует облегчение.

— Вот и я.

Брюне входит и вздрагивает, тепло начинает ласкать ему кожу, потом неожиданно волной крови ударяет ему в лицо, он снимает шинель, бросает ее на койку, он испытывает стыд от того, что ему тепло.

— Ну что? — спрашивает Шнейдер.

Брюне садится, стул под ним трещит, затем он увесисто хлопает Шнейдера по спине.

— Старый прохвост! Заматерелый социал‑предатель! Он смеется. Шнейдер оборачивается и смотрит, как он смеется.

— Что случилось? Неприятности? Брюне перестает смеяться.

— Нет, — говорит он. — Все идет как надо.

Он вытягивает ноги к огню, глубоко вздыхает, зажигает трубку.

— Славная будет трубка. — А?

— Вот эта трубка. Я купил ее вчера в столовой. Славная будет трубка.

Трубка славная, на доброе лицо Шнейдера, покрасневшее от огня, приятно смотреть. Чувствуешь себя как дома, в полной безопасности.

— Я встретил двух товарищей, паренька с завода «Флев» и Шале.

Шнейдер поднимает голову, помертвевшими глазами смотрит на Брюне и рассеянно повторяет:

— Шале… Шале…

— Да, — говорит Брюне, — его фамилия тебе ничего не говорит: за пределами партии он мало известен, но он человек влиятельный. В тридцать девятом году был депутатом, его бросили в тюрьму, а потом прямо оттуда погнали на передовую.

Шнейдер молчит. Брюне продолжает:

— Я рад, что он здесь. Очень рад. Всегда все решать одному — это прекрасно, но… Но какую позицию следует занять по отношению к свободной Франции? Я тебе говорил, что это меня тревожило. А он должен знать: у него были контакты с товарищами.

Он останавливается. Шнейдер, багровый, с полузакрытыми глазами, кажется спящим. Брюне стукает его каблуком по икре:

— Ты меня слушаешь?

— Да, — отвечает Шнейдер.

— У Шале много опыта, — говорит Брюне. — Но это совсем не тот опыт, что у меня: он сын пастора, интеллектуал. Он всегда редко посещал собрания и сохранил пуританские черты характера. Но у него холодный ум. И он знает, чего хочет.

Брюне выбивает трубку в печку и заключает:

— Он будет здесь очень полезен.

Брюне останавливается. Шнейдер настораживается, как будто прислушивается к шуму извне.

— Что это с тобой? — нетерпеливо спрашивает Брюне. Шнейдер улыбается:

— Честно говоря, смертельно хочу спать. Прошлой ночью я из‑за холода не сомкнул глаз.

— С сегодняшнего вечера будешь спать здесь, — повелительно говорит Брюне. — Это приказ.

Шнейдер открывает рот, по коридору кто‑то идет, и он молчит. На его губах играет странная улыбка.

— Ты меня слышишь? — спрашивает Брюне.

— Там будет видно, — отвечает Шнейдер. — Впрочем, если ты вечером это повторишь, подчинюсь с удовольствием.

Шаги приближаются, в дверь стучат. Он умолкает, он будто чего‑то ждет.

— Войдите!

Это Шале. Остановившись на пороге, он смотрит на них.

— Ты нас заморозишь, — говорит Брюне. — Дверь закрой.

Шале делает шаг вперед и останавливается; он смотрит на Шнейдера. Потом, не переставая смотреть на него, ногой закрывает за собой дверь.

— Это Шнейдер, мой переводчик. — Брюне поворачивается к Шнейдеру. — А это Шале.

Шнейдер и Шале смотрят друг на друга. Шнейдер все еще такой же красный. Он медленно, вяло встает и смущенно говорит:

— Ну, я пошел.

— Останься, — говорит Брюне. — С жары сразу в холод — заболеешь.

Шнейдер не отвечает. Шале произносит четким голосом:

— Я хотел бы поговорить с тобой с глазу на глаз. Брюне хмурит брови, потом добродушно улыбается,

поднимает руку и тяжело опускает ее на плечо Шнейдера. Лицо Шнейдера остается по‑прежнему вялым и невыразительным.

— Это мое доверенное лицо, — поясняет Брюне. — Все, что я здесь делаю, я делаю с ним.

Шале совершенно неподвижен, он больше ни на кого не смотрит, кажется, он ко всему равнодушен. Шнейдер выскальзывает из‑под руки Брюне и, волоча ноги, подходит к двери. Дверь закрывается. Брюне долго смотрит на дверную ручку, потом поворачивается к Шале.

— Ты его оскорбил!

Шале не отвечает, Брюне злится.

— Послушай‑ка, Шале… — сурово начинает он. Шале поднимает правую руку, прижав локоть к боку,

Брюне умолкает. Шале говорит:

— Это Викарьос.

Брюне непонимающе смотрит на него, Шале продолжает говорить. Внешне он холоден, но его звучный голос трибуна весьма выразителен.

— Тип, который только что вышел, — Викарьос.

— Какой Викарьос?

Но ответ он уже угадал. Шале, не повышая голоса, отвечает:

— Викарьос, которого исключили из партии в тридцать девятом году.

— Но этого человека зовут Шнейдер, — неуверенно возражает Брюне.

Тем же скупым и молчаливым жестом Шале поднимает предплечье и протягивает к Брюне открытую ладонь.

— Не утруждай себя возражениями. Он меня узнал. И он понял, что я его узнал.

Брюне повторяет:

— Викарьос!

Фамилия вертится у него в голове, он думает: эта фамилия мне о чем‑то говорит. Он через силу произносит:

— Я не знал, что это Викарьос…

— Понятно, не знал, — соглашается Шале.

Брюне кажется, что он уловил в этой фразе оттенок снисходительности. Он вскидывает голову, но глаза у Шале тусклые, он прижимает руки к бокам, втягивает голову в плечи: можно подумать, что он сопрягает свои члены, чтобы лучше ими управлять. Брюне спокойно спрашивает:

— Он случайно не был журналистом?

— Подожди! — прерывает его Шале.

Он быстро пересекает комнату и прислоняется к печке. У него униженный вид.

— Никак не могу согреться.

Брюне ждет: ему не холодно, он чувствует, какой он тяжелый и сильный, он ощущает себя хозяином своего тела и своего духа. Он ждет, у него есть время ждать, он терпеливо улыбается Шале, превращаясь в бесконечное терпение. Шале придвигает к себе стул и садится. Очень скоро он вновь говорит режущим, как лезвие ножа, голосом:

— Ты что, не получил прошлой зимой предупреждение партии?

— Относительно Викарьоса? — Да.

— Вероятно, получил, — отвечает Брюне. — Но я был солдатом, а в полку не было никакого Викарьоса…

— Он был главным редактором оранской газетенки, — говорит Шале. — Газетенка не была в прямом смысле партийной, но партии симпатизировала. Викарьос же стоял на партийном учете. Его жена тоже. Он вышел из партии в тридцать девятом году.

— Из‑за пакта?

— Естественно. Он опубликовал заявление о выходе из партии в своей газете, после этого напечатал три передовицы, направленные против нас, а потом ушел в армию добровольцем. А может, его и мобилизовали, точно не знаю.

— Ты говоришь правду? — спрашивает Брюне.

Он взвинчен, словно получил извещение о чьей‑то кончине. От слов Шале жизнь Шнейдера мгновенно завершается. Ведь покинуть партию и умереть — это одно и то же.

— Чистую правду.

Брюне мысленно повторяет эти слова и думает: происходит что‑то важное.

— Потом, — продолжает Шале, — стало известно, что он посылал донесения в генеральное губернаторство Алжира. Алжирские товарищи имели на сей счет верные доказательства.

Брюне падает на стул и от всего сердца хохочет. Шале удивленно смотрит на него.

— Я смеюсь, — объясняет Брюне, — потому что как раз сегодня утром узнал, что мои ребята его не выносят.

Шале важно и одобрительно кивает головой.

— Партийные массы никогда не ошибаются.

Брюне думает: что ты знаешь о партийных массах? Он говорит:

— Точно. У них нюх на такие дела.

Шале греется. Брюне думает: Шнейдер был осведомителем. Это ему почему‑то льстит. Наполовину прикрыв глаза, он стискивает зубы и сквозь ресницы смотрит на некрасивое лицо Шале, он думает: вот мой товарищ. Брюне очень покойно: все это не так уж неприятно, это даже лестно. Каждый раз, когда обнаруживаешь веские причины, чтобы думать, что люди сволочи и что не стоит жить, это доставляет некое удовлетворение. Он смотрит на Шале: теперь мы будем жить вместе в этом лагере в течение месяцев, лет, день за днем.

Это тоже лестно. Шале с любопытством изучает его и спрашивает:

— Что собираешься делать?

Брюне в замешательстве кусает губы: А разве необходимо что‑то делать? На секунду он становится вялым и инертным, но внезапно на него накатывает ярость.

— Ты еще спрашиваешь?! — заикается он. — Ты еще спрашиваешь?!

Он берет себя в руки и сухо добавляет:

— Я его вышвырну вон, вот что я сделаю. И немедленно!

У Шале холодный и растерянный вид. Он бормочет:

— Это слишком рискованно.

— Рискованно было бы оставлять его в бараке.

— Он знает, что ты из партии?

Брюне отворачивает голову, его гнев утихает.

— Он узнал меня с первого дня.

— А товарищи? Он тоже знает, кто они?

— Конечно.

— Хуже некуда! — говорит Шале. Брюне живо объясняет:

— Это было необходимо. Он мне очень помогал в работе.

— Какую работу ты выполнял? — небрежно спрашивает Шале.

— Мы об этом поговорим позже.

— Как бы то ни было, раз он так много знает, нужно предполагать самое худшее: если ты его вышвырнешь вон, как кусок дерьма, он нас выдаст.

Брюне пожимает плечами:

— Вовсе нет! Он не из таких. Шале раздраженно говорит:

— Но я же тебе сказал, что он писал донесения губернатору.

— Пусть так. Но я его досконально знаю: он не из таких.

Шале медленно, как бы самому себе, говорит:

— Я вот что думаю: не предусмотрительнее ли оставить его здесь? Мы сказали бы ему, что не станем возвращаться к его осуждению партией, что мы для этого недостаточно компетентны, но что, при нынешних обстоятельствах…

Брюне издает короткий смешок.

— Он не дурак. Он уже успел узнать за десять лет в наших рядах, что партия никогда не прощает: если мы его оставим, он решит, что мы его боимся.

— Не обязательно, — возражает Шале, — можно… Брюне снова овладевает ярость. Руки его дрожат, он

громко кричит, весь в жару:

— Хватит! Я и пяти минут не смогу дышать одним воздухом с этой продажной тварью! Один раз он меня подловил, но больше я ему не поддамся!

— Как хочешь, — говорит Шале. Брюне через силу добавляет:

— Я его сбагрю к Тибо, он староста барака. Это надежный человек, и он будет держать язык за зубами.

Они умолкают, Брюне мало‑помалу успокаивается, он не очень хорошо понимает, что с ним только что произошло. Бессвязные слова крутятся у него в голове; когда он думает о Шнейдере, у него возникает желание его избить. Все подозрительное внушает ему омерзение.

— Что ж, — соглашается Шале, — зови Викарьоса, сообщи ему о нашем решении. Скажи ему, что он еще дешево отделался и что ему будет худо, если он будет крутиться у комендатуры и его застукают.

Наступает короткое молчание.

— Позови его! — повторяет Шале. — Уверен, что он недалеко.

Брюне не шевелится. Шале хмурит брови.

— Чего ты ждешь?

— Чтобы ты ушел.

Шале неохотно встает. Понятно, думает Брюне, тебе жаль уходить от печки. Шале берется за ручку двери. Внезапно Брюне говорит:

— Ничего не сообщай товарищам. Удивленный, Шале оборачивается.

— Почему?

— Потому. Он… он был привязан к ним. К тому же, не стоит доводить человека до крайности…

Шале колеблется:

— Но ведь было предупреждение.

— Я тебя прошу ничего не говорить товарищам, — не повышая голоса повторяет Брюне.

Шале пожимает плечами.

— Будь по‑твоему.

Он выходит, Брюне выходит вслед за ним, останавливается на пороге барака и ищет взглядом Шнейдера. Тот стоит неподвижно, прислонившись к перегородке двадцать восьмого барака. Они смотрят друг на друга, Брюне разворачивается и возвращается к себе, оставив дверь открытой. Почти сразу появляется Шнейдер, постучав о пол ногами, чтобы сбить снег, он входит и закрывает за собой дверь. Брюне, отводя глаза, садится. Он слышит скрип стула. Шнейдер тоже сел. Брюне поднимает глаза: Шнейдер сидит рядом с ним, у него доброе круглое лицо, какое было всегда; словно ничего и не произошло.

— Я видел этого типа в Оране, — спокойно говорит Шнейдер.

— Ты мне не говорил, что ты был в Оране, — замечает Брюне.

— Верно, не говорил.

— Ты Викарьос? — Да.

Итак, рядом сидит Викарьос, но Брюне видит перед собой только Шнейдера.

— Однако я тебя где‑то встречал, — говорит Брюне. — В первое время в Баккара я часто думал: мне знакомо это лицо.

— Мы встречались в тридцать втором году, — подтверждает Шнейдер, — на съезде партии. Я тебя сразу узнал.

— На съезде! Действительно!

Он изучает эти тяжеловесные черты, этот отвислый нос; за неимением Викарьоса, он пытается снова увидеть перед собой Шнейдера июня сорокового года, двоедушного, смутно знакомого незнакомца, которого можно было бы ненавидеть. Но за это время Шнейдер снова стал полностью Шнейдером. Брюне опускает глаза и говорит, уставившись в пол:

— Я тебя запишу в барак Тибо. После обеда можешь перенести туда свои пожитки.

— Ладно.

— Товарищам мы ничего не скажем.

— Хорошо, — говорит Шнейдер. — Спасибо.

Он встает, сейчас он уйдет, он делает шаг к двери, Брюне протягивает руку, рот его невольно открывается, и он громко говорит каким‑то не своим голосом:

— Почему ты мне солгал?

Шнейдер удивленно смотрит на него, Брюне выпрямляется, он так же удивлен, как и Шнейдер. Он сурово поправляет себя:

— Почему ты нам солгал?

— Потому что я отлично вас знаю, — отвечает Шнейдер.

Ему холодно, как Шале, но это другой холод. Он возвращается, протягивает к печке большие добрые руки. Брюне молча смотрит на большие добрые руки Викарьоса. Спустя минуту Брюне спрашивает:

— Зачем тебе понадобилось примкнуть к нам, раз ты вышел из партии?

— Мне надоело быть одному, — говорит Шнейдер. Брюне внимательно смотрит на него.

— Другой причины не было?

— Нет.

Он делает несколько шагов по комнате с сонным видом и добавляет как бы для себя самого:

— Естественно, я понимал, что долго это не может продолжаться.

Внезапно он как бы просыпается, поднимает голову и улыбается Брюне.

— Я рад, что мы расстаемся так мирно, — говорит он. Брюне не отвечает. Шнейдер, улыбаясь, ждет, потом его улыбка гаснет, и он спокойно произносит:

— Прощай, Брюне. Мы хорошо поработали.

Он поворачивается, он уходит, больше мы никогда не увидимся, кровь бросается в лицо Брюне, гнев вращает в его глазах белые круги. Он говорит тихо и быстро:

— Все это ложь. Ты за нами шпионил.

Он бросает это в спину Викарьоса, но оборачивается и смотрит на него Шнейдер. Брюне двигается на стуле; он хочет снова почувствовать гнев, но больше не обнаруживает его. Шнейдер тихо спрашивает:

— Тебе действительно необходимо было это сказать? Брюне не отвечает, и Шнейдер добавляет:

— Я забьюсь в угол у Тибо, я попытаюсь привыкнуть, и ты отлично знаешь, что я ничем вам не наврежу.

Но Брюне не может пройти мимо предостережения партии. Он смотрит Шнейдеру в глаза и спокойно говорит:

— Тебе платил алжирский губернатор.

Шнейдер ошеломленно, с полуулыбкой смотрит на него.

— Кто тебе это сказал? Шале?

— О тебе предупреждали, я сам читал об этом прошлой зимой.

— Вот как! А я об этом не знал.

Наступает долгое молчание. Викарьос бледен, теперь это окончательно Викарьос. Брюне вновь чувствует гнев: он в бешенстве смотрит, как страдание исказило лицо Викарьоса, оно течет, как кровь, и Брюне хочется, чтобы она текла еще обильней.

— И что же было в этом предупреждении? — спрашивает Викарьос.

— Что ты был осведомителем. Алжирские товарищи имеют на сей счет доказательства.

Викарьос бросается к нему, Брюне думает, что он собирается его ударить, и, сжав кулаки, встает. Но Викарьос не наносит удара. Он стоит совсем рядом с Брюне, лицом к лицу. Глаза Викарьоса лишены взгляда. Это два широко открытых взывающих рта. У Брюне кружится голова, он отворачивается, так как у Викарьоса дурно пахнет изо рта.

— Брюне! Неужели ты этому веришь?

Брюне не знает, произнесли ли это губы или глаза Викарьоса. Он хочет единым махом закрыть все эти рты, которые молят о пощаде. Он говорит:

— Я верю всему, что утверждает партия.

Викарьос выпрямляется. На его меловом лице глаза черны и суровы, теперь они смотрят. Брюне делает шаг назад, но заставляет себя повторить под этим взглядом:

— Я верю всему, что утверждает партия.

Викарьос долго смотрит на него, потом отворачивается и подходит к двери. Но нужно идти до конца: это необходимо. Брюне кричит ему в спину:

— Если скажешь фрицам хоть слово, ты пропал! Викарьос оборачивается, и Брюне в последний раз видит Шнейдера.

— Бедный мой Брюне! — говорит Шнейдер.

Дверь закрывается: все кончено. «Печка потухла, — думает Брюне. — Я простужусь насмерть». Он смотрит на ящик с углем, потом отворачивается и выходит, поделом тебе, просто не нужно было лгать. В конце коридора он останавливается, открывает дверь. Шале сидит на скамейке. Туссю, Бенен и Лампреш наклонились к нему и говорят все сразу; около окна Морис, скрестив руки, кипит от гнева. При появлении Брюне все умолкают.

— Вы не на работе? — удивляется Брюне.

— Фельдфебель заболел, — объясняет Туссю. — Нас отослали в бараки.

— Хорошо, — говорит Брюне. — Хорошо, хорошо. И со злостью добавляет:

— Разожгите же огонь, черт возьми!

Шале внимательно смотрит на него, Брюне обращается к нему:

— Пошли поговорим.

Шале, не проронив ни слова, встает. В коридоре Брюне говорит ему:

— Дело сделано.

— Вижу, — отвечает Шале.

Они идут молча, потом Шале спрашивает:

— Он будет вести себя благоразумно? Брюне разражается смехом:

— Образцово!

Они входят к Брюне в мертвое тепло, которое больше не согревает. У Шале разочарованный вид, он поднимает воротник кителя, засовывает руки в карманы и садится. Брюне смотрит на потухшую печку, его разбирает смех.

— Ты знаешь, что у меня были контакты с товарищами? — через некоторое время говорит Шале.

Брюне вздрагивает и с жадным интересом смотрит на Шале:

— Серьезные контакты? Частые? Шале улыбается.

— Я думаю, ты лично знаешь Бюшне?

— Еще бы.

— В последний раз я его видел в понедельник. Брюне все еще смотрит на Шале, но он его больше не

видит.

— Как партия? — спрашивает он.

— В порядке, — говорит Шале. — Правда, сначала мы допустили ошибку: советское радио рекомендовало членам партии не покидать пределы Парижа, но у большинства товарищей пробудился застарелый шовинистический рефлекс: они все же уехали, потому что не хотели иметь дела с врагом. А что в результате? «Юманите» могла бы выходить еще до прихода немцев, материал был готов, но все застряло, потому что не было персонала. Теперь товарищи на своих местах, и это превосходно.

Брюне слушает со смесью уважения и скуки: он разочарован. Есть вопросы, которые он хотел бы задать, но никак не может их сформулировать. Он говорит:

— Из‑за арестов и повального бегства должны были произойти значительные изменения. Кто теперь в Центральном Комитете?

Шале криво улыбается:

— По правде говоря, я об этом ничего не знаю. Возможно, там Громер. Это все, что я могу тебе сказать. Времена изменились, старина, чем меньше знаешь, тем лучше.

— Это верно, — соглашается Брюне.

У него щемит сердце. Без всякой нужды Шале откашливается, потом поднимает голову и с минуту смотрит на Брюне.

— Этот Бенен, — спрашивает он, — из них? — Да.

— А Туссю? Лампреш?

— Тоже.

— Откуда они?

— Погоди‑ка.

Он припоминает, потом говорит:

— Бенен — чертежник с завода «Ньом и Рон»[[20]](#footnote-20). Лампреш работает на муниципальных бойнях в Нанте. Туссю — слесарь из Бержерака. А что?

— Они меня удивили.

Брюне поднимает брови. Шале добродушно ему улыбается.

— Они какие‑то возбужденные, разве не так?

— Возбужденные? — повторяет Брюне. — Да нет, не особенно.

Шале смеется.

— Туссю уверяет, что под бараком спрятано оружие. Он хочет взять лагерь штурмом, как только советские войска войдут в Германию.

Брюне, в свою очередь, смеется.

— Туссю гасконец, — поясняет он.

Шале перестает смеяться. Нейтральным тоном он замечает:

— Но остальные были с ним солидарны. Брюне достает свою новую трубку и набивает ее.

— Возможно, они немного возбуждены, — говорит он, — признаться, я этому особого значения не придаю. Но как бы там ни было, делу все эти бредни не вредят; к тому же, ребятам так легче скоротать время.

Не поднимая глаз, он продолжает усталым, всепонимающим тоном, который ему самому привычен:

— Они знают, что погибнут, если спасуют. Вот они и живут на нервах, они взвалили гнет времени на себя и все воспринимают немного преувеличенно. Знаешь, Шале, ведь самому старшему из них нет и двадцати пяти.

— Я это заметил, — говорит Шале. — Да и у вас у всех ужасно напряженный вид.

Он смеется:

— Они мне много чего порассказали.

— Что, например?

— Что война не закончилась, СССР раздавит Германию, трудящиеся обязаны отвергнуть перемирие, поражение стран оси Рим — Берлин — Токио станет победой пролетариата.

Он замолкает, чтобы понаблюдать за Брюне, Брюне молчит. Шале добавляет, деланно усмехаясь:

— Один даже спросил, бастуют ли парижские рабочие и стреляют ли в немцев на парижских улицах.

Брюне продолжает молчать. Шале наклоняется к нему и тихо спрашивает:

— Это ты им вложил в голову такие мысли?

— Но не в такой форме, — говорит Брюне.

— В такой или в другой, но это ты? Брюне зажигает трубку. Что‑то происходит.

— Да, — признает он. — Это я.

Оба умолкают. Брюне курит, Шале размышляет. Унылый желтый свет проникает через окно: определенно будет дождь. Брюне смотрит на часы и думает: «Только половина девятого». Вдруг он встает.

— Мне нужно тебе кое‑что объяснить, — говорит он. — Они тебе говорили о нашей организации?

— В двух словах, — рассеянно отвечает Шале. — Это ты ее создал?

— Да.

— По собственной инициативе?

Брюне пожимает плечами и начинает расхаживать взад‑вперед.

— Естественно, — говорит он. — У меня‑то не было контактов с товарищами.

Он продолжает ходить, взгляд Шале перемещается вслед за ним.

— Нужно представить себе создавшуюся странную ситуацию, — продолжает Брюне. — Парни были на нуле, нацисты и попы делали из них, что хотели. Ты знаешь, что здесь есть даже активисты францистской партии, официально признанной и опекаемой нацистами? Вот я и использовал крайние средства.

— Какие именно? — интересуется Шале.

— Было четыре основных фактора, — отвечает Брюне. — Голод, депортация в Германию, принудительные работы и националистические настроения. Всем этим я и воспользовался.

— Всем? — переспрашивает Шале.

— Да, всем. Существовала смертельная опасность, и я не имел права на чрезмерную щепетильность. Впрочем, — добавляет он, — моя задача была строго определена обстановкой: мне оставалось только использовать их недовольство.

— На какой основе?

Брюне прикасается рукой к перегородке, потом резко поворачивается и идет к противоположной перегородке.

— Я им дал идеологическую платформу, — говорит он. — Только необходимый минимум, самые азы: власть принадлежит народу, Петэн ее узурпирует, его правительство не имело права подписывать перемирие. Война не закончена, СССР рано или поздно вступит в войну; все пленные должны считать себя бойцами.

Он резко умолкает. Шале спрашивает:

— Так вот чем ты был занят?

— Да, — признает Брюне. Шале грустно качает головой:

— Так я и думал.

Он смотрит на Брюне и откровенно улыбается:

— Бывают моменты, когда можно сдохнуть, если не пытаешься сделать хоть что‑то. Так ведь? Неважно что. А поскольку у тебя не было контактов, ты работал в потемках.

— Пусть так, — говорит Брюне, — не утруждай себя дальнейшими упреками.

Голос его суров; сам толком не понимая, обращается ли он к Шале или к партии, он спрашивает:

— В чем ты можешь меня упрекнуть, если взять последние два месяца?

Голос партии становится более суровым:

— Все надо начинать сызнова, старина. Ты оказался полностью на обочине.

Брюне молчит. Шале наклоняется и растерянно щупает печку.

— Она погасла.

Брюне, в свою очередь, трогает печку.

— Да, верно. Погасла.

— А вы слушали в вашей дыре о голлизме?

Брюне думает: слышали не хуже тебя. Он собирается сказать: у нас есть радиоприемник. Но воздерживается.

— Смутно, — отвечает он.

— Де Голль, — говорит Шале почти грозным доктринерским голосом, — это французский генерал, который уехал из Бордо в момент поражения и увез с собой радикальных политиканов и франкмасонских сановников.

— Понятно.

— Сейчас все они в Лондоне. Черчилль предоставляет им радио, и они каждый день болтают в микрофон о немцах. Передачи оплачивают, естественно, английские банкиры.

— Ну и что?

— Что? А ты знаешь, что они говорят по радио?

— Наверно, что война продолжается?

— Да, и что она охватит весь мир, а это прозрачный намек на вовлечение СССР и Америки. Они также говорят, что Франция проиграла только одно сражение, что правительство Виши незаконно и что перемирие — это измена.

Брюне пожимает плечами, Шале улыбается:

— Конечно, они еще не дошли до того, чтобы говорить о народовластии. Но и до этого дойдет, если только Его Величество посчитает, что это необходимо для его пропаганды.

— Ты меня этим не шибко смутил, — говорит Брюне. Он сплетает руки, хрустит суставами и спокойно продолжает:

— Нет, не шибко. Я тебе уже сказал, что моя программа поневоле состояла только из азов. Позже мы пойдем дальше. В этом бараке есть люди, которых я за ручку приведу в партию. Но зачем торопиться: мы здесь надолго. Что касается твоих дружков из Лондона, то некоторые совпадения неизбежны. Англичане воюют с союзниками Гитлера, чтобы защитить свои интересы, а мы боремся против Гитлера, потому что мы антифашисты. Неважно, что мы временно имеем тех же врагов: неудивительно, что порой мы используем те же слова.

Он смотрит на Шале и начинает смеяться, как будто сейчас сболтнет глупость, но горло его сжимается.

— Я полагаю, что до нового указания антифашизм еще не стал отклонением?

— Нет, — отвечает Шале. — Он не стал отклонением. Мы, как всегда, против фашизма во всех его формах. Но ты будешь неправ, если из этого заключишь, что мы собираемся сближаться с буржуазными демократами.

— Я никогда так не думал.

— Этого недостаточно. Объективно же ты вербовал людей для прислужников Черчилля.

Брюне подскакивает. Он поражен. — Я?

Но он тут же успокаивается, улыбается и, заметив, что сжал кулаки, разжимает их и кладет ладони на колени,

— Я тебя не понимаю.

— Представь себе, — говорит Шале, — что парней, которых ты наставлял, освобождают. Они возвращаются во Францию и больше не узнают никого и ничего, пропаганда правительства Виши вызывает у них рвоту. Куда они пойдут?

— Но, Боже мой!.. — говорит Брюне. Глаза Шале жгут его.

— Куда они пойдут?

— До сих пор я предполагал, — с горечью отвечает Брюне, — что они пойдут в партию.

Шале улыбается и спокойно продолжает:

— Они, сломя голову, бросятся в голлизм, они сложат головы в империалистической войне, которая их совершенно не касается, а ты, Брюне, поддерживаешь своим авторитетом эту нелепость.

Взгляд его угасает, Шале пытается улыбнуться, но его лицо перестало ему повиноваться. Из этой фиолетовой красноносой маски исходит только голос, проникновенный и убедительный:

— Не тот момент, Брюне. Ведь мы выиграли, наш злейший враг повержен…

— Наш злейший враг? — не понимая, повторяет Брюне.

— Да, наш злейший враг, — твердо говорит Шале. — Империализм французских генералов и двухсот семейств.

— Это наш злейший враг? — переспрашивает Брюне. Он стискивает руки на коленях и пытается произнести бесстрастно:

— Значит, партия изменила свою политику. Шале внимательно на него смотрит.

— А если и изменила? Ты против? Брюне пожимает плечами:

— Я просто подумал, изменила ли она политику.

— Партия не отклонилась ни на сантиметр. В тридцать девятом она заняла антивоенную позицию, и ты знаешь, чего нам это стоило. Но ведь ты был тогда согласен, Брюне, что партия права. Она была права, потому что выражала коренной антивоенный настрой масс, коммунистов или беспартийных. Сегодня нам остается только пожинать плоды этой линии: наша организация — единственная, кто может стать проводником воли трудящихся к миру. Где ты усматриваешь изменение? А ты сейчас играешь на национализме своих товарищей и хотел бы впутать нас в империалистическую авантюру. Нет, Брюне, это не партия изменилась, а ты.

Брюне зачарованно слушает этот голос, звучащий, как из громкоговорителя: это безличный голос, голос исторического процесса, голос истины. К счастью, взгляд Шале потеплел. Брюне вздрагивает и сухо спрашивает:

— Ты мне излагаешь собственное мнение или сегодняшнюю политику партии?

— У меня никогда не было собственного мнения, — произносит Шале, — я тебе излагаю точку зрения партии.

— Хорошо, — говорит Брюне, — тогда продолжай, я тебя внимательно слушаю, только не нужно комментировать, не будем понапрасну терять время.

— Я и не комментирую, — удивляется Шале.

— Ты только это и делаешь. Ты говоришь: в тридцать девятом году партия выражала антивоенный настрой масс. Это мнение, Шале, не что иное, как мнение. Мы как раз те люди в партии, которые знали, что сентябрьский поворот был крутым, и мы его чуть не упустили. Мы те, кто почувствовал на собственной шкуре, что в тот период массы не были так уж антивоенно настроены.

Он поднимает предплечье и ладонь, как Шале, он улыбается, как Шале, улыбкой точной и скупой.

— Я знаю, у тебя никогда не было достаточно контактов с первичными организациями, это было не твое дело, и я уже замечал, что ты говорил о них с некоторым романтизмом. У меня же такие контакты были, это моя работа, я работал в самой гуще, и я могу тебе подтвердить, что сначала люди не были против войны: сначала они были против нацистов, они не смирились ни с событиями в Эфиопии, ни в Испании, ни с Мюнхеном. В тридцать девятом они остались с нами, потому что им объяснили, что СССР хочет выиграть время, и вступит в войну, как только достаточно вооружится.

Шале смотрит на него с улыбкой. Брюне даже не удалось его разозлить.

— СССР никогда не вступит в войну, — просто говорит Шале.

— Это твое частное мнение! — кричит Брюне. — Твое мнение.

Он успокаивается и, ухмыляясь, добавляет:

— Я же придерживаюсь противоположного мнения.

— Ты? — удивляется Шале. — Ты, я… Причем здесь мы?

Он смотрит на Брюне с уничтожающим изумлением, как будто видит его в первый раз. Переждав с минуту, он продолжает:

— У меня складывается впечатление, что я тебе не слишком симпатичен.

— Оставь это, — смущается Брюне. Шале отрывисто смеется.

— О! — говорит он. — Я говорю тебе об этом попутно. Я от этого сон не потеряю. Только не нужно заблуждаться: мы не сопоставляем наши мнения. У меня были контакты с товарищами, тогда как у тебя их не было, и я тебя просто информирую, не больше того. Дело не в твоей персоне и не в моей. Мы не сделаем ничего хорошего, если позволим себе с самого начала вступать в личные перепалки.

— Именно так я и думаю, — сухо соглашается Брюне. Он смотрит на Шале, пытаясь больше его не видеть; он

думает: дело не в его персоне. Сейчас смотрит и судит не Шале; сам Шале не судит, не думает, не видит. Не нужно замыкаться на его личности, надо исключить личное достоинство и гордыню. Он говорит:

— Значит, СССР не станет воевать? Но почему?

— Потому что ему нужен мир, потому что поддержание мира уже двадцать лет является первейшей целью его вне‑ней политики.

— Да, — с досадой говорит Брюне. — Я это когда‑то слышал в речах на митинге четырнадцатого июля.

Он смеется.

— Поддерживать мир? Какой мир? Воюют все — от Норвегии до Эфиопии.

— Вот именно, — подтверждает Шале. — СССР же останется вне конфликта и приложит все усилия, чтобы он не распространился.

— Откуда вы это знаете? — с иронией спрашивает Брюне. — Вас поставил в известность сам Сталин?

— Нет, не Сталин, — спокойно отвечает Шале — Молотов.

Брюне смотрит на него, открыв рот: Шале продолжает

— Первого августа на заседании Верховного Совета Молотов заявил, что СССР и Германия имеют сходные основные интересы и что германо‑советское соглашение основывается на этой общности целей.

— Ладно, — соглашается Брюне. — И что же дальше?

— В ноябре, — продолжает Шале, — он посетил Берлин, где его восторженно приняли. Там он разоблачил маневры английской и англофильской прессы; он сказал — я почти цитирую: «Буржуазные демократии возлагают свои последние надежды на разногласия, которые нас якобы разделяют с Германией; но скоро они увидят, что эти разногласия существуют только в их воображении».

— Брось! — говорит Брюне. — Он был просто вынужден это сказать.

— Три недели назад, — продолжает Шале, — СССР и Германия заключили торговое соглашение. СССР поставит двадцать пять миллионов центнеров зерна, полтора миллиона тонн мазута, смазочных материалов, нефти и тяжелых масел.

— Торговый договор? — спрашивает Брюне. — Да.

— Так, — говорит Брюне. — Понял.

Он встает, подходит к окну, прижимает лоб к ледяным стеклам, смотрит, как падают капли дождя.

— Я не…

— Что? — спрашивает за его спиной Шале.

— Ничего. Значит, я ошибся, вот и все.

Он оборачивается, снова садится, выбивает трубку о каблук.

— Если ты воспримешь ситуацию конкретно, — задушевно говорит Шале, — то увидишь, что французские трудящиеся нисколько не заинтересованы в том, чтобы СССР принял участие в конфликте.

— Французские трудящиеся здесь, в лагере. Или в других, ему подобных. А те, что не здесь, принудительно работают на фрицев.

— Что ж, верно, — подтверждает Шале, — именно поэтому необходимо, чтобы СССР продолжая свою независимую политику. Он становится сейчас решающим фактором европейской политики. В конце войны воюющие страны будут истощены, и он продиктует им условия мирного договора.

— Хорошо, — говорит Брюне. — Хорошо. Хорошо. Шале уже не дрожит: он встал, быстро ходит вокруг стула, вынимает руки из карманов, он на глазах расцветает.

Брюне наклоняется, поднимает щепку и начинает чистить трубку, он промерз до костей, но ему это безразлично: холод и голод не имеют больше никакого значения.

— Принимая все это во внимание, — продолжает Шале, — чего должны требовать французские массы?

— Я тебя о том и спрашиваю, — не поднимая головы, говорит Брюне.

Голос Шале кружится вокруг его затылка, то близкий, то отдаленный, ботинки Шале весело поскрипывают.

— Французские массы, — отвечает он, — должны сформулировать четыре требования: первое — немедленное подписание мира, второе — франко‑советский пакт о ненападении по типу германо‑советского пакта, третье — торговый договор с СССР, который избавит наш пролетариат от голода, четвертое — всеобъемлющее урегулирование европейского конфликта с участием СССР.

— А внутренняя политика? — спрашивает Брюне.

— При каждом удобном случае и всеми возможными средствами надо требовать легальности для компартии и разрешения печатать «Юманите».

— Нацисты позволят выпускать «Юманите»? — ошеломленно спрашивает Брюне.

— Они нас держат про запас, — говорит Шале. И неспешно добавляет:

— А на кого, по‑твоему, им опираться? Все партии в полном разложении, их лидеры сбежали.

— Но они могут организовать чисто фашистское движение.

— Во всяком случае, могут попытаться. И, по правде говоря, пытаются; но они не дураки, они хорошо знают, что никогда не увлекут за собой народные массы. Нет, единственная организация, которая поднялась против войны, которая защитила германо‑советский пакт, которая сохранила доверие масс, — это наша партия, и, можешь быть уверен, немцы это знают.

— Ты хочешь сказать, что они нам протягивают руку?

— Еще нет. Но факт есть факт: их пресса на нас не нападает. И потом, абсолютно очевидно, что они подписали секретные соглашения с СССР относительно европейских компартий.

Он наклоняется над Брюне и доверительно произносит:

— Наша партия должна быть одновременно легальной и нелегальной, именно это определяет ее структуру и деятельность. Когда обстоятельства загнали нас в полуподполье, мы объединили в своих руках преимущества легальности и преимущества нелегальности, теперь же у нас одни неудобства и от того, и от другого: теряя статус официально признанной партии, мы теряем возможность открыто отстаивать свои требования и занимать в качестве коммунистов ключевые позиции буржуазии, но одновременно мы слишком известны: руководители партии затравлены, у врага есть списки, адреса, он изучил нашу тактику. Нужно выходить из этого положения как можно быстрее. Но как? Подшучивая над немцами, царапая в общественных туалетах «Смерть фрицам»?

Брюне пожал плечами, Шале поднимает руку, призывая его к молчанию.

— Предположим, мы сможем организовать волнения, покушения и стачки. Но кому это пойдет на пользу? Английскому империализму. И то ненадолго, потому что Англия заведомо побеждена. Но если мы снова станем легальной партией со своей программой, со своим местом в политической сфере, мы сможем требовать создания народного правительства, располагающегося в Париже, и выдвинуть обвинения против поджигателей войны. Тогда и только тогда встанет вопрос о новой форме нелегальной деятельности, искуснее приспособленной к обстоятельствам.

— И ты воображаешь, что немцы…? Шале лукаво перебивает его:

— Ты знаешь «Глас народа»? Это газета бельгийской компартии.

— Знаю, — говорит Брюне.

Выдержав паузу, Шале улыбается и бесстрастно добавляет:

— С июня «Глас народа» снова выходит.

Брюне оседает на стуле, запускает руку в карман и сжимает еще теплую трубку. Он спрашивает:

— А что следует делать здесь?

— Прямо противоположное тому, что делаешь ты.

— То есть?

— Нападать на империализм буржуазных демократий, нападать на де Голля и Петэна, поддерживать в массах волю к миру.

— А по отношению к немцам?

— Сугубая сдержанность.

— Хорошо, — не возражает Брюне.

Шале потирает руки: он славно поработал и доволен.

— Мы с тобой, — говорит он, — разделим работу надвое. Товарищи нуждаются в том, чтобы их мало‑помалу прибрали к рукам, но лучше, чтобы это был не ты: ими займусь я. А ты поработаешь с беспартийными.

— И что же мне следует делать?

Шале внимательно смотрит на Брюне, но кажется, будто он его не видит: он размышляет.

— В настоящий момент, — говорит он, — твоя знаменитая организация скорее опасна, чем полезна. Но это хорошо, что она существует, и она однажды сможет сослужить службу: было бы желательно ее законсервировать, не ликвидируя ее полностью. Только ты можешь это сделать.

— Бедняги, — сокрушается Брюне. — А?

— Я говорю: бедняги.

Шале удивленно смотрит на него.

— А что это за парни?

— Радикалы, — отвечает Брюне. — Социалисты… Есть и вовсе беспартийные.

Шале пожимает плечами.

— Радикалы! — о презрением цедит он.

— Они хорошо работают, — заверяет Брюне. — И потом, знаешь ли, потерявшим надежду здесь трудно выжить.

Он останавливается, он уловил звуки чужого, заимствованного голоса, это голос предателя. Он говорил: «Не напускай на себя вид смотрителя покойницкой». Он говорил: «Бедняги, у них смерть в душе».

— В любом случае, это люди пропащие, — чеканит Шале. — Остается только оставить их околевать.

Он ухмыляется.

— Радикалы? По мне так уж лучше нацисты. Это псы, но у них есть социальное чутье.

Брюне думает о Тибо. Он вспоминает его широко смеющийся рот и думает: «Он пропащий, но стоит меньше, чем нацисты, у него нет социального чутья». Он вспоминает: «У нас был радиоприемник». Брюне начинает дрожать. Он думает: «Наш радиоприемник». Он встает, подходит к Шале, теперь они стоят лицом к лицу. Брюне говорит:

— Что ж, все это звучит правдоподобно!

— Еще бы, — с ворчливой сердечностью отзывается Шале, — еще бы не правдоподобно!

— Все на свете правдоподобно, — говорит Брюне. — Можно доказать, что угодно.

— Тебе нужны доказательства?

Шале роется во внутреннем кармане кителя. Он вынимает грязную помятую газету.

— Держи.

Брюне берет газету: это «Юманите». Он читает: № 95, за 30 декабря 1940 года. Газета так истерта, что наполовину рвется, когда он ее разворачивает. Он пытается читать передовицу, но не может. Он думает: «Это «Юманите»» и вслепую проводит пальцами по буквам названия и заголовков. Это «Юманите», я в ней писал. Он старательно сворачивает газету и протягивает ее Шале.

— Ладно.

Сейчас он выйдет и улыбнется Шнейдеру, он ему скажет: «Ты мне это говорил». Мыльный пузырь тут же лопается: нет больше никакого Шнейдера. Есть Викарьос, осведомитель. Свет меркнет у него перед глазами, его легко хлопают по плечу, он вздрагивает. Это Шале: губы Шале кривит мальчишеская улыбка, его рука с механической точностью отстраняется и падает вдоль тела.

— Вот так‑то, — говорит Шале. — Вот так‑то, дружище!

— Вот так‑то! — повторяет Брюне.

Они смотрят друг другу в глаза, они качают головами и улыбаются. В тридцать девятом году он меня боялся.

— Мне нужно пойти предупредить Тибо, — говорит Брюне. — Можешь остаться здесь.

Шале трясет головой, его черты опадают, он говорит ребячливым тоном:

— Ладно, завернусь в одеяло и растянусь на кровати.

— Одеяла за печкой. Возьми два. Скоро увидимся.

Брюне выходит под дождь. Чтобы согреться, он бежит. Туман проникает ему в голову: ни снаружи, ни внутри нет ничего, кроме тумана. Тибо один, на столе колода карт.

— Ты раскладываешь пасьянс?

— Нет, — говорит Тибо, — я слушал радио. Я держу колоду на столе на случай, если кто‑то придет.

Он хитро улыбается: должно быть, у него есть новости, он ждет, что Брюне его сам спросит. Но тот не спрашивает: его больше не интересуют победы английского империализма. Он спрашивает:

— В твоем борделе еще есть место?

— Да, в комнате голландцев, — говорит Тибо.

— Я к тебе потихоньку переброшу одного из моих людей.

Глаза Тибо оживляются.

— Кого именно?

— Шнейдера.

— У него неприятности? — спрашивает Тибо. — Его ищут фрицы?

— Нет, — отвечает Брюне, — пока что нет.

— Понимаю, — говорит Тибо. Он качает головой. — Ему будет скучно, голландцы совсем не говорят по‑французски.

— Это даже хорошо.

— Тогда пусть переселяется, когда захочет.

— А у голландцев тепло? — спрашивает Брюне.

— Пекло. Там живет повар, угля у них — завались.

— Прекрасно, — говорит Брюне. — Что ж, я пошел. Он не уходит. Он касается ручки двери и смотрит на

Тибо, как смотрят на город, который собираются покинуть. Ему уже нечего сказать. Радикал, заведомо пропащий человек… Тибо ему доверчиво улыбается; Брюне не может выдержать эту улыбку: он открывает дверь и выходит. На дворе идет частый дождь, бараки едва различимы. Брюне шлепает по грязи и талому снегу. Парни тридцать девятого года снаружи оставили скамейку, на скамейке сидит какой‑то человек, он опустил голову, дождь стекает по его волосам и шее. Брюне подходит:

— Ты что, спятил?!

Человек поднимает голову: это Викарьос. Брюне говорит:

— Тибо тебя ждет.

Викарьос не отвечает. Брюне садится рядом. Они молчат; колено Викарьоса касается колена Брюне. Время идет, дождь идет, время и дождь — это одно и то же. Наконец Викарьос встает и удаляется. Брюне остается один, он опускает голову, дождь струится по его волосам и шее.

Брюне зевает: полдень, ему предстоит как‑то убить десять часов. Он потягивается, собственная сила душит его, нужно как‑то себя изнурять. С завтрашнего дня — гимнастика до изнеможения. Стучат, он выпрямляется: кто‑то пришел, это всегда помогает скоротать время.

— Войдите.

Это всего лишь Тибо. Он входит и спрашивает:

— Ты один?

— Как видишь, — отвечает Брюне.

— Вижу, но не верю своим глазам. Здесь нет Шале?

— Он у зубного врача, — зевая, говорит Брюне.

— У этого типа вечно что‑то болит.

Он берет стул, пододвигает его к стулу Брюне, садится.

— Вы с Шале стали неразлучны.

— Он мне все время нужен, — объясняет Брюне. — Он переводчик.

— Но до него переводчиком, кажется, был Шнейдер?

— Да, Шнейдер.

Тибо пожимает плечами:

— Ты как красивая женщина, у тебя какие‑то мимолетные увлечения. В прошлом месяце все было только для Шнейдера. Теперь все только для Шале. Мне больше нравился Шнейдер.

— Дело вкуса, — говорит Брюне.

Тибо отбрасывает назад голову и сквозь ресницы рассматривает Брюне:

— Разве вы со Шнейдером не были друзьями?

— Конечно, да.

— Тогда ты будешь доволен, — хитро улыбается Тибо. — Я к тебе с поручением от него.

— От Шнейдера?

— Он хочет тебя видеть.

— Шнейдер? — повторяет Брюне.

— Ну да, Шнейдер. Он поручил мне передать тебе, что в час дня будет за девяносто вторым бараком.

Брюне ничего не говорит, Тибо с любопытством смотрит на него.

— Ну что?

— Скажи ему, что я постараюсь прийти, — говорит Брюне.

Тибо не уходит, он открывает большой рот, он смеется, но его глаза остаются застенчивыми.

— Я рад тебя видеть, старина.

— Я тоже, — говорит Брюне.

— Ты редко показываешься.

— У меня много работы.

— Знаю. У меня тоже. Но когда хочешь, всегда найдешь время. Люди десять раз на дню меня спрашивают, куда ты делся.

Брюне не отвечает.

— Естественно, — продолжает Тибо, — я уничтожил радиоприемник. Мы теперь больше ничего не знаем, мы как в потемках: ребята злятся.

Брюне нервничает под этим пристальным взглядом. Он сухо отвечает

— Я тебе уже объяснял. У кого‑то слишком длинный язык, а у фрицев ушки на макушке. Пока нужно сделать наши встречи более редкими — это элементарная осторожность.

Тибо вроде и не слышит. Он спокойно продолжает:

— Некоторые говорят, что тебе не стоило так горбить, чтобы бросить нас всех при первых же сложностях.

— Ерунда! — весело возражает Брюне. — В полита?» всегда так: топчутся на месте, отступают, а потом снова делают бросок вперед.

Он смеется, Тибо серьезно смотрит на него, в дверь стучат ногой, Брюне быстро встает и идет открывать: это Мулю с банками консервов в руках. Вслед за ним входят Корню и Полен, они несут в одеяле буханки хлеба. Мулю кладет банки на стол, отходит и добродушно созерцает их, сложив руки на животе.

— Сегодня куриные ножки. Тибо встает.

— Тогда до скорого, — говорит он. — Когда у тебя найдется время.

— Да, — отвечает Брюне. — До скорого.

Тибо выходит, Мулю делает шаг по направлению к двери.

— Я позову ребят.

— Нет, — останавливает его Брюне. Мулю изумленно смотрит на него.

— Как это нет?

— Сегодня мы разнесем это по комнатам. — Но почему?

Почему? Потому что здесь нет Шале. Брюне виновато произносит:

— Потому.

— Мы никогда так не делали, — удивляется Мулю.

— Правильно, произведем опыт. Я думаю, это сэкономит время.

— Мы здесь только и делаем, что экономим время.

— Пошевеливайтесь! — нетерпеливо говорит Брюне. — Идите за мной.

Они ходят из комнаты в комнату, как когда‑то. Брюне открывает двери и входит, Мулю вдет следом, объявляя:

— Сегодня вас обслуживают на дому, счастливчики. Подождите немного: завтра вам подадут шоколад в постель.

Люди не отвечают. Они возвращаются с работы, они устали, взгляды их медленны, движения неповоротливы. Большинство сидит на скамейках, большие руки они кладут ладонями на стол, ни на кого не смотрят, молчат. Брюне думает: хватило одного месяца. Один месяц — и барак походит на все остальные. Когда‑то, в полдень, они пели. Перед комнатой товарищей по партии он мешкает, он почти боится: он вообще никогда не заходит туда без Шале, у него такое ощущение, будто он возвращается из путешествия.

— Ну, — спрашивает Мулю, — ты нам откроешь дверь или нет?

Брюне не отвечает. Корню поворачивает ручку левой рукой, они входят, оставив дверь открытой. Брюне остается в коридоре. Заметив удивление на повернувшихся к нему лицах, он все же вынужден зайти. Переступает порог и думает: «Я не должен этого делать, это огромная ошибка».

— Смотри‑ка, — удивляются в комнате, — а вот и Брюне.

— Да, — говорит Брюне, — вот и я.

Он хочет посмотреть им в глаза, он видит только полуприкрытые веки, люди сидят вокруг стола, руки их перебирают хлеб и банки с консервами, кто‑то говорит:

— Черт! Опять куриные ножки.

— Счастливчики, — лопочет Мулю, — вас обслуживают на дому…

— Заткнись! — сердится Брюне. — Смени пластинку. Он сказал это слишком громко: все глаза обращены на

него, но веки тут же опущены, это снова лица слепцов. Брюне делает шаг вперед. Прислонившись к койке, Морис с дерзким и небрежным видом разглядывает его.

— Ну как, ребята? — весело спрашивает Брюне. — Все в норме?

— В норме, — отвечают они, — в норме.

Глаза вновь раскрываются, кто‑то смотрит на Брюне, другие на тех, кто на него смотрит. Все чего‑то ожидают и как будто боятся. Брюне еще чувствует свою власть, но внезапно им овладевает страх. Не нужно было входить сюда, это ошибка. Теперь надо говорить. Неважно что, и как можно скорее. Само это молчание — демонстрация. Он говорит:

— Шале у дантиста.

— Да. У дантиста, — откликается кто‑то.

— Поэтому он не пришел, — поясняет Брюне.

— Да, — отвечают ему. — Да.

— Вы знали об этом?

— Он нас вчера предупредил, что сегодня утром не будет читать лекцию.

— Лекцию по истории коммунистической партии?

— Да. По истории коммунистической партии Франции.

Наступает молчание. До какой степени Шале их завоевал? До какой степени они еще верят Брюне? Брюне поднимает голову, встречает чей‑то взгляд и, оробев, отводит глаза. Гнев стискивает ему затылок, он засовывает руки в карманы и садится на край скамьи, как прежде. Но раньше его тотчас окружали люди. Теперь они и не шевельнулись. Брюне их успокаивает:

— Ничего, он прочтет свою лекцию завтра.

Брюне сказал это тем же голосом, каким прежде говорил:

«Весной СССР вступит в войну». Сенак качает головой:

— А может, ему снова придется пойти туда.

Сенак тогда говорил: «Может, СССР еще не готов, и ему придется ждать еще год».

— Навряд ли, — произносит Брюне. — Думаю, ему выдерут этот зуб сегодня.

— Это зуб мудрости, — гордо объясняет Майар. — Он растет вбок.

Брюне встает и быстро говорит:

— Что ж, пока, ребята! Приятного аппетита.

— Спасибо, — отзываются они. — И тебе тоже.

Брюне поворачивается и выходит. Он идет по коридору, Мулю бегом обгоняет его, за ним следуют Корню и Полен. Смеясь, они ныряют во двор, в солнце. Брюне их видит: легкие на фоне ясного неба, они кружатся, цепляются друг за друга, разжимают руки, наклоняются, чтобы ухватить снега; Брюне ускоряет шаг, потом, остановившись на пороге барака, смотрит на них. Они, толкаясь, исчезают за бараком № 18; Брюне становится одиноко. Он берется за дверную ручку. Еще недавно, когда он входил, Викарьос, сидя у печки, улыбался ему. Зачем ему понадобилась эта встреча? Пожалуй, он поостережется на нее ходить. Он сжимает ручку, но не входит: он знает, что комната пуста. Кто‑то сзади трогает его за плечо.

— Брюне!

Это Туссю. С ним Бенен.

— Чего вам?

Туссю бледен, глаза отрешенные. Он делает над собой усилие, чтобы заговорить. За ним Бенен — он отвернулся, смотрит куда‑то в сторону и, кажется, готов удрать. Наконец, Туссю обретает голос:

— Мы бы хотели с тобой потолковать. Брюне прислоняется к закрытой двери.

— Со мной?

— Да. С тобой. Брюне хмурит брови.

— А о чем?

— О многом.

Брюне упирается спиной о дверь, она скрипит. Он слышит грубоватый утробный голос Бенена, который по‑прежнему глядит куда‑то мимо него.

— Мы хотели бы кое в чем разобраться.

— Ах, разобраться! — с глумливым смехом произносит Брюне. — Разобраться! Неужели?

Он смотрит на них недружелюбно: он сам не понимает, сердится ли он на них потому, что они пришли так поздно, или потому, что пришли только они.

— Обратитесь лучше к Шале!

Но тут же он берет себя в руки и улыбается им улыбкой добряка.

— Я умываю руки: слишком много работы.

— Но мы хотим поговорить именно с тобой, — терпеливо настаивает Туссю. — У тебя найдется для нас минут пять?

— Минут пять! Если я сложу все пятиминутки, на которые меня отрывают в течение дня, мне некогда будет даже заниматься вашей едой. Теперь я всех отсылаю к Шале: мы поделили работу.

Бенен говорит, глядя на носки своих ботинок:

— У меня нет нужды спрашивать что‑либо у Шале. Он всегда готов говорить, но я заранее знаю, что он ответит.

— Я отвечу вам то же самое.

— Но твоим ответам нам, возможно, удастся поверить.

Брюне в нерешительности. Отказаться? Это может выглядеть подозрительным. Они повернулись к нему одновременно, и у них одинаковые вкрадчивые и требовательные физиономии. Брюне сдается:

— Я вас слушаю.

Их глаза расширены, оба растерянно озираются и молчат. Брюне краснеет от гнева. Он резко открывает дверь, поворачивается к ним спиной и входит тяжелой поступью. За ними тихо закрывается дверь. Он подходит к печке и оборачивается, он не приглашает их сесть.

— Ну так что?

Туссю делает шаг вперед, Брюне отступает: никакого сообщничества. Туссю, конечно же, понижает голос.

— Видишь ли, Шале утверждает, что СССР не вступит в войну.

— Ну и что? — громко и резко спрашивает Брюне. — Что вас смущает? Вас разве не учили, что страна трудящихся никогда не позволит вовлечь себя в империалистическую бойню?

Они молчат, обмениваются исподтишка взглядами, чтобы подбодрить друг друга. Вдруг Бенен поднимает голову и смотрит прямо в глаза Брюне.

— Но ты говорил нам совсем другое.

У Брюне дрожат руки, он засовывает их в карманы.

— Я ошибался, — говорит он.

— Откуда ты знаешь, что ошибался?

— У Шале были контакты с товарищами.

— Это он рассказывает. Брюне разражается смехом.

— Вы что, воображаете, что он продался нацистам? Он делает шаг вперед, кладет руки на плечи Туссю и подчеркнуто громко произносит:

— Когда Шале вступил в партию, старина, ты еще ходил в коротких штанишках. Не дурите, ребята: если вы станете считать ответработников шкурами каждый раз, когда вы с ними в чем‑то не согласны, то в один прекрасный день вы мне заявите, что папаша Сталин — агент Гитлера.

Тут он заразительно смеется, глядя Туссю прямо в глаза. Туссю остается серьезным. Наступает молчание, потом Брюне слышит медленный, недоверчивый голос Бенена:

— Однако все ж таки странно, чтобы ты так сильно ошибался.

— Такое случается, — небрежно отвечает Брюне.

— Ты тоже ответработник, — возражает Туссю. — Ты тоже был в партии, когда я еще ходил в коротких штанишках. Ведь так? Кому же верить?

— Я вам уже сказал, что мы с Шале во всем солидарны! — почти кричит Брюне.

Они безмолвствуют, они ему не верят. Они не поверят ему никогда. Перегородки вертятся у Брюне перед глазами. Все его друзья здесь, все они смотрят на него, нужно сделать все, чтобы как‑то пресечь эту сумятицу. Он протягивает дрожащие руки, выбрасывает ладони вперед и громко говорит:

— Я ошибся, потому что считал себя большим умником и пользовался неточной информацией, я ошибся, потому что поддался застарелому ура‑патриотическому реакционному инстинкту.

Обессиленный, он замолкает. Нахмурив брови, он переводит взгляд с одного на другого, ненавидяще вращая глазами: он готов оборвать им уши. Но лица у обоих по‑прежнему бесстрастные и неудовлетворенные: они пропустили его слова мимо ушей, они их как бы не слышали. Слова растворяются без остатка, и Брюне сразу успокаивается: зря я себя унизил.

— Если СССР за мир, — настаивает Бенен, — зачем он вовлек нас в эту войну?

Брюне выпрямляется и сурово смотрит на них:

— Бенен, поостерегись: ты пошел по кривой дорожке. Я тебе скажу, откуда ты извлек этот аргумент: из помойки. Я сто раз слышал его от французских фашистов, но впервые слышу, как то же самое повторяет один из моих товарищей.

— Это не аргумент, — возражает Бенен. — Это вопрос.

— Что ж, вот мой ответ: если бы Сталин не опередил буржуазные демократии, они натравили бы немцев на СССР.

Бенен и Туссю переглядываются, они недовольно кривятся. Бенен признается:

— Да. Шале нам об этом говорил.

— Что до войны, — говорит Брюне, — то как же вы можете желать ее продолжения? Немецкие солдаты — те же рабочие и крестьяне. Разве вы хотите, чтобы советские трудящиеся сражались против рабочих и крестьян ради прибылей лондонских банкиров?

Они молчат, скорее завороженные, чем убежденные. Сейчас они понуро вернутся в свои комнаты, к товарищам, бросятся на койки, и до вечера в их головах будет полная неразбериха, у них не хватит смелости посмотреть друг на друга, и каждый про себя будет твердить: нет, я ничего не понимаю. Сердце у Брюне сжимается, это же мальчишки, им надо помочь. Он делает шаг вперед, они видят, как он подходит, они понимают — он готов помочь, и в их мрачных глазах впервые появляется блеск. Внезапно Брюне останавливается: партия — это их семья, у них нет ничего на свете, кроме партии, лучший способ им помочь — молчать. Их глаза мгновенно гаснут. Он им улыбается:

— Не слишком‑то размышляйте, ребята, не слишком‑то пытайтесь все уразуметь: мы толком ничего не знаем. Уже не впервые партия кажется неправой. А потом с каждым разом приходит понимание, что она была права. Коммунистическая партия — это ваша партия, она существует для вас и благодаря вам, у нее нет иной цели, кроме освобождения трудящихся, иной воли, чем воля масс. Поэтому‑то она никогда не ошибается. Никогда! Никогда! Вбейте это себе в голову. Она просто не может ошибаться.

Ему стыдно за свой голос, пылкий и неубедительный, он хотел бы вернуть им простодушие, он пытается обрести свою былую силу. Но тут открывается дверь, и в комнату, тяжело дыша, врывается Шале. Туссю и Бенен торопливо расступаются. Брюне делает шаг назад, ему противен их вид школьников, пойманных с поличным. Все улыбаются, Брюне, улыбаясь, думает: «Он бежал, вероятно, его предупредили».

— Привет, ребята! — восклицает Шале.

— Привет! — отзываются те.

— Как зуб? — спрашивает Туссю.

Шале улыбается, у него лицо, как из гипса: должно быть, ему пришлось натерпеться.

— Конечно, вырвали! — весело сообщает он.

Брюне злится, что у него повлажнели ладони, Шале не перестает ухмыляться, его взгляд переходит с одного на другого, он говорит немного затрудненно:

— У меня во рту все одеревенело. Насколько я понимаю, — добавляет он, — вы пришли ко мне?

— Мы просто проходили мимо, — отвечает Туссю.

— Разве вы не знали, что я у зубного?

— Мы думали, что ты уже вернулся.

— Что ж, вот я и вернулся, — говорит он. — Вы хотели у меня что‑то спросить?

— Два‑три мелких вопроса, — говорит Бенен. — По твоим лекциям. Но это не к спеху!

— Мы придем еще, — заверяет Туссю. — А сейчас не будем тебе мешать: тебе нужно передохнуть.

— Заходите в любое время. Вы знаете, я всегда здесь. Глупо получилось: вы пришли в единственный день, когда меня не было.

Они, улыбаясь, пятятся, прощаются и уходят. Двери закрываются, Брюне вынимает руки из карманов и вытирает их о брюки; теперь они повисли вдоль его бедер. Шале снимает шинель и садится; он дышит все легче, лицо его розовеет.

— Эти два паренька неплохие, — говорит он. — Они мне нравятся. Давно они пришли?

— Минут пять назад.

Брюне делает шаг вперед и добавляет:

— Они приходили ко мне.

— Так я и думал. Они тебе очень доверяют.

— Они мне задавали вопросы о партии, — признается Брюне.

— А что ты им ответил?

— То, что ответил бы ты сам.

Шале встает, подходит к Брюне и откидывает голову, чтобы лучше разглядеть его. Из его расплывшегося в улыбке рта несет лекарствами.

— Сегодня утром разносил еду по комнатам ты? Брюне кивает головой.

— Вот чертов Брюне! — ухмыляется Шале.

Он берет его за локти, пытается дружески его встряхнуть, но Брюне напрягается, и Шале не может сдвинуть его с места. Руки Шале размыкаются и падают вдоль тела, но сердечная улыбка так и не сходит с лица.

— Верю, что ты поступаешь так не злонамеренно. Но ты не представляешь себе, как ты мешаешь мне работать.

Брюне не отвечает. Он досконально знает, что ему сейчас скажет Шале.

— Какое влияние я могу оказать на этих парней, — спрашивает Шале, — если им необходимо твое разрешение, чтобы они мне поверили?

Броне пожимает плечами; он неуверенно возражает:

— Какая разница, раз мы друг с другом согласны?

— Дело заключается в том, — говорит Шале, — что они не верят в наше согласие. Сейчас ты им повторяешь то, что говорю я, но они нс могут забыть, что недавно ты говорил им обратное. Как я могу работать в таких условиях?

— Но что я могу еще поделать? — спрашивает Брюне. — Уже месяц я стараюсь держаться в тени.

Шале чистосердечно смеется.

— Держаться в тени? Бедный мой Брюне, такой человек, как ты, не может держаться в тени. У тебя много веса, много объема. И если ты ничего не говоришь, если ты себя никак не проявляешь, ты от этого становишься еще опасней, ты концентрируешь их сопротивление, ты как бы встаешь во главе оппозиции.

Брюне невесело смеется:

— Вот уж оппозиционер поневоле.

— Совершенно верно. Достаточно того, что ты существуешь, того, что, проходя по коридору, они знают, что ты за этой дверью. После этого ты можешь сколько угодно молчать: объективно твой голос перекрывает мой.

Брюне мягко говорит:

— Но не можешь же ты меня ликвидировать. Шале смеется, не поднимая глаз:

— Это ничего не решило бы. Скорее наоборот.

Знаменательный момент. У Брюне нет иллюзий, он заранее знает, что побежден, но есть еще Туссю, Бенен, все остальное: нужно сделать последнее усилие. Он кладет руки на плечи Шале и произносит так же мягко:

— Во всем этом есть частично и твоя вина.

Шале поднимает голову, но ничего не отвечает. Брюне продолжает:

— Твоя ошибка состоит в том, что контактируешь с ними именно ты. Ты мастер воспитания кадров, но, работая с нашими пареньками, ты не смог найти нужных доводов.

Все пропало: холодная ярость полыхнула в глазах Шале, он мне завидует — мелькнуло у Брюне. Ладони его соскользнули вдоль рук Шале, но для очистки совести он объясняет:

— Я их держал в руках. Если бы ты оставался в тени и давал бы указания, а я выполнял бы работу, они имели бы дело только с одним человеком, и, сами того не заметив, изменили бы свое поведение.

Глаза Шале гаснут, губы кривятся в улыбке. Брюне продолжает:

— И им тоже было бы не так тяжко.

Шале не отвечает, Брюне смотрит на это мертвенное лицо и без всякой надежды добавляет:

— Может, еще есть время что‑то изменить…

— Времени не было никогда, — жестко отрезает Шале. — Ты олицетворяешь собой некий уклон и должен исчезнуть вместе с ним: это непререкаемый закон. Ты погорел, понимаешь. Если ты будешь молчать, если затаишься, ты, к сожалению, сохранишь свой авторитет. Но если ты заговоришь, если ты им повторишь то, что говорю им я, ты станешь для них посмешищем.

Брюне смотрит на этого человечка с неким остолбенением: один удар — и я могу его уничтожить, одно слово — и я начисто подорву его влияние; но я как в параличе, я сам подписал свой смертный приговор, и я не мешаю ему, поскольку наполовину я его сообщник. Не повышая голоса, Брюне спрашивает:

— Так что? Как я должен поступить?

Шале отвечает не сразу. Он садится, кладет руки на колени и складывает ладони. Он мечтает, редко можно увидеть мечтающего Шале. Через некоторое время он задумчиво произносит:

— Ты мог бы возобновить свою деятельность в другом месте и с другими товарищами.

Брюне молча смотрит на него. Шале как бы слушает свой внутренний голос, внезапно он оживляется:

— Почти каждый день формируются особые бригады…

— Знаю, — говорит Брюне. Он ухмыляется:

— Не рассчитывай на это, я не пойду в особую бригаду. Я хочу работать, а не плесневеть среди кучки крестьян, оболваненных попами.

Шале пожимает плечами.

— Поступай, как знаешь.

Оба — один стоя, другой сидя — молчат, размышляют о наилучшем способе устранения Брюне. В коридоре ходят взад‑вперед люди, они глядят на закрытую дверь и думают: он там. Я подчиняюсь дисциплине, а Брюне неймется; я прячусь, а Брюне так и лезет на глаза.

— Если ты пошлешь меня в особую бригаду, люди решат, что это ссылка.

Шале бросает на него изумленный взгляд:

— Именно это я себе сейчас и говорю.

— А если я сбегу?

— Это худшее, что ты можешь предпринять: все подумают, что ты бежал, чтобы заниматься фракционной деятельностью в Париже.

Брюне молчит, он скребет правым каблуком пол, он опускает глаза, он страдает, он думает: я мешаю. Его ладони снова увлажняются. Я буду мешать повсюду. Здесь ли, в Париже ли — везде я буду виновником беспорядка. Он ненавидит беспорядок, недисциплинированность, индивидуальный бунт, я как соломинка в стали, как песчинка в зубчатом колесе.

— Можно собрать товарищей: ты выскажешь мне критические замечания, и я перед всеми признаю свои ошибки.

Шале живо поднимает голову:

— Ты бы на это пошел?

— Я пойду на все, что угодно, только бы сохранить возможность работать.

Шале недоверчиво смотрит на него; вдруг Брюне ощущает внутри себя какое‑то смутное беспокойство. Он знает, что это такое, он этого боится. Нужно говорить сразу же и очень быстро.

— Понадобится голосование, — цедит он сквозь стиснутые зубы, — и когда они меня сами осудят…

— Никакого осуждения, — посмеивается Шале, — никаких драм: это их только запутает. Я вижу это так: никакой торжественности, просто обычная дискуссия между друзьями, а в конце ты встанешь…

Слишком поздно, снаряд свистит, крутится, взрывается, освещает ночь: СССР будет разгромлен. Он не избежит войны, он вступит в нее один, без союзников, его армия ничего не стоит, он будет разбит наголову. Брюне видит полные недоумения глаза Шале: неужели я сказал это вслух? Он берет себя в руки, наступает долгое молчание. Потом Брюне усмехается.

— Я хорошо тебя провел, — с трудом говорит он.

Шале молчит, он бледен. Брюне продолжает:

— Никакого публичного самобичевания не будет, старина. Всему есть предел.

— Я тебя ни о чем не просил, — тихо говорит Шале.

— Конечно, ты меня ни о чем не просил: для этого ты слишком хитер.

Шале улыбается, Брюне с любопытством смотрит на него: интересно, какой способ он изберет, чтобы избавиться от меня? Внезапно Шале встает, берет под мышку шинель и, не проронив ни слова, удаляется. Брюне выходит вслед за ним и сразу ныряет в солнце. СССР будет разгромлен. Брюне всматривается в самого себя и проворачивает эту упрямую мысль, которая возвращается сто раз на дню, он видит вялый, стекловидный шарик, беззащитно приклеенный к полу: его можно раздавить ударом каблука, мысль — это так хрупко, так прозрачно, так растворимо, так сокровенно, так соучастно, похоже, ее на самом деле не существует: и из‑за этого я себя гублю! Разве я действительно думаю, что СССР будет разгромлен? Возможно, я просто боюсь этой мысли? А даже если бы я так думал, что из того? Мысль в голове — это ноль, внутреннее кровоизлияние, ни малейшего подобия правды. Правда практична, она проверяется действием; если бы я был прав, это как‑то проявилось бы, можно было бы изменить ход событий, повлиять на партию. А я ничего не могу, стало быть, я не прав. Он ускоряет шаг и понемногу успокаивается: все это не так уж серьезно. У него, как и у всех, всегда были непроизвольные мысли, эти оплесневелости, осадки его мозговой деятельности; просто он на них не обращал внимания, он позволял им расти, точно грибам в подвале. Что ж, он снова с ними совладает, и все сразу образуется: он останется с партией, он станет соблюдать дисциплину и будет держать свои мысли при себе, не проронив о них ни слова, он скроет их, как скрывают постыдную болезнь. Это не пойдет дальше, это не может пойти дальше: против партии не думают, мысли — это слова, а все слова принадлежат партии, партия их определяет, партия их предоставляет, Истина и партия — одно целое. Он идет, он доволен, он отрешен: бараки, лица, небо. Небо льется ему в глаза. За ним возникают забытые слова, и они болтают сами по себе: раз это не в счет, раз это не действенно, почему твоя мысль не долота идти до конца? Он резко останавливается; он чувствует, что порядком смешон. Что‑то подобное должно происходить с людьми, которые принимают себя за Наполеона: они убеждают себя, они доказывают себе, что они не являются, просто не могут быть императором. Но как только доводы исчерпаны, за их спиной возникает голос: «Привет, Наполеон». Он оборачивается на свою мысль, он хочет ее увидеть воочию: если СССР будет разгромлен…

Он проламывает крышу и ныряет во мрак, и тут же взрывается, партия где‑то под ним, как живой студень, покрывающий планету, я никогда ее не видел, я был внутри ее, он кружится над этим бренным студнем: партия смертна. Ему холодно, он кружится: если партия права, я более одинок, чем сумасшедший; если она ошибается, то все люди одиноки и мир обречен. Страх нарастает, Брюне кружится, запыхавшись, останавливается и прислоняется к стене барака: что со мной происходит?

— А я уже сомневался, что ты придешь? Это Викарьос. Брюне говорит:

— Как видишь, я пришел.

Они не подают друг другу руки. Теперь у Викарьоса борода, она седая. Он приковывает лихорадочный взгляд ко лбу Брюне, как раз над бровями. Брюне отворачивается: он испытывает отвращение к больным, его взгляд блуждает между бараками и вдруг он замечает вдалеке вспышку света из‑под полуприкрытых век, потом убегающую спину: это Морис. Он за мной шпионит. Сейчас он помчался в санчасть предупредить Шале. Брюне выпрямляется, это его забавляет, даже веселит. Он поворачивается к Викарьосу:

— Зачем я тебе понадобился?

— Я хочу бежать.

Брюне вздрагивает: он неизбежно погибнет где‑то в снегу.

— В разгар зимы? Но почему тебе не подождать до весны?

Викарьос улыбается, Брюне видит эту улыбку и отводит взгляд.

— Я тороплюсь.

— Что ж, — говорит Брюне. — Беги.

Тяжелый мрачный голос скользит вдоль его затылка:

— Мне нужна гражданская одежда.

Брюне заставляет себя поднять голову и с досадой отвечает:

— В лагере есть организация, которая помогает людям бежать. Обратись туда.

— А ты кого‑нибудь из этой организации знаешь? — спрашивает Викарьос.

— Нет, я о ней только слышал.

— Все о ней только слышали, но никто толком ничего не знает. А истина в том, что такой организации не существует.

Он снова обращает чернильный взгляд на брови Брюне, у него вид слепца, его грубоватый, вялый голос как бы нехотя вытекает изо рта.

— К сожалению, только вы можете мне помочь. У вас повсюду свои люди. Маноэль работает на складе, а там тысячи костюмов.

Брюне спрашивает:

— Но почему ты хочешь бежать?

Викарьос поднимает ладонь и улыбается, глядя на свои ногти. Он отвечает, разговаривая как бы с самим собой:

— Я хочу защитить себя.

— От кого? Перед чем? — устало спрашивает Брюне. — Партия существенно изменилась.

Викарьос глуховато и жестко смеется.

— Посмотрим! — говорит он. — Посмотрим! Брюне устал и настроен миролюбиво: он погибнет где‑то в снегу, для меня спокойнее узнать эту новость в лагере.

— А какая тебе разница, что мы о тебе думаем? Ты от нас ушел больше года назад: оставь же нас в покое.

— Моя жена еще у вас, — говорит Викарьос. Брюне опускает голову и не отвечает. Через минуту Викарьос добавляет:

— Моему старшему десять лет: для него партия — Бог. Уверен, что уже нашелся кто‑то, кто сказал ему, что он — сын предателя.

Викарьос тихо усмехается, глядя на свои пальцы.

— Увы, это отнюдь не то, чего бы я желал ему в начале жизни.

— Почему ты обратился ко мне? — раздраженно спрашивает Брюне.

— А к кому, по‑твоему, мог я еще обратиться? Брюне вскидывает голову и сует руки в карманы,

— На меня не рассчитывай.

Викарьос не отвечает: он ждет. Брюне тоже ждет, потом теряет терпение и погружает взгляд в эти незрячие глаза.

— Ты против нас, — говорит он.

— Нет, ни за, ни против. Просто я хочу защитить себя, только и всего.

— Что бы ты ни делал, ты против нас Ответа нет, Брюне продолжает:

— И потом, сейчас не время пересматривать твой случай. Ты дал веские доводы врагу, ты сам на себя наклеил ярлык: ярый коммунист, которому партия в конце концов опротивела. Никогда товарищи не будут полностью тебе доверять: даже если ты частично невиновен, им нужно, чтобы ты был виновен полностью. Но вернемся к этому попозже.

— Попозже!

Викарьос слегка опускает глаза, потом говорит напрямик:

— Нет, Брюне, только не ты!

Они смотрят друг на друга. Ни тот, ни другой не отводят взгляда.

— Только не ты. Ты — единственный, кто не имеет права меня обвинять.

— Почему?

— Потому что ты прекрасно знаешь, что я не предатель: если ты мне откажешь в помощи, то сознательно помешаешь товарищам узнать правду.

Но Правда — это то, что решила партия. Правда и партия — одно целое. Если партия ошибается — все люди одиноки. Все люди одиноки, если выяснится, что ты не предатель.

— Ты нас бросил, когда мы были в дерьме, — сурово говорит Брюне, — ты попытался очернить партию в своей газете. Это так же преступно, как если бы ты продался губернатору.

— Это, может быть, так же преступно, — тихо говорит Викарьос, — но это разные преступления.

— У меня нет времени обращать внимание на оттенки.

Они смотрят друг на друга. Внезапно в голове Брюне снова завертелось: СССР будет разгромлен. Он смотрит на бледное лицо Викарьоса: он видит свое собственное лицо. Он тоже будет разгромлен, все люди одиноки, Викарьос и Брюне одиноки и похожи друг на друга. В конце концов, если он хочет погибнуть, это его дело.

— Ладно, будет у тебя одежда.

Тяжелое лицо Викарьоса по‑прежнему ничего не выражает. Он просто говорит:

— Мне нужны также галеты.

— Они у тебя будут, — Брюне раздумывает. — Я попытаюсь достать тебе компас.

Глаза Викарьоса в первый раз зажигаются:

— Компас? Это было бы здорово!

— Твердо ничего не обещаю, — говорит Брюне.

Они одновременно отворачиваются. Брюне глубоко дышит. Ему остается только уйти. Он не уходит, он пытается понять, почему не уходит Викарьос. Вдруг он слышит смущенный печальный голос:

— А ты постарел.

Брюне смотрит на седую бороду Викарьоса и не отвечает.

— У тебя все в порядке? — спрашивает Викарьос. — Да.

— А товарищи? Что вы им сказали обо мне?

— Что ты был болен, и что я перевел тебя к Тибо, потому что там не так холодно.

— Очень хорошо.

Он качает головой и бесстрастно замечает:

— Никто ко мне не пришел…

— Это тоже хорошо.

— Да, естественно.

— Тебе больше нечего мне сказать?

— Нечего.

— Ну, ладно.

Брюне уходит, он вышагивает по снегу, лихорадочные глаза Викарьоса сопровождают его и движутся вместе с его глазами. Он делает над собой усилие, глаза гаснут: погибнет он или нет, в любом случае он пропал, наборщик тоже пропал, в партии бывают отщепенцы, это нормально. Он сжимает кулаки, делает крутой поворот: никто не сделает меня отщепенцем. Он идет дальше: дружеская дискуссия, Шале сердечно станет меня укорять, тогда я встану перед всеми… На пороге барака Мулю с наслаждением курит сигарету с позолоченным фильтром. Брюне останавливается:

— Что это такое?

— Сигарета.

— С позолоченным фильтром? В столовой таких не продают.

Мулю багровеет.

— Это окурок. Я его подобрал у комендатуры.

— Как вы мне надоели с вашей привычкой подбирать окурки, — ворчит Брюне. — В конце концов, вы все подхватите сифилис.

Мулю, весь красный, полузакрыв глаза и втянув голову в плечи, поспешно затягивается. Брюне думает: раньше он сразу же выбросил бы сигарету.

— Ребята на работе?

— Нет еще: они в комнате с Шале.

— Сходи за Маноэлем, — говорит Брюне. — Быстренько. И постарайся, чтобы никто этого не видел.

— Понятно, — важно произносит Мулю.

Он убегает. В другом конце коридора открывается дверь, быстро выходят Сенак и Раек. Они замечают Брюне, их глаза гаснут, они останавливаются, засовывают руки в карманы и снова вдут небрежной походкой. Они приближаются к Брюне, он им улыбается, они ненатурально кивают в ответ. Они удаляются, Брюне рассеянно провожает их взглядом и думает: Сенака я выделял. Его тянут за рукав, он оборачивается: это Туссю.

— Опять ты! — раздражается Брюне. — Что тебе надо? У Туссю странный вид. Он спрашивает:

— Правда, что Шнейдера на самом деле зовут Викарьос?

— Кто тебе сказал? — спрашивает Брюне.

— Шале.

— Когда?

— Только что.

Он недоверчиво смотрит на. Брюне и повторяет:

— Так это правда? — Да.

— Правда, что он вышел из партии в тридцать девятом году?

— Да.

— Правда, что он был связан с губернатором Алжира? — Нет.

— Значит, Шале ошибается? — Да.

— Я думал, он никогда не ошибается.

— В данном случае он ошибается.

— Он говорит, что партия разослала предупреждения относительно Викарьоса. А это правда?

— Да.

— Значит, партия тоже ошибается?

— Товарищи были плохо информированы, — говорит Брюне. — Все это не очень серьезно.

Туссю качает головой:

— Для Викарьоса это серьезно. Брюне не отвечает. Туссю констатирует:

— Ты же очень любил Викарьоса. Раньше он был твоим другом.

— Да, — говорит Брюне. — Раньше.

— А сейчас тебе наплевать, что ему набьют морду? Брюне хватает его за руку:

— Кто хочет набить ему морду?

— Ты видел Раска и Сенака? Они пошли к нему.

— Это Шале им приказал?

— Он не приказывал. Он пришел с Морисом, а потом кое‑что им рассказал.

— Что рассказал?

— Что Викарьос предатель, что он тебя обвел вокруг пальца, что ты с ним не расставался, что это опасно и что в один прекрасный день всех нас заложат.

— Что сказали товарищи?

— Они ничего не сказали, они слушали. Потом Сенак и Раек встали и ушли, это все.

— И Шале им ничего не сказал?

— Он даже не подал вида, что видит их.

— Хорошо, — говорит Брюне. — Спасибо. Туссю задерживает его.

— Хочешь, я пойду с тобой?

— Ни в коем случае, — говорит Брюне. — Это ловушка, и ее расставили исключительно для меня.

Он бежит, за бараком № 18 никого нет, он останавливается, переводит дыхание и снова бросается бежать. Он бежит к своей погибели, никогда он не бежал так быстро. У барака Тибо он видит Викарьоса с Сенаком и Раском. Они стоят на солнце, совсем черные, посреди пустынной дороги, Раек что‑то говорит, Викарьос молчит. Потом Сенак и Раек сближаются и говорят одновременно, Викарьос засунул руки в карманы, он не отвечает. Брюне ускоряет бег. Раек поднимает руку и бьет Викарьоса по зубам. Викарьос вынимает руку из кармана и утирает разбитые губы, Раек хочет ударить еще раз, Викарьос перехватывает его кулак, Сенак, в свою очередь, бросается вперед и наносит удар. Викарьос отклоняет голову, и кулак Сенака касается его где‑то за ухом. Это драка, как в китайском театре теней, беззвучная и безобъемная: в нее не веришь. Брюне стремительно подбегает и ударом кулака отбрасывает Сенака к стене барака. У Викарьоса идет кровь, глаза Раска сверкают. Брюне видит кровь и ненависть, западня сработала, его окружает ненависть, в этом он твердо убежден.

— Что вы делаете, болваны?

Викарьос отпускает руку Раска. Раек поворачивается к Брюне и озирает его:

— Мы ему объясняем наш образ мыслей.

— Да. А вы его объясните фрицам, если они припрутся? И в подтверждение покажете свои партийные билеты, да? Давайте‑ка, валите отсюда поживей!

Раек не шевелится, он неприязненно и мрачно смотрит на Брюне. Сенак медленно идет на них, кажется, он нисколько не оробел:

— Скажи‑ка, Брюне, разве этот малый не предатель?

— Возвращайтесь к себе, — говорит Брюне. Сенак краснеет, он повышает голос:

— Так он не предатель? Говори! Не предателя ли ты защищаешь?

Брюне смотрит ему в глаза и спокойно повторяет:

— Возвращайтесь. Это приказ. Сенак ухмыляется:

— Этот номер больше не пройдет.

— С твоими приказами покончено, папаша, — цедит Раек. — Теперь скорее мы должны тебе приказывать.

— Вот как?

Раек понимает: назревает драка. Одно движение — и парализующая его паутина разорвется сверху донизу.

— Вот так, Брюне, — спокойно и твердо говорит Раек, — нет у тебя больше права нами командовать, это решено.

— Очень может быть, — отвечает Брюне. — Но я с легкостью могу отправить тебя на пару недель в госпиталь. Это я еще в силах сделать.

Они колеблются. Брюне смотрит на них, смеясь от нетерпения: они знают, что не одержат верх, но кто из них решит не позориться и произнесет непоправимые слова? Сенак кривит губы и бледнеет, он сам пугается того, что сейчас скажет. Ага, значит, Сенак, тем лучше: как раз тот, кого я предпочитал другим. Силки расставлены умело.

— Так вы сговорились… — начинает Сенак.

Брюне выбрасывает кулак и с удовольствием обрушивает его на правый глаз Сенака; Сенак мягко валится на руки покачнувшегося Раска. Брюне с интересом смотрит на них, потом еще раз бьет в то же самое место, чтобы хорошенько отделать Сенака. Бровь Сенака рассечена — из нее обильно течет кровь. Брюне разводит руками и смеется: стопка тарелок на земле, все разбито, все кончено. Раек и Сенак уходят мелкими шажками, поддерживая друг друга; они обо всем доложат Шале, и температура в комнате поднимается, ловушка прекрасно сработала, Брюне потирает руки. Викарьос утирает рот, его губы дрожат, струйка крови сбегает по его седой бороде. Брюне ошеломленно смотрит на него: я так поступил ради него.

— Тебе больно?

— Пустяки.

Он утирается платком, борода поскрипывает. Викарьос говорит:

— Ты ведь обещал ничего не сообщать товарищам. Брюне пожимает плечами, Викарьос обращает к нему

большие пустые глаза и озабоченно спрашивает:

— Они меня не любили, да?

— Кто?

— Все.

— Да, — подтверждает Брюне, — они тебя не любили.

Викарьос качает головой:

— Теперь они мне устроят веселую жизнь.

— Вряд ли. Ведь ты скоро уйдешь.

Викарьос полуотвернулся, он провожает взглядом Сенака и Раска.

Брюне видит кончик его носа и покатую небритую щеку.

— Дружба, — говорит Викарьос, — все‑таки возможна.

— Она возможна, — говорит Брюне, — между двумя партийцами.

— При условии, что оба остаются на ортодоксальных позициях.

Он, не оборачиваясь, говорит каким‑то отстраненным голосом:

— В прошлом году в Оране три товарища пришли к моей жене и сунули ей под нос какую‑то бумагу: они хотели, чтобы она ее подписала; в бумаге говорилось, что я сволочь и что она от меня отрекается. Она, естественно, отказалась, тогда они обозвали ее шлюхой и стали угрожать. Это были мои лучшие друзья.

Брюне молчит: он осторожно растирает пальцы правой руки, ему пока не совсем понятно, что именно он сделал.

— Однако, — продолжает Викарьос, — если мы столько боролись, если мы и сейчас боремся, разве это в том числе не ради дружбы?

Брюне думает: раз я ударил Сенака, раз я слепо бросился в западню Шале, то я сделал это, вероятно, ради дружбы? Ему хочется коснуться плеча Викарьоса или стиснуть ему руку, ему хочется ему улыбнуться, чтобы его поступок не был как бы напрасным. Но он не улыбается и не протягивает руки: между ними никогда больше не будет настоящей дружбы.

— Что ж, — говорит он. — Возможно, она когда‑нибудь и будет, но уже после нас.

— После нас, но почему? Почему не сегодня? Брюне вдруг взрывается:

— Сегодня? С миллиардом рабов и всемирным пожаром? Ты хочешь дружбы? Ты хочешь любви? Ты непременно хочешь быть человеком? Рядом со всем этим? Мы нелюди, старина, пока еще нет. Мы недоноски, недомерки, полуживотные. Единственное, что мы можем сделать, — работать для того, чтобы те, кто придет после нас, не были похожи на нас.

Викарьос как бы пробуждается, он внимательно смотрит на Брюне, он мягко замечает:

— Правильно: я вижу, ты тоже через это прошел. Брюне смеется.

— Я? — спрашивает он. — Нет. Я говорил вообще.

— Ну да! — весело говорит Викарьос, — я в курсе твоих дел. Тибо сказал мне, что тебя больше не видно, что ты заставил их разобрать приемник, что ты позволяешь Шале держать себя взаперти…

Брюне не отвечает; большие глаза Викарьоса искрятся, но тут же гаснут, он удивленно смотрит прямо перед собой, затем вяло говорит:

— Я думал, это доставит мне удовольствие…

— Удовольствие? — переспрашивает Брюне. Викарьос ухмыляется:

— Ты не представляешь себе, как я вас ненавидел! Он резко оборачивается, глаза его темнеют.

— С того дня, как я вас покинул, я только и делал, что пытался выжить: но этого вам было мало, и вы меня сгноили. Вы поместили в меня суд инквизиции: великий инквизитор — это я; я все время был вашим сообщником, и вы знали, что можете рассчитывать на меня. Временами я безумел: я уже не знал, кто во мне говорил о вас или обо мне самом. Тебе это понятно. Но было кое‑что и похуже: вы меня заставили думать так, как думают предатели, жить так, как живут предатели: я сам у себя был на подозрении, я прошел все испытания стыдом и страхом. Все правильно: тот, кто вас покидает, должен ненавидеть вас или быть омерзителен самому себе. Если он вас ненавидит, вы в выигрыше: он становится фашистом, что и требовалось доказать. Я сопротивлялся, насколько мог, а вы били все больнее, вы били изо всех сил. А другие в это время раскрывали мне свои объятья. Я мог повернуться к ним спиной, мог оскорблять их: все шло им на пользу. Я писал в своей газете для вас, я умолял вас понять меня, я пытался вас предупредить, оправдаться: они же перепечатывали мои статьи, искажая их, а вы, вы спешили перепечатать эти фальсифицированные отрывки в «Красном Алжире»[[21]](#footnote-21). Я оправдывался, я публиковал свои опровержения в их же прессе, они меня восхваляли за объективность, за независимость, они готовы были наделить меня всяческими добродетелями: чем больше они старались, тем более преступным я выглядел. Вы же в спешном порядке объявляли товарищам, что я сотрудничаю с реакционными газетами; вы говорили, что я переметнулся к Дорио, что я перешел в газету французских фашистов, и в качестве доказательства приводили их похвалы. Вы объединились с ними, чтобы создать мне определенную репутацию, которая была мне отвратительна, но понемногу гипнотизировала меня, у меня голова шла кругом, я буквально сходил с ума… Он смотрит на Брюне гордо и мрачно.

— Тогда я забился в угол и замолк: если я вас и ненавидел, никто об этом ничего не знал, моя ненависть никому не нанесла урона; да, я выиграл, но какой ценой! Ты сильный, Брюне, но я тоже был сильным, а теперь ты сам видишь, во что я превратился.

Брюне неуверенно бормочет:

— Следовало сначала подумать об этом, а потом уже уходить от нас.

— Ты полагаешь, что я не думал? Я знал все заранее.

— И что же?

— Ты знаешь: я от вас ушел.

Он улыбается своим воспоминаниям; красный ручеек у него на бороде подсох и выглядит темной волосяной косицей.

— Да! Как же я вас ненавидел! В Баккара я мерз, я был тенью, я пришел к тебе, потому что ты был живым и теплым, я питался твоими соками, я паразитировал на тебе и от этого еще больше тебя ненавидел. Когда ты заговорил со мной о своих планах, я понял, что ты пропал, я сказал себе: этот уже у меня в руках. Я работал с тобой, я любил работу, которую мы делали вместе: мы помогали людям, возвращали им вкус к жизни, это было честно, но я говорил себе: однажды он станет таким же, как я. Я хотел присутствовать при этом моменте, чтобы полюбоваться на твою физиономию, и заранее радовался.

Он качает головой, внимательно смотрит на Брюне, потом признается:

— Но это не доставляет мне удовольствия.

— Должен сказать тебе, что ты заблуждаешься, — спокойно говорит Брюне. — Не спорю: в эти дни я столкнулся с некоторыми несущественными трудностями, но партию я никогда не покину. Если нужно подчиниться, я подчинюсь, если нужно осудить самого себя, я пойду и на это. Я ничто, то, что я могу думать или говорить, не имеет решительно никакого значения.

Викарьос размышляет.

— Да, — медленно произносит он, — можно избрать и такой путь. Но что это меняет? Как бы то ни было, а яблоко уже с червоточиной.

Наступает долгое молчание.

— Викарьос, — вдруг говорит Брюне, — у тебя сейчас совсем немного сил. Если ты убежишь, то вполне можешь погибнуть. Ты это понимаешь?

— Конечно, понимаю, — отвечает Викарьос.

Они молчат, украдкой, стыдливо‑дружелюбно поглядывая друг на друга, потом Брюне, тяжело ступая, удаляется. У барака № 27 он встречает Маноэля.

— Я тебя искал, — обращается к нему Брюне.

— Ты хотел у меня что‑то попросить?

— Да. Мне нужно два гражданских костюма.

Ветер бьется в окна, все скрипит. Брюне лежит на спине и потеет; снаружи и изнутри его пронизывает холод. Ночь ждет его. Он прислушивается: Мулю уже храпит, со стороны Шале ни звука, ненависть бодрствует. Тело Брюне остается совершенно неподвижным, в то время как его голова медленно поворачивается к красноватому пеплу угасающей печки. Он смотрит, как пляшут знакомые тени, мягкий красный свет становится все мягче, превращается во взгляд, полный упрека. Довериться теплу, спать: все предельно упростилось бы, в конце концов, мне было здесь не так уж плохо.

Наконец до него доносится равномерное и какое‑то тщательное пришепетывание, он вздрагивает: наконец! Нет больше ненависти, нет больше Шале. Брюне подкосит к глазам перевернутое запястье, различает две бледные фосфоресцирующие стрелки: десять минут одиннадцатого, я опаздываю. Он соскальзывает с койки, неслышно одевается при умирающих бликах огня. Когда он надевает китель, печка трещит и тухнет, в глубине его глаз расцветает розовый осенний цветок; он нагибается, на ощупь находит ботинки, берет их в левую руку и доходит до двери. Он прилагает силы, чтобы открыть ее: снаружи ветер прижимает ее, словно человек. Брюне выскальзывает наружу, перекладывает ботинки в правую руку, берется левой рукой за наружную ручку и медленно прикрывает дверь. Готово. В коридоре буря, обеими ногами он попадает в лужу. Он обувается, нагибается, чтобы завязать шнурки, ветер толкает его, он чуть не падает вперед головой. Когда он снова подымается, холод бьет его по губам, закладывает уши, одевает его в ледяные доспехи, он стоит неподвижно, глаза его ничего не видят, даже ночи: все застят пучки сиреневых цветов. В протяжной заплачке ветра он различает праздничный звук: это губная гармошка Бенена. Прощай, прощай. Он во что‑то погружается, спотыкается, шатается, вокруг него хлопает огромная черная простыня, он вытягивает руку, ночь обступает его, он наталкивается на стену барака и идет вдоль нее, припадая к ней плечом. Его волосы пляшут, невидимая волна уносит его, он кое‑как добирается до дороги, повсюду ночь: ничто его не защищает, он как будто голый, беспредельная ночь — это невидимый народ, миллионы глаз, которые его отлично видят. Он идет, сопротивляясь ветру, ночь понемногу тает: вдалеке электрический фонарь, золотая нить бежит по темной воде к его ногам, Брюне прижимается к бараку и задерживает дыхание. Шлепанье ботинок, проходят два человека, их шинели, как обезумевшие, приподнимаются и полощутся на уровне поясниц. Ночь опять царит полноправно, Брюне снова вдет, шлепает по грязи: ему предстоит шлепать так всю ночь. Он натыкается на первый барак, потом на второй, дошел. Он без стука входит. Тибо и Буйе озадаченно смотрят на него. Узнав его, они начинают смеяться. Брюне тяжело дышит и улыбается им: это промежуточный пункт. Он щурится, вздрагивает и отряхивает с себя холод и ночь.

— Такой ветер может сбить у рогоносцев рога!

— Это уж точно, — с упреком говорит Тибо, — нужно же вам было выбрать такую собачью ночь!

— Все продумано, — объясняет Брюне, — когда дует ветер, проволочные заграждения скрипят.

Буйе хитро поглядывает на него.

— Приготовься к сюрпризу.

— Какому еще сюрпризу?

— Закрой глаза, — командует Тибо. — Теперь открой. Брюне открывает глаза и видит штатского.

— Правда, хорош?

Брюне не отвечает: в смущении он разглядывает штатского.

— Где ты был? Викарьос ему улыбается:

— Когда ты вошел, я спрятался под одеялами.

У него такой вид, как будто он вышел из стенного шкафа или из могилы, но сам он этого не чувствует. Он сбрил бороду, на нем белая рубашка без воротничка, коричневый костюм ему явно тесен. Викарьос садится, скрещивает ноги, облокачивается на стол с немного искусственной непринужденностью, как будто бы его тело смутно припоминает, что раньше оно жило.

— Ты мне не казался таким толстяком, — говорит Брюне.

— Черт побери, я распихал повсюду куски хлеба, тебе нужно будет сделать то же.

— Где моя одежка?

— Под кроватью.

Брюне, дрожа, раздевается, надевает голубую рубашку с пристроченным воротничком, полосатые брюки, черный пиджак. Он смеется:

— Наверно, я похож на нотариуса.

Он перестает смеяться: Викарьос, в свою очередь, изумленно смотрит на него. Брюне отворачивается и спрашивает у Тибо:

— А галстука нет? — Нет.

— Ну и ладно.

Он надевает гражданские туфли и невольно морщится.

— Порядком жмут.

— Не хочешь — не надевай.

— Еще чего, именно так попался Серюзье. Ничего, потерплю.

Они стоят друг против друга в старомодной одежде, они друг другу насмешливо улыбаются. Брюне поворачивается к хохочущим Тибо и Буйе: эта пара выглядит куда естественней.

— Спрячьте‑ка это, — говорит Тибо. Он протягивает им две плоские фляги:

— Это для воды.

Брюне сует флягу в задний карман и спрашивает:

— А плащи…

— Оп! Вот и они!

Буйе и Тибо с нарочитым подобострастием помогают им надеть плащи, потом отступают и заливаются смехом.

— Ой, не могу! Вот так рожи — ни на что не похожи![[22]](#footnote-22) Тибо критически оглядывает Брюне.

— Только осторожно: не зацепитесь плащами за колючую проволоку: вы отвыкли от них.

— Не волнуйся, — успокаивает его Брюне.

Еще немного посмеявшись, они умолкают, их взвинченная веселость гаснет. Брюне раскладывает по карманам карту, фонарь и компас. Вдруг он осознает, что готов, и у него холодеет спина.

— Ну вот! — говорит он. Викарьос вздрагивает и повторяет:

— Вот.

Неловкими руками он медленно застегивает плащ. Брюне ждет, он пытается оттянуть время. Готово: последняя пуговица в петле, между ними и ночью больше ничего нет. Брюне поднимает глаза, он смотрит на скамейку, на койки, на промасленный фитиль ночника, на мак, пританцовывающий на конце фитиля, на черный дым, вьющийся к потолку, на большие, такие знакомые вращающиеся тени: здесь так тепло, так пахнет человеком и пылью; ему кажется, что он покидает свой очаг. Тибо и Буйе сильно побледнели.

— Чертовы счастливчики! — говорит Тибо.

Из великодушия он делает вид, что завидует им; Викарьос качает головой и тихо произносит:

— Мне страшно.

— Брось, — подбадривает его Брюне. — Эту минуту надо пережить: как только мы окажемся по ту сторону, все пойдет, как по маслу.

— Я не этого боюсь. — Викарьос облизывает пересохшие губы: — Что нас там ждет?

Брюне чувствует мимолетное неприятное покалывание в сердце и не отвечает. Ночь: в конце пути — Париж. Нужно будет начинать жить заново. Тибо поспешно говорит:

— Как только будете в Париже, не забудьте написать моей жене: мадам Тибо, Сен‑Совер‑ан‑Пюизе: этого будет достаточно. Сообщите обо мне, напишите^ что со мной все в порядке, что я не хандрю, и пусть она мне сообщит, что вы добрались. Ей только нужно написать: дети благополучно прибыли.

— Договорились, — заверяет его Брюне.

Доска уже здесь, она прислонена к перегородке. Брюне ощупывает ее: она прочная и тяжелая. Он берет ее и прижимает к боку. Подходит Тибо и неловко хлопает его по плечу:

— Чертовы счастливчики? Чертовы шельмы! Шнейдер направляется к двери, Буйе идет следом.

— Немного погодя, — говорит Буйе, — может, и мы последуем вашему примеру.

— А может быть, — подхватывает Тибо, — что мы вдруг повстречаемся на воле.

Шнейдер улыбается им:

— Моя жена живет на улице Кардане, дом 13. Брюне оборачивается. Тибо и Буйе жмутся друг к другу.

Тибо улыбается им с несчастным и нежным видом, у него большое плоское лицо, изможденное добротой, его большой рот растягивается в улыбке любви и бессилия: его милое лицо — бесполезный дар.

— Ни пуха ни пера!

— К черту! К черту! — тараща глаза, отзывается Брюне.

— Вспоминайте иногда своих товарищей.

— А как же иначе! — восклицает Викарьос.

— И не валяйте дурака, если заметите, что обнаружены. Не бегите, ведь им приказано беглецов убивать.

— Нас не обнаружат, — заверяет его Брюне. — Потушите ночник.

Ночь навсегда пожирает эти два одинаковых лица и их прощальные улыбки, беглецы оказываются в холоде и мраке. Ветер хлещет им прямо в лицо, во рту у них кисловатый металлический привкус, в глазах вращаются фиолетовые диски. За ними хлопает дверь, отступление исключено: перед ними туннель, долгий терпеливый переход, нескорый опасный рассвет; грязь прилипает к их подошвам. Брюне счастлив, потому что Викарьос идет рядом. Временами он протягивает руку и прикасается к нему, а временами чувствует, как к нему прикасается рука Викарьоса. Порыв ветра останавливает их, они прижимаются к стене барака, чтобы укрыться от него, но не видят ни зги. Брюне нечаянно задевает доской окно и сразу отскакивает назад: к счастью, стекло не разбилось. Он слышит чертыханье, тяжелый удар: Викарьос грохнулся коленом о ступеньку лестницы. Брюне поднимает его и кричит ему в ухо:

— Сильно ушибся?

— Нет. Но сколько это может продолжаться?

Они бросаются к дороге. Брюне не по себе: слишком пустынно, они уязвимы со всех сторон. Он с беспокойством прикидывает, что они должны были бы уже поравняться с дезинфекционным бараком, но барака он в темноте не видит. В ночи образуется смутно освещенная дыра — это вход в комендатуру, черт, мы взяли слишком влево. Вцепившись свободной рукой в Викарьоса, Брюне увлекает его направо. Они продолжают шагать, доска ударяется о стенку, Брюне отскакивает в сторону и едва не сбивает с ног Викарьоса, они бегут. Брюне приподнимает доску и пытается нести ее вертикально, это трудно: она слишком длинна и задевает за землю. Он бежит, вытянув левую руку ладонью вперед, он штурмует громаду ночи, она отступает, но порой Брюне угадывает ее совсем рядом и чувствует, что вот‑вот о нее разобьется, страх течет по его ногам и сковывает их. Его подошвы долго месят жидкую кашу, но внезапно он ступает на твердую почву, неожиданно возникает остров: Черная Площадь, это первый этап. Брюне жарко, туфли не так жмут, как он опасался, он дал Викарьосу тумака под ребра и услышал, как тот хохотнул. Остается правильно сориентироваться. Он берет его за руку, и они продвигаются дальше, они идут против ветра и вдруг чувствуют, как их неудержимо тянет вбок, потом у них будто вырастают крылья, они почти летят.

— Мы ходим по кругу, — говорит Викарьос.

Они поворачивают в другу сторону и, взяв друг друга под руку, продираются сквозь ветер, он завывает, скрип механического насекомого прорывается через ветровую погудку, с каждым шагом оно приближается, сердце Брюне бьется чаще: это проволочные заграждения. Брюне думает: теперь нужно отыскать уборные. В тот же момент ветер швыряет им в лицо смрад мелкого града и аммиака. Они продвигаются, ведомые звуком и запахом, они скользят вдоль уборных, приседают за кучей мусора, в метре от них колючая проволока сотрясает воздух, подпрыгивая, как детская скакалка, это какой‑то шабаш. Теперь есть две ночи: та, что опускается за ними, тучная разгневанная масса уже позади сражения, а другая, зыбкая, их сообщница, она начинается сразу за заграждением, темнота. Викарьос сжимает руку Брюне: они счастливы. Брюне тихо проводит пальцами по доске. Три ряда колючей проволоки высотой метр двадцать сантиметров, доска — один метр тридцать, достаточно. Вдруг Викарьос сжимает ему запястье, Брюне вздрагивает: по дороге шагает часовой. Брюне слушает этот звук невидимых шагов, холодная радость пронзает его: все как надо, сейчас можно будет начинать. Три ночи подряд он прятался за уборными, наблюдая за часовым: тот отходит от сторожевой будки как раз напротив них, проходит метров сто, потом возвращается на свой пост. На хождение туда и сюда уходит две минуты или около того: у них есть тридцать секунд. Брюне слышит, как шаги удаляются, он тихо считает, первые цифры соответствуют каждому шагу, затем наступает тишина, часовой растворяется, он повсюду, кажется, что сама ночь настороже, цифры падают в пустоту, звучат глухо. На счете сто девятнадцать шаги возникают снова, часовой обретает плоть, идет из глубины ночи, потом становится одиноким и спокойным плеском, проходит мимо них, поворачивается и идет назад. Один, два, три, четыре… На этот раз он появляется при счете сто двадцать семь, в следующий раз при счете сто двадцать два, будем основываться на сто двадцати, так вернее. Брюне снова начинает считать, при счете сорок пять он кладет руку на плечо Викарьоса и чувствует, как твердые пальцы сжимают его запястье, он растроган: это рука дружбы. Они встают, Брюне протягивает руку, на нее натыкается железная оса и царапает ему ладонь, кончиками пальцев он проводит вдоль проволоки, чтобы избежать другого укола, прикасается к деревянному колу, не переставая считать, поднимает доску и осторожно наклоняет ее вперед: она стоит, как плот, мягко раскачивающийся над тройной волной колючей проволоки, руки Брюне в грязи, он, не спеша, соскребает грязь о кол, пятьдесят семь, он ставит левую ногу на нижнюю проволоку, упирается подошвой в кол, собирается с силами, приподнимается, ставит правую ногу на среднюю проволоку, поднимает левое колено, скребет им о верхушку кола и наконец опирается им о доску, пятьдесят девять, теперь он ползет на коленях и на руках, время замедляет ход, шестьдесят, часовой обернулся и вроде бы смотрит на него, справа от Брюне ночь — это их маяк. Брюне продвигается вперед, протягивает руку, дотрагивается до второго кола и продвигается дальше, несмотря на качку, касается третьего, немного пятится и возвращается на доску, она чуть не опрокинулась, но потом сама собой выпрямилась: за нее ухватился Викарьос. Брюне щупает ногой пустоту, натыкается на железную проволоку, шестьдесят два, он хочет прыгнуть, потому что боится отнять частицу времени у Викарьоса, но пола его плаща цепляется за кол, черт, от нетерпения он дрожит, он спрыгивает, подкладка плаща рвется. Брюне двумя руками хватается за доску и тихо ее раскачивает, чтобы дать понять, что он благополучно добрался. Колючая проволока скрипит, доска качается, Брюне крепко поддерживает ее, он думает о часовом и чувствует, что тот возвращается, он со злостью думает о Викарьосе: что он там делает, этот осел, мы из‑за него попадемся, он протягивает руку и наталкивается на голову, Викарьос с трудом переворачивается на доске, Брюне слышит его дыхание, потом — тишина. Туфля царапает по его рукаву, он ловит ее и тихо опускает на проволоку, Викарьос спрыгивает на землю, их пронзает молния радости, свободны! В эту минуту с верха сторожевой вышки их поражает молния, они, не понимая, щурятся, дорога бела от солнца посреди круга темноты, лужи сверкают, как бриллианты. Брюне хватает Викарьоса за плечо и увлекает за собой, они бегут, вокруг свистят пули, в них стреляют с вышки и из сторожевой будки. Из сторожевой будки: там кого‑то спрятали, нас выдали. Брюне бежит, дорога широка, как море, их четко видно, это ужасно, вокруг свистят пули. Вдруг Викарьос становится каким‑то вялым и оседает, Брюне поднимает его, тот снова падает, Брюне толкает и тянет его: вот и лес со всем, что остается от ночи, он бросает его между деревьями, падает на спину, они катятся по снегу, Викарьос вопит.

— Замолчи, — шепчет Брюне.

— Ты мне делаешь больно! — вопит Викарьос.

Они катятся по склону, Викарьос стонет, Брюне не выпускает его, его душит гнев, нас выдали. Наверху орут и стреляют. Они катятся, Брюне ударяется головой о какую‑то стену, его глаза готовы выскочить из орбит, но сейчас не время терять сознание, он делает отчаянное усилие над собой, его пальцы скребут снег, Брюне выпрямляется. Он ударился головой о корень, теперь он зажат между стволом дерева и телом Викарьоса, он тихо шевелится, его рука хватает Викарьоса за плечо, тот с ненавистью кричит:

— Беги!

Брюне становится на колени. Теперь он знает, что проиграл, но он пойдет до конца, он подсовывает руки под поясницу Викарьоса, он хочет его приподнять и понести на руках, Викарьос отталкивает его, Брюне пытается снова и снова, они вслепую борются, вдруг Викарьоса вырывает ему на руки, Брюне невольно выпускает его, тот падает. Наверху бал фей: стволы деревьев пляшут в световом ореоле. Брюне приближает лицо к лицу Викарьоса.

— Викарьос! — умоляюще говорит он.

— Беги! — хрипит Викарьос. — Все это по вашей вине…

— Я не уйду, — говорит Брюне, — я бежал, чтобы быть с тобой.

— Все это только по вашей вине, — повторяет Викарьос.

— Господи, мы начнем все сначала! — заклинает его Брюне. — Я поговорю с руководством партии. Я…

Викарьос взвизгивает:

— Начать сначала! Ты что, не видишь — я умираю? Он делает над собой отчаянное усилие и с трудом добавляет:

— Меня убивает партия.

Его вырывает в снег, потом он снова падает и замолкает, Брюне садится, привлекает его к себе, нежно приподнимает его голову и кладет ее на свое бедро. Куда он ранен? Он проводит рукой по его гражданскому пиджаку, по его гражданской рубашке, все промокло — от крови или от снега? Страх леденит его: он умрет у него на руках. Брюне лезет в карман и вынимает фонарик, наверху окликают, зовут, ему на это наплевать. Он нажимает на кнопку, из мрака возникает мертвенно‑бледное лицо, Брюне смотрит на него. Ему плевать на фрицев, плевать на Шале, плевать на партию, больше ничто не имеет значения, больше ничего не существует, кроме этого разъяренного полного ненависти лица, с сомкнутыми веками. Он шепчет: лишь бы он не умер. Ио он знает, что Викарьос сейчас умрет; его отчаяние и ненависть постепенно поплывут вверх по течению этой растраченной жизни и предадут ее тлению до самого истока. Никакая победа не сможет стереть эту вершину страдания: да, его убила партия, даже если СССР победит, люди останутся одинокими. Брюне наклоняется, запускает руку в грязные волосы Викарьоса, он кричит, как будто еще может спасти его от этого ужаса, как будто два обреченных человека могут в последнюю минуту одолеть свое одиночество:

— Плевал я на партию, ты мой единственный друг! Викарьос не слышит, его горький рот булькает и пускает пузыри, и Брюне продолжает кричать ветру:

— Мой единственный друг!

Рот Викарьоса открывается, челюсть отвисает, волосы полощутся; порыв ветра, который пробегает по ним и исчезает, — это ветер смерти. Брюне зачарованно смотрит на это изумленное лицо и думает: это и моя смерть. Немцы скатываются по склону, цепляясь за деревья, он встает и вдет им навстречу: его смерть уже началась.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Для читателей журнала «Тан модерн» за ноябрь и декабрь 1949 г., где были опубликованы две части «Странной дружбы» под общим заголовком ««Дороги свободы», т. IV», этот отрывок должен показаться прямым продолжением III тома — «Смерть в душе». Там мы расстались с Брюне и Шнейдером в августе 1940 г. в поезде, который увозил их в германский плен в Трев. Теперь мы снова встречаемся с ними зимой 1940‑41 гг. в лагере для военнопленных: это логическое продолжение, неразрывно связанное со всей второй частью романа «Смерть в душе», главным героем которой стал Брюне. Таким образом, подтверждается предположение, что второй цикл, цикл «Брюне», начался в «Дорогах свободы» после того, как читатели «Смерти в душе» восприняли гибель Матье как свершившийся факт, несмотря на финальную фразу, намекающую на обратное.

Понадобилось почти четырнадцать лет, чтобы узнать о дальнейшей судьбе Матье. И об этом рассказал не Сартр, а Симона де Бовуар в отрывке из «Силы вещей», где она объясняет, почему Сартр перестал работать над четвертым томом и отказался от намерения его завершить. Мы воспроизводим далее этот отрывок, который повествует о неосуществленном продолжении:

«Смерть в душе» заканчивалась вопросами: погиб ли Матье Деларю? Кем был Шнейдер, столь заинтересовавший Брюне? Что стало с другими персонажами? «Последний шанс» должен был ответить на эти вопросы. Первая часть была опубликована в конце 1949 г. в «Тан модерн» под названием «Странная дружба». Внезапно прибывший в лагерь пленный, коммунист Шале, узнает в Шнейдере журналиста Викарьоса, вышедшего из партии после того, как был подписан германо‑советский пакт: о Викарьосе было специальное предупреждение компартии, считавшей его предателем. Шале утверждал, что СССР никогда не вступит в войну, а «Юманите» фактически призывает к сотрудничеству с немцами. Встревоженный, возмущенный, терзающийся Брюне, узнав от Викарьоса, что тот собрался бежать, чтобы оспорить обвинение клеветников, решается бежать вместе с ним. Этот совместный побег скреплял дружбу, которую Брюне испытывал к Викарьосу вопреки всем обвинениям. Побег не удался: Викарьос был застрелен, Брюне схвачен. Продолжение осталось в виде черновика. Брюне решается на новую попытку побега. Ему рассказали об одном пленном, который руководит организацией побегов, он его ищет; им оказывается Матье, который в тот момент, когда Брюне его находит, участвует в расправе над стукачом. Спасшийся от гибели Матье, уставший с юных лет быть свободным «ни для чего», решается наконец на активные действия. Благодаря его помощи, Брюне бежит из лагеря и добирается до Парижа; тут по повороту событий, аналогичному концовке «Грязных рук» и толкнувшего Уго к самоубийству, он к своему изумлению выясняет, что, поскольку СССР вступил в войну, теперь компартия осуждает коллаборационизм. Добившись успеха в реабилитации Шнейдера, он снова энергично участвует в Сопротивлении; но смятение, скандал, одиночество окончательно открывают ему глаза: он обретает свободу в сознательной ангажированности. Матье идет к тому же противоположным путем. Даниель, ставший коллаборационистом, сыграл с ним скверную шутку: он приглашает его в Париж на должность редактора газеты, контролируемой оккупантами. Матье скрывается и уходит в подполье. В лагере военнопленных он еще действовал как индивидуалист авантюрного склада, теперь же, подчиняясь коллективной дисциплине, он тоже приходит к ангажированности; хотя один начинает с одержимой приверженности, а другой с абстрактной свободы личности, и Брюне, и Матье воплощают подлинного человека действия, каким его понимал Сартр. Матье и Одетта любят друг друга, Одетта бросает Жака, и они познают всю полноту дозволенной страсти. Арестованный немцами, Матье умирает под пытками, он герой не по природе, но потому что сделал себя таковым. Филипп тоже действует: из ненависти к Даниелю и ради того, чтобы доказать себе, что он не трус. Его убивают во время облавы в одном из кафе Латинского квартала. Обезумев от горя и бешенства, Даниель прячет в своем портфеле одну из гранат, которые Филипп хранил у него в квартире; он отправляется на собрание важного немецкого начальства и уничтожает всех и себя самого. Сара, скрывающаяся в Марселе, выбрасывается с сыном из окна, когда немцы пытаются ее арестовать. Борис сброшен на парашюте к партизанам. Погибают все или почти все, не остается никого, кто мог бы задуматься над послевоенными проблемами страны.

А именно они теперь более всего интересуют Сартра; о Сопротивлении ему больше нечего сказать, поскольку роман он задумал как вопрос и поскольку всем было хорошо известно, как себя вести при оккупации. К концу «Странной дружбы» героям уже все ясно: критическая точка их истории — это момент, когда Даниель исступленно выбирает зло, когда Матье убеждается, что больше не в состоянии переносить свою пустую свободу, когда Брюне задумывается над своими принципами; Сартру остается только собирать тщательно выращенные плоды; но он предпочитает корчевать, вспахивать, сеять. Не оставляя мысли о четвертом томе, он постоянно находит себе работу, в большей степени его привлекающую. Перепрыгнуть через десять лет, сунуть своих персонажей в тревоги современной эпохи уже не имело особого смысла: последний том не оправдал бы обещаний предпоследнего. Тот был продуман слишком основательно, и Сартр не мог изменить его план, напротив, он, несомненно, следовал бы ему».

В 1964 году Джордж Г. Бауер, готовивший тогда свою работу «Сартр и художник», приобрел у парижского книготорговца собрание рукописей Сартра, насчитывающее 800 листов и относящееся к «Смерти в душе». Исследуя эти рукописи, полностью написанные от руки, за исключением десяти машинописных страниц, он, к своему величайшему удивлению, обнаружил там полностью неизданные страницы брошенного на полпути четвертого тома, тетрадь, содержащую «Странную дружбу», и множество страниц, относящихся к исследованию о Жане Жене, эссе о Дэвиде Хейре, о Жионе Мили, многочисленные политические статьи и т. д. За исключением тетрадей, заполненных значительной частью текста «Смерти в душе», и тетради, содержащей «Странную дружбу», все остальное было в полном беспорядке.

Мы узнали о существовании рукописи, насчитывающей 233 страницы, из части неопубликованного IV тома в «Тан модерн», которая была продана 12 мая 1959 года в отеле «Друо». Мы сообщили об этом в «Сочинениях Сартра» и думали тогда, что речь шла о рукописи, приобретенной Джорджем Г. Бауером. В действительности это была совсем другая рукопись, и мы до сих пор не смогли с ней ознакомиться. Но зато Джордж Г. Бауер любезно согласился сотрудничать с нами, подготавливая примечания и варианты для «Странной дружбы» и самостоятельно идентифицируя текст неизданных отрывков IV тома, рассеянных в рукописи, владельцем которой он был. В своей работе он основывался на планах, обнаруженных в рукописи. Эти планы свидетельствуют, что вопреки утверждению Симоны де Бовуар, «Странная дружба» не является первой частью IV тома «Дорог свободы», но третьей и пятой. В первой из глав, открытых Джорджем Г. Бауером, рассказывается о выздоровлении раненого Матье в лагерной санчасти, во второй — о встрече Брюне и Матье в лагере после неудавшейся попытки побега Брюне и гибели Шнейдера, обе главы обрамляют «Странную дружбу». Но поскольку эти главы были еще вчерне, Сартр предпочел, чтобы мы дали их отдельно в качестве набросков, тогда как «Странная дружба», текст, опубликованный и отшлифованный Сартром, явно принадлежит к тому же корпусу, что и три опубликованные тома, то есть к незаконченному, но продуманному целому «Дорог свободы». Таким образом, этот роман имеет четыре части: «Возраст зрелости», «Отсрочка», «Смерть в душе», «Странная дружба». Поскольку Сартр предназначал для последнего тома название «Последний шанс» и не был уверен, когда писал IV том, что он будет последним, мы с большим колебанием, несмотря на свидетельство Симоны де Бовуар, даем это название неизданным отрывкам, идентифицированным Джорджем Г. Бауером.

В общем ансамбле «Дорог свободы» мы подчеркнули бы разнообразие стилей. «Странная дружба» так же, как и неизданные отрывки, отличается обилием диалогов. Драматическая структура произведения — это структура дискуссии, конфликта, аналогичного тому, который цитируемый Сартром Гегель определял как сущность античной трагедии. Тон повышенной эмоциональности также трагичен.

Как мы уже указали в «Общих примечаниях» к «Дорогам свободы», идеологический замысел, лежащий в основе «Странной дружбы», состоит в том, чтобы осудить сталинизм на французский лад, исповедуемый компартией в послевоенные годы. Этот замысел имеет личностную эмоциональную мотивировку: злополучная дружба Сартра с Низаном. В начале 20‑х годов эта дружба, «более бурная, чем страсть», уже послужила поводом для написания вызванного ссорой с Низаном сартровского романа «Семя и Скафандр», работу над которым Сартр забросил после примирения с Низаном. Известно, что в 30‑е годы узы между Низаном и Сартром ослабли. Но создается впечатление, что смерть Низана в мае 1940 года всколыхнула в Сартре былые дружеские чувства. Военнопленный в лагере XII‑D в Треве, погруженный в климат сгущенной эмоциональности, Сартр, возможно, фантазировал, что стало бы в подобных обстоятельствах с Низаном. Как партиец, объявленный руководством партии предателем за то, что он вышел из партии после заключения германо‑советского пакта, был бы оценен коммунистами лагеря, если бы они его узнали? Как Низан воспринял бы эту новую ситуацию: член партии, разлученный со своей политической семьей, исключенный ею и несущий бремя и позор одиночества? Именно такую ситуацию девять лет спустя воспроизводит сартровский текст. Все происходит так, словно Сартр в какой‑то степени слился с Низаном, чтобы тот продлил свое существование. Шнейдер (немецкий перевод латинского оригинала его собственной фамилии — Sartor — портной), он же Викарьос (викарий) — это Низан. Таким образом, Сартр создает синтез самого себя и Низана. «Странная дружба» между Брюне, кристальным и непреклонным партийцем, с которым Сартр прежде олицетворял коммуниста Низана, со Шнейдером‑Викарьосом, падшим партийцем, объединяющим в себе антагонистические типы чистого интеллектуала и одинокого бунтаря, — именно эти позиции разъединили Сартра и Низана в 30‑е годы — это воображаемая дружба между прежним Низаном и тем, которым он, возможно, стал бы, если б не был убит на фронте, но встретился с Сартром в лагере, где они снова обрели бы друг друга, снова схожие, равные и близкие по духу, снова друзья, как в прекрасные времена юности. Таким образом, эта дружба является как бы посмертным примирением бывших друзей. Смерть Шнейдера‑Викарьоса — вторая смерть Низана, но на сей раз оживленная и спасенная дружбой Сартра, скорбной работой, реализованной в тексте: «Странная дружба», где Сартр выражает свои чувства без побрякушек иронии, — это элегия по покойному другу, элегия застенчивая, но страстная и трагическая.

Именно это понуждает нас сказать, продолжая аналогию, которую мы отметили между «Дорогами свободы» и симфонией Бетховена, что его четвертая книга, безусловно, приблизилась бы к трагической оратории. Женевьева Идт, со своей стороны, справедливо заметила, что для шекспировского конца, который Сартр предусматривал для последнего тома, ему, возможно, понадобилось бы изобрести новую литературную форму, близкую к оперной.

Мишель КОНТА

1. Вот это да! (исп.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Всемирный зал (англ.). [↑](#footnote-ref-2)
3. Мексиканец (амер. жаргон). [↑](#footnote-ref-3)
4. Не улыбаться — это грех (англ.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Основательность (нем.). [↑](#footnote-ref-5)
6. До встречи! [↑](#footnote-ref-6)
7. Пьяная (развратная) рожа (исп.), исковерканное «народный фронт» (франц.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Острова у восточного побережья Канады, колонии Франции. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lapin — кролик, но еще и храбрец, молодец (франц.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Имеется в виду высказывание президента Совета Поля Рейно в апреле 1940 года, когда он обещал не допустить немцев до рудников Норвегии; вскоре немцы заняли всю Норвегию. (Прим. ред.) [↑](#footnote-ref-10)
11. Знаменитый французский полководец XV века. [↑](#footnote-ref-11)
12. Самолет (военный жаргон). [↑](#footnote-ref-12)
13. Скорострельная пушка (нем.). [↑](#footnote-ref-13)
14. До войны — два основных левых еженедельника некоммунистического толка. [↑](#footnote-ref-14)
15. Сигареты, пожалуйста, сигареты. [↑](#footnote-ref-15)
16. Спасибо! (нем.) [↑](#footnote-ref-16)
17. Назад! Назад! (нем.) [↑](#footnote-ref-17)
18. Францистская партия была основана Марселем Бюкаром в ноябре 1933 г. вскоре после победы нацистов в Германии. Это движение было «из всех самым фашистским» *(Плюмиен, Лазьерра).* Их главный девиз: «Франция для французов». При поддержке немцев они были внедрены в большинстве лагерей для военнопленных. Сартр уточняет для нас, что в его лагере францисты были организованы и активны. *(Прим. издателя)* [↑](#footnote-ref-18)
19. Доброе утро! (нем.) [↑](#footnote-ref-19)
20. Завод в Сюрене. *(Прим. издателя)* [↑](#footnote-ref-20)
21. Название, вымышленное Сартром, возможно, намек на «Республиканский Алжир». *(Прим. издателя)* [↑](#footnote-ref-21)
22. Народная присказка. *(Прим. издателя)* [↑](#footnote-ref-22)